

АЛЕКСАНДР

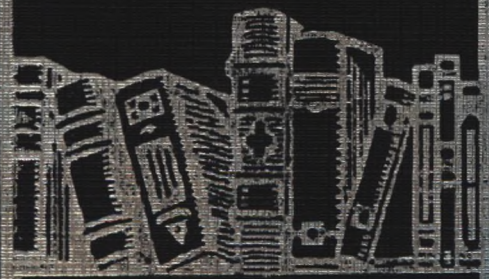
SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 3904317 8

КАБАКОВ

КАФЕ
"ЮНОСТЬ"



ВАГРИУС

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

КАФЕ “ЮНОСТЬ”

ПРОЗА РАЗНЫХ ЛЕТ

МОСКВА «ВАГРИУС» 1999

УДК 882-312.1
ББК 84Р7-4
К 12

ОФОРМЛЕНИЕ ЕВГЕНИЯ ВЕЛЬЧИНСКОГО

**THIS BOOK CAN BE ORDERED
FROM THE "RUSSIAN HOUSE LTD."
253 FIFTH AVENUE
NEW YORK, NY 10016
TEL: (212) 685-1010**

ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВСЕЙ КНИГИ
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.

ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.

ISBN 5-264-00068-9

© Издательство «ВАГРИУС», 1999

© А. Кабаков, автор, 1999

СОДЕРЖАНИЕ

УДАРОМ НА УДАР 7
(Подход Кристаповича)

До войны, по-английски 11

Линда с клопками 36

Вам отказано окончательно 76

САМОЗВАНЕЦ 121

КАФЕ «ЮНОСТЬ» 255

МАСЛО, ЗАПЯТАЯ, ХОЛСТ 291

РАССКАЗЫ

Нам не прожить зимы 313

Rue Daqu принимает всех 325

Девушка с книгой, юноша с глобусом,
звезды, колосья и флаги 331

Тусовщица и понтярщик 339

Русские не придут 345

Люби меня, как я тебя 351

Утром — около нуля, небольшой снег 359

День рождения женщины средних лет 367

ДАЛЕКО ЭТА ОРША 383

**УДАРОМ
НА УДАР**

(ПОДХОД КРИСТАПОВИЧА)

В тот год дела мои вроде бы пошли на лад — довольно заметно. Появились какие-то деньги, в общем, конечно, совершенно незначительные, какой-нибудь секретарь союза столько недоплачивает партвзносов за тот же год. Но нам с женой благосостояние наше казалось чрезвычайным и устойчивым, в себе я стал замечать даже некоторую доброжелательную валяжность, она же холодно стало смотреть на некоторых из моих друзей. В декабре мы переехали на новую квартиру — три комнаты вместо наших двадцати одного и семи десятых метра, да и к центру поближе...

Тут я с ним и познакомился — с высоченным, задушенно кашляющим старым астматиком. Разговорились как-то утром, когда я гулял с нашим Маркони, дураковатым, очень добрым котом, прозванным в честь эпигона отечественного Попова — за выходящую из пределов вероятного способность воспринимать информацию от меня и моей жены без всяких не то что проводов, а без каких-либо звуков. Приходил из прихожей на мысль... Седой хрипун с широченными прямыми плечами и профилем старого Гинденбурга, памятным мне с детства по какой-то монете из обязательной в те времена для мальчишки коллекции, с симпатией наблюдал наше общение с Маркони, мне он показался интересным — в квартале нашем такая внешность не была типичной. Первым заговорил я...

Сначала, сидя на его запущенной дочерна кухне и слушая рассказы, прерываемые лютым кашлем, я не верил ни единому

слову — знаю я этих стариков, ездивших проводниками в салон-вагоне Сталина, работавших секретарями у Постышева, сидевших вместе с Руслановой или Туполевым либо взрывающих храм Христа Спасителя — все врут, почти все...

Потом я поверил — так никто не врет, не принято врать такое несусветное, да и незачем: врут, чтобы уважали больше, а уважать за этокое — все равно как за то, что у человека абсолютный слух, способность к гипнозу или рост выше двух метров — феномен, и все. Потом я понял, что не в уважении дело, он был просто другой, чем все мы, он был свободный и самодвижущийся — где-то я вычитал нечто подобное, не помню. Потом я познакомился с его старым приятелем, увидел кое-какие фотографии — все это было уже не обязательно, я верил. Потом я стал почти свидетелем последнего из его... черт знает, как это назвать, ну, деяний, скажем.

Я хотел написать книгу об этой, самой, возможно, удивительной жизни, самой странной и привлекательной из тех, с которыми пересеклась моя. Я писал, когда успехи кончились — будто отрезало, когда недолгая и небольшая моя слава ушла между пальцев как вода — вместе с деньгами. Я писал это вместо того, чтобы пытаться заработать хоть немного обычной в кругу моих коллег поденщиной для веселого радио и еще более удалых газетных страничек. Я писал как бы неизвестно для чего, хотя в глубине души знал, для чего и для кого...

Я успел написать только три главы. Та жизнь кончилась, как и должна была неминуемо кончиться та жизнь. Перед вами ее тень, эхо, пыль, оставшаяся в складках ношенной одежды.

ДО ВОЙНЫ, ПО-АНГЛИЙСКИ

Дачу кончили строить осенью. А в начале декабря приехала здоровая трехтонка, красноармейцы быстро сгрузили и принялись вносить мебель. Очень ловко у них получалось. Сначала на верхний этаж внесли новенькие панцирные сетки, а спинки оставили на террасе. Спинки были коричневые, в разводах, шары никелированные. Колька, конечно, приспособился и один шар свинтил. Но красноармеец заметил и Кольке — молча — так свистнул по затылку, что ловить Кольку пришлось... Потом занесли и спинки, потом шифоньер, зеркало от него отдельно тащил один, самый здоровый, широко распялив руки. А наверху это зеркало, наверное, снова вставили в дверь шифоньера и закрепили специальными лапками — когда-то в московской Мишкиной квартире тоже был такой шкаф. Потом тащили стулья, чемоданы с выступающими ребрами и какие-то ящики с ручками по бокам. Потом в одно мгновение внесли разобранный круглый стол. Полукруглые доски вносили над головой за торчащие из них направляющие рейки, и это было похоже на то, как несут портреты вождей. Из перевернутых стульев по дороге выпадали сиденья... Шкафы со стеклянными дверями, предназначенные для книг, были неподъемно тяжелы. Штук сорок стопок самих книг, связанных мохнатыми веревками, перекидали по цепочке. Внесли тяжеленные кресла, кожаные, обитые часто гвоздями с медными шляпками в виде цветка, следом пронесли и вовсе чудную штуку — здоровый красный абажур на высокой точеной ноге. И наконец, пыхтя и приседая под лямками, втащили рояль с длинным хвостом — как во Дворце юных пионеров, где Мишка был еще совсем недавно, прошлой зимой.

Все это время ребята из деревни и даже со станции, в полном составе, и, конечно, Мишка с Колькой среди всех, вертелись вокруг, Колька же даже и на террасу влез, откуда и был вышиблен точно и хлестко — как «бабушка в окошке». А красноармейцы внесли с великими предосторожностями тумбу с деревянной сдвижной шторкой, за которой, по Мишкиному утверждению, наверняка скрывался ламповый радиоаппарат, принимающий хоть Берлин, хоть Мельбурн, хоть что, — потом побросали лямки и веревки в кузов и уехали, чуть не задевая бортами заборы, многие из которых выпятились, провисли на улице.

Отродясь здесь не было дач, была обычная ближняя подмосковная деревня. Бабы в город молоко возили, мужики, когда удавалось от колхоза урвать день-другой, ходили в город же пилить и колоть дрова — в основном балованным замоскворецким вдовам. Мишка здесь жил с матерью, она была няней в доме отдыха завода «Красный штамповщик» — кто-то из прежних друзей отца получил для нее разрешение жить под Москвой и на работу пристроил.

А теперь здесь появилась дача. Вечером того же дня, как привезли мебель, приехал и хозяин — на простой «эмке», но с военным шофером, а сам в гражданском. Как артист — в высокой меховой шапке, в пальто с большущим меховым воротником, с палкой в сучках. Ручка у палки — голова козла из белой кости. С палкой, а не хромой, и не старый, так, пожилой, лет тридцать или сорок.

Хозяин стал приезжать на дачу каждый вечер, жить.

А Колька прямо присосался к даче. По-пластунски, как положено, полз через заснеженный бугор, перелезал — переваливался, как Сильвер — через новенький, еще светлый дощатый забор. Заходил на террасу, бродил по ней, сгребая валенками насыпавшийся за утро снег, качался в чудном кресле на полозьях, оставленном снаружи с самого начала, заглядывал в окна. Когда мотор «эмки» начинал гудеть в дальнем конце деревни, смывался, затаивался где-нибудь на участке за сосной. Хозяин входил, зажигал уже протянутое от станции электричество, садился ужинать. Еду привозил с собой — шофер вносил кастрюли, пакеты, высокую банку в матерчатом чехле на ремне. Колька расписал банку Мишке, Мишка сказал, что банка называется термос, в ней ничего не

остывает. При отце у них тоже был термос, отец привез из какой-то командировки, брал с собой на охоту.

Хозяин грел еду сам, на мировой керосиновой плитке — Колька видел в окно. А шофер тем временем растапливал большую печь — ее сложили прямо в столовой, ни на что не похожую, огонь горел чуть ли не прямо на полу, отделенный от комнаты только невысокой железной решеточкой... Однажды хозяин Кольку поймал около окна. Ничего не сказал, только взял крепко за руку, отвел к калитке в заборе и, выведя с участка вон, калитку закрыл.

Мишка к даче не ходил. После школы сидел дома, третий раз дочитывал «Таинственный остров». Почему-то казалось Мишке обидным вертеться вокруг этой дачи — может, потому, что помнил, как приезжал с работы в Серебряный Бор отец на такой же, как хозяин дачи, «эмке» с бойцом-шофером. И может, потому, что вспоминался отец, Мишка избегал даже и в сторону дачи смотреть — хотя ждал от нее многого.

И дождался.

Прибежал Колька, доложил: хозяин приехал не один. Вылез за ним следом из «эмки» высокий командир, по Колькиному описанию петлиц — комдив, не меньше, в шинели до шпор, зашел вместе с хозяином в дом. Шофер вынес, кроме обычных кастрюль, одна на другой, и пакетов, еще две длинных бутылки с серебряными горлами и одну обычную с желтым вином. Мишка доклад выслушал и, сам не зная почему, вечером вместе с Колькой пошел шататься вокруг дачи. Ходили до восьми, пока свет из окон не стал совсем рыжим, а снег — совсем синим. Потом пошли домой — Мишкину мать встречать с работы.

Всю ночь валил сильный снег. А утром двери дачи оказались крест-накрест забиты оторванными от забора досками, и у косяка была наклеена бумажка, а на ней печать. Тут Мишка и понял, что дача начала таинственную жизнь, которой он от нее ждал. Пора было действовать.

Проседая в наваливший чуть ли не до самых окон первого этажа снег, черпая его валенками, Мишка раз, и другой, и третий обошел вокруг дачи. Ходил он совершенно смело, что-то подсказывало ему: сегодня здесь опасаться нечего. Не пугала Мишку и бумажка с печатью, несмотря на то что такую же — только си-

ние цифры были другие — он уже видел. Снег на террасе Мишка разгреб и даже вовсе смел сосновой веткой. Пол стал естественно гол, на нем ничего не оказалось. На кресле-качалке тоже. Вокруг дачи Мишка снег тоже пытался разбросать, но не вышло ничего — насыпало сильно. Мишка пока не знал, чего он ищет, но продолжал искать.

Делая очередной круг, он глянул на окно во втором этаже. Сначала и сам не понял зачем, после сообразил: начинающий довольно здорово задуть ветер скрипнул этим окном, одна его створка приоткрылась внутрь. Мишка подумал немного и стал у самой стены прямо под окном, осмотрел снег перед собой. Сперва в радиусе метра, потом двух, трех — как положено делать осмотр по-следопытски. На расстоянии трех с половиной метров от стены — померил на всякий случай шагами — в снегу Мишка заметил углубление. Поверхность снега изгибалась книзу, как края чернильницы-невывайки.

Даже копать несколько не пришлось — Мишка просто сунул руку в снег и вытащил книгу. Книга была не русская, но и не немецкая — немецкий Мишка учил в школе. На каком она была языке, Мишка почти догадался, но твердо уверен не был.

Книгу он сунул за пазуху, на самое тело, под рубашку. Из нее не понадобилось вытряхивать снег — упала корешком вниз. После этого Мишка снова встал к стене под незапертым окном, стряхнул с ног валенки и, цепляясь пальцами ног сквозь носки за выступы и дырки от сучков, полез вверх. Затея была дурацкой — лезть прямо по стене, но, к собственному изумлению, уже через минуту он вкинулся в окошко...

Наверху была спальня — стояли те самые две кровати с коричневыми спинками и блестящими шарами. Одна была застелена толстым клетчатым черно-красно-зеленым платком с колючим ворсом. Платок этот лежал прямо поверх матраца, простыней под ним не было. На второй кровати, понял Мишка, хозяин вчера лег спать — она была не застелена, простыни сбиты, блестящее стеганое одеяло вылезло из пододеяльника, две большие подушки лежали одна на другой, рядом на тумбочке горела электрическая лампа под плоским зеленым стеклом — чтобы читать. Лампу выключить забыли...

Мишка сразу увидел все на этой постели и отвернулся —

даже испытанному в деле моряку надо было бы привыкнуть к тому, что увидел он на подушках. Мишка подошел к окну, подышал. Начало темнеть, сосны шумели, ветер нес мелкий льдистый снег. Свет лампы, стоящей у кровати, теперь лежал на снегу, его лимонное пятно окружало как раз то самое место, где Мишка нашел книгу. По осыпавшейся лунке в снегу изгибалась Мишкина тень...

Шифоньер был открыт, там висели два костюма — розовато-бежевый, летний, точно такой был у одного отца друга, Яниса Генриховича, и темно-серый, с жилетом — такой был у отца. Лежали зефировые рубашки без воротничков — такие Мишка и сейчас донашивал после отца, лежали отдельные воротнички — их мать давно на заплаты пустила, лежали трикотажные кальсоны — отец кальсон не носил, валялся берет — отец стал носить такой же после той самой командировки, из которой вернулся загорелый и с плохо двигающейся правой рукой... Еще висели в шифоньере на протянутой между вбитыми в дверь гвоздиками веревочке галстуки — три пестрых, тонких, на резинках и один из такого же темно-серого материала, как костюм. У отца тоже был такой галстук. Еще лежали трусы, теплые нижние фуфайки, вязаная безрукавка в косую клетку, носки — и все.

А лежало все это — и не лежало, а валялось — на дне шифоньера. Валялось, свернутое в клубок, какой получается, если сначала все вынуть, а потом все вместе побыстрее запихать обратно. Такой клубок Мишка тоже уже видел — год назад. Только костюмы аккуратно висели на тремпелях, а галстуки — на веревочке.

Пересмотрев все, что было в шифоньере, Мишка решил вернуться к постели, к той, незастанной, залитой по подушкам и краю пододеяльника кровью. Крови было много. Она стекла от двух верхних углов подушки к середине, где задержалась во вмятине, расплылась кляксой, а дальше, на пододеяльник, стекла уже тонкой струйкой. Кровь была засохшая и казалась почти черной.

Мишка еще подышал возле окна, сглотнул и по темной лестнице спустился на первый этаж. В кармане он нащупал электрический фонарик-жужжалку, отец подарил, когда ездил в Крым. Мишка пожужжал, посветил под ноги. На лестнице лежал красный узкий ковер с каймой, на ковре в дергающемся луче жуж-

жалки были едва видны редкие темные капли. В одном месте ковер сбился, здесь темных капель было много — на деревянных ступеньках, на перилах тоже была кровь... В большой комнате первого этажа было уже почти совсем темно, только от снега через окно шел слабый зеленый свет.

Мишка старательно задернул на всех окнах шторы из темного, кажется, красноватого плюша. В их московской квартире такие висели на дверях... Задернув шторы, Мишка начал жужжать фонарем. Свет упал на кожаные кресла, потом на абакур с высокой ножкой, на книжные шкафы, стеклянные двери которых были задернуты белыми занавесочками. В той самой непонятной печи без дверцы, с низкой решеточкой, лежала блеснувшая серым угольная зола. Мишка почувствовал, как холодно в доме, ноги в носках заледенели. Он стал ходить по комнате, стараясь наступать только на ковер, лежащий посередине.

В углу он увидел диван, такой же кожаный, как и кресла. На диване лежала простыня, почти несмятая, подушка в жесткой от крахмала наволочке, одеяло — клетчатый, такой же, как наверху, платок, только желто-коричнево-синий, кажется. Посередине комнаты стоял круглый стол, на столе две пустые бутылки с серебряными толстыми горлами и одна обыкновенная, в ней на дне светилась рыжая жидкость — глупый Колька никогда не видал коньяка, назвал вином. Стояли стаканы, тарелки с тонкими ломтями засыхающего сыра, маленькая баночка с икрой.

Мишка сел в кресло, поджал ледяные ноги, погрел их рукой. Закрыв глаза, немного подумал об отце. Долго думать не стал, уже совсем стемнело на улице, свет из-за краев штор почти не проникал, а дел еще надо было сделать много. Мишка и совсем бы не думал об отце, как старался не думать в обычное время, но вещи в шкафу наверху слишком были похожи на отцовы... Он вышел в прихожую, откуда дверь вела уже на террасу. Здесь на вешалке он увидел большое пальто и шапку хозяина дачи, комдивской шинели гостя не было. В углу стояла и палка хозяина, а еще глубже в углу, за этой толстой суковатой палкой с козлиной белой головой, Мишка увидел какую-то смятую бумажку, которую сначала даже не стал поднимать — отошел, посмотрел издали, чтобы запомнить, где она лежит. Бумажка — сильно смятый маленький голубоватый конверт-секретка — лежала так, что Миш-

ка ясно представил себе: пока шинель была не снята с вешалки, увидеть этот голубой комочек было нельзя. А уж когда комдив снял шинель, здесь была такая толчея, что и тем более никто ничего не видел...

Не рассматривая, Мишка сунул конверт за пазуху, где уже лежала книга. Потом он вернулся в большую комнату. Очень хотелось сыру, но тошнило. Все-таки Мишка съел один кусок. Подумал, съел еще один, остальные сунул в карман, для матери. Можно будет сказать, что в школе Адька, сын материнного директора, дал.

В большой комнате уже делать было нечего. Мишка еще, как полагается, осмотрел пепельницу, но ничего особенного не нашел: лежали окурки толстых папирос, вроде бы «Элиты», и еще низкая кучка крупного пепла, а рядом с пепельницей — трубка, блестящая темным лаком. Мишка снова поднялся наверх. От сыра во рту остался вкус, Мишка опять подумал про жизнь с отцом, но совсем недолго. Залез зачем-то в карман серого пиджака — может, поймал краем глаза, что карман оттопыривается, — вытащил еще одну трубку, больше ничего. На мундштуке трубки сбоку было врезано светлое костяное пятнышко, рядом надпись — одно слово нерусскими буквами. Мишка на всякий случай надпись запомнил — было в ней что-то шпионское... И тут же заметил на коврике у незастеленной кровати третью трубку, с двумя пятнышками. Тот, от которого осталась эта черная клякса на смятой подушке, кого тащили по лестнице, пачкая ковер, ктопил с гостем в комдивской шинели коньяк, кто выбросил в окно книгу — видимо, он курил в кровати эту третью трубку.

Мишка вздохнул — совсем за окном стало страшно темно, а в доме страшно холодно. Пора было уходить отсюда. Он вылез в окно и прыгнул в снег — глупо надеясь попасть в валенки, в кино один попадал. Мишка провалился в снег, сразу окоченел окончательно и увидел свои валенки. Их держал в руках Колька. Рот у Кольки был открыт. Мишка впервые за последние три часа заговорил.

— Давай валенки, Колька, — сказал он.

Колька отдал валенки, Мишка их натянул, кое-как отряхнув носки. Ветер утих, снег больше не сыпался, вышла луна.

— Хорошо, что луна, — сказал Мишка. — Колька, ты обо всем молчи, ладно?

— Ладно, — сказал Колька. Он слушался Мишку не только потому, что учился младше на класс, но и потому, что никогда в Москве не был, а Мишка жил в Москве, ездил на метро. Кроме того, Мишкина маманя читала им вслух — слушать было куда приятней, чем читать самим — про Гаттераса и Филеаса Фогга, про Черную Стрелу и узника замка Иф... Сам же Мишка умел замечательно ловко превратить в форт любой старый деревянный — не говоря уж о том, что один раз Мишка летал с отцом на аэроплане и видел сверху, может, даже Колькину деревню — правда, Мишка тогда был еще маленьким и почти ничего не помнил, а Колька вообще в это не верил. Но все равно Мишку слушался — верный Мишкин друг Колька Самохвалов, хозяйкин сын.

— Ладно, — сказал Колька. — А потом расскажешь все? Расскажи, Миш, будь другом...

— Не ной, — сказал Мишка, — расскажу. Идем домой, у меня ноги сильно замерзли.

По дороге Колька мужественно молчал, только когда выходили на светлые места, он забегал вперед и заглядывал Мишке в лицо. Мишка бежал, придерживая под рубашкой конверт и книгу. Особенно боялся, что потеряется тоненький конверт. Остановился, туже затянул на штанах отцовский пояс — почти почувствовал, как пряжка-крокодильчик впиалась своими мелкими зубами в новое место ремня. Побежали дальше. Колька пыхтел, но не отставал. Когда прибежали, на ходиках было уже полвососьмого. Мать была на ночном дежурстве. Есть оставленную на плите кашу было некогда, Мишка сразу стал готовить — по плану, обдуманному дорогой, — лыжи. Колька пошел на хозяйскую половину, принес два куска хлеба, положил Мишке в карман и стал смотреть, как Мишка налаживает свои мировецкие финские лыжи, клееные, с высоко задранными носами, как достает из-под кровати прекрасные бамбуковые палки, проверяет крепления. Лыжи Мишке отец подарил на день рождения, за неделю до того вечера. Отличные лыжи, только вот ботинки специальные с загнутыми носами — пьексы — отец купить не успел, а ходить в валенках было неудобно. Обычные же ботинки Мишка изорвал еще в ноябре.

В восемь Мишка побежал на станцию. До станции было

семь километров по дороге, а по лыжне, через лес, — пять. Луна светила ровно, не было на небе ни единой тени. Так что не понадобился и фонарик, который Мишка сунул, конечно, в карман. Плохо было только одно — лыжню сильно засыпало. Но дорогу Мишка мог бы найти и с закрытыми глазами, а свежий снег еще не слипся, так что лыжня под ним нащупывалась. Все же после снегопада скольжение было чуть хуже, чем все дни перед этим.

Еще была видна на крыльце нелепая Колькина фигура с толстыми ногами — в материных, хозяйкиных то есть, валенках, а Мишка уже пересек сияющее перламутровым блеском поле и вошел в невысокий подлесок. Здесь лыжня виляла, но все ее извины были совершенно точно обозначены наиболее высокими березками, так что сбиться было невозможно. Потом пошел первый недлинный уклон. Мишка пару раз сильно толкнулся палками и помчался, радуясь легкости. Так, с разгона, он вылетел на довольно крутой подъем, у малой вершины его потерял инерцию, начал оскальзываться, налегать на палки, наконец сделал несколько шагов и вбежал в редкий березняк на болоте. Здесь даже в сильный мороз пробивался через лед и снег запах тухлого яйца, летом же нетрудно было найти кочку, которая сразу вся вспыхивала голубовато-бесцветным пламенем, стоило чиркнуть поближе ко мху спичкой. Все знали, что здесь из-под земли идет газ, и Колька не верил, что таким же бесцветным огнем горел газ на кухне той московской квартиры, где Мишка раньше жил.

За болотом начался второй спуск — более пологий, чем первый, но подлиннее. Лес здесь уже был настоящий, из темных широких и низких елей. Мишка начал разгоняться, все сильнее, размашистее толкая носами валенок упругие, выгнутые спинки лыж, все мощнее выбрасывая назад и в стороны острия палок, тянущие за собой струйки снега. Ели вокруг были черными и плоскими — как картонные декорации в игрушечном театре, который когда-то давно еще совсем маленькому Мишке привезли из Ленинграда. В лесу лыжня была почти чистой, снег прошлой ночи словно не коснулся ее. Под луной она отливала рыбьим брюхом, но еще больше напоминала Мишке какую-то блестящую карамель, название которой уже забылось.

Мишка бежал легко, смоленые лыжи скользили отлично, валенки из креплений почти не выскакивали. И Мишка отвлекся от

дороги. Автоматически передвигая лыжи, змахивая палками, он старался думать не об отце, а о деле, которого давно ждал. С того самого вечера он знал, что теперь, без отца, в его жизни начнутся такие события, о которых и в «Острове сокровищ» не прочитаешь, такие приключения и тайны, что все томики Жюль Верна вместе с Шерлоком Холмсом — чепуха. Он понимал, что в тот вечер произошло нечто гораздо большее, чем просто начало полосы приключений, ему было плохо без отца уже на следующее утро и становилось все хуже с каждым днем прошедшего с того вечера года, но он все еще не мог вызвать в себе жалость к отцу — никак не подходил его отец для жалости... И тот арест — чем больше проходило времени, тем все полнее — совмещался в его сознании с арестом молодого человека по имени Эдмон Дантес будущего графа Монте-Кристо, и он даже сам не знал, насколько все было похоже, и, к счастью, не догадывался, насколько все было страшнее... А может, уже и начинал догадываться.

«Началось, — думал Мишка, оскальзываясь палкой по неожиданному куску снега, — начались настоящие приключения, настоящая жизнь. “Первое дело Мэйка Кристи”».

Тут Мишка, громко чертыхнувшись, остановился. Он вспомнил, что так и не выложил книгу и конверт, и тут же почувствовал их на груди под рубашкой. Расстегнув пальто, материну гарусную кофту и рубашку, он вынул книгу и конверт, ставший от пота уже влажным. Мишка переложил его в карман штанов, поглубже, предварительно аккуратно разгладив и сложив вдвое. Книгу же при свете луны он попытался рассмотреть — заодно и отдышаться не мешает... Так и есть — он недаром вспомнил о ней, произнеся про себя свой давно придуманный сыщицкий псевдоним.

Имя это он сочинил, уточнив у матери английское произношение своего собственного, фамилию же изменил на похожую, которую тоже слышал от матери — книги с сыщике Эркюле Пуаро отец иногда приносил, брал у кого-то на службе. По этим книгам мать все собиралась начать заниматься с Мишкой английским, но так и не успела, только несколько штук перевела для Мишки вслух — чтобы заинтересовать. Еще она хотела начать заниматься с ним французским, но тоже не успела — он тогда ничем таким заниматься не хотел, гонял во дворе футбол, на даче играл

в волейбол до темноты со взрослыми, в воскресенье ездил с отцом на «Динамо».

А теперь Мишка в школе учил немецкий.

Обложка книги, найденной возле дачи, была точно такая же, как у тех, что приносил отец. Конечно, это была английская книга. Мишка и сразу почти догадался, а теперь был уверен. Она была напечатана на серовато-желтой тонкой бумаге, а на бумажной обложке была цветная картинка — не то дом, не то рыцарский замок, с башенками по углам, весь в снегу, перед домом большой, наполовину засыпанный снегом черный автомобиль, каких Мишка не видывал никогда, от дома идет на смотрящего, прямо на Мишку, заснеженная аллея, а еще ниже — крупное лицо мужчины с тонкими усиками, в черном пиджаке и в черном бантике, белое кашне свисает на грудь. И все — лицо, рубашка, кашне — в красных потеках. Кровь. И открытые глаза не смотрят. И нарисовано прямо как живое. И бутылочный свет луны падает от стекляннo-чистого неба на эту обложку перед Мишкиными глазами, и видно все лучше, чем днем, — живее.

Долго разглядывал Мишка обложку, пока лыжи окончательно не прилипли к лыжне. Опомился, книжку сунул туда же, где была, застегнулся, проверил еще раз, надежно ли спрятан конверт, и побежал дальше. Он уже начинал догадываться, что ему скажут там, куда он бежал.

Последний спуск был самый крутой, Мишка, как всегда, и на этот раз едва удержался на ногах. И вылетел прямо на улицу пристанционного поселка. Притормозил, развернулся, не снимая лыж, боком подобрался к окну в торце длинного барака, известного под названием железнодорожного второго дома, тихонько постучал — три раза, потом еще раз...

И только теперь порадовался, что ни разу за всю дорогу через лес и болото не представил себе слепого Пью — раньше всегда представлял его в темноте, из-за этого, закаляясь, часами просиживал в отцовском темном кабинете. Мать возмущалась: «Не понимаю, как человек может проводить время таким образом? Тебе нечего читать?» А отец, вешая в прихожей реглан, посмеивался: «Как же ты не понимаешь, матушка? Он же темноты трусит, волю тренирует... Идем ужинать, Рахметов!» Кто такой Рахметов, Мишка не знал, но на отца почему-то не обижался и сразу шел

ужинать, деловито постояв в ванной перед открытым краном — как бы помыв руки...

Дверь барака длинно заскрипела, выскочил в накинутах на плечи взрослом полушубке — полами до земли — сын дежурного по станции Ильичев Володька. Оглядываясь на окна барака, почти все темные, прыгая по снегу коротко обрезанными чесанками, зашипел:

— Ты чего поздно стучишь, Михря? — И, заметив, что Мишка на лыжах, сразу ошалел. — Ты чего?! Через лес!.. Во, Михря, смелого пуля бонется.

Стал юлить, крутиться вокруг Мишки, сопеть, слизывать нижней губой свои всегдашние сопли — в общем, Володька есть Володька, недаром и прозвище имел самое ужасное в школе — Вовка-вошка. Противно, но у другого не узнаешь.

— Слушай, Володька, есть к тебе дело, — сказал Мишка. — Только никому об этом, понял?

— А когда я звонил? — Володька даже сделал вид, что обиделся, хотя всем было известно, что трепло он первое. Но обида обидой, а интерес интересом. Володька придвинулся, даже перестал перебирать надетыми на босу ногу чесанками. — Ну, какое дело?

— Дай пионерское под салютом всех вождей. — Мишка потребовал скорее для порядка, зная, что если только не пригрозить хорошенько, Володька все равно растреплется. Но пригрозить Мишка тоже собирался — потом.

— Под салютом всех вождей честное сталинское, — бормотал Володька и на всякий случай перекрестился, обернувшись в сторону спальной церкви. — Ну, говори, какое дело?

— Вчера вечером что на дороге видел?

Володька даже подпрыгнул, черпанул чесанком снег, выругался:

— Скребена мать! А тебе зачем?

— Надо.

Володька долго кривлялся, торговался, договаривался, что Мишка будет за него драться, если кто назовет Вовкой-вошкой. Наконец Мишка достал из кармана жужжалку, показал Володьке. Тот сразу согласился — фонарик вся школа знала. Шептал Мишке в самое ухо, один раз даже потерял равновесие, мазнул сопливыми губами Мишку по щеке:

— ...на двух легковухах черных. Один, в летчицком пальто, хром первый сорт, дорогу спросил. А дача, говорит, которую недавно построили, далеко от деревни? Я говорю — недалеко, товарищ командир, на бугор въедете — сразу видно. Они уехали. А утром отец с дежурства пришел, думал, я сплю, матери говорит: «Дача-то освободилась». Я лежу. Мать говорит: «Откуда ты все знаешь? Лучше бы неграмотный был... Молчи, пока тебя не спрашивают». А отец знай свое — докладывает: «Одна машина потом вернулась. Заходит ко мне в дежурку высокий, из-под бобрика хромачи, спрашивает телефон, в Москву звонить. Мне выйти приказал, набрал номер, а слышно плохо. Он кричит — мол, але, здесь гость оказался, а сам, мол, готов. Он кричит, а по всей станции слышно. Покричал, потом молчит, слушает. Потом снова кричит — есть, берем обоих и едем. Вышел из дежурки, спасибо мне сказал, посмотрел внимательно — и все, уехали. А через полчаса снова — обе машины на шоссе, битком набиты, еле ползут по снегу. Развернулись у станции и — ходу на Москву...» Мать давай реветь: «Чего он на тебя смотрел? Черта ли тебе надо было слушать под дверь?» А отец ее послал подальше и спать лег. А я картошки толченой поел и в школу пошел. А картошка с салом, вот сколько. А чего тебя в школе не было? А по географии училка говорила про Польшу — страна... это... выблядок... нет... ублюдок... это чего значит, а?

— Ничего не значит, — сказал Мишка, — а в школу я и завтра не приду, у меня ангина и справка есть от фельдшерицы.

— Ангина, а сам на лыжах по ночам гоняешь, а у нас проверка по военному делу, а ты саботируешь, — ухмыльнулся Володька, — и льешь воду на мельницу, понял? Фонарь давай.

— Слушай, я тебе его в школе отдам, ладно? — Мишка сделал самые честные глаза. — Как я сейчас в темноте без фонаря побегу? А в школе отдам, честное...

— Не мое дело, понял?! — Володька сразу завизжал шепотом. — Давай фонарь, брехун, сука московская! Завтра скажу пионервожатой, что ты за легковухами следил, узнаешь тогда! Яблоко от яблони...

Мишка размахнулся палкой, Володька увернулся, палка слабо проехала по спине полушубка. Володька было примерился заорать, но Мишка палки бросил, поймал его за рукав, притянул к себе.

— Молчи! Держи фонарь, — сунул жужжалку в потную ладонь. — И попробуй кому прозвони — я тебе... ну, сам знаешь чего. А еще про яблоню скажешь — по башке кирпичом, понял? И мильтону Криворотову скажу, а мать на станцию пойдет — пусть знают, что это ты за дорогой следил, а отец твой подслушивал. Знаешь, чего вам за это будет?

Толкнул Володьку от себя, тот запутался в полушубке, шлепнулся об стенку барака. Пробормотал:

— Вам с твоей маманей недорезанной никто не поверит...

Но бормотал без уверенности, и Мишка понял — будет молчать. Пока, во всяком случае, а там видно будет. Мишка поднял палки, развернулся, пошел, сильно наклоняясь вперед, в гору. Володька вслед негромко крикнул:

— Эй, а как же ночью без фонаря? Страшно?

И засмеялся. Заскрипела, хлопнула дверь. Мишка лез в гору, стараясь не думать о Володьке и его смехе.

Снег пошел, когда он был уже на половине дороги. Пыхтя на подъемах — обратная дорога со станции вся такая, не разгонишься, — Мишка не заметил, как спряталась луна. И вдруг все сразу пропало: потемнел, совсем черным, невидимым стал лес, только лыжня мерцала, а через минуту и лыжни не стало, повалили хлопья, закрутило, загудели ели, сразу похолодел пот на лице под ветром...

А фонаря у Мишки не было.

И хуже всего, что не стало видно леса. Просто сплошная тьма и гул. Ни веток приметных, ни поваленной березы, ни вывороченного из земли корня, на котором висит неведомо кем оставленное дырявое ведро. Ничего. Темно. Холодно. Ветер. Метель в зеленом лунном луче-нитке.

Мишка сообразил минут через пять: идти надо все время в гору, чтобы чувствовался подъем, тогда обязательно выйдешь к деревне. И он старался идти в гору, налегая на палки, оскальзываясь лыжами, плюясь снегом, отогревая по очереди за пазухой руки. Потом он попробовал бежать в гору без отдыха — и задохнулся, но быстро согрелся. Потом снова пошел шагом и снова замерз.

Снова побежал — замерзли ноги: оказалось, что они по-настоящему и не отогрелись с тех пор, как ходил в носках по холод-

ной даче. «Неужели это сегодня было?» — удивился Мишка. Теперь он шел в гору машинально, совсем не думая о снеге, о холоде, о темноте. Так же машинально вытащил из кармана оба Колькиных куска хлеба и сжевал их. Из другого кармана вытащил взятый для матери сыр, съел и его. И тут же испугался настоящему: какой же дурак съедает все запасы в первые часы? Но было поздно. Кроме того, Мишка уже начал думать о деле, это сразу отвлекло от страха. Он разгадывал первое дело Майка Кристи, он мог вот-вот разгадать его...

Мишка уже совсем замерз, руки болели, щеки стали неметь, и пальцы на ногах больно упирались в ремни креплений, когда он почувствовал, сначала совсем слабый, запах тухлого яйца. Он вышел к болоту.

И тут же разошлись тучи, снег пошел реже, почти совсем стих, и ветер утомился, и зеленый луч луны — нитка с нанизанными на ней хлопьями снега — превратился в ясный и сильный свет. Мишка увидел, что он не просто вышел к болоту, а лишь чуть правее обычного места, отклонившись от лыжни всего метров на триста. Тогда он снял варежки, надел их на концы воткнутых в снег палок, вытер руками мокрое от снега лицо, подышал в ладони — и заплакал почти в голос. Он плакал минуты три, хотя все уже было в порядке, и даже хорошо — он оказался достоин самого Сайруса Смита, сумев в полной тьме найти дорогу по небольшому подъему и определившись по запаху болота. Но теперь он стоял и плакал — минуты три, а то и больше.

Через болото и поле он бежал на скорость, а пробегая мимо дачи, приостановился. В верхнем окне по-прежнему был виден неяркий свет, и Мишке показалось, что он услышал, как постукивает незапертая рама. Мишка прислушался. Рама скрипнула и тихонько стукнула еще раз.

В это время сзади громко хрустнул снег, и чьи-то руки легли Мишке на плечи. Мишка резко присел, вырвался и рванул с места не оглядываясь. Он понесся затаив дыхание, да так и не вздохнул, пока — метров уже с пяти — его не окликнули. Остановился, оглянулся из-под локтя. Тяжело переваливаясь в снегу бурками, в длинном тулупе нараспашку поверх шинели шел к нему районный уполномоченный милиции Федор Степанович Криворотов, с которым отношения у Мишки были самые лучшие.

Мишка начал дышать уже почти нормально. Федор Степаныч подошел, покашлял и обратился к Мишке нелепо громким в ночной тишине голосом:

— Чего поздно гуляешь, Михаил Батькович?

— На станцию бегал, к Володьке Ильичеву, уроки узнавать, — быстро, но удачно не совсем даже соврал Мишка. Может, Криворотов видел его с Володькой...

— Ага, — непонятно, но безразлично сказал Криворотов. И снова покашлял. — Вот такие дела, дорогой камарадо Михаил. Чего-нибудь новенького почитать не дашь?

— Да, Федор Степаныч. Вы «Таинственный остров» Жюль Верна не читали?

— Не приходилось. А из какой жизни книга? Не из итальянской?

— Нет, что вы... Это приключения американцев на необитаемом острове. Это о торжестве человека над природой, — вспомнил Мишка из журнала «Вокруг света».

— Ага, — снова безразлично сказал Криворотов. — Американцев, значит... Ну зайду на неделе, дашь про торжество. — Он развернул Мишку лицом к деревне, легонько подтолкнул и довольно громко пробормотал, когда Мишка уже встал на лыжню:

— Торжество... Приехал в гости, бахнул из маузера друга... Самого на правож, а тут случай. Хоть и не на мне числится, а все одно — неприятности... Торжество...

Тогда Мишка снова обернулся. Милиционер смотрел на него в упор с интересом, даже рот открыл, как парнишка.

— Что скажешь, Михаил? — вопрос прозвучал резко, будто не было до этого никаких неопределенно-безразличных вздохов и пустых «ага».

— Думаю, что вы неверно представляете себе происшедшее на даче, — тоже резко ответил Мишка. — Думаю, что вы ошибаетесь, так же, как и те кто занимаются этим делом.

Криворотов смотрел на Мишку все с тем же выражением откровенного интереса. Вдруг сказал:

— Ты на дачу не лазил.

Именно сказал. Не спросил у Мишки — мол, не лазил ли ты на дачу, Михаил Батькович, а просто уверенно сказал. Мишка

промолчал, даже не сообразив кивнуть в ответ. Криворотов усмехнулся:

— «Те, кто занимаются этим делом, ошибаются»... Ошибаются...

И строго повторил:

— Не лазил ты, а другим малым лазить отсоветуй — добра от этого не будет, понял?

Теперь Мишка наконец кивнул. Оба постояли молча. Мишка решил, что уже можно идти, но не удержался — спросил, уже толкаясь палками:

— Федор Степаныч, а ведь для вас все это не имеет значения, правильно? — И, не дожидаясь ответа, помчался к дому. Уже издали, на ходу, оглянулся в последний раз. Криворотов стоял на том же месте, на бугре, неподалеку от дачи. На фоне снега четко вырисовывалась его огромная фигура в широченном тулупе. И Мишке показалось, что милиционер утвердительно кивнул — и на последний Мишкин вопрос, и будто одобряя все Мишкины действия и догадки.

Через десять минут Мишка уже спал, забравшись на кровать под ватное одеяло, заняв материное место. Первый день расследования Майк Кристи провел с толком. Влажный конверт и слегка растрепавшаяся книга лежали под подушкой. Поработать с конвертом Мишка собирался рано утром. С книгой же приходилось ждать, пока мать вернется с дежурства и отоспится. Расследование шло отлично, и можно было многого ожидать от книги и от конверта. Возможно, что уже завтра Майк Кристи поставит заключительную точку в этом сложном и чертовски интересном деле, господи.

Мишка лежал под одеялом мокрый как мышь. Он заснул раньше, чем полностью высох пот.

Мать вернулась с дежурства, как обычно, в восемь утра. Мишкина мать выделялась в деревне не столько пообносившейся городской одеждой, сколько высоким ростом. Модные жакеты с меховой отделкой были давно большей частью проданы, оставшиеся как-то так налоснились от дров и коромысла, что сравнялись с ватниками и телогреями, ботинки и туфли изорвались, а подшитые валенки мать, как и Мишка, не снимала с ноября до апреля. Но рост — рост никуда не девался. Мать была выше не только всех

баб, но и большинства мужиков. Соответственно и прозвище она получила мгновенно — Верста высланная. Под стать росту были у матери руки и ноги: обувь ее до сих пор была Мишке велика, а варежки и подавно. Вообще, мать была крупна: в бедрах широка, темно-русые волосы — толстеннейшей косой, зубы — как у лошади и один в один — с голубым блеском. И если б не рост несуразный, не слишком большие, по здешним понятиям, водянисто-голубые глаза — пучеглазая, не слишком тонкие пальцы и запястья — гляди, переломятся, да, главное, не Мишка — вдовье приданое, то была б мать в деревне невеста не из последних, для вдовых, конечно. И еще — если б не городская, грамотная до невероятия. Этого добра никому не надо.

Все это Мишке, с хозяйских слов, не раз пересказывал Колька, да и при Мишке бабы не однажды говорили. Мишка вспомнил, что и отец, в хорошем настроении, называл мать «ваше высоченное превосходительство» и почему-то «графиня Коломенская». А вернувшись из последней своей командировки, на все ее расспросы, кем он там был и что делал, спел: «Он был там какой-то советник, она — генеральская дочь». Встал на одно колено, скорчил жалобную рожу и Мишке подмигнул. Мать засмеялась и сказала: «Сам уже генерал или как там, а все тещь покоя не дает». Отец поднес к виску палец еще плохо двигающейся правой руки, сделал «пах! папах!» — и повалился на ковер. Мишка заверещал и полез сверху...

Мать разбудила Мишку, обычным своим холодноватым, невыразительным голосом поинтересовалась, как Мишкино горло. Дня три назад горло действительно болело, но уже давно прошло. Хозяйка дала стакан горячего молока с маслом, и одну ночь Мишка спал, завязанный материным теплым платком, — и все. Но идти сегодня в школу противоречило всем Мишкиным планам, поэтому пришлось сказать, что горло еще болит, хотя уже меньше. Мать спросила, почему же тогда лыжи стоят в сених еще мокрые да и валенки у печи сохнут, но пока Мишка придумывал вранье, уже отвлеклась, невразумительный Мишкин ответ выслушала невнимательно. Всегда она так — спросит что-нибудь, а ответ уже не слушает, по сторонам смстрит. Отец это называл «салонные манеры», злился. Мишке же это чаще всего бывало на руку — как и сейчас.

Мать быстро поела каши, которая с вечера стояла в печи, быстро сняла валенки и кофту, велела Мишке подвинуться, легла лицом в подушку и сразу заснула. Руками она сверху накрыла голову, будто плакала, но Мишка слышал, что она спит. Руки были красные, на концах пальцев белые пузыри — от кипятка. Навозилась за дежурство, намыла мисок.

Мишка повернулся на бок, отгородился от холодной стены одеялом, стараясь не стащить его с матери, сунул руку под подушку, нащупал конверт, вытащил его и стал изучать.

На конверте был московский адрес. Название улицы Мишке было знакомо, короткая улица эта была в самом центре, и Мишка там бывал — вместе с отцом у одного его знакомого. Мишка порадовался, будто известная эта улица сразу все разъяснила. Но одновременно и удивился — фамилия адресата показалась ему тоже известной! Он стал вспоминать, откуда мог знать эту нерусскую фамилию, но не вспомнил, хотя пытался довольно долго. Единственный вывод, к которому пришел, — слышал эту фамилию или от отца, или от отцовских друзей. В любом случае оставалось несомненным, что эта фамилия того самого комдива, что был на даче в гостях.

Вскрыт конверт был неаккуратно — почти весь изорван. В конверте лежал небольшой лист бумаги, исписанный с одной стороны. Мишка прочел его, перечитал, спрятал в конверт, конверт под подушку, подремал немного. Вдруг проснулся толчком, снова вытащил письмо, перечитал еще раз. «Женечка! Я решил написать, так как уверен, что почту по утрам достаешь ты, когда Валентин уже уезжает на службу. Надеюсь, что письмо не попадет ему в руки, хотя... Какая тебе разница? Вот что я хочу тебе сказать...»

Тут Мишка прервал чтение — грустно стало ему и даже страшно. Он поджал под одеялом ноги и придвинулся к матери. Мать спала крепко, даже не пошевелилась. Второй раз за сутки захотелось Мишке заплакать, а ведь до этого уже почти год не плакал. Но Майк Кристи продолжил изучение письма.

«...хочу тебе сказать: я не сетую, что у нас все так получилось. То, что ты выбрала Валентина, оправдано не только любовью — не подумай дурного, я в вашу любовь вполне верю, — но и всей логикой жизни. Слишком долго я был в Детройте... Пишу не для того, чтобы сказать, что я на вас не обижен, я это уже говорил, да

и доказал, по-моему. Теперь же хочу подвести некоторые итоги. Почему-то мне кажется, что мне следует это сделать не откладывая. И сердце в последнее время дает себя знать не по возрасту, ты же знаешь, как меня откачивали в августе, и вообще... Короче, пишу, чтобы предупредить: у меня есть сведения, что у Валентина в ближайшее время будут большие неприятности. Он окружил себя чуждыми людьми, неразборчив в дружбе, одни его беговые знакомые чего стоят. Да и в целом — среди военных оказалось много замаскировавшихся врагов. Боюсь, что вас ждут несчастья. Сегодня я постараюсь разыскать его, встретиться, кое-что объяснить. Возможно, он заночует у меня на даче, так что не волнуйся. К утру все будет ясно. Прощай. Я люблю тебя, как и всегда любил. И по-прежнему уверен, что со мной ты была бы счастливей».

Больше в письме не было ничего — даже подписи. Мишка закрыл глаза и стал заканчивать — переводить в точные слова те мысли, которые пришли после трех чтений письма. Он даже не столько думал, сколько вспоминал одно место из «Графа Монте-Кристо» — собственно, теперь он уже был уверен, что вся тайна этого дела в двух книгах — в «Графе Монте-Кристо» и в той, что он нашел в снегу. Ее содержание он уже тоже представлял себе более или менее ясно, но все же это была только догадка, а Мишке необходима была уверенность и, следовательно, помощь матери... Мишка думал, лежал с закрытыми глазами и постепенно заснул.

А когда проснулся, то увидел, что и мать уже не спит, а ищет, от подушки, смотрит на него.

— Ну, рассказывай о лыжах, — сказала мать. Мишка вытащил из-под подушки и молча протянул ей книгу. Мать перевернулась, села, привычно подпихнув под спину лежащую на табуретке рядом с кроватью кофту, взглянула на обложку, быстро перелистала книгу и только после этого спросила:

— Где взял?

— Нашел. — Мишка ответил, глядя на мать прямо и серьезно, и она не стала сомневаться, что он действительно нашел английский детектив на улице подмосковной деревни. Несмотря на свою невнимательность, она прекрасно разбиралась, когда Мишка врет, а когда нет. Так же коротко она спросила:

— Где?

— Возле дачи, в снегу.

Мать дернулась, книга задрожала в ее руках, и Мишка испугался, но сообразил, что надо сказать:

— Никто не видел, ни один человек. Кроме Кольки. Он не скажет, не бойся. Я все понимаю, я же все понимаю, мам... А откуда ты уже знаешь про дачу?

— Федор Степаныч сказал. — Тут Мишка опять испугался, но мать уже почти успокоилась или взяла себя в руки, а Мишка понял, что мильтон слово сдержал — не произнесенное вслух свое обещание — и не сказал об их встрече даже матери. — Я встретила его на дороге, он сказал, что... дача освободилась, так он сказал... Ну, и что ты от меня хочешь?

— Я хочу, чтобы ты мне прочитала ее. Вслух.

— Немедленно? — мать пощекотала своей ногой Мишкину голую ступню под одеялом, Мишка визгнул, дернулся, одеяло поехало на пол. Мать встала, оделась, принялась готовить щи на обед. Она чистила картошку, ходила в сени за капустой из бочки и салом, Мишка принес воду — а книжка лежала на столе, и ее яркая обложка странно выглядела в утреннем свете, идущем через сильно замерзшее окно ровным потоком. Наконец мать сунула чугунок в растопленную Мишкой печь, снова скинула валенки и полезла под одеяло, захватив книгу. Мишка немедленно влез следом. Под одеялом было люто холодно сначала, но вдвоем они быстро нагрели это малое ледяное пространство.

Читала мать ровно, без выражения и почти без пауз — только иногда произносила слова сначала тихонько по-английски, а потом по-русски — в голос.

Когда жестяная кукушка высунулась из ходиков и, истерически закидываясь, прокричала пять раз, мать начала читать последнюю страницу:

«...Замысел сэра Джоффри был прост, — сказал сержант. Все, кто находился в гостиной, молчали. Лишь спицы, которые уронила старая мисс Боунти, коротко звякнули, нарушив на мгновение тишину. Сержант продолжал: — Дело в том, что сэр Джоффри был совсем не тем человеком, которого вы все знали, господа. Безумная любовь к леди Эстер и под стать ей безумная ревность к мужу этой прелестной дамы — вот две страсти, снедавшие его необузданную и мрачную душу. — Стиль, которым

изъясняяся сержант, говорил о его увлечении викторианскими романами. — И он решил отомстить обоим, и вам, леди Эстер, которая в свое время... префэйрд... предпочла уважаемого мистера Браунуолла, и вам, мистер Браунуолл, который, по своему благородству, склонен считать благородными всех. Он написал слишком откровенное письмо леди, будучи уверенным, что мистер Браунуолл его перехватит. И он оказался прав. Леди Эстер стала свидетельницей небывалой вспышки ревности со стороны своего мужа, не так ли, мистер Браунуолл? Вы были несдержанны... В таком состоянии, обидев и обеспокоив леди Эстер, вы и уехали к пригласившему вас сэру Джоффри. А тут еще начался снегопад, прервавший телефонную связь и, таким образом, отрезавший дом сэра Джоффри от всего мира. И ваши худшие предчувствия оправдались, не правда ли, леди Эстер?

Леди Эстер Браунуолл едва заметно кивнула. Сержант обратился к ее мужу:

— Что вы пили с сэром Джоффри, мистер Браунуолл?

— Бренди, немного бренди и шампанское, — едва слышно ответил молодой человек. Он ломал пальцы, не обращая внимания на врезавшиеся в запястья наручники.

— Не следует пить шампанское с человеком, который пишет такие письма вашей жене, сэр, в доме, из которого отпущены слуги, — назидательно сказал сержант. — Более того, сэр. Я бы не стал вообще принимать приглашения для беседы о каких-то финансовых делах, даже очень важных, от человека, который находился с вами и леди Эстер в таких сложных отношениях. — Леди Эстер спрятала лицо в ладонях, и ее плечи затряслись от рыданий. Сержант встал, вынул из кармана ключи и, снимая с еще более побледневшего Браунуолла наручники, закончил: — Этот вечер с шампанским в пустом доме дал возможность сэру Джоффри одним выстрелом в свой висок из револьвера задремавшего мистера Браунуолла свести счеты со всеми сразу. И со своей несчастной жизнью, и со счастливым соперником, и с возлюбленной... префэйрд... а, да, предпочевшей... предпочтившей... ну, которая предпочла другого.

Теперь тишину в гостиной не могло нарушить ничто. Сержант подошел к окну и, не оборачиваясь к присутствующим, заметил:

— А снег уже не идет, господа».

Мать закрыла книгу. Мишка немедленно протянул ей конверт. Мать вынула письмо, прочитала, взглянула на адрес. Помолчав, спросила:

— И что ты теперь думаешь делать, частный детектив мистер Глупс?

— Майк Кристи, с вашего позволения, миссис, — ответил Мишка.

Мать невесело улыбнулась:

— «Миссис» не говорят без имени... И теперь не до игры, Миша.

— Я понимаю, — сказал Мишка, — я не играю.

Он вылез из постели, взял тетрадь, на обложке которой было написано: «По физике ученика шестого класса Кристаповича Михаила», вырвал из нее двойной лист, достал из пенала ручку и отцову медную чернильницу с завинчивающейся крышечкой. Через полчаса он показал матери, которая все так же сидела на постели, спрятав ноги под одеяло, короткое письмо.

«Уважаемая Женья! Простите, что не знаю вашего отчества. Я хочу вам сообщить, что ваш муж Валентин не виновен в убийстве своего друга, имени которого я не знаю, он ходил с палкой. Этот человек самоубился, пригласив вашего мужа Валентина к себе на дачу, чтобы подозрение пало на Валентина и чтобы отомстить вам обоим. Он был плохой человек и довольно хитрый. К сожалению, его планы сбылись с ошеломляющей и непредусмотренной даже им быстротой. Ваш муж не убивал его, вы жена жертвы, а не преступника».

Мать прочитала письмо, взяла ручку и исправила «самоубился» на «покончил с собой», а «вы» всюду написала с большой буквы. Потом она зачеркнула «Он был плохой человек», заметив:

— Он умер, Мишка, не надо так, — и снова усмехнулась: — Про ошеломляющую непредусмотренную быстроту и жертву где вычитал?

— Кажется, в «Союзе рыжих», — сказал Мишка.

Мать погладила его по голове и, улыбаясь не так, как обычно, сказала:

— Что ж, отправляя свое письмо, неведомый добрый гений. Только получит ли его адресат... А как же ты догадался?

Мишка улыбнулся сдержанной, но уверенной улыбкой Майка Кристи:

— Если зимой открывают окно, то вполне вероятно, чтобы выбросить что-нибудь. Если выбрасывают книгу, значит, она может иметь отношение ко всему случившемуся, особенно если книга — о преступлении. Если убитый спал на втором этаже, а предполагаемый убийца на первом и между ними была скрипучая лестница — значит, это не убийство, а самоубийство. Книга могла дать ключ, и дала его. Но еще раньше, чем ты прочла мне ее, у меня вызвало подозрение письмо хозяина дачи жене комдива, которое я нашел в прихожей — те его не заметили в углу...

Тут мать наконец сообразила:

— Так ты посмел еще и залезть в дачу?! Боже мой!..

Отпираться было невозможно.

— Я не оставил следов, — сказал Мишка, умолчав про сыр. — А ты уверена, что она... ну, эта Женя... уже не получит письмо?

Мать отвернулась к стене, Мишке показалось — плачет. Но в голосе слез слышно не было:

— Не знаю... Может, и получит... Может, ее не возьмут сразу.

— Если она успеет узнать, что Валентин не виноват, это будет важно для нее, — сказал Мишка.

Мать кивнула:

— Ты прав. Ты стал уже почти взрослым.

По дороге к почтовому ящику, висевшему на стене магазина, Мишка размышлял о том, что сказала мать, и не мог понять, почему мать назвала его взрослым за эту игру в Майка Кристи. Теперь уже и ему самому вся затея казалась довольно глупой и опасной.

Потом они ели сильно перестоявшиеся щи, потом мать мыла тарелки, а Мишка в сотый раз перечитывал опись вещей, подобранных капитаном Немо колонистам.

Когда утром по дороге в школу Мишка проходил мимо дачи, он видел по-прежнему полуоткрытое окно на втором этаже. В окно летел снег.

Мимо посольства, на котором по поводу какого-то праздника был вывешен огромный красный флаг с кривым крестом в черном круге, почтальон всегда проходил быстро — и милиционер

косился на сумку, и самому почему-то бывало не по себе. Иногда дорогу ему преграждала выезжающая огромная машина, милиционер делал левой рукой предупреждающий жест перед почтальоном — погоди, мол, — правую же ловко вскидывал к шлему, отдавая честь сидящему глубоко на заднем сиденье человеку в серой шляпе, со стеклышком, мерцающим под правой бровью... Сегодня же милиционеров было двое, машина выехала сначала одна, потом другая, и во второй почтальон разглядел какого-то странного: с кривоватой челюстью, с глубоко запавшими глазами. Второй милиционер, незнакомый, подтолкнул зазевавшегося письмовосца, чтобы тот не задерживался, а тем более не присматривался... Настроение у служащего вовсе испортилось, а тут еще и в первом же доме, в который он сунулся со своей сумкой, ждала неприятная, всякий раз пугающая новость. Только он примерился сунуть конверт, надписанный прямым и крупным детским почерком, в ящик на двери правой квартиры второго этажа, как заметил проклятую бумажку с печатью, веревочки, будь они трижды неладны, от косяка под бумажку, и даже показалось ему, что запах какой-то особый пошел от квартиры — какой-то такой душок, как от всех этих, опечатанных, к которым время от времени, да чуть ли не каждый день, приводила его чертова служба... Почтальон воровато оглянулся, мелко изорвал конверт, а обрывки сунул в карман — потом в канализацию спустить. Может, какому-нибудь мальчишке или девочке недоставка на пользу будет...

А Вовка-вошка молчал как убитый, до самых каникул, а после каникул еще много всякого было, и Мишка сам почти забыл о даче и черных легковухах.

В сорок третьем же Вовку-вошку и вправду убили. Где-то на Украине, о чем Мишка, конечно, не узнал никогда, хотя и сам в это же время где-то в тех краях налетел на второе проникающее в бедро...

Тем все и кончилось. Да, вот еще что: дача сгорела — совсем недавно, в начале семидесятых.

ЛИНДА С ХЛОПКАМИ

За соседним столиком зазвенело стекло, Кристапович обернулся. По скатерти плыло рыжее коньячное пятно, погасшая настольная лампа лежала на боку, а рядом с ней таким же недвижимым предметом лежала голова, которую он узнал сразу же — будто не было десяти с лишним лет, и войны, и прочего всего, и будто не была эта голова наполовину седой, и не врезался в налившуюся пьяной кровью шею воротник дряхлого уже офицерского кителя, и будто не шумело вокруг знаменитое кафе, не подсаживались в углу к поэту с дьявольским профилем прихлебатели — кто теша душу, кто, наоборот, выпить задарма... Михаил встал, отогнал возникшее — школу в снегу, училку, нудным своим Базаровым усыпившую некрепкого на впечатления хозяйского сына, — и потащил Кольку вон, на слякотную улицу Горького, под гудки «побед», высаживавших на славном углу центровых ребят в полупальто с цигейковыми шалями и со сверкающими бриолином коками на непокрытых головах. Запихнул пьяного, разъезжающегося драными хромачами по грязи, в просторное и пыльное нутро «адмирала», вернулся расплатиться — и уже через полчаса гнал машину по едва видимому шоссе, наугад, туда, где жили они когда-то не так чтобы очень плохо, да очень горько...

Николай, конечно, проснулся в пять, стонал, тыкался по избе за водой, зажег десятилинейку, едва не разгрохав стекло, долго сидел за столом, отчаянно скребя белый волос под несвежей байковой рубахой-гейшей, дико пялился на Михаила. Разговор пошел только часа через полтора, когда удалось добыть в сельпо мутноватую «красную головку», — Кристапович с привычным удивлением

смотрел, как похмеляются, его к этому никакой ректификат не привел, пока выдерживал что и сколько угодно без последствий.

— Встретились, — крутнул головой Колька, нетвердо поставил на столешницу стакан, отгрыз кусок от изогнувшейся черной корки, закурил, старательно жуя мундштук «казбечины». — Встретились, мать его в кожах...

Кристапович молча слушал, о себе рассказал коротко и снова слушал, курил Колькины папиросы — свои забыл в кафе, потом снова пошли в магазин — курево кончилось, да и водка тоже. Взяли того и другого, напугав старуху продавщицу в довоенной миллицейской шинели зелеными с недосыпу и перепою рожам, вернулись и снова разговаривали — часов до трех дня, до хрипа. Уже почти засыпая, Михаил сказал:

— А я продавщицу узнал, Колька. Это ж нашего мильтона Криворотова жена, правильно?

— Точно! — изумился Колька. — Ну у тебя память! Ну, бля, мыслитель с Бейкер-стрит!.. Только не жена, вдова. Помер мильтон наш, взяли его перед самой войной, в мае, чего-то насчет немцев неуважительно звезданул, его и взяли, а он тут же в районе, под следствием и помер... Дружки у него там оставались, следователи, наверное, дали в камеру-то наган — помереть...

Он поматерился еще минут с пятнадцать, допил бутылку и тяжело захрапел, привалившись к щелястой, с вываливающейся паклей бревенчатой стене, по которой тенями носились крупные черные тараканы. И, глядя на них, совсем других, чем городские рыжие, задремал и Кристапович. Сон его был обычным, к какому он уже давно привык — ни на минуту не переставал во сне соображать, прикидывать, обдумывать — так спал все время на войне, может, благодаря такому сну и выжил, да и за последние годы работать во сне головой не отучился. К собственному удивлению, просыпался — если больше четырех часов подряд удавалось рвануть — вполне выспавшимся.

Сейчас было над чем подумать. К вечеру встречи с Колькой в жизни Михаила Кристаповича набралось предостаточно проблем. Капитан в запасе Кристапович, образование полное среднее, Красная Звезда и семь медалей, полковая разведка, последние три года работал по снабжению на стройке, что дурным сном росла на

Смоленке. Ээки таскали отборный кирпич, пленные месили ра-
створ под дурацкую свою петушиную песню, а он сидел в фанер-
ной хилой конторке, крутил телефон, ругался с автобазой и цемза-
водом и все яснее понимал, что так и всю жизнь просидеть можно,
если не случится чего-нибудь такого, чего и случиться не может.
И пройдет она, единственная жизнь, в этой или другой такой же
будке, и все.

Имущества у него имелось: автомобиль «опель-адмирал», выве-
зенный по большой удаче из логова зверя — попал Мишкин ди-
визион прямо на отгрузочную площадку завода, где стояло три та-
ких новеньких машины, и Мишка до сих пор удивлялся, как он
тогда все хитро обделал; кожаное пальто, доставшееся от одного
летуна, осваивавшего в свое время «аэрокобру», а освоившего в ре-
зультате «голубой дунай» у Марьинского мосторга; неплохой еще
синий в полоску костюм из кенигсбергского разбитого конфекциона,
поднятый с усыпанной мелким стеклом мостовой; в мелкую бор-
довую полоску костюм, не хуже, чем у Джонни Вейсмюллера; да
отличнейший «айвор-кадет», бульдожка, милая короткоствольная
штукovina, неведомыми путями попавшая в комод той спальни в
прелестном профессорском домике, недалеко от лейпцигского гес-
тапо, а теперь лежащая под левым передним сиденьем машины, за-
вернутая в промасленную зимнюю портянку.

Жилья же не было совершенно, летом ночевал в фанерном
своем кабинете, зимой у дальней-предальной родни — тетки не то
четверо-, не то пятиородной, ровесницы по годам, по занятиям
же — певицы в «Колизее». Тетку звали Ниной, о своих отноше-
ниях с нею он старался не думать вовсе — хотя воюя, а еще
больше после войны, навидался всякого... Условие она поставила
прямо на вторую ночь. «Ну, ты что, так и будешь там матрац ко-
вырять? Если да, то метись отсюда, родственник, сию же минуту,
понял? Я не могу так заснуть, а водить начну — тебе же хуже
будет». Ну а с другой стороны — не очень он и сопротивлялся,
так было проще, а предрассудки забывались все бесповоротнее в
той долгожданной, но такой непредполагаемой жизни, что наступи-
ла после демобилизации. Милиция не беспокоила, довольствуясь
пропиской в каком-то общежитии — бараке за Тайнинкой, где он
и не был никогда. Ел чаще всего либо в пивной на Тверском, ря-

дом с Пушкиным, либо в том самом кафе — вокруг были люди, они говорили вроде бы об интересном для него, но уже через пять минут такого случайного подслушивания или случайной даже беседы ему становилось невообразимо скучно и одновременно смешно — будто с пай-мальчиком, послушным маменькиным сынком поговорил. А ведь и сам мог быть, как какой-нибудь из этих, в наваченных пестрых пиджаках-букле и полуботинках на «тракторах» — кабы не война, не бездомье, не отец, не вся эта его проклятая, уродская жизнь...

И как раз тогда, когда он твердо решил: «Все, надо чего-то делать, выбираться надо из помойки, да и должок бы отдать тот не мешает, если удастся, а не удастся — так и черт с ним, можно и об угол башкой...» — как раз в этот момент зазвенело стекло, и он увидел пьяного Кольку, сына хозяйки той подмосковной избы, где плакали они с матерью вдвоем по ночам, прижимаясь друг к другу в ледяной и душной постели под старыми рваными овчинами, запрещая друг другу вспоминать отца вслух и вспоминая, вспоминая... Верный Колька, преданный дружок и слушатель, потерявшийся где-то еще на Волховском — то ли убит, то ли плен.

Колька же в кафе забрел впервые и случайно. Отвоевал, отхватил свои три осколка, контузию бровном от земляночного наката, под самый конец — лейтенантские погоны, сшил из английского горчичного шевиота китель, нацепил на него все свои нашивки и медали пехотного комвзвода, да и вернулся домой — в заколоченную кривыми досками избу. Попил, как положено, день-другой за упокой материнской души, потерзал трофейные вельтмейстеровские мехи и пошел служить вахтером в министерство, в здоровенный серый дом на Садовой, стоял в черной форме в дверях под квадратной башней с часами. Отдежурив, форму оставлял в караулке, надевал бессносный британский материал, шел куда-нибудь на Разгуляй,пил много и по-дурному, с инвалидами из какой-то поганой артели.

В артели и познакомился с Файкой — татаркой невообразимой красоты, синеглазой, на тонких и длинных жеребьячьих ногах, грудастой и безобразно по пьянке буйной. Одевалась Файка так, что рядовые артельщики только слюной исходили — с каких денег, непонятно: румынки на меху, цигейка под котик, бостоновая

юбка до колен, прозрачные чулки из американских посылок — а заработку, как у любой надомницы, шестьсот, от силы семьсот. Чем Колька ее взял — никто понять не мог, а он сам только смеялся похабно, намекая, что, мол, не одним лопатником силен мужик, да и не только руками...

А на деле была Файка, когда трезвая, сентиментальной и привязчивой бабой, Кольку любила за беззлобность и именно за чрезвычайную силу, причем вовсе не пододеяльную, с радостью ездила с ним по воскресеньям в деревню, топила там печь, деловито варила щи и без претензий бегала по ночам за хату в коротких валенках Колькиной матери — и сама себе казалась настоящей хозяйкой, домовитой, чуть ли не мамкой... Ну, конечно, так шло недолго — до первой выпивки в Файкином подвале на Солянке. Колька фальшиво и отчаянно громко наяривал на перламутровом своем трофее «Барона фон дер Пшика», а сама хозяйка то плясала с бухгалтером артели, обожженным через все лицо и лоб термитным немецким «ванюшей», то рвалась драться и дралась отчаянно, чем под руку подвернется.

Так бы все и шло себе, если б вчера днем, часов в двенадцать, не оказались Колька с Файкой по каким-то, семейным как бы, делам в центре, недалеко от телеграфа. Шли, не спеша по воскресному времени, собирались еще в Елисеев зайти, разговаривали мирно, чувствуя уже, что можно и без Елисеева обойтись, а неплохо бы как можно скорее в подвал свой вернуться, да и того... в постель, — как в одну минуту все перевернулось, и кончилась жизнь, и весь остаток дня прошатался Колька как чумной, а вечером напился один уж до полного безумия и встретил Мишку...

— Вставай! — Кристопович, уже умудрившись даже и побриться чудом обнаруженным в недрах избы ржавым опасным лезвием — благо кожа на лице стала, что тебе дубленая, — тряс и поднимал Николая. Наконец Колька разлепил закисшие глаза, кое-как поднялся, вытянулся мудаковато:

— Лейтенант Самохвалов по вашему... — но тут же вспомнил все, плюнул, мрачно стал натягивать бриджи. Пока он мотался на двор, споласкивался, скреб поросячьего цвета щетину на щеках, пока пытался почистить сапоги и на ладан дышащую шинель, Михаил ходил за ним и негромко, спокойно, как по писаному, гово-

рил, говорил, и Колькино лицо вытягивалось более и более, и под конец он уже даже и не возражал ничего, только кряхтел. Молча полез в машину, пристроился на переднем сиденье боком и искося с ужасом поглядывал на Мишку.

— Согласен? — спросил Кристопович. — Смотри, у тебя выхода нет. Либо они Файку за какие-то ее дела взяли — тогда и тебя на всякий случай загребнут, а там придумают чего-нибудь. Тем более что компания у вас с нею — вся под вышкой ходит.

— Ну уж прямо под вышкой, — хмыкнул было Колька, но тут же замолк — ужас, видимо, не отпускал его.

— Впрочем, — продолжал Михаил, — маловероятно, что это связано с ее делами. Они жульем, шпаной всякой и блядами не занимаются. Расскажи еще раз все, как было.

— Ну чего, как было, — забубнил Колька. — Идем, значит, мимо церкви, Воскресенье-на-Успенском, что ли, там еще бани рядом, Чернышевские. Ну, актер еще навстречу знакомый шел, я фамилию не помню, в кино один раз видел. Здоровый такой, фамилия нерусская, в пальто с поясом. Тут из-за угла машина, обычная «эмка», только ревет здорово, наверно, мотор другой, от «победы», что ли...

— Форсированный, — вставил Мишка, и они чуть было не заспорили о машинах — было им по двадцать семь лет... Мишка опомнился первым: — Дальше давай.

— Дальше ноги не пускают, — сострил Колька. — Ну вот. Тормозят прямо рядом с нами. Я стал, ничего не понимаю, а Файка, знаешь, чего сказала?

— Ну, повтори еще раз. — Мишка вел машину быстро, но не лихо, снег визжал под широкими шинами на поворотах, впереди уже поднимался в мелкой мороси недостроенный новый университет, с ревом обошел машину разболтанный «студер».

— Сделалась сразу бледная и говорит: «Это за мной, они красивые берут, мне рассказывали...», а дверца уже открылась, выходит такой фраер в хорошем драпе...

— А всего в машине сколько было? — перебил Мишка.

— За рулем один, грузин, похож на актера из картины «Свинарка и пастух», рядом еще один, рыжий, из-под зеленой шляпы патлы рыжие, как у стилиаги.

— Мингрелы, — пробормотал Кристапович.

— Чего? — удивился Николай. — Ты, что ли, знаешь этих?

— Дальше давай, — буркнул Мишка, уже вжимая «опель», нескладно поворачивающийся длинным серым телом с тяжелым крупом багажника, в грязнейшие переулки возле Донского монастыря, виляя по задворкам и тупикам Шаболовки и притормаживая на Якиманке.

— Тот, что вышел, взял ее под руку и говорит с акцентом: «Баришня, садитесь в машину бистренько. Вас ждут в одном месте по важному для вас делу». Ну, Файка дернулась, совсем стала белая и садится молча. А я этого, конечно, за ривьеру левой, правой к яблочку...

— Не ври, — опять буркнул Мишка. Машина уже выбиралась к Солянке, пробуравив трущобы Зарядья, буксовала в талой грязи на спусках к реке, въезжала в глухой двор, и Колька с удивлением обнаружил, что по его короткому и неточному описанию Мишка сразу нашел Файкин подвал — остановились точно напротив, в подворотне через улицу. Они сидели в «опеле», мотор тихо пел, Колька быстро заканчивал рассказ:

— Ну, не за яблочко, но за ривьеру — точно, и говорю, так, мол, тебя и так, в рот и в глаз, отпусти даму, фрай. А он засмеялся, в рыло мне книжку красную сунул и говорит: «Иди, командир, иди. Идите, товарищ, не мешайте органам выполнять свои функции...» Или вроде этого — вежливо, сука. И с места рванули...

— От центра поехали? — спросил Мишка.

— Ага. — Колька уже спускался следом за другом в подвал. Кристапович шел, будто домой к себе. У двери остановился, осветил плоским фонарем — с косяка тянулась веревочка под наклеенную на раму двери бумажку с фиолетовым оттиском.

— Видел? — спросил Мишка. — Знакомая картинка. Помню я их штемпеля...

— Они? — выдохом шепнул Николай. Кристапович не ответил, и так было все ясно. Откинул крышку фонарика со сдвинутыми цветными стеклами, поднес ближе к бумажке лампочку в жестяном полированном рефлекторчике — вспомнился гиперболоид, соблазнительная легкость этой гениальной выдумки, непреодолимое желание попробовать сделать у тогдашнего, десятилетнего...

Бумажка отклеилась и, легко колеблясь, повисла на веревочке. Отворили под тревожные вздохи Николая дверь, вошли.

— Тебе на дежурство когда? — спросил Мишка.

— Сегодня в ночь, в семь заступаю. — Колька с удивлением, будто в первый раз здесь, оглядывался. — Слышь, Мишка, смотри, порядок какой, как мы оставили. Что ж, они и шмона не делали?

— Конечно, нет, — Кристапович досадливо пожал плечами. — Зачем обыск, если они просто девку для хозяина взяли? Чего у нее искать? Да если бы они поискали, нам здесь делать нечего было бы.

Колька без видимого усилия вытащил, не скребя по полу, на весу, из угла железную кровать. Что-то знакомое показалось Мишке в этом стальном ложе, хотя что удивительного — все одинаковые: спинки в разводах коричневой краски под дуб, половинны шаров нет — свинчены, подзор не первой свежести, а кое-где и прямо со следами Колькиных же сапог. Мишка с удовольствием смотрел, как Колька несет эту гордость советской индустрии — не напрягаясь. Ни вражеские осколки, ни родная горькая не помали устойчивое самохваловское здоровье. Под кроватью пол оказался неожиданно чистым, ни бот драных, ни трусов скомканных — дощатый настил в крупную щель. Колька сунул руку в карман, вытащил простую финку с наборной веселенькой ручкой, подковырнул крайнюю к стене доску и пошел отдирать их одну за другой — каждая на двух некрепких гвоздях.

— Ну вы конспираторы, — засмеялся Кристапович. — Им и искать бы не пришлось, от дверей бы увидели, если бы стали смотреть.

— Да чего прятать-то было? — прокряхтел Колька, вытаскивая из неглубокого подпола докторский баул из сильно облупленного крашеного брезента. — От кого? Жженный бухгалтер притащит треть артельской выручки, которую они этим бандюгам сдавали...

— Рэкет, — как бы про себя сказал Мишка, но Колька услышал.

— Чего?! — изумился он. — Какой там к керам... не знаю, что ты бормочешь, а знаю, что сдавали эти инвалиды банде треть, чтобы жить спокойно. Два раза им кассу обчистили, мильтоны по-

тыкались-потыкались, да и в сторону — мол, «черная кошка» действует, а против нее мы, дескать, пока не стоим... Ну, паленый бухгалтер и придумал — нашел этих, договорился, им треть — они больше артель и не трогают...

— Я понял уже, — сказал Мишка. — Лучше еще раз опиши, кто деньги забирал.

— Кто! — возмутился Колька. — Хрен в пальто, вот кто. Я ж тебе уже говорил: свои пять процентов Файка отмусолит, которые ей за передачу, за прямую связь и риск, а остальное на ночь под кровать, а утром — ни свет ни заря — тот заявляется, линдач, молча под кровать, молча в чемоданчик пересыпет, молча на выход...

— Прямо и тебя не опасался? — спросил Мишка.

— Один раз прямо из-под нас доставал, гнида, — засмеялся Колька, — я и слезть-то с нее не успел... Хотел ему по фотке приложить, да он с тебя, а то и подлиннее, и при пушке, так я думаю — перетерплю, не отвалится, а то ведь ухлопает...

— Точно его вспомни, весь портрет, — приказал Мишка, и Колька, рассовывая по карманам трудно сворачивающиеся пачки сотенных, извлеченные из баула, а не помещающиеся передавая Мишке, забубнил:

— Волосы черные, как приклеенные, гладкие, сзади висят — ну, Тарзан, как положено, — пиджак коричневый в клетку, плечи — во, на жопе разрез, дудочки зеленые, полуботинки на белом каучуке... Ну, стилига и все, что ты, в «Крокодиле» не видал их? Сверху не то макинтош, не то халат...

— Плащ, — поправил Кристапович. — А лицо, особенное что-нибудь есть в лице? Что ты все о шмотках, он же переодеться может.

Видимо, мысль о том, что у человека может быть не один костюм, не приходила ранее в голову Кольки. Он задумался, хлопнул несколько раз короткими белыми ресницами.

— Шрамов вроде нету... вот! Губы у него... ну... такие, — он попытался вывернуть свои, — как у Поля Робсона, понял?

— Понял, — сказал Мишка. Вроде бы такого парня он встречал в кафе, а может, и кажется... Они вышли, заперли дверь, Михаил послунил бумажку, погрел ее снова фонариком, прилепил

на место. Глянул на квадратную «доксу» — до Колькиного дежурства оставалось тридцать пять минут. Поехали к министерству на Басманной, метров за двести остановились.

— Ты все помнишь? — спросил Мишка.

— Все, — решительно ответил Колька. По дороге они успели взять шкалик, Колька окончательно поправился, загрыз чесночиной — и теперь сидел прямой, розовый, спокойный. Снова их блокгауз отбит, снова Мишка командует, и скоро они пойдут в избу, будут хлебать затируху, а то и щи, а потом Мишкина маманя будет дочитывать им про безумного Гаттераса... — Все помню. Среди дежурства звонок, быстро навожу хай, мол, у Файки беда, сама неизвестно где, звонил кто-то из соседей, делаю им психа, под шум сматываюсь в форме и с пугачом, в такси до Солянки, в подъезд, через черный ход в Подколокольный, опять в такси, до Бронной... Так?

— Так, — кивнул Кристапович. Молча и быстро переложили деньги в валяющуюся на полу между сиденьями Мишкину балетку. Мишка вздохнул, глядя, как выбирается из машины Колька, потянул его за рукав снова внутрь:

— Ну, уже не боишься?

Колька заржал как-то слишком весело:

— А когда я боялся? Я боюсь?! Мишаня, а тебя накатилом не заваливало? А ты в своей сраной разведке перед заградотрядом на мины ходил? А меня заваливало, понял, я ходил, понял?! Я ничего не боюсь, понял?! Мне на них...

Высвободил рукав, пошел, обернулся и крикнул на всю быстро темнеющую под осенним слезливым небом улицу:

— Не бздимо, перезимуем! — и скрылся за углом.

А Михаил переждал светофор, бросил папиросу в окно — и рванул на Сретенку, к себе. То есть к Нинке.

Нинка лежала в постели, одеяло натянуто на голову, ноги торчат.

— С работы твоей звонили, — сказала она из-под одеяла, не меняя позы. — Судом грозили за прогул. Я сказала — заболел ты. Справку Дора Исааковна сделает... Пока ее с работы не погнажи...

Михаил откинул одеяло. Нинка немедленно перевернулась на спину, прямо и светло посмотрела ему в глаза. Груды сплющились

и развалились на стороны, запал живот — худа была Нинка, а для своих двадцати восьми и телом жидковата, курила много, валялась допоздна, налегала на «три семерки» и жирное печенье «птитур», вечно засорявшее колючими крошками постель, а шло все не в коня корм, ребра и ключицы торчали, а от дурной жизни только кожа повисала. И при этом — непонятная была в этой девке какая-то штука, от которой многие чумели, да и Михаил был подвержен... Как сказал однажды аккордеонист из коллизеевского оркестра, много чего повидавший мужик, чудом уцелевший поляк из Львова: «Не то пшемно, же пани хце запердолить, а то, же хце завше...» Мишка понял не все слова, но со смыслом был вынужден согласиться...

— Потом, потом, Нина, потом, — тихо и серьезно сказал он, и Нинкины глаза сразу потемнели, ушла прозрачность. — Потом, милая, сейчас не до того. Ты бы оделась, а?.. Насчет справки — умница. Только бы Дора успела, а то доберутся и до этой несчастной убийцы в белом халате... Теперь вот что, нужен паспорт женский, молодой, лучше татарка. Сделает твой Яцек? Он же там через каких-то своих делал кому-то? Да не моя это баба, молчи, молчи, не моя, это дело, поняла?! Дальше: я весь день болею, лежу здесь. Соседям скажи — с желудком что-то, мол, не беспокойте его...

— Много они тебя беспокоят. — Нинка слушала внимательно, не удивляясь. Попеть пяток лет в «Колизее» — ко всему привыкнешь...

— Что бы ни случилось, — продолжал Михаил, — меня не ищи. Спросят — да, бывал, больше не заходит, ничего не знаю. Но надеюсь, не спросят... Сейчас соседи дома?

— Нет никого. — Нинка уже сидела в постели, подтянув к груди ноги, оглядывалась в поисках халата. Мишка отвернулся — она уж вовсе отключилась вроде, о делах думает, а села все-таки так, что и грудь подтянулась и что нужно — видно... Зараза...

В это же мгновение Мишка невесть каким слухом поймал — открывается в дальней дали необозримого коридора входная дверь, тихо идут... двое или трое... идут. «Умник, Мишка! — про себя крикнул Кристапович. — Умник, взял из машины бульдожку!» И уже повалил одуревшую сразу Нинку, взгромоздился сверху, потянул на спину одеяло до самого затылка, ноги под-

жал — так что вылезли наружу только Нинкины голые, и, поднимаясь и опускаясь под одеялом самым недвусмысленным образом, чтобы и от двери было видно, чем люди занимаются, прямо в лицо женщине раздельно выговорил: «Это за мной, не бойся, молчи...» Револьвер уже держал в левой, не слишком сильно упирающейся в простыню руке, правую приготовил к главному толчку.

Двое уже вошли в комнату, интеллигентного тембра насмешливый голос протянул по-малаховски:

— Приятнава апп-тита, Миш...

Тут же в шею, прямо в подзатылочную ямку уперся ствол — судя по ширине трубы, чуть не с водопроводную, «люгер» или «маузер». Прием под это дело шел классически, но кроме тех, кто в свое время достаточно почитал всякой ерунды, никто этой същицкой уловки не знал. Мишка как бы от ужаса чуть дернул головой, прижав затылок как можно крепче к стволу, на секунду как бы обмяк и — изо всех сил, уже почти ощущая входящую в мозги пулю, ударил головой назад, одновременно поворачивая ее резко влево — так, что ствол сразу ушел в сторону — почти не почувствовав содранной металлом кожи, услышал стук упавшего и, судя по звуку, сразу уехавшего с прикроватного половичка под кровать пистолета, и без интервала, почти наугад, но все же успев увидеть и оценить главные расстояния — четыре пули подряд над их головами, и всей тяжестью американской офицерской бутсы, извернувшись, но продолжая опираться на кровать правой рукой — по зеленым дудочкам, под самую развилку, и коротеньким рыльцем бульдожки второму поперек переносицы, чтобы сразу кровь в глаза, и снова первого, уже поднявшегося, с поворотом спиной, каблуком чуть правее нижней пуговицы клетчатого коричневого пиджака, по затылку просто кулаком, и второго, ослепшего, кольцом рукоятки прямо сверху, по макушке, чуть сзади заходящего на лысину красно-пергаментного термитного ожога, по съехавшей мятой шапке, и прыжок к двери, и Нинке «Одевайся, иди в коридор, если соседи придут — чтобы никто ни о чем!», и, пропустив обезумевшую, в немецком халате наизнанку, задравшемся выше задницы, успокоив дыхание — им:

— За «приятного аппетита» — спасибо, но запомните: порядочные люди этим делом днем не занимаются. Теперь слушаю вас.

Стиляга опомнился первым: помоложе, покрепче, да и «ванюшей» не паленый. Сел на полу, осмотрелся, с омерзением задержался взглядом на собственных мокрых штанах, подавился рвотой, обтер негритянские, да еще и в темных каких-то пятнах, вроде веснушек, губы. Выговорил неразборчиво:

— Молодец, Миша, — кое-как собрался, переполз на стул, глянул на покачивающиеся у двери два ствола, короткий Мишкиного «кадета» и тяжелый своего «люгера». — Слушаешь, значит... Ну ладно... Где татарка?

— Не ваше дело, юноша, — строго ответил Кристопович и вдруг сообразил, что между ними и разница-то по возрасту — года три, не больше. Улыбнулся — скорее не искренне, а специально, чтобы полный страх навести. — Татарка там, где надо. Слушаю дальше.

— Деньги отдай, Миша, они не мои, меня кончат за них, — тихо попросил стилиага. — И нас отпусти, а мы тебя больше искать не будем и народ серьезный на тебя не выведем. Ты что, думаешь, на тебя умельца не найдется? Найдется, Миша, не мне чета. Твои яйца трещать будут...

— Глупый ты, малый, — все так же строго сказал Кристопович. — Трещат у того, кто их в чужую дверь сует. А раз у тебя умных предложений нет, ты теперь своим другом займись, потом я тебе свой план сообщу.

Парень пошарил вокруг глазами, взял стоящий на столе чайник, потрогал — холодный, с великими трудами встал со стула, из носика вылил воду на голову обожженного. Бухгалтер зашевелился, залитым кровью глазом из-за распухшего носа окинул с полу происходящее, в пространство сказал о суках фашистских и снова затих.

— Очухается, сотрясение легкое, — сказал стилиага, — как бывший медик говорю. Меня Фредом зовут. Деньги отдашь, Миша? Процентом десять из своих тебе отпишу...

— Добрый, — снова усмехнулся Мишка, надо было держать фасон, хотя было все труднее, поднималась дрожь. — Щедро, но не нужно. А нужно мне от тебя, друг Федя, вот что, запоминай...

Изложил кратко, Фред кивал задумчиво, морщился, заводя руку за спину, растирая сдвинутые тяжелым башмаком почки. Вдвоем

подняли обожженного, зажав с боков, вывели в коридор, большой пистолет сзади за поясом упирался Михаилу в крестец, бульдог давил сквозь карман ляжку. Лицо Нинки белело в пыльной темноте, как мертвое.

— Все остается в силе, — сказал Кристапович, проходя мимо. — В комнате прибери, не психуй, с Яцеком поговори, не бойся...

— Рожу гражданину бы обтереть, платка нету? — спросил стилига уже в подъезде. — Внимание москвичей привлечем...

— А то москвичи пьяных не видели, — холодно бросил Михаил. — И вообще уже темно, успокойся.

Вышли на воздух. В багажник «адмирала» ткнулся носом старенький «ким».

— Авто у тебя для линдача несолидное, — отметил Мишка.

— Отстаешь, Миня. — Чуть отдышавшись, стилига не оставался в долгу. — Нету уже линдачей, и линды нету, мы стилем увлекаемся, атомным, может, слышал?

— Не слышал, извини, — Мишка, отлепившись от тяжело обвисшего на Фреде, который и сам еще с трудом стоял, бухгалтера, бросил, открыв багажник малолитражки, «парабеллум», старательно прикрыл крышку. — Гаубицу твою возвращаю, она у тебя, может, казенная. Сейчас приятеля своего сажай и трогай на первой, понял? Насчет трепа не предупреждаю, мальчик ты умный. Блатным своим скажи — дело будет, и деньги будут, а девка, скажи, совсем от вас смотала, завязывает, скажи, татарочка. Когда мое дело начинать, я тебе сам сообщу, найду. Вы где стилем-то бацаете, в коке?

— В коктейль-холл пускай папина «победа» ходит, у нас бати не при пайках. — Фред сложил бухгалтера на тесное заднее сиденье, кривясь, сам протиснулся за руль. — В «Метрополе» найдешь, если жив будешь.

— Не каркай, буду. — Мишка пошел к своей машине, оттуда негромко, но отчетливо приказал: — Сейчас поедешь впереди, я за тобой до Лубянки, там свернешь в Охотный, потом свободен. И не шути со мной, у меня с юмором слабо, ты видел...

— Йес, мистер Кристапович, — ответил Фред, и в фамилии, произнесенной с нажимом, Мишка расслышал все — и то, что не так прост он, стилига, если сумел его, Мишку, точно вычислить, и что

союз их до первого поворота спиной. Пришлось снова подойти к «киму», наклониться к не закрытой еще двери.

— А как ты, кстати, нашел меня, Федя? — спросил Мишка самым ласковым, самым страшным голосом. — Мне ведь это знать хочется. От Файкиного подвала следил?

— Допустим. — Фред усмехнулся уже совсем нагло. И Михаил понял, что голос не сработал — стилиага выходит из-под контроля. — Догадливый ты, Миня...

— Догадливый, — подтвердил Кристапович, и вдруг его осенило, он понял, чем он сейчас эту раннюю наглость собьет. — Догадливый... Я вот еще о чем догадываюсь: о том, что тебе здешний участковый по моей машине все данные дал. Так он сильно пожалеет, Федя, увидишь. И дружки твои пожалеют. Читайте, что этого мусора уже больше нет, им скоро свои займутся, спецследствие. Как скрывшим истинное лицо. Понял? Спасибо за то, что вывел родные органы на этого гада...

Стилиага сник сразу, никак не попадая ключом в зажигание, глаз не поднимал...

Кристапович сел за руль, дождался, пока малолитражка вывернет на улицу, поехал следом...

В начале девятого он спустился в метро «Площадь Революции», дядя Исай был уже на своем месте — возле матросского револьвера. Разложив на скамье свои узелки, он пугал бездомные парочки своим барахлом, невероятным багровым носом индюка, седыми курчавыми волосами и рваной тенниской в ноябре.

— Здравствуйте, дядя Исай. — Мишка подсел, вытащил из кармана давно запасенный и сейчас пригодившийся карманный китайско-русский словарь на тончайшей бумаге, двадцать тысяч иероглифов в объеме записной книжки, полтораста рублей отдал в букинистическом у Китай-города, вот и не зря, не только старику приятно, но и самому теперь польза будет.

— Здравствуйте, Михаил Устинович, — дядя Исай поздоровался, как всегда, приподнявшись и с полупоклоном, но тут же растерял воспитание, увидев книгу, — уткнулся, зачмокал, забормотал, присюсюкивая. Мишка спокойно ждал, хотя время поджигало, но сейчас докучать безумцу было бессмысленно.

Четыре года назад в его институте нашлись шутники: сказали

профессору шепотом, имитируя все положенные в таких случаях эмоции, что вечером его возьмут. Основания верить в это у блестящего, ведущего из ведущих китаеведов Исая Портнова были — пять лет в Пекине, специальные задания Коминтерна и близость к большим людям были основаниями более чем достаточными. Шутка достигла цели — Портнов исчез, даже без помощи голубых фуражек, освободив дорогу в советники одному из шутников. Вечером Исай не пошел домой — в забитую книгами и красными лакированными коробками с драконами комнату в большой квартире на Тверском, в комнату, где он жил в свое удовольствие пятидесятилетним розоволицым холостяком, — вместо этого он спустился в метро, затерялся там, а через месяц уже стал постоянным его жителем, безумный обросший старик, с индюшачьим носом от постоянных простуд, в той самой тенниске, в которой был в проклятый день, с какими-то тряпками, которыми одаривали его сердобольные молочницы, едущие по утрам от Трех вокзалов... Его не искали — к удивлению хорошо понимающих обстановку людей — и даже не гнали из метро — к еще большему их удивлению. Впрочем, много чего было вокруг, что удивляло людей, хорошо понимающих, по их собственному мнению, обстановку, и что совсем не удивляло, к примеру, Мишку, все происходящее прикидывавшего на универсальные мерки если не «Графа Монте-Кристо», то хорошо памятного бегущего Эрфурта или Магдебурга: безумие не подчиняется правилам... Служащие и милиция центральных станций терпели и даже любили старика — он стал чем-то вроде метрополитеновского раввина, с которым шли советоваться о подпольном аборте и прописке казанской родни, о ссуде у знакомого под облигации и о достоинствах постановки «Свадьба с приданым» и прелести актера Доронина. Старик советовал, черпая мудрость из Конфуция и танских поэм — мудрость темную и невнятную, как и положено раввинской мудрости. Но именно невнятность и многозначность, как ни странно, больше всего и нравились сержантам и дежурным по станциям...

Мишка познакомился с дядей Исаем в букинистическом, сошелся очень, старик его полюбил на удивление здоровой любовью человека беспомощного к сильному. Мишка же отдыхал с интеллигентным безумцем от строительных сослуживцев и девушек с

высоко зачесанными надо лбом волосами и твердым матом вполголоса.

Наконец Кристапович решил оторвать ребе от забавы.

— Посоветоваться хочу, дядя Исай, — сказал Мишка и тихо, но не шепотом, в чрезвычайно кратких словах и без предисловий изложил весь свой дальнейший план. Старик слушал внимательно и никак не проявляя отношения, но если бы кто-нибудь сейчас заглянул в его обычно блуждающие в слабой улыбке глаза, очень бы удивился: взгляд сумасшедшего был ясен, тверд, сосредоточен, как у шахматиста над задачей.

— Другому бы отсоветовал вообще, — сказал дядя Исай, дослушав Мишку, — вас же, Михаил Устинович, одобряю полностью и верю в абсолютный успех. Знаю вашу биографию, особенно военную, знаю ваши аналитические возможности и прекрасные спортсменские качества и потому одобряю, и даже не имею добавить чего-либо существенного. Разве что одно: никаких отступлений от обдуманного и каждый этап — обязательно до конца, до полного исключения всяких последствий. Смерть, Михаил Устинович — не более, чем прекращение того, что уже как бы прекратилось в ином времени. Особенно смерть врага... Во времена танских династий...

Тут Мишке пришлось выслушать небольшую лекцию с цитированием стихов, принадлежащих перу императоров, но минут шесть он вытерпел — это было неизбежное зло при общении с дядей Исаем, да и не такое уж зло, поскольку в этих бессмысленно изящных стихах и прозрачно пустых изречениях удалось с помощью старца кое-что почерпнуть для продумывания отдельных деталей...

Оставив бродягу погруженным в словарь, Кристапович выбрался на поверхность. Сизый воздух поздней московской осени прелестно пах какой-то гарью, папиросами хорошими, что ли, или чем-то еще, что всегда было связано для Мишки с благоустроенной, необщей жизнью в многоэтажных домах по обе стороны начала улицы Горького, с Моховой в районе американского посольства — короче, с хорошей жизнью. И от этого Мишке всегда делалось грустно.

В таком настроении он и шел к машине, приткнувшейся среди загульных «зимов» возле «Метрополя». И счастье Мишкино, что

никакое настроение не могло сделать хуже его зрение или полностью выключить внимание — война научила не рассеиваться. Почти от метро увидел Кристопович мелькнувшую за задним стеклом «адмирала» тень, а еще через десяток шагов был уже уверен: сидит, скорчившись на заднем сиденье, какой-нибудь дружок стилиаги Фреда и паленого бухгалтера, дружок из числа наибольших асов по части пришить фраера за баранкой. Мишка не умерил шага — полусотни метров ему хватило, чтобы вспомнить и мысленно проиграть все необходимое в таком случае и прикинуть способ выполнения в конкретных условиях.

Открыл багажник, низко нагнувшись. Ломик-монтажку протолкнул ладонью в рукав. Выпрямился. За задним стеклом чисто — тот утнулся, приготовился, услышав возню сзади. К своей, шоферской дверце — три шага. Наклонился к ее замку — буд-то ключом не попадает. Рывком, но не нараспашку открыл заднюю дверцу. Десятая секунды — поймал взглядом скрюченную фигуру не совсем там, где ожидал: не на полу между передним и задним сиденьями, а по-глупому, непрофессионально — на самом заднем сиденье, ничком. В движении перестроившись, глубоко всунулся в машину, левой рукой резко толкнул-скатил не успевшее напрячься тело туда, на пол, где оно и должно было быть, а правой, в коротком махе выпуская фомку из рукава и успевая зажать край выскользнувшего угрино-черного металла, загнутым расщепленным концом — точно позади уха, с еле слышанным сквозь гудки подваливавших к Большому ЗИСов хрустом. Броском, не вынимая себя из машины, ломик бросил вперед, на пол у правого переднего сиденья — кровь с пола надо вытереть потом. Полупальто волосатое — резко на голову мертвого, чтобы слишком не залило пол. Выпрямился, дверь спокойно захлопнул, за руль, газ, сцепление со всей плавностью — направо, еще раз направо, налево, на Маросейку, направо еще раз, по спускам и проездам мимо Хитровки или как ее там, дальше, мимо одной из строящихся громад, дальше, на шоссе Энтузиастов остановиться, потушить огни...

Дожидаюсь хорошего «студера» или «доджа» хотя бы, шально-го, буйного ночного полугрузовичка, которые в этот час обязательно должны были здесь появиться, Михаил успел все: выгащить из кармана неудачливого оппонента его единственное оружие, немец-

кий кинжал с кожаной ручкой, в которую врезан партийный знак, а по лезвию — «Германия превыше всего»; найти и единственный документ — справку об освобождении по зачетам; прикинуть по часам дальнейший график — вполне успевал, неожиданность нисколько не помешала, если бы не она, все равно бы еще пришлось ждать около часа, до половины двенадцатого... И тут слышал гул со стороны вагоноремонтного — шел наверняка «студер» или, в крайнем случае, «урал-зис». Поехал медленно, поглядывая назад. Грузовик нагонял, километров под шестьдесят давил усталый шоферило. Мишка ровно держался впереди, метрах в двухстах — на таком расстоянии ни марку не увидишь как следует, ни среагировать и понять, что произошло, не успеешь... Задняя дверца была уже приоткрыта, уже и тело было облито водкой из купленного по дороге в каком-то бакалейном мерзавчика — для запаха, и впереди уже был поворот. Михаил начал притормаживать. Словно по его плану, грузовик, наоборот, прибавил. По тормозам — раз. Резко руль вправо — два. Оглянуться, услышав слабый удар, — три. Порядок, труп лег ровно поперек, не объедешь. Услышать визг негодных тормозов раздолбанного «зиса», поймать быстрой оглядкой момент наезда — все, и теперь только уходить направо, по переулкам, мимо глухих заводских заборов, по скользким путепроводам, вдоль спрятавшихся под откосами забытых Богом железнодорожных дворов — все, готово. Вышел пьяный дурень беспаспортный на дорогу, легковая свернула, а грузовик не успел — только и происшествия.

В двадцать три двадцать пять Кристапович набрал номер из автомата на Пресне.

— Можно бойца Самохвалова попросить? На посту? Передайте ему — сосед звонил, дома у него неприятности, у сожительницы. Большие, ага...

Положил трубку и только в машине сообразил, что говорил слишком грамотно, обычной своей манерой, подмосковного говорка не прибавил, да ладно... И через пять минут был уже на месте — на Садовой. Тихонько въехал на тротуар между Бронной и аркой, ведущей из Вспольного, — пришлось проехать по кольцу поперек движения, да по ночному времени обошлось — загасил подфарники. Перекресток, несмотря на туман, вдруг задымивший над горо-

дом, отсюда виден отлично, и топтун виден в хорошем свете из-за забора, и залитая огнями со стройки — носит сегодня Мишку от одного высотного к другому — обширная площадь, выпирающая выпуклой пустотой за дальним перекрестком.

Здесь нашлось время все привести в порядок. Выгтереть как следует пол, старательно присматриваясь при свете с улицы, и спрятать грязную ветошь в карман пальто; тщательнейше проверить револьвер и ловко приткнуть его под руку, сбоку сиденья; снять пальто, с трудом выпроставшись из шершавой байковой подкладки, и аккуратно сложить его в углу сзади — движения должны быть точными и легкими, а кожа мешает. И как раз когда делать было уже совершенно нечего, а фигура в длинном габардине в очередной раз скрылась за углом, правая дверца тихо открылась. Колька, пыхтя, плюхнулся на сиденье.

Михаил искоса оглядел друга — полный порядок: черная шинель, черная ушанка с неразборчивой эмблемой, морда сытая — сойдет.

— Порядок в хозяйстве? — спросил больше для формы; если бы был беспорядок, по Кольке сразу было бы заметно.

— Порядок, капитан, — с совершенно мальчишеской радостью отозвался Колька, можно было думать, что и впрямь предстоял штурм блокгауза, тайно от матерей переделанного из поленицы. — Психа начальству изобразил, как народный артист Михозэл. Трясся весь, оплевал их всех... Оружие сдал — и бегом по коридору до поворота, начальник караула пошел меня подменять, а я в дежурку, замок на шкафу пальцем открывается, перышком «рондо» закрывается, пушку в карман — и в такси... Только по коридорам пройти — замучился: полное министерство народу. Сидят, заразы, звонка ждут...

— Пушка твоя, записанная?

— Зачем моя? Из первой кобуры с краю, Костюка, он болеет.

— Не хватятся?

— До конца дежурства шкаф никто не откроет, а уж к концу я или на месте буду, или к мамаше насовсем переселюсь...

Докладывая, Колька расстегивал шинель, засовывал казенный наган в наружный карман, поправлял его, чтобы не слишком оттопыривался... Потом минут сорок молчали, Мишка будто задремал,

Колька поерзывал, вполсилы вздыхал, шепотом выматерился раз-другой. В двадцать восемь минут первого Мишка пошевелился, сказал будто в пространство:

— Скоро поедут.

Колька сразу зашебурился, придвинулся, задышал:

— Да почему ты знаешь? Что они, по часам, что ли... это самое... с бабами барахтаются? А?

— Значит, знаю. — Мишка уже глаз не отрывал от проклятого перекрестка. — У меня дружок вон там живет. — Он кивнул в сторону дома через улицу. — Много мы с ним чего из окна видели, кое-что запомнил... Ты лучше смотри внимательнее да приготовь все.

Колька полез в перчаточный ящик, достал белые овчинные рукавицы — зимние милицейские. Откуда-то из-под себя, из-под сиденья, что ли, выгтащил — сам днем прятал — палку регулировочную, выстроганную утром собственноручно из березового полена и по памяти кое-как раскрашенную полосами. Достал и главный свой трофей: в огромном чемоданообразном футляре бинокль, призмы Карла Цейса, не бинокль — телескоп.

Фигура на перекрестке задержалась, ринулась за угол, вернулась, застыла столбом. Следом вывернул и начал тяжело разворачиваться на Садовой в сторону площади длинный и тяжелый, как танк, «паккард». Колька уже прижался к окулярам, весь закаменел от напряжения, шея задержалась — и вдруг, в тот же момент, когда черная кольмага, на секунду застыв, взвыла, резко набрала скорость и стала уноситься по кольцу к Смоленке, как-то невнятно вякнул и захрипел:

— Она-а-а! Суки резаные, падлы, мать их в лоб, Файку везут, Фай...

— Тихо, Коля, тихонько, — Мишка уже завелся, проклятая немецкая техника заревела, казалось, на всю Москву, но на счастье, лихие ребята в «паккарде», рвуцем асфальт уже где-то за строящимся американским посольством, надолго прижали сирену — для веселья, машин-то уже почти не было.

— Тихо, Коленька, спокойно, — приговаривал Кристапович, задним ходом на полном почти газу заворачивая на Бронную, выносясь уже через какие-то арки и проезды снова на кольцо и пере-

секая пустую дорогу поперек движения, перелетая по старинному мосту реку, вписываясь в повороты и притормаживая на начинающих подмерзать лужах. — Тихо, их машину мы помним, дороги другой у них нет, тихо, Коля, пусть они себе едут, мы их все равно обождем, сопливых, обождем-обождем... сопливых-сопливых...

Он бормотал, как бормочут над доской шахматисты, бессмысленно повторяя одни и те же слова, задавленно рычал «опель», молало побледневшего и напрочь замолчавшего Кольку, подпрыгивал он головой до мягкого обтянутого потолка, когда, проносясь между стоячими ночными троллейбусами, въезжал Мишка на тротуар и несся, срываясь с его скользкой кромки левыми колесами, и лишь изредка шипел Колька матерно, да все сильнее белели пальцы на зажатой в мясистых лапах палке...

— Вот она, — вдруг сказал Кристапович, голос его звучал диковато. — Ну, понял, куда едут? Я тебе говорил? Здесь поигрались, теперь на даче поиграются, потом шубу каракулевою — и снова в машину, а на шоссе остановятся, в височек слегка, да и в Сетунь, шубку в багажник, на возврат, инвентарь, а по утряночке докладываться, к разводу... Да мы быстрее ездим, Коля. Спокойно, лейтенант, спокойненько, подыши перед ракетой поглубже...

Мишка опять шептал, как бредил. Колька уже вовсе по-мертвому молчал, челюсти свело. Вдруг запел: «Я тос-скую по соседству...» — одолевала эта песенка многих в тот сезон. Мишка дернулся, ничего не сказал — перед большой стрельбой с людьми и не то бывает... Где-то за Рабочим Поселком Колька спросил:

— Миш... а шинель моя на ментовскую-то похожа? Вдруг разглядят?

— Не разглядят. — Мишка теперь ехал ровно, семьдесят, не больше, та машина то показывалась, то скрывалась за поворотом метрах в трехстах впереди, но слышно ее было все время — плоховато в гараже особого назначения регулировали моторы, у Мишки получалось лучше. — А разглядят — стрельнут пару раз, вот и все твои неприятности кончатся. Чего тут бояться? Так что разговорчики паникерские отставить, а готовься, лейтенант Самохвалов, минут через восемь — десять идти за бруствер, понял?

— Есть, — сказал Колька, и каким-то десятым фоном всех одновременно несущихся сейчас в голове мыслей Мишка отметил:

обращение сработало, Колька ответил не в шутку, а всерьез, по-уставному, он, Колька, сейчас уже где-нибудь там, в Синявинском сыром ольшанике...

В первый просвет между густо стоящими по сторонам шоссе елями бросил машину Мишка и понесся по замерзшей грязи — какому-то смутному воспоминанию о давней, осадного времени проселочной дороге.

— Пост метров через пятьсот, мы его обойдем — и действуем, трасса непростая... — Пока он выговорил это, машина уже снова, будто и без Мишкиного участия, вылетела на шоссе, тут же Кристапович плавно и без суеты затормозил, развернулся поперек — как на занятиях по водительской подготовке в доброй памяти армейской разведшколе. Колька немедленно вылез на дорогу и, не торопясь, пошел назад, к городу. Охнул про себя Мишка: откуда что взялось у друга — развалистая и неспешная походка загородного, на спецтрассе полсуток промерзающего, привыкшего к особым полномочиям, наглого, но усталого мента, привычка помахивать мерно, под шаг, регулировочной палкой...

«Паккард» вышел из-за поворота секунд через восемь. Провизжали тормоза, юзом протащило машину чуть ли не до самого Кольки, каменно вставшего с воздетым жезлом. Мишка уже присел за открытой своей левой дверцей, револьвер коротышкой-стволом кверху в расслабленной руке. Приоткрылась дверца как бы осевшей от торможения машины, веселый голос протянул:

— Кто, а? С какой целью, а? Специальная машина, уйди, командир...

— лейтенант дорожной спецмилиции Самохвалов. — Колька с фамилией не мудрил, отрезая себе все возможности, кроме одной. Рубил, как надо, без особого шика, без мандража, по-уставному невыразительно. — Почему на спецшоссе с фарами, товарищ шофер? Наш пост ослепили. Подфарники есть? Вы там в своем ГОНе, понимаешь...

Расчет был именно на это — оскорбить нелепо-придирчивым тоном, отсутствием страха и почтения, заставить закипеть. Об опасности нарушения инструкции — не выходить из машины — со зла забудут. Кристапович был уверен, что всерьез ни о какой возможности сопротивления им с чьей-либо стороны тупая эта оп-

ричнина и не думает, про себя-то они точно знают цену байкам о шпионах и диверсантах на коровьих копытах...

Все сработало. Дверца распахнулась настежь, высокий в шляпе — наверное, тот рыжий — рванулся к Кольке:

— А, мама твоя... — И тут же дернулась Колькина рука, мелькнула полосатая палка, покатилась шляпа, в то же мгновение Мишка уже был возле «паккарда», зафиксировал взглядом одного — действительно, на Зельдина похож — пуля, второго — лица не видно, успел наклониться, рвет из-под реглана пистолет — пуля... Мимо! Что это?! Человек в реглане закидывается, уплывает куда-то назад и вбок, надо снова ловить его висок стволом, а он опять дергается и вдруг валится вперед, хотя точно — Михаил не попал в него ни разу... Из-за спинки сиденья смотрят на Кристоповича темные, очень темные, без выражения, глаза на очень белом и очень красивом женском лице, и Файка говорит:

— На всякий случай... может, еще жив... пристрели его, парень, пристрели, пристрели...

И тут до Мишки доходит — этот, в реглане, лежит лицом на руле, прижатая к баранке, задралась с затылка кепка-букле, а под выстриженным затылком старательного костолома торчат в шейной ложбинке маникюрные ножницы, загнанные до самых колец.

— Пристрели, — бормочет Файка, выбираясь из машины, шатаясь, идет к «опелю», — пристрели его, парень, он еще, может, живой...

Кристопович полминуты смотрит ей вслед. Стрелять не надо: из-под кепки течет темная кровь, заливая реглан, и из-под ножниц выбивается уже сильно пульсирующая струя и на глазах перестает пульсировать и брызгать... Колька придавил рыжего к земле, палкой своей с маху перешиб горло — все. Палку сломал, бросил внутрь «паккарда», деловито осмотрел мертвецов, тому, которого первой пулей вывел из дела Михаил, ловко и спокойно сунул финкой за ухо — вроде был жив. Финку обтер об его же пальто...

Все.

— Быстро, быстро, — Мишка говорил, уже садясь за руль, — Колька, поведешь «опель», держись плотно, езжай внимательно, за Файкой смотри — у нее сейчас истерика будет, поехали...

В машине было невпроворот от трех тел, косо перекрывших все пространство сзади. Мишка сел, стараясь ни к чему не прикоснуться ничем, кроме кожаного пальто — с него отмоеся...

Восемьдесят метров по шоссе вперед, от города, поворот направо... Кристапович глянул на часы — с той секунды, когда Колька поднял свое раскрашенное полено перед машиной, прошло четыре с половиной минуты, от силы пять. Даже если от поста были слышны легкие хлопки выстрелов бульдога, они только сейчас подъезжают к месту происшествия, но и на нем ничего не найдут — при зеленоватом свете неба осмотрели с Колькой асфальт быстро, но внимательно, пятен крови не было, следы шин на ходу затерли подошвами... Узкая дорожка между деревьями, с давних времен памятная Мишке, привела, как и следовало, в тупик, перекрытый стальной трубой. Ее объехать справа, есть метра три между старой березой и юным, еще гибким дубочком, дальше — лишь бы не скребанул «опель» идущий след в след Колька, еще пригодится машина... О том, что делается сзади, где что-то тяжело перекатывалось и падало, Мишка старался не думать — за семь лет уже отвык от такого.

У обрыва встали...

— Все, Коля, все, — сказал Михаил, глядя, как успокаиваются круги над долго не уходившим в глубину автомобилем и тихо плывет, постепенно тяжелея, вынырнувшая почему-то шляпа того рыжего. — И казенная пушка твоя, слава Богу, не пригодилась.

Сзади неслышно подошла Файка в накинутаой на плечи Колькиной шинели — видно, в машине ее стало трясти.

— Закурить дайте. — Затянулась, плюнула громко, бросила папиросу в реку. — Коль... Коль, а? Коль, я тебе честно говорю, только смотрел он, он ничего не может, сучара, честно, Коль, я тебе на Коране поклянусь, только смотрел он, смотрел, смотрел!..

Через час они уже подъезжали к серому дому на Садовой. Колька был при всем форменном порядке, и Файка, отдергавшись в припадке, спала на заднем сиденье на вывернутом изнанкой Мишкином кожане.

— Давай, боец Самохвалов, на дежурство, — сказал Михаил, посмотрел на часы, — а за три с четвертью часа подмены потом поставь начальнику угощение в «Спорте». Там ему и Расскажи, по

секрету, конечно, о пропаже бабы. Иди, я у Елоховской тебя ждать буду, Файка пускай так и спит.

Напротив, в особняке фон Мекка, за глухим шикарным забором неожиданно зажглось одно окно. В министерстве же сияли все... Мишка, глядя вслед идущему к боковому подъезду другу, вдруг затрясся мелко, перекосил лицо, спрятал его в лежащих на руле руках.

А через минуту он уже не торопясь ехал к повороту, к Земляному валу. С Курского выруливали первые такси от ранних поездов, а от Красных ворот брел пьяный, отчаянно горланя про медаль за город Будапешт.

Весь следующий день спали — Михаил на той самой кровати, что пятнадцать лет назад, лежал на спине, сжав кулаки, спал по-своему, взвешивая и просчитывая варианты, и при этом умудрился всхрапнуть, как всегда, когда спал на спине; Колька, сменившийся благополучно с дежурства, и Файка, будто пьяная, почти не дышащая, легли на старой хозяйской половине, кое-как выметенной и протопленной.

В четыре Кристапович встал, старательнейше протер мокрой ветошью кожанку — выпачкана была на удивление мало, но на всякий случай высохшую еще раз осмотрел при лампе, в косом свете — только не хватает в кровавых пятнах ходить. Потом поскреб щеки ржавым «золингеном», умылся, раздевшись до пояса на ледяном ветру и мелкой мороси, плотно зачесал волосы, как следует прижав их на затылке ладонью. Из внутреннего кармана пиджака вытащил свежий воротничок, повозился с задней запонкой, пристегивая его к сиреневой зефировой рубашке — вечером надо было выглядеть прилично. Уже в галстук, затянув его скользкий шелковый узел, пошел будить молодых.

Колька сидел за столом на табуретке, курил, смотрел прямо перед собой в стену, часто сбрасывал пепел в старую банку от чатки. Не глядя на Мишку, сказал, почти не понижая голоса, кивнув в сторону мертво спящей Файки:

— А если врет? Врет, наверное... Если он не может, зачем ему баб ловят? Он не особенно старый... Врет она, что только смотрел и титьки руками рвал... А теперь я из-за этого обо всех других ее думать стал... раньше не думал, а теперь думаю... Как будто целку брал...

Мишка повернул к двери, через плечо ответил:

— Дурак ты, Колька. И я дурак, что с тобой связался, если тебе это важнее всего. Еще и сволочь ты... поднимай ее, сейчас ехать будем, а не хочешь — ну вас обоих к черту, я сам поеду, в рот вас обоих...

Колька не отвечал, сидел, не отводя глаз от сыреющих бревен стены. Мишка пошел к себе, присел на кровать, проверил все оружие — своего бульдожку, два штатных ТТ и один «кольт», хромированный, с маленькой латунной дощечкой на рукоятке. На дощечке была надпись: «Младшему лейтенанту Лулуашвили Д. Х. за образцовое выполнение заданий от народного комиссара внутренних дел. 10 августа 1940 года». Кристапович пересмотрел удостоверения — все три были в полном порядке, насколько Михаил мог иметь представление об этих документах, но среди них не было выданного Лулуашвили. Михаил усмехнулся — похоже, порядка в этом департаменте было не больше, чем в любом другом. Впрочем, открытие могло быть полезным... За стеной копошились, шептались, напряженно сдерживая голоса, потом затихли, заскрипела, постукивая о стену, старая деревянная скамья. Мишка захихикал, как десятилетний, крикнул через стену:

— Колька! Я тебе точно говорю — они по ночам работают, а ночная работа мужика быстро в бабу превращает. Слышишь? Мне врач знакомый говорил...

За стеной затихли, что-то стукнуло резко, но через минуту скрип возобновился... Мишка блаженно хихикал, с симпатией думал о дурковатом, но при этом таком сообразительном по части окружающей жизни, таком начисто лишенном самых распространенных иллюзий Кольке.

Минут через десять вышла Файка — почти в полном порядке, диковато поглядела на Михаила, пошла в сени, звякнула ковшом, пошла на крыльцо... Кольку пришлось заставлять бриться, чистить китель и сапоги, но вид его и после этого был крайне неудовлетворителен — только по пригородным с гармошкой ходить. Файка наблюдала молча, потом спросила:

— Миша... А ты что, те деньги блатным отдашь?

Михаил усмехнулся:

— Сообразительная у тебя жена, Колька, не тебе чета... По-

смотрим, Фаина, посмотрим... Мало ли как сложится, пока трогать бы не хотелось. Понимаешь?

— Ага, — сказала Файка, полезла во внутренний карман короткой шубейки, достала пачку тридцаток и сотен, молча протянула всю пачку Мишке.

— Молодец, Фая, по дороге на Тишинку заскочим, — одобрил Кристапович, — прибарахлим твоего Николая. Денежки-то на всякий пожарный придерживала?

Колька опять надулся, пошел по шее красным, а Файка засмеялась:

— Глупый ты, Колька, правильно твой товарищ говорит, дурак ты. Это мои деньги, законная доля, мне ее в прошлый раз Фредик дал, все равно тебе полупальто купить хотела. Глупый ты, начальники бабам деньги не платят... Хотела эти на всякий случай оставить, а те — чужие, как пришли, так уйдут...

Кристапович засмеялся, порадовался неизбежности представлений о собственности у этой милой татарки, блатной девки — куда более точных представлений, чем у одного вполне официального товарища, о котором Мишка теперь думал неотступно, все время с тех пор, как дело на шоссе удалось...

Пора было ехать, он пошел греть мотор.

Сначала заехали к Нинке. Вполне успокоилась певица, была в своем панбархате — собиралась на работу. Мишку встретила ровно и по-деловому, без визга, дала паспорт на имя какой-то Резеды Нигматуллиной и справку о временной Мишкиной нетрудоспособности, составленную безотказной Дорой. Мишка, в свою очередь, отсчитал тысячу за паспорт — из своих, точнее, из Файкиных — и еще двести для бедной Доры, Нинку поцеловал, пожалев про себя, что и на этот раз нету даже четверти часа, и спустился к ждавшим в машине Кольке с Файкой. Нинка на прощанье сказала: «Если не расстреляют — приходи, я больше трех ночей ждать не буду...» Мишка засмеялся — если не расстреляют, придет обязательно...

Потом рванули на Тишинку. После рынка долго, часа два стояли в одном темном дворе на Брестской, Колька обживался в только что купленных полуботинках сухумского кустарного производства, бостоновых брюках, куртке-бобочке с клетчатой кокет-

кой и богатом габардине, наверняка принадлежавшем до этого какому-нибудь народному из Художественного театра. Обживаясь, Самохвалов весь передергивался, как от настриженных за шиворот волос, злобно щерясь, нес стильную одежду в Бога и в каждую пуговицу. Особую ненависть у него вызвала молния на ширинке не то еще ленд-лизовских, не то каким-нибудь борцом за мир завезенных из Стокгольма штанов.

Файка, внешне уже совершенно придя в себя, будто и не с нею было все, что случилось за прошедшие двое суток, примостившись на приборном щитке машины, мудрила чего-то с купленными в ближайшем писчебумажном чиночкой и ластиком — приближала внешность неведомой Резеды на фотке в паспорте к своей, обнаружив и к этому рукоделию большие способности: теперь с фотографии смотрело совершенно неопределенное существо, причем никаких следов подчистки не осталось. Покончив с новым документом, она принялась за то же дело с другой стороны: сняла в машине шубу, стянула через голову, не обращая внимания на Мишку и стучаясь о потолок руками, шелковую блузу с прошвой и, оставшись в сорочке с бретельками, перекрученными на круглых, без всякого намека на ключицы, плечах, в десять минут одними канцелярскими ножницами постриглась, срезала косу, уложенную обычно в корону надо лбом, из газетных обрывков сварганила папильотки, стоняла Кольку за бутылкой пива, которым аккуратно, но щедро смочила сооружаемую прическу, распустив по машине хлебный запах, — и стала вылитая «я у мамы дурочка». «Комсомольская правда» с руками бы оторвала типаж для очередного фельетона.

Сам Мишка почти все это время пролежал на вытащенном из багажника артиллерийском чехле под машиной, вылез оттуда, каким-то чудом даже не замарав рук, и удовлетворенно похлопал «опель» по длинному островерхому капоту. Затем он долго, с большим количеством технических слов инструктировал Кольку, и тот в свою очередь полез под автомобиль, вылез почти сразу же и буркнул:

— Там и десяти минут много, я за пять все сделаю.

Потом поели в машине — по франзольке, по куску чайной и по бутылке портера на каждого, закурили...

— Мишк, — сказал Колька, не прибавив даже ничего из

своих обычных вспомогательных слов, — Мишка, а ты помнишь, чего Немо подкинул колонистам?

— А то не помню, — сказал Мишка. — Три ножа со многими лезвиями, два топора для дровосеков, десять мешков гвоздей...

— ...два пистонных ружья, — подхватил Колька, — два карабина с центральным боем, четыре абордажные сабли, принадлежности для фотографирования...

— ...две дюжины рубашек из какой-то особой ткани, с виду похожей на шерсть, но, несомненно, растительного происхождения...

Они доедали колбасу, допивали пиво и перечисляли припасы, подаренные таинственным капитаном людям Сайруса Смита, а рядом сидела красавица с ясными и спокойными синими глазами, а невдалеке, у «голубого дуная», пели, и слова неслись в сырых сумерках: «М-моя любовь не струйка дыма...»

— Хватит херню языками молоть, — сказала Файка, — ехай, Мишка...

В зал «Метрополя» они вошли ровно в девять, оркестр отдыхал, высокий скрипач, знаменитый своим чудным именем и дивным исполнением танца «дойна», который, как известно, как две капли воды похож на «фрейлехс», сидел за роялем и, тихонько тыкая в клавиши, играл что-то из польских довоенных пластинок. По залу плыл дорогой дым и официантские негромкие переговоры. Сами официанты в засыпанных перхотью и мелким зеленым луком полуфраках спешили разнести заказы, пока не мешают танцующие. Мэтр с проваленными, будто чахоточными, горящими щеками, в отличной паре из стального «метро», не меняя брезгливого выражения, взял тридцатку, отвел их к столику в углу, далекому от оркестра, почти невидимому за окружающим центр зала барьером. Заказали бутылку муската, кофе, «наполеонов», мороженого. Файка собралась в уборную.

— Не ходи, Файка, — сказал Колька, он сидел на краю стула, оглядывался, как волк, всем телом, бобочка топорщилась на спине. — Не ходи никуда одна, и вообще, не шастай. Свои не приштопают, так начальнику опять какому-нибудь на глаза попадешься...

— Начальники сюда не ходят, — усмехнулась Файка, —

они на дачах Лещенко и Русланову слушают. И зовут меня теперь не Файка, а Резеда, а Файку мы с тобой утром в печи стопили, а наших здесь еще нет, они раньше десяти не приходят...

— Не ходи. — Мишка дождался, пока она высказалась, опровергать не стал — просто приказал. И она осталась. Принесли кофе, мороженое плыло в мельхиоровых вазочках, и струйки варенья растекались в белой жиже, как кровь в талом снегу. Оркестр заиграл для начала «Блондинку», потом «Мою красавицу» — причем, конечно, за половиной столиков при этом затянули «Фон дер Пшика», — а потом взялся за более новое: из «Судьбы солдата», из «Серенады». Между столиками уже танцевали, тряслись, положив руки друг другу на плечи, первые, но не самые отборные танцоры: ребята как бы в стильных, а на самом деле просто с чужого плеча пиджаках чуть не до колен, с блестящими от помады, прилизанными висками, девочки с модной стрижкой веночком, но в давно ушедших английских жакетах с плечами и слишком коротких юбках стиля Марлен Дитрих — в общем, Измайлово, Каляевка, Сушевский вал, не ближе. Высокий скрипач вышел на край эстрады, повел мощным носом поверх усиков:

— А теперь дамы меняют кавалеров... одного на двух, много-семейных не предлагать!..

В зале привычно засмеялись.

— ...Танец с хлопками! — закончил скрипач, оркестр сразу же врезал «Сан-Луи» в невиданном темпе, и Файка, наклонившись к Михаилу, прокричала:

— Пришли! Вон они!

Кристапович оглянулся. Фред, все в том же коричневом пиджаке, танцевал с какой-то девушкой в широкой юбке до щиколоток — по последней моде.

— Пойди, отхлопай, — сказал Кристапович Файке. Чуть побледнев, она пошла к Фреду и его партнерше. — Ты меня прикрывай внимательно, — сказал Михаил Кольке, — но только руками, не вздумай выгащить здесь пушку энкавэдэшную, что бы ни было, понял?

Колька мрачно наклонил голову, с первой минуты в ресторане он нервничал. Файка подошла к паре, демонстрирующей отличный стиль — сцепленные ладони опущены прямо вниз, правая рука

Фреда спокойно лежит на копчике дамы, ноги, тесно прижатые друг к другу, подпрыгивают в идеально неизменяемом ритме — как метроном — словом, стиль! Файка похлопала, Фред недоуменно обернулся, Мишка увидел его лицо — да, следы есть, хотя пудры много — но молодец парень: даже не моргнул. Извиняется перед девицей, та обиженно идет к дверям — ага, значит, там, в скапливающейся с каждым очередным модным танцем у входа стильной толпе и вся Фредова компания, а он сам уже прижал Файку, уже трясется, нащупав ее задницу, как ни в чем не бывало... И Файка — железные нервы — чуть-чуть тянет, направляет, вот они уже обошли барьер, вот они уже возле столика...

— Может, присядешь? — Встав, Мишка точно оказался лицом к лицу с Фредом. — Сядь, я тебе твои подотчетные принес.

Фред улыбнулся, глубоко справа блеснула железная фикса.

— Что принес — молодец, но беседовать здесь не будем, здесь люди танцуют, обжимаются, водку пьют... Я тебя в машине подожду.

Заехали в арку за углом, встали в глухой подворотне. В мало-литражке, считая с Фредом, было трое. Мишка поставил «опель» рядом, Колька, сидящий справа, открыл окно, Фред сделал то же.

— В общем, товарищ легавый, предисловий не будет. — Фред говорил тихо, не поворачивая головы, но внятно. — Дело, которое ты предложил, народ одобрил. — Сидящие сзади при этих словах чуть шевельнулись, Кристапович покосился на них. Даже в темноте было видно, что не стилиаги, а обычные блатные: из-под коротких полупальтишек — белые кашне, восьмиклинки на самых макушках. Фред продолжал: — Но есть желание знать, зачем карающему мечу понадобилось наводить народ в законе на богатую хавиру, брать какого-то фраера на понтовый шмон — зачем? Вас двое и эта принцесса цирка — нам, конечно, страх небольшой, вы нас не поверстаете, но если за вашей лайбой другие шурики-мурики пойдут... Нехорошо, Миша.

— Да, плохой ты мыслитель. — Мишка, закурив, специально долго не гасил спичку: по идее, то, что говорит Фред, может означать, что как раз блатные страхуются еще одной командой, человек шесть за колоннами вполне могло стоять. Мишка знал — обычно подозревают в том, что сделали бы сами... Спичка могла спровоци-

ровать прячущихся на решительные действия именно сейчас, когда Михаил готов и собран. Но спичка догорела, и ничего не произошло. — ...Плохой мыслитель: сам не понял ничего и народу не объяснил толком. А дело простое: если бы я был из ребят с Каретного, вы все уже давно бы парились в предварилке, мы вас можем брать хоть сейчас — ты меня, Фред, знаешь, я вас и один повязал бы... — Мишка нагнетал сознательно: всегда шел на наглость, чтобы противник потерял самоконтроль. — Нет, Фредик, мы вам даем дело, сделаете — мы вас не знаем, живите дальше, пока вас Петровка на какой-нибудь еще артели не повяжет. Был бы я сукой — разве я так бы действовал? Глупый ты, Федя, и слова у тебя глупые, и дела. Из-за тебя вчера человека машина на Владимирке сбила... В общем, кончай базар. Берешь дело? Вот тебе три ксивы, три пушки могу ссудить — с возвратом, пересаживайся со своими друзьями в мою машину и действуйте. Подотчетные получишь потом, когда делиться будем... Адрес я тебе скажу, на твоем «киме» дорогу покажем...

— Ксивы предъяви, — сказал Фред. Кристапович достал удостоверения, все три поднес к окну, перегнувшись через Кольку. В ту же секунду сзади хлопнула дверца, низкий голос с хорошим культурным выговором произнес:

— Не волнуйтесь, пожалуйста, Миша...

Кристапович обернулся, из-за приподнятого левого плеча увидел давешнего туберкулезного мэтра — без пальто выскочил, на минуту, значит, в левой руке револьвер, ствол смотрит прямо Мишке в переносье...

— Не будем играть в индейцев, Кристапович, — сказал мэтр. — Дело ясное: я пока команду этой шпаной, и меня ваше предложение заинтересовало. Если вы ручаетесь, что у этого энкавэдэшника действительно нагреблено много...

— Ручаюсь, мэтр, — сказал Кристапович, не удержавшись от хамства, и тут же пожалел: тон, который годился, чтобы вывести из равновесия мальчишку вроде Фреда, совершенно не подходил для разговора с таким человеком. — Ручаюсь, он всю профессию брал и на руку не чист...

— ...Если вы ручаетесь и даете документы его коллег, — мэтр кашлянул осторожно, как кашляют люди, поминутно опасую-

щиеся приступа, — то мы можем взять это дело. Да, на будущее: вы ведь по званию капитан? Ну так называйте меня подполковник, так будет проще, да и действительности соответствует... Значит, договорились? Но одно условие...

Мэтр сделал паузу, взглянул, будто с удивлением, на оружие в своей руке, сунул револьвер назад, под пиджак, за пояс, видимо.

— ...Условие: вы едете с нами и входите в качестве понятого.

— Невозможно, — быстро ответил Мишка. — Понятыми идут либо соседи, либо дворник, незнакомый вызовет подозрение, да и вообще — положено двоих... Мы будем ждать внизу метрах в ста...

— Не валяйте дурака, капитан, — сказал мэтр. Усмешка у него была настолько естественная, что Михаил позавидовал и сразу поверил: действительно, не меньше, чем подполковник, да еще небось из разведки, если не из списанных смершевцев. — А то вы не знаете, что все это не имеет никакого значения — положено, не положено... Той организации, за которую мы с вами будем работать, все положено... А нам важно, чтобы вы были все время на глазах. А то мы там будем с этой сволочью мучиться, а вы тем временем снизу, из автомата, звончек: так, мол, и так, пороча звание советских чекистов... можете брать в данный момент... То-то товарищи обрадуются: они на нас всю «черную кошку» спишут...

— Ладно, пойду с вами, — сказал Мишка совершенно спокойно. Глупая мысль дергалась в голове: может, действительно есть люди, читающие по глазам, как по книге? Ведь видел гипнотизера в парке Горького, он еще и не то делал... Может, и мэтр-подполковник такой же гипнотизер, может, и он не догадался, не вычислил, а просто прочел Мишкин план по глупым Мишкиным глазам?.. — Пойду...

— И правильно сделаете, — вяло, будто вдруг потеряв интерес ко всему происходящему, закончил мэтр. Мишка оглянулся. Фред и те двое стояли, вылезши из малолитражки, у каждой двери «опеля», кроме той, через которую влез мэтр. — Сейчас соберемся, да и можно ехать, если не возражаете...

...Возле «Москвы» было шумно, народ расходился из ресторана, и какая-то загулявшая, в маленькой, косо сидящей каракулевой шапочке, висла на мужике с цигарных, не по погоде — дальний, вид-

но, человек — бурках и черной короткой дохе. «...А-поза-растали мохом-травою...» — голосила веселая дама, и доха солидно оглядывалась вокруг — правильно мужик, по-северному гулял... «Победы» и «зимы», бессовестно сигнала, сворачивали на Горького, и милиционер в щегольских ремнях посматривал с ответственного поста возле правительственного подъезда вполне снисходительно на это невинное бесчинство подгулявших тружеников. Недавно закончился последний сеанс, между Пушкинской и коктейль-холлом бродили парочки, не находящие сил разойтись по коммуналкам, беспощадным к неофициальной любви... Из дверей «кока» вышел хромой пианист — только пару раз бывал в заведении Мишка, но успел заметить этого молодого еврея с безразлично-жестким выражением тонкого, очень красивого лица, светлоглазого и кудрявого поперек модной стрижке... Парень выглянул, поманил кого-то и скрылся внутри, и уже осталось позади это известное всей Москве место, и остался позади постоянно маячащий на углу, возле винного, полусумасшедший книжный вор и бывший поэт, которого можно было встретить в центре в любое время суток, и промелькнул справа урод на тяжелозадемом битюге, все еще непривычный глазу, и Мишка резко крутнул влево и поймал в зеркальце послушно пошедший следом за этим несчастным «кимом» свой «опель» — эх, хороша все-таки машина, долго будет вспоминаться...

Желтыми кляксами пробивались фонари сквозь сырость, шли, утекая в переулки и тупички, по улице люди, из какого-то окна донесся жирный одесский голос, одобряющий сердце, которому не хочется покоя, и вдруг Мишка понял, что он уже не может ни на что рассчитывать. Уже идут к концу вторые сутки, как он — чужой всем этим людям, он да эти несчастные парень с девкой сзади него — отдельно, а все остальное вокруг — отдельно, все может сорваться, и в следующий раз он проедет по этой улице в глухом фургоне, за стенками которого мало кто предполагает живых людей... Чужой, и не двое суток, а всегда, с того проклятого вечера, такого же вечера в ноябре, когда отец спускался по лестнице, а сзади, сдерживая шаг за намеренно не спешащим отцом, шел тот человек... Чужой.

Проехали мимо краснокирпичного, четырьмя иглами башен воткнувшегося в сизое небо собора, справа открылись ворота: из

двора какой-то типографии выехала полуторка: вышли свежие газеты. Свернули, свернули еще раз... «Чужой, — думал Мишка, — если честно — то и Колька чужой...»

Они остановились, не доезжая метров трехсот до угла.

— Той же дорогой ехали, — бормотала сзади, как во сне, Файка, — той же дорогой...

Невдалеке, на Спиридоновке, время от времени с рычанием проходил грузовик; здесь, на тихой и короткой улице народу в середине ночи было поменьше, чем в центре, но и тут гуляли — со звоном распахнулось окно, и в многоэтажном клоповнике напротив кто-то припадочно заголосил: «Ты, овчарка бандеровская, на чьей площади прописана?! На чьей пло...» — и вдруг заткнулся, будто убили его, а может, и вправду трахнули чем-то по башке неразумной — и конец разговору...

Подручные Фреда уже были приведены в более или менее официальный вид: чубы косые убраны под кепки, воротники пальто подняты, сам Фред зеленую шляпу надел ровно. Пересели — теперь в «опеле» за рулем был Колька, рядом сидел Фред, сзади поместился Михаил с двумя блатными. Мэтр-подполковник остался сутуло сидеть за рулем малолитражки, на ее заднем сиденье скорчилась в углу Файка — ее снова начинало трясти, не то виденья прошлой ночи вернулись, не то боялась дружков своих урок, не то предстоящего... А может, и просто застудилась в лесу у обрыва... «Опель» тихо тронулся, свернул за угол и стал прямо перед подъездом, под мемориальной доской. Все полезли наружу, резко, молча, захлопали дверцы, и Мишка похолодел — знакомые были звуки, привык к ним этот дом, и сам Мишка помнит, как раздавалось это хлопанье тогда почти каждую ночь... И вид бандитов поразил Кристаповича — серьезные, ответственные лица, и легкое выражение тайны и превосходства, которое связано с этой тайной, с причастностью, — до чего же легко входят даже такие в эту роль! Или именно такие легко-то и входят...

В подъезде Фред резко двинул к глазам ничуть не удивившегося мужика в форме удостоверение, один из шпаны тоже показал корочки, быстро прошли на второй этаж, позвонили. Шаги послышались сразу — в половине второго ночи хозяин словно за дверью стоял.

— Кто? — Голос не изменился, совершенно не изменился голос!

— Откройте, — сказал Фред как раз так, как нужно, не громче, не тише. Дверь медленно сдвинулась, ушла вглубь, Мишка на минуту прикрыл глаза — все в прихожей было на тех же местах, косо поставленное зеркало под потолок, и рога, и кожаный сундук...

Хозяин был в форменных брюках и в штатской рубашке, бритая голова белела в полутьме. Мишка совсем не помнил его, а теперь сразу вспомнил все — голос, бритую голову, руки с очень крупными плоскими ногтями...

— Понятно, побудьте с гражданином, — приказал Фред, и Мишка опять изумился его естественности в противоположном природной сущности ампула, и опять успел подумать: в противоположном ли? Шпана уже шуровала всюю. На столе лежала чистая наволочка, в нее бросали сначала облигации, деньги, потом, когда дело дошло до нижнего ящика буфета, — кольца, брошки, какие-то браслеты, опять кольца, часы на неновых, скрюченных ремешках... И буфет был тот самый — с витыми колонками, гроздьями, листьями и когтистыми ногами, со множеством выдвигаемых ящичков. Ручки этих ящичков были точеные, похожие на шахматные пешки, постоянно они вываливались, и мать их укрепляла, заворачивая в бумажки, и пеняла отцу, что у него дома ни до чего руки не доходят, и отец всякий раз предлагал одно и то же: «А если их того... шашкой и до пояса? А?..» — и мать всегда возмущалась его юмором висельника...

— Вот ваше истинное лицо, — бросил разыгравшийся окончательно Фред, когда обыск переместился в кабинет, откуда малый с мелким, тощим и пакостным лицом грязного мальчишки уже горстями таскал в наволочку побрякушки — вспыхивали камни, обволакивающие желтел металл. Перешли в спальню, оттуда Фред опять сказал издевательским тоном:

— И ведь семьи даже нет — вот оно, звериное лицо примазавшегося врага...

Кристопович сидел на стуле возле стола с наволочкой, напротив сидел хозяин. Михаил встал, обошел стол, тихо спросил:

— У вас есть оружие?

Человек поднял глаза, и Мишка отвернулся.

— Эй, кто там ходит? — крикнули из спальни. Фред и помощники вернулись. Мишка отошел к окну. В «опеле» теперь никого не было, а из-под машины едва заметно выглядывал сухумский башмак. Колька спешил, башмак дергался...

Один из вошедших в комнату бандитов держал в левой руке хромированный «кольт» с именной дощечкой — держал чуть прихваченным манжетой рубашки за самый край ствола, весь револьвер был тщательно протерт заранее. Фред незаметно покосился на Кристаповича — видимо, намеченный план казался ему слишком рискованным. Михаил так же незаметно расширил глаза — мол, никаких импровизаций, все согласовано с мэтром. Фред кивнул блатному, тот как бы нечаянно положил пистолет на стол. Отойдя к окну, где стоял Кристапович — тот передвинулся, перекрывая видимость на машину, — Фред сухо сказал:

— Ну что ж, одевайтесь.

Мишка увидел, как при этом Фред сжал в кармане пальто пистолет, как напряглись кулаки и в карманах остальных. Но вмешательства не потребовалось.

Человек встал, бритая голова двигалась на вдруг ставшей тонкой в распахнутом вороте рубашки шее, глаза ползли в стороны, рука легла на скатерть, дернулась — и в следующее мгновение негромкий хлопок слегка сотряс воздух этой комнаты, где каждая дощечка паркета была знакома Мишке до последней трещинки, где, может, и до сих пор валялся за диваном оловянный солдатик в буденовке с облезлой звездой...

Когда они выходили, человека в подъезде уже не было.

— Боятся смотреть, как начальство за жопу берут, — сказал Фред. Это были последние слова, которые Кристапович от него услышал.

Возле «опеля» стоял Колька. Фред покосился на него недовольно, Самохвалов ответил на взгляд:

— Долго вы очень, я уж психовать стал, хотел сам идти...

Двое бандитов уже сидели в машине, Фред хмуро полез за непривычную баранку. Мишка с Колькой вдоль стены уходили к малолитражке, навстречу, не слишком торопясь, но и не мешкая, шел мэтр.

— Где остановимся для беседы? — спросил он на ходу.

— Мы покажем, — так же, не замедляя шага, ответил Михаил, — поедете за нами, встанем, где поспокойнее...

Словно и не было суток — снова поблескивало мокрое шоссе, снова взревывал мотор на подъемах, только мощный «опель» теперь шел сзади, раздраженно рыча на малых оборотах, а Мишка горбился за рулем паршивой блатной тарахтелки... Повернули на Дмитров — мост должен был появиться километра через полтора. Кристапович прижал газ так — казалось, сейчас проломится пол бедной машинешки. «Опель» шел сзади как привязанный — вроде бы опасаться мэтру было нечего, наволочка лежала небось у него на коленях, но держались на всякий случай к Мишке поближе — опасались, видимо, сами не понимая чего, и из-за этого еще больше опасались, и Фред все ближе прижимался высоким домиком хромированного опелевского носа к обшарпанному задку с давно снятым запасным колесом — может, просто прощался со своим верным «кимом»...

Мост возник в тумане сразу. Мишка, напрягшись, всей силой придавил тормоз, сосчитал «ноль-раз», отпустил тормоз и резко газанул, малолитражка, на полсекунды застыв перед вылупленными Фредовыми глазами, прыгнула вперед, и сразу за мостом Михаил развернул ее поперек дороги. «Опель» дергался, было видно страшное лицо мэтра за стеклом, а Мишка уже пер им навстречу, парализуя своим явным безумием, стараясь держать правыми колесами обочину, чтобы успеть вильнуть, если Фред не успеет, но Фред успел, кривя распахнутый в неслышном крике рот, крутнул баранку, и тяжелое черное тело, проломив ограду, длинным как бы прыжком ушло в мутную воду — и снова будто прошедшая ночь надвинулась на Мишку.

— Ни машины, ни монеты, — сказала сзади Файка. Мишка молча вытащил из-под ног чемодан-балетку, бросил назад — услышал, как замок щелкнул и посыпались бумажные пачки, и одна сторублевка голубем перепорхнула на правое переднее сиденье. Колька кашлянул, поперхнулся, зашелся хрипом и матом. От воды рос туман.

— Провалились-таки тормоза, — хрипел Колька сквозь кашель, — провалились, мать их в дых, ну, Мишка, Капитан Немо! И денежки взял...

— А я их и не отдавал, вы забыли, дураки, — сказал Мишка. Он сидел, опираясь на руль, его опять познабливало и тошнило, косое зеркало, рога и кожаный сундук в прихожей плыли к нему в тумане, поднимающемся от воды...

И ни он, ни Колька не увидели ползущего от берега Фреда с мокрой головой, по которой кровь текла, смешиваясь с какой-то речной грязью, и лишь когда разлетелось заднее стекло малолитражки, они оглянулись и увидели сразу все — ткнувшегося без сил в берег уже мертвого стилисту с проломанным черепом и сползающую по заднему сиденью, все дальше от Кольки, красавицу татарку с уже остановившимися синими глазами, все больше скрывающимися под неудержимо льющейся из-под коротких завитков кровью...

Потом была зима. Кристапович жил у Кольки, на стройку ездил электричкой. В феврале поехали на Бауманскую, купили «победу» на Колькино имя. А весной кое-что всплыло на подмосковных реках, да той весной много чего всплыло, а еще больше — летом... К сентябрю же Колька женился — на какой-то штукатурше из Ярославля, ремонтировавшей министерство, которое он по-прежнему охранял.

И Кристаповичу пришлось всерьез подумать о жилье, тем более что летом умерла Нинка. За каких-то два месяца сожрал ее рак — женское что-то, вроде.

ВАМ ОТКАЗАНО ОКОНЧАТЕЛЬНО

Вечерами он сидел на своем низком балконе — малогабаритный второй этаж, — прислушиваясь к надвигающемуся приступу. По старому рецепту закуривал папиросу с астматолом — где-то по своим хитрым каналам доставал Колька — хрипел, успокаивался, рассматривал скрывающийся в сизом воздухе свой двор, даже не двор, а так, проезд между хрущевками. Сняв очки, чтобы лучше видеть вдаль, наблюдал за одной соседкой из прилегающей к его дому пятиэтажки. Крупная, очкастая, плохо и невнимательно одетая, в кривоватых туфлях на огромных ступнях, она была удивительно похожа на его мать, и он вспоминал ледяные довоенные зимы, проклятые годы и письмо соседки из эвакуации, которое он прочел на переформировании в Троицке. «Мамаша ваша умерла сыпняком... аттестат нигде не нашли, так что извините... с приветом из города Алма-Ата, что означает "отец яблоч" ...»

Отец яблоч, думал он. Наш мудрый, великий, самый человеческий, самый усатый отец яблоч, думал он.

Раз в неделю приезжал Колька — в важной шапке, в дубленой шубе, на совершенно уже ни в какие представления не вписывающемся животе шуба натягивалась неприлично. Колька долго пытался внизу, снимая щетки со стеклоочистителей «жигуля», потом с трудом задирает голову на апоплексической шее, смотрел на балкон, часто мигая. «Давай поднимайся, — хрипел астматик, выбираясь из старого, навеки помещенного на балкон кресла, — давай, жиртрест...» Шел открывать дверь, волоча за собой рваный клетчатый плед — подарок еще к пятидесятилетию от тогдашней очередной Колькиной жены. Нынешняя, в крашеной

копне сухих волос над совершенно белым, мучного цвета лицом, с широкой спиной и низкими ногами, шла на кухню, сразу принималась мыть тарелки и готовить еду — была она, при внешности самой злобной из торговок, бабой доброй и Кольке невероятно преданной. Последняя, видать. Выпивали немного, Колька с большими подробностями рассказывал о делах в тресте — хотя служил он там начальником АХО, но все трудности в строительстве принимал близко к сердцу. «Это друг, — думал старик, дыша какой-то новой противоастматической гадостью, — это друг, и он может быть и таким — любим...» Потом Колька начинал клевать носом, жена укладывала его подремать на часок, потом они уезжали — Колька, неделекатно разбуженный, ничего не понимал, хлопал белыми ресницами, жевал кофейное зерно, долго искал ключи от машины...

Гораздо реже заходил Сережа Горенштейн — один из новых приятелей. Познакомились еще тогда, в шестьдесят девятом, в той шумной и полной глупых надежд очереди... Для Сережи она стала первой — он некоторое время еще пошумел и в калининской приемной, и на Пушкинской, и вывозили его однажды на милицейском автобусе за сорок километров ночью, — пока наконец не сник, не притих, умеренно приторговывая своими поделками, довольно популярными в дипкорпусе. Что-то там такое, недостаточно выдержанное он ваял, что-то малевал, про какие-то выставки бубнил в каких-то пчеловодствах — старик этим не интересовался, детство все это, милое детство... Сам он, получив отказ, дергаться не стал, стал думать — но подоспела болезнь, и думать стало бессмысленно, нужно было доживать на пенсию по инвалидности и зарплату сторожа соседней платной автостоянки, потом — только на пенсию... «Им повезло, — думал астматик, — у меня под ногой оказалась банановая шкурка... Если бы не астма, мы бы еще посмотрели, кто кого — у этой уважаемой конторы с Кристаповичем бывало много хлопот, и не всегда в их пользу. Им повезло, — думал он, — им придется возиться с похоронами...» Мысли были нелепые, он сам отлично понимал, что с похоронами будет возиться Колька или собес, но ему было лень думать умно...

С Сережей подружились после того, как обнаружилось, что Кристапович отлично помнит его еще по коктейль-холловским

временам — разносторонний Сережа играл там на рояле. Кристаповичу был симпатичен этот лихой, явно неглупый и добрый еврей, весь в седых кудрях, сильно хромою красавец, неприменный человек всюду, где шла эта нынешняя странная московская жизнь, — на каких-то ночных концертах нового, не похожего на джаз джаза, на вернисажах в обычных квартирах где-нибудь у черта на рогах, в новостройках, на приемах у дипломатов, куда приглашали со смыслом, которого Кристапович никак не мог понять...

— Многое изменилось в семидесятые, — говорил Сережа, выгаскивая бутылку коньяка из джинсов, мудаковатых этих штанов, к которым старик так и не притерпелся. — Многое изменилось, и контора — уже не та контора...

— Контора — это всегда контора, — говорил Кристапович. — Честное слово, Сережа, вы ошибаетесь... Если бы вы были правы и это была бы уже не та контора, мы бы не здесь сейчас с вами выпивали, а там... Где-нибудь на Майорке...

И однажды Горенштейн сказал:

— Вы были правы, Миша... Я понял — здесь нужно по-другому... И кажется, теперь есть случай... мне нужен именно ваш совет...

— Почему именно мой? — поинтересовался Кристапович, хотя он уже догадывался почему.

— Вы мне кое-что рассказывали о той вашей жизни... На войне и после войны... О вашем принципе ударом на удар... — ответил Сережа. — Если вы не придумаете, что сделать в этом случае, никто не придумает.

— Я придумаю, — пообещал Кристапович.

Он и действительно придумал.

...Елена Валентиновна провела август на юге, а в первых числах сентября ехала с Курского домой — по обыкновению, с одним клетчатым чемоданишкой на молнии и никуда не влезающими ластами. Отпуск удался, плавала она, как всегда, часами, вызывающая неодобрительное удивление курортных дам отсутствием — почти полным — нарядов, живота, дамских интересов, наличием очков и отличным кролем. Местные молодые люди — не те, которые проводили дни, рыская в изумительных плавках по пля-

жам санаториев и поражая приезжих водобоязнью и буйной растительностью, а вечерами сидели в машинах с открытыми в сторону тротуара дверцами, выставив наружу ноги в спортивной обуви и руки в затейливых часах, — а те, что днем делали какую-то необходимую даже в этой местности работу, а под вечер приходили к морю и сразу выныривали метров за десять... Эти прекрасно сложенные и молчаливые юноши, явно побаивающиеся женщин, и особенно блондинок, ее почему-то отличали, звали играть в волейбол, и Елена Валентиновна старалась принимать пальцами, иногда забывая даже беречь очки...

Один из этих смуглых атлетов, механик с местной ТЭЦ, рядник едва ли не по всем существующим видам, причем не на словах, как водится в тех краях, а, судя по плаванию и волейболу, и правда первоклассный спортсмен, вскоре начал приходиться на этот, числящийся закрытым, пляж чаще других. Они плавали вместе, он выныривал то справа, то слева, вода стекала с его сверкающих, как котиковый мех, коротко стриженных волос, он молча улыбался ей, вода затекала за его плотно стиснутые зубы, каких она прежде в жизни не видела, вода сверкала на его ресницах, более всего подходящих томной девушке, а не восьмидесятикилограммовому грузину, вода поднималась к горизонту зеленым горбом, над которым едва возвышалась зубчатая черточка пограничного катера, и вода уходила назад, к пляжу, косыми отлогими волнами, неся редкие головы робких санаторных пловцов, зеркально отражая солнце, и в этом блеске слабо вырисовывался исполосованный балконами корпус, и чье-то яркое полотенце рвалось с чьего-то шезлонга в небо — и он снова нырял, не гася улыбку и так и не разжав хотя бы в едином слове изумительных зубов.

За два дня до отъезда она привела его к себе в номер.

Соседка уже улетела в свой Харьков, заезд бесповоротно кончался, а новый еще не начался — она была одна. Он пришел в белой рубашке и, конечно, в нескладных местных джинсах. И только теперь, в темноте, она заметила, что глаза у него светлые, очень светло-серые глаза, совсем не здешнего, маслянистого цвета... Среди ночи на него напал кашель, он давился в подушку и испуганно косясь на тонкие казенные стены. Он боялся, и его испуг едва не помешал всему — а она изумлялась его светлым

глазам, своей ловкости и настойчивости и вообще всему — механик, Боже мой...

Дато проводил ее до вокзала, а к поезду почему-то не подошел — повернулся, перебежал площадь, зажимая в руке адрес и телефон, и вскочил в раскаленный вонючий автобус, отходящий в селение, откуда он был родом, — она не смогла отговорить его от сообщения матери. Ночью в темном купе, измученная прокисшим поездным воздухом и собственной труднопоправимой глупостью, она расплакалась, яростно утираясь отвратительной даже на ощупь простыней.

В нижней квартире она забрала кипу газет, какие-то счета и переводы, письма дочери из спортлагеря, таксика Сомса, плачущего от счастья, и поднялась к себе. На всем лежала сиреневая пыль. Впереди был год работы, по утрам девочки в ОНТИ будут жаловаться на мужей, кое-что описывая шепотом, будет невыносимый, темный и дождливый декабрь, и дай Бог дожить до лыжной погоды... Сомс то прыгал, то ползал на животе, стонал и припадал к коленям. Из пачки газет выпало странное письмо — конверт с цветными косыми полосками по краю, ее адрес и имя были надписаны латиницей. Обратный адрес с трудом разыскала на обороте — письмо было из Милана. От начала и до конца было написано, как и следовало ожидать, по-итальянски. Надо же, не по-немецки и не по-английски, что она с ним будет делать? Подпись была разборчива, но совершенно незнакома. « Попрошу завтра в отделе... Стеллу попрошу, она приличная девка... пусть прочтет... непонятно, кто это мне может писать из Милана... может, по книжной ярмарке какой-нибудь случайный знакомый... но я вроде никому адреса не давала...» Елена Валентиновна была озадачена, но в меру — бывали у нее знакомые в том загробном мире, время от времени она прирабатывала, переводя на каких-то конгрессах и симпозиумах, ярмарках и выставках, работа эта была не слишком приятна — хамство с одной стороны, безразличное презрение, как к муравьям, — с другой... Но деньги постоянно были нужны, отказываться не приходилось, более того — за такую работу боролись, и давала ей эти наряды та же Стелла, муж которой чем-то эдаким занимался не то во Внешторге, не то в МИДе, не то еще где-то... Но в Италии у нее, кажется, никаких знакомых не было и быть не могло, с ее основ-

ным немецким и вторым английским. Впрочем, черт их знает, где они там, в своем мире сказок, живут.

И она, спрятав письмо в сумку, принялась разбирать чемодан, стирать, вытирать пыль — хотя бы в кухне для начала...

Стелла была на больничном и вышла только через неделю. Письмо они прочли в обед, и у Елены Валентиновны сразу как начало звенеть в голове, так и звенело, пока отпрашивалась, ехала домой, поднималась в лифте. Все ее недоумения, опасения и догадки, связанные с письмом, отлетели и уже успели мгновенно забыться — то, что шепотом прочла пораженная до заикания Стелла, не имело, не могло иметь ничего общего с нею, с ее жизнью. И тем не менее это было, было написано простым итальянским языком и нисколько, ни капельки не было похоже на шутку! Жизнь едва заметно покачнулась, и в голове Елены Валентиновны все звенело, звенело...

Она открыла дверь и в комнате, прямо напротив, увидела в кресле Дато. Он сидел, глубоко откинувшись и разбросав ноги в тех же наивных штанах. В животе его, чуть выше кустарной медной пуговицы, торчала наборная рукоятка ножа. Кровь уже потемнела на той же белой рубашке. Елена Валентиновна закричала без голоса и упала на пол в прихожей. Из-под дивана тихо завыл Сомс. В открытую дверь протиснулся человек, перешагнув через Елену Валентиновну, захлопнул дверь, прошел в комнату, сел на диван, закурил. Сомс оборвал вой и зарычал. «Тихо, собачка, — сказал человек, — тихо, слушай...»

— Серезка, а не выдумал все это твой иностранец? — спросил Кристапович. Окурки «беломора», из мундштуков которых вылезали ватки, громоздились в пепельнице — старой немецкой пепельнице синего стекла с выдавленным на дне оленем. Кристапович двинул пепельницу по столу, окурки посыпались, и обнаружилось, что под ними лежит перочинный нож со штопором — а его искали час назад по всей комнате. Кристапович закашлялся, отдышался, глотнул коньяку. — А может, и не выдумал... То-то я ее уже давно во дворе не вижу... Ну, давай, давай дальше...

Месяцы этой зимы летели, как летит время во сне — тянется, тянется — и вдруг все, конец, пробуждение, и оказывается, что

и всего-то длился весь кошмар минут пятнадцать... Начиная с первых слов Георгия Аркадьевича — «Зачем молодого любовника резать? Нехорошо, слушай, мать второй год чачу на свадьбу варит, он от невесты отказывается, в Москву едет, к пожилой москвичке, слушай, а она его финкой — а?» — начиная с этого видения, бреда все пошло без перерывов. И сон, когда наконец приходил под утро, тоже не давал перерыва: все то же, рукоять из веселых пластмассовых колец, Георгий Аркадьевич, без видимых усилий выносящий тяжелый и длинный сверток к своей машине, и опять Георгий, омерзительная глупость его важных манер, глупость каждого движения, глупость пиджака, застегнутого под животом, выпирающим над низко сидящими брюками, глупость непропорционально маленьких рук и ног, золотых цепочек и всяких блестящих штук, которыми была со всех сторон обвешана и облеплена его машина... Время от времени он находил какую-нибудь самую идиотскую форму, чтобы дать ей понять — он твердо уверен, что именно она убила Дато, но он... ради нее... и вообще... Глупость и ужас...

На ее счастье, она уже давно носила очки с подтемненными стеклами, это была единственная экстравагантность, и теперь сослуживцы не замечали красных глаз, застывшего на лице страха, только женщины завидовали тому, как она быстро худеет, предполагая затянувшийся курортный роман — однажды кто-то позвонил домой, ответил Георгий Аркадьевич. Он появлялся днем, утром, ночью, открывал дверь своим, невесть откуда взявшимся ключом, часами звонил по телефону, о чем-то договаривался, грузчики вносили упакованную мебель, в квартире пахло дровяным складом, однажды Елена Валентиновна увидела его днем — шла в обеденный перерыв, брела без смысла, не заходя даже в продуктовые, и увидела его за стеклом, он стоял в ювелирном магазине и беседовал с молодым человеком в мятом кожаном пальто и огромной лисьей шапке. Елена Валентиновна вернулась в отдел, села за стол, вдруг стол уплыл в сторону, и она оказалась лежащей на клеенчатом диване медпункта, над ней было слишком крупное, близко склоненное лицо Стеллы, от непереносимого любопытства подруга даже кончик языка высунула. «Возрастное, наверное, — сказал чей-то голос, — бывает... Ей сколько? Ну видите, приливы, дело обычное...»

Дочь не замечала ничего. Прибегала, хватала сумку с бараклом для бассейна, книгу, неестественной официальной улыбкой отвечала на идиотские шутки Георгия Аркадьевича и убегала, на ходу запив холодный сырник водой из-под крана. С Еленой Валентиновной почти не разговаривала. Только однажды спросила: «Он теперь всегда будет жить у нас?» И пока мать собиралась с силами, махнула рукой: «Пусть, я не против... Он, видимо, богатый?» Елена Валентиновна только дернулась — она как-то давно не употребляла даже мысленно этого слова по отношению к живым людям: то ли не задумывалась об их богатстве, то ли крут знакомых был такой — нечего и задумываться.

Совершенно изменился быт. У дочери появились джинсы за полторы сотни — после чего она и сделала умозаключение относительно Георгия. Ели теперь очень поздно, часов в девять вечера — он привозил финскую колбасу, сулугуни и зелень с рынка, на столе стояла бутылка коньяку... Перед сном Елена Валентиновна, как всегда, гуляла с Сомсиком. В голове было пусто, мелькали какие-то нелепые картины, так шел молча и сосредоточенно, на других собак глядел отчужденно, даже к приятелям не бежал — так ведут себя со сверстниками дети, пережившие горе.

К ее собственному удивлению, на работе никто ни о чем, кажется, не догадывался, забыли и о предполагаемом романе с кавказцем, и даже об обмороке, а Стелла не интересовалась и тем, как Елена Валентиновна намерена реагировать на письмо, — тоже будто забыла, только иногда посматривала ожидающе, но Елена Валентиновна отмалчивалась.

Время от времени к Георгию приходили друзья, в перстнях, хороших костюмах, в дубленках и шапках из мехов, названия которых она не знала. Одни были похожи на самого Георгия Аркадьевича, другие на израильского премьер-министра, каким его иногда показывали по телевизору или на газетных карикатурах. Сидели допоздна, Елена Валентиновна засыпала, да и бодрствуя, из беседы ничего не понимала — назывались какие-то грузинские и еврейские имена, ругали какого-то Мераба, который всегда подводит. Однажды, проснувшись часа в два, она услышала: «Не тяни, Гоги, не тяни, я тебе говорю! Пока оформишь брак, пока полгода переждешь, пока документы подашь, пока разрешение

получишь...» Другой голос перебил: «А, разрешение!.. Пока там мой инспектор сидит, мои люди будут быстро получать разрешения, это я вам ручаюсь... Я этого фоне квас зарядил на десять штук просто так, что ли? Не в этом дело, Георгий Аркадьевич, а в том, что вам еще эту агоише красавицу придется уговаривать, ей березок будет жалко, это точно... И еще мой вам совет: бросьте вы эту мебель-шмебель, все эти камешки-цепочки и прочий дрек! Вы занимаетесь серьезным делом, и не для того я ехал помогать вам из самой Одессы, чтобы вас здесь замели за какое-то фуфло! Приступайте к делу, Георгий Аркадьевич...» И снова закаркал первый голос: «Не тяни, Гоги, не тяни...» «Я ее по-своему уговорю», — сказал Георгий. Елена Валентиновна пошевелилась, чтобы скрыть это движение, перевернулась на другой бок — будто во сне. Голоса затихли, а она действительно задремала, что-то будто промелькнуло перед нею, на минуту она что-то поняла как будто и даже приняла какое-то решение, и связала все — и то письмо, и Дато бедного, и эти мерзкие голоса, — но утром все забылось, снова на жизнь напал обычный в последнее время туман, какая-то рябь... Уже больше месяца по вечерам она принимала таблетку, а то и две тазепама, люминала, триоксазина — что удавалось достать. Иногда таблетки запивала глотком коньяку — тогда рябь и туман становились особенно густыми, жила в полусне, к тому же всю первую половину дня раскалывалась голова. Серые глаза, залитая кровью белая рубашка, смешные джинсы и рукоятка финки время от времени всплывали в поле зрения откуда-то сбоку, иногда заслоняли все, иногда колыхались где-то на периферии зрения, но совсем не исчезали ни на минуту...

На Новый год Георгий сделал два предложения: утром тридцать первого предложил Елене Валентиновне выходить за него замуж и ехать праздновать это решение одновременно с Новым годом в загородный ресторан, где, оказывается, его друзья еще месяц назад заказали столик. Елена Валентиновна посмотрела на него, стараясь пробиться через проклятый туман, остановить взглядом это прыгающее лицо, но не сумела — рябь шла волнами, с подлого лица смотрели светло-серые глаза — те самые, с мохнатыми ресницами и виноватым выражением... Она кивнула — согласилась, по этому поводу быстро выпили две бутылки шам-

панского, прямо с утра. Георгий куда-то исчез, Елена Валентиновна послонялась по квартире — день был выходной, дочь еще вчера уехала, кажется, на какой-то зимний пикник, было пусто и тоскливо, как и прежде бывало ей по праздникам, делать ничего не хотелось. На кухне обнаружила гигантскую мутную бутылку розовой жидкости с парфюмерным запахом, вспомнила, что это принес вчера какой-то человек, сказал, что домашнее вино. Попробовала — вино оказалось прекрасное.

Разбудил Георгий, совал в лицо пластиковый мешок, вытряхивал из него блестящее платье, отливающее металлом, — такого она раньше не то что не носила, и не видела никогда. Хотела встать — покачнулась, ее едва не вырвало прямо на шикарное платье. «Э-э, дорогая Леночка, — захохотал Георгий, — похмеляться надо, да? Сейчас, сейчас...» Почти насильно влил полстакана коньяку, потащил под ледяной душ, когда через час она почти очухалась — рвало ее минут десять, — снова заставил выпить коньяку... Часам к семи она была уже совсем в норме, и даже весело ей вдруг стало, хотелось в ресторан, о котором она раньше только слышала какие-то неотчетливые легенды, танцевать хотелось, она все забыла, будто и не было ничего, и даже Георгий, достающий из огромной плоской коробки невиданно тонкие сапоги и ахающий — какая фирма, а, смотри, какая изящная вещь, а, — не раздражал ее, будто так и должно быть — все эти вещи и такой человек в ее квартире... «Рублей сто, наверное, сапоги», — сказала она с уважением. Дочь, которая вдруг оказалась здесь же — пикник не удался, что ли, — засмеялась с выражением все того же холодного внимания в ускользающих глазах: «А триста не хочешь? Не те понятия у тебя, мамочка, доисторические...» Сама она тоже собиралась в какую-то компанию, заглядывала в зеркало через плечо отчужденно взирающей на себя Елены Валентиновны. Георгий протянул девчонке такую же коробку с сапогами — Бог его знает, откуда он их извлекал, как фокусник. Дочь застыла, потом, пробормотав: «Спасибо, Георгий Аркадич», ушла в комнату, натянула сапоги и осталась сидеть на диване, вытянув перед собой ноги, будто оцепенела... На плечи Елене Валентиновне Георгий накинул свою дубленку. «Слушай, и то приличней, чем твое пальто-мальто...»

Перед рестораном, на стоянке, снег был сплошь гофрирован

шинами, из стилизованного деревянного дома рвалась музыка, милый Елене Валентиновне запах сосен, напоминающий о прошлых, нормальных, невозвратимых зимах с лыжами в Богородском парке, мешался с тошнотворным запахом бензина и сильных — французских, наверное, дилетантски подумала она, — духов. В зале народу было полно, за дальним столиком сидели друзья Георгия, все те же, как с карикатур Бориса Ефимова. Мужчины и женщины, сидевшие за другими столиками и танцевавшие посередине зала, все были примерно одинаковые. Мужики либо напоминали опять же друзей Георгия, либо были определенно и безусловно иностранцами, которых она по непонятным и для самой себя признакам, будучи невнимательной к одежде, все же всегда безошибочно отличала. А женщины все были очень нарядны, надушены, большей частью молоды или казались молодыми, среди них не было ни одной в очках, и Елена Валентиновна даже в своем серебряном платье и дико неудобных, хоть и лайково-мягких, сапогах от всех остальных дам — она не терпела этого слова — сильно отличалась. Может, тем, что платье носила неумело, а сапоги тем более, может, просто выражением лица, какое складывается к середине жизни у человека, всегда зарабатывавшего на себя и зарабатывавшего серьезным и скучноватым делом...

Выпили за уходящий, за наступающий, в зале все неслось и вспыхивало, друзья Георгия время от времени вытаскивали зеленые полусотенные бумажки и шли к оркестру, после чего певцы прерывали свой англосаксонский бесконечный вокализ, меняли высокие подростковые голоса на обычные хамоватые и лихо отхватывали какую-нибудь песенку, вроде блатных, времен детства Елены Валентиновны, только еще глупее и местечковее.

Часам к четырем все перезнакомились, перебратались, Елена Валентиновна здорово охмелела от усталости и на старые дрожжи. Ее все время приглашал танцевать какой-то седой, высокий, очень элегантный, в невероятном каком-то пиджаке, со смешным русским языком. Представился, дал карточку — Георгий ничего не заметил, был уже сильно хорош. На карточке было и по-русски — секретарь, атташе, республика, что-то еще — и латиницей, от которой сразу зарябило в глазах, вспомнилось то письмо. Письмо, подумала Елена Валентиновна, вот в чем все дело, в

письме, на которое она до сих пор не ответила, с письма все началось! Но тут же мысль эта забылась, уплыла, от нее осталась только тень, ощущение открытия тайной причины... К их столику подошел какой-то человек, глядя на Елену Валентиновну в упор, зашептал что-то на ухо Георгию Аркадьевичу, тот слушал, трезвел на глазах, наливался сизой бледностью — будто менял красную кожу на серо-голубую, заметна стала отросшая к середине ночи щетина. Встал, резко пошел из зала, кто-то из друзей кричал вслед: «Гоги, отдай ключи, не будь сумасшедшим человеком, отдай ключи, это же понт, Гоги!» Но он вышел, оркестр тут почему-то замолчал, и Елена Валентиновна ясно услышала, как ревет, удаляясь, машина — но и это тут же забылось, и она опять танцевала с седым дипломатом, и вдруг увидела, что у него глаза Дато, светлые в темноте, и оказалось, что они уже едут в машине, это была, конечно, машина итальянца, длинная и горбатая, как борзая, прекрасно пахнущая изнутри машина...

Утром ее разбудил звонок в дверь. Она кое-как сползла с дивана, серебряное платье валялось на полу, сапоги свесили голенища со стула, спала она прямо в комбинации... В ту секунду, когда она нацепляла очки и пролезала левой рукой в рукав халата, будто свет вспыхнул — она вспомнила сразу все последние месяцы, весь этот кошмар и фантастику, которую невозможно было представить связанной с собственной жизнью, вспомнила письмо — и снова все поняла, все причины и связи, и снова сразу же забыла понятие... Только слова из письма неслись в голове, пока шла к двери.

«...две сестры, старшая Женья и младшая Зоя. Первое время обе семьи примыкали к русскому дворянскому обществу Белграда, однако перед самым окончанием войны переехали в Италию и поселились в пригороде Милана. Месяц назад скончалась Зоя Арменаковна, а Евгения Арменаковна умерла еще в пятидесятые годы... в сертификатных ценностях, недвижимости и существенной доле их доходов от небольшой фабрикации приборов для аэропланов... имею честь предварительно уведомить, как друг многих лет вашей семьи... Дж. Михайлофф, дипломированный архитектор».

Снова позвонили — долго, бесконечно. Она наконец добралась до двери, открыла. На площадке стоял милиционер —

она не разбиралась в званиях. Он назвал ее имя, отчество, фамилию, адрес, год рождения — все с вопросительной интонацией. Она кивала, запахивала халат, предложила войти — даже не испугалась, за последнее время привыкла ко всему, была уверена, что кончится все в любом случае очень плохо. Милиционер прошел на кухню, сел, не глядя по сторонам, на край табуретки: «Гулия Георгий Аркадьевич, тысяча девятьсот тридцать первого года рождения, грузин, постоянное место жительства город Потти, по профессии экономист, у вас проживал? В состоянии опьянения... тридцать восемь минут, на участке МКАД между... в результате прицеп грузового автомобиля «зил-130», груз — картофель... выброшен... грудной полости, брюшины, позвоночника в области... не приходя... паспорт на ваше имя, денег в сумме...»

Елена Валентиновна вспомнила, что вчера утром отдала Георгию паспорт, чтобы подавать заявление в загс. Она подошла к крану, налила полчашки воды, обернулась к милиционеру — лицо его уплывало, но она старалась следить за ним, сосредоточенно всматриваясь в переносицу, — спросила: «У вас случайно нету чего-нибудь от головной боли?» Милиционер молча, не удивляясь ее спокойствию при сообщении о смерти близкого человека, порылся в кармане, вынул мятую пачечку пиркофена. В это же время зазвонил телефон, глотая таблетку, она взяла трубку. «Элена? Это здесь Массимо, амбасада республика Италияно. Как вы здоровы? Все нормальное? Элена, нужен разговор с вами, я уже не мог спать сегодня от ночного времени... Элена? Пер фаворе, алло? Элена, алло... вы слышаете?!»

Милиционер смотрел на нее грустно и серьезно. Она заметила, что глаза у него были светло-серые, совсем светлые в сумеречном зимнем свете, вяло вползающем на кухню. «Такая веселенькая цветная ручка, колечками, знаете?» — сказала Елена Валентиновна милиционеру. Он не успел вскочить — она рухнула навзничь, виском в сантиметре от крана мойки. Трубка моталась на растянувшейся спирали шнура, оттуда шел хрип и сквозь хрип — «пер фаворе, Элена... вы слышаете?.. О, не перерывайте, девучка, не перерывайте!..» — бедный итальянец все перепутал, действовал, как при общении с советской междугородной. Милиционер положил трубку на место, тут же снял, стал вызывать «скорую»...

— Кое-что я уже начинаю соображать, — сказал Кристапович. — Бедная баба, ну влипла!.. Да ты рассказывай, Сережа, это парень свой, — старик кивнул в сторону молча курившего в углу мужика в клетчатом пиджаке с кожаными заплатами на локтях, лысоватого, очкастого. — Сосед мой, писатель не писатель, а факт, что твой брат — отказник. Так что давай дальше, заканчивай рассказ, говори, при чем здесь ты, да будем решать, что делать...

Быстро уставший слушать непонятные и никакого отношения к ним с Мишкой не имеющие сказки — Колька уже давно умотал. Очкастый писатель приканчивал пачку кубинской махры — черт его знает, как он выдерживал этот горлодер. Сергей Ильич вел рассказ к концу, и Кристапович изумлялся — давно уже он не верил в возможность таких ситуаций в современной жизни, давно уж и забывать начал веселые годы, когда гонял по ночной бессонной Москве на «опель-адмирале» и твердо верил в возможность своего кулака и маленького револьвера, припрятанного под сиденьем, — и вот будто все вернулось...

К началу весны все изменилось настолько, что даже и воспоминаний о прошлой жизни у Елены Валентиновны не осталось. И вообще ничего не осталось. Полностью перестав спать и приобретя манеру то и дело без видимой причины плакать, а после удара затылком о кухонный пол еще и постоянные головные боли, Елена Валентиновна пошла к врачу, тот отправил ее к другому, дали больничный, еще один, потом на три недели уложили в стационар, большой парк был засыпан глубочайшим снегом, Елена Валентиновна гуляла в той самой, привезенной дочерью, от покойника оставшейся дубленке и в негнущихся, режущих под коленками больничных валенках. Глаза слипались, в кривом, ржавом по краям зеркале над умывальником она каждое утро видела свое распухающее лицо, толстела не по дням, а по часам, товарки по несчастью знали точно — от аминазина. И в один прекрасный день оказалась дома — без работы, с третьей группой инвалидности и пенсией в семьдесят рублей. Прибежала Стелла, со страхом и неистовым любопытством оглядела ее, все вокруг, сделав видимое усилие, поцеловала в щеку, оставила апельсинов на

месткомовские три рубля и от себя крем «Понда» — и исчезла. Сомс целыми днями сидел на коленях, с великими трудами взбирался, цепляясь своими беспощадно скрюченными руками-ногами, — иногда поднимал голову, смотрел отчаянно в упор, безнадежно вздыхал — не умел утешительно лгать.

А вечером приезжал Массимо, сумрачно уехал на подъезде мотор, гигантская железная борзая оседала низко на снегу, прикрывая своим распластанным телом широкие колеса, он входил — в длинной шубе, длинном шарфе, без шапки, в идеально причесанной седине. Увидев его таким, дочка тихонько сказала: «Наш Нобиле», Елена Валентиновна неожиданно для себя визгливо засмеялась, но тут же извинилась, повторила шутку для Массимо по-английски. Дочь приходила поздно — шел к концу десятый класс, кажется, был какой-то роман, спортшколу бросать не хотела — являлась к десяти, голодная как волк.

Так и сидели на кухне странным семейством. Массимо в сияющей голубоватым свечением рубашке и грязном фартуке Елены Валентиновны ловко готовил то спагетти, то пищу с грибами, с ветчиной, с рыбой, продукты привозил с собой в запаянных пластиковых блоках с маленькими белыми наклейками «Березка», потом в специальной фыркающей штучке заваривал кофе «капучино», Елене Валентиновне наливал в рюмку какой-то гадости из красной упаковки — «Это очень эффективное: патентовано в Юнайтед Стейтс, против болезнь тебя, Елена...» — и начиналась ежевечерняя беседа.

Каждый раз начиналось с того, что дочь, кривовато улыбаясь, — новая манера, — спрашивала: «Так когда же мы отваливаем, господа?» — и Елена Валентиновна всякий раз от этих слов вздрагивала, не могла привыкнуть к бесстрашию молодого поколения и однозначности решений, хотя действительно все уже было ясно. В тот вечер, когда наконец ушел, приведя ее в сознание, грустный милиционер, они встретились с Массимо, сидели в гадком кафе у Крымского моста, вокруг были пьяные, вызывающе перекликались какие-то юные чернокожие люди, за соседним столом периодически впадал в дрему очумелый командированный, а красивый седой итальянец сразу, с первых слов вел дело серьезно.

Его друзья, очень умные и ответственные люди, предложили

ему бизнес, сначала он не соглашался, он порядочный человек, его отец был главным архитектором города Милана, правда, в плохие времена, когда варварство вернулось на итальянскую землю, прикрываясь традициями Рима... Но Массимо воспитывали в Швейцарии, потом в Англии, колледж Церкви Христовой. Предложенный ему друзьями бизнес был оскорбителен для него как для джентльмена. Все-таки его сумели убедить, он мог принести пользу многим людям и помочь законной наследнице вступить в права на свободной земле, там, где государство не вырывает из рук своих подданных всякую значительную собственность, где человек волен в словах и мыслях, в передвижении и всяком выборе. Он имел возможность, овдовев в результате авиационной катастрофы, страшного столкновения «боинга» с истребителем над тунисским аэродромом два года назад, помочь бедной служащей тоталитарного режима стать свободным и достойно обеспеченным человеком. Он согласился помочь ей и людям, которые были заинтересованы в том, чтобы ее доля участия в производстве аэронавигационных приборов, а также другие наследственные доходы, оказавшиеся весьма значительными к концу жизни старой армянской синьоры, — покойная чрезвычайно умно вкладывала средства, — чтобы все это оказалось в руках человека, который получит свободу и права в цивилизованных условиях. Вознаграждение — пятнадцать процентов от всех наследуемых ценностей, в соответствии с полученным от заинтересованных лиц обещанием, — не слишком интересовало Массимо, правительство Итальянской Республики хорошо оплачивает службу третьего секретаря своего посольства, а от покойной жены он унаследовал и кое-какое независимое состояние. Но он решил просто помочь хотя бы одному несчастному гражданину этой несчастной страны — увы, он достаточно посмотрелся райской социалистической действительности за эти полгода в Москве...

Она слушала молча, и вдруг ей показалось, что она давно, чуть ли не с самого эвакуационного самарского детства, была готова ко всему этому — к какому-то сказочному богатству, к эмиграции, к прощанию навсегда с этой жестокой, ленивой, подлой страной, где местные звали ее «выковырянной жидовкой» и одобряли «Гитлера, который до вас добрался», где она всегда была второсортной, хотя на самом деле не имела даже никакого

отношения к евреям — просто в глазах томный отблеск армянской четверти крови да еще непозволительная интеллигентность во всем... Ей показалось, что она всегда была готова к другой жизни, к другому миру, о котором тогда, в бараке на окраине Куйбышева, иногда говорили — или теперь ей уже и это казалось? — шепотом: «тетки Женя и Зоя из Италии»...

Она слушала, кивала, улыбалась светлоглазому — глаза сияли в полутьме — седому человеку со смешным выговором, а за соседним столом хрипел, давился и вздрагивал во сне пьяный командированный, и бешено плясали вокруг московские негры...

Итак, они сидели на кухне и обсуждали подробности предстоящего отъезда и будущей жизни...

В тот вечер в кафе Массимо сказал: «Но теперь, когда я увидел вас, Элена... вы не будете поверить... я наплеваю на это наследство... это правда, Элена, эта ночь карнавала все сделала другое... по-другому, да?..»

Итак, они сидели на кухне. Уже давно было решено, что они поженятся, как только Елена Валентиновна окончательно оправится от своего нервного срыва, а это благодаря американскому средству должно быть не позже как через месяц. Врачи не будут держать ее на инвалидности ни на день дольше, чем минимально возможно, — их за это не хвалят. А вот когда они ее выпихнут на работу, тогда и можно будет затевать все дела с регистрацией брака — в нынешнем ее положении, подай они заявление в загс, ничего не стоит ее и в Кащенко усадить... А к тому времени Оля как раз закончит школу. И уже июль они проведут скорей всего в Италии — если лето не будет слишком жарким. Жену и падчерицу дипломата ОВИР не станет особенно задерживать.

Так они проводили вечер за вечером. Массимо обязательно привозил что-нибудь для дочки — какие-то розовые брюки, какие-то тапки, маленький магнитофон, чтобы носить на поясе и слушать на ходу... Ольга на все это — Массимо, мать, новое барахло — смотрела своим обычным внимательным, запоминающим взглядом. Представляясь итальянцу, назвалась с какой-то незнакомой Елене Валентиновне кокетливостью: «Ол-и-а...» — и мать подумала, что уже давно в мыслях не называла дочь по имени, просто дочь — как должность... Внешне Ольга стала сильно похожа на Елену Валентинову — высока, большерука,

большенога и, кажется, уже близорука, сходство это сама Елена Валентиновна и принимала как вполне достаточное объяснение для холодности и даже некоторой ревнивой отчужденности, возникшей между ними в последние месяцы, — да и события, наконец, на пользу отношениям между матерью и дочерью не пошли... Роман Ольга благополучно пережила, школу заканчивала прилично, даже лучшим подругам про тряпки и магнитофон говорила, что подарены новым мужем матери, богатым грузином, — ума хватило сообразить — и ждала, не могла дожидаться отъезда из страны счастливого детства, чем очень удивляла Елену Валентиновну. Откуда что взялось? И ведь не говорили раньше никогда ни о чем эдаком...

Для Элены итальянец привозил все более чудодейственные лекарства, и она уже действительно чувствовала себя гораздо лучше: пару раз проехала на лыжах и — с помощью Массимо, конечно, — купила абонемент в бассейн «Олимпийский». Подарков ей он не делал, только к первому апреля — смехотворному, как она говорила, ее дню рождения — принес колечко с синим камнем, про который впоследствии от знакомой по бассейну узнала, что это сапфир, а услышав предполагаемую цену, едва не утонула. Да еще привозил все время журналы, видимо, с дальней целью приохотить ее к красивым тряпкам, но она, рассматривая яркие картинки и восхищаясь прелестными девушками и еще более прелестными юношами, барахло как-то не воспринимала, модных тонкостей не понимала и только удивлялась, как все замечает, понимает и схватывает Ольга — дочь сама все больше становилась похожа на девушку с такой картинки.

Поздно вечером Массимо уезжал, Елена Валентиновна выходила проводить его и пройтись с Сомсиком. Шли за угол, где из соображений маскировки оставлялась машина, такс важно полз брюхом по весенней грязи, по слякотному асфальту, солидно, снизу и искоса поглядывал на знакомых колли и догов — понимал, и что эта шикарная машина принадлежит уже практически ему, ездил в ней пару раз, и что справка, необходимая для его выезда за рубежи великой собачьей родины, будет выправлена своевременно, не забудут.

Елена Валентиновна уже почти совсем успокоилась, будто и не было ужасов осени и зимы, будто всю жизнь ждала она ита-

льянского дипломата с почти русским именем и святящимися в темноте глазами. «И эти, грузинцы, — говорил Массимо, шагая тонкими туфлями прямо по лужам, проволакивая полу светлого пальто по грязному боку машины, ничего не замечая, — эти из мафия, тоже, верю тебя, были охотники, волонтиери за твое наследство, верю тебя, этот Георгий и все...» Но она только смеялась над произношением, смеялась уже не визгливо, как во время болезни, а обычно, как всю жизнь, — заливаясь и прикрывая по школьной еще привычке рукой кривоватые передние зубы. Она смеялась и видела перед собой светлые в темноте глаза Дато на красноватом от кварцевой лампы лице итальянца...

Однажды под вечер она поехала вместе с ним в «Березку» за продуктами — ей вдруг захотелось увидеть это изобилие за твердую валюту.

От дверей магазина им навстречу шагнули четверо, и в мгновение они оказались разделены. Она успела услышать, как один из тех двоих, что теснили к машине Массимо, сказал: «Господин Кастальди? Правительство Союза Советских Социалистических Республик предъявляет вам обвинение в действиях, не совместимых со статусом дипломата. Мы предлагаем вам немедленно вернуться в ваше посольство и не покидать его, пока...», — но уже в эту секунду она оказалась в глубине черной «волги», взревел мотор, хлопнула дверца, и слева отчетливо сказали: «Только тихо, чтобы все было тихо...» — и справа добавили: «Ведите себя интеллигентно, Елена Валентиновна».

И все кончилось. Через полчаса она сидела в казенном кабинете, а напротив, под казенным портретом, сидел человек в темном костюме и быстро записывал ее фамилию, имя, отчество, адрес... Она была уверена, что уже слышала эти вопросы, задаваемые этим же голосом. «Ну, так какие же сведения, известные вам, как бывшему работнику отдела научно-технической информации режимного предприятия, вы успели передать представителю страны — участнику агрессивного блока НАТО?» — спросил он и поднял лицо. Он оставался в тени, в полутьме за крутом света от настольной лампы, и она увидела светло-серые, яркие глаза на стертом лице знакомого милиционера. «Снова у вас неприятности, Елена Валентиновна...» — грустно сказал он...

— Ах ты, мать и не мать! — крикнул Кристапович, закашлялся, прикурил новую папиросу, отмахнул рукою дым. — Ну а ты, Сережка, спорил — то-се, контора уже не та, там новые люди, они действуют культурнее, они современные... Были костоломы и дурачки, играли в казаков-разбойников и в Ната Пинкертона, а настоящее занятие была заплочная работа — так и осталось. Сами себе врагов выдумывают, потом с ними воюют... Раньше, на кулак наткнувшись, отступали, думаю, и сейчас отступят...

Лысый писатель в углу сидел с закрытыми глазами — будто дремал. Горенштейн допил коньяк, оставшийся уже только у него в рюмке, тоже закурил — передохнуть. Писатель поднялся:

— Схожу к себе, это рядом, бутылку принесу, только вы без меня не продолжайте рассказ, ладно?

— Ради такого дела потерпим, — со смешком прохрипел старик, — да, Сережа? Ему же интересно как инженеру человеческих душ... Душ-то уж давно не осталось в сраной стране, а инженеров — до хрена и больше... Ну, давай, писатель, давай, по-быстрому...

Кристапович нервничал — он уже понимал, в какую историю лезет Сережа, и понимал, что план, который он должен разработать, не может допускать даже одного шанса неудачи — слишком много беспомощных, идущих на риск не по складу души, а по необходимости, будут этот план осуществлять. А с другой стороны... «Неумехи, трусливые неумехи иногда в деле-то выигрывают больше крепкого мужика, — думал Кристапович. — Они злее... злее...»

Писатель вернулся через полчаса, Горенштейн рассказывал еще час, потом до трех часов ночи старик размышлял вслух, учил Горенштейна, ругал страну матом, снова подробнее учил Горенштейна, требовал, чтобы тот повторял шаг за шагом весь план будущих действий...

Под утро, может, от выпитого и слишком долгого разговора старику стало совсем плохо. Вызвали «скорую»; пока ждали машину, Горенштейн собрался уходить — ему совсем ни к чему было лишний раз мелькать в этом дворе, где случайно сошлись все нитки и кривые тяги этого невероятного дела. Писатель остался ждать врача, Кристапович сипел топчущемуся в прихожей Горенштейну:

— И не сомневайся, Сережка, это вернее, чем самолет... Они не ждут, они мудаки, Сережка, чиновники, для них неожиданность — конец всей их силе... И на баб положишься, не бойся, они спокойней мужиков действуют. Слышишь? А с парнем этим твоим, Геной, я бы хотел познакомиться, в моем вкусе, видно, парень... Да теперь уж не успею, ему здесь делать нечего... Ну, давай, Сережка, действуй... Покажи еще раз чекистским сукам работу Кристаповича, покажи...

Горенштейн наконец ушел. «Скорая» увезла старика в больницу — инфаркт был обширнейший, выжил он по недоразумению и на остатках здоровья, не уничтоженного до конца даже астмой. Писатель шел домой, встречал несущихся к открытию метро соседей, дома вскипятил чай, включил радио — сквозь треск можно было хотя бы известия послушать в утренних, меньше глушенных передачах. «Да, посмотрим, посмотрим, начало его плана увижу здесь, во дворе, а об окончании по радио, может, скажут, — размышлял писатель. Глаза и глотку саднило от выкуренного за ночь, жена спала, уткнувшись в подушку. — Посмотрим, а потом... потом и пора...» На балконных перилах важно топтался голубь с одной обмороженной лапой, старый знакомый, а воробей-прилипала ловко хватал с полу крошки, а человек ломал и ломал черствый кусок хлеба, сыпал и сыпал через приотворенное окно крошки, и снова воробей перехватывал их под самым носом голубя — почти на лету...

Однажды утром, примерно через неделю после допроса, ее разбудила зареванная дочь, сунула к уху малюсенький приемничек — последний подарок Массимо: «...нон грата, то есть нежелательным лицом. Министерство иностранных дел СССР выражает правительству Италии решительный протест и по поручению Советского правительства предупреждает, что подобные действия впредь... Мы передавали заявление ТАСС. Вчера в Кабуле состоялся вечер советско-афганской дружбы...»

Елена Валентиновна уже не плакала. Вообще, после исчезновения Массимо, после его лихорадочного, прерванного звонка на следующий день: «Элена, верю тебя, все будет... Элена, дольче, ты слышаешь?! Алло, Эле...», после того, как на лестничной площадке к моменту ее возвращения с допроса откровенно обосновались молодые люди с толстыми плечами и вялыми лицами, после того,

как еще пару раз свозили на Лубянку и оставили в покое, взяв подписку о неразглашении и предупредив, что любая попытка связаться с иностранными посольствами или корреспондентами будет расцениваться как действие, враждебное социалистической родине и направленное на подрыв существующего государственного строя, за что она будет нести уголовную ответственность по статьям таким-то, после того, как в допрашивающем она окончательно узнала того милиционера, что приходил после гибели Георгия, а он засмеялся: «Узнали все-таки? Да, совсем у вас памяти нет, Елена Валентиновна, видимо, необходима вам более серьезная помощь нашей психиатрии...» — после всего этого она странным образом успокоилась. Перестала принимать какие-либо транквилизаторы, но целыми днями гуляла в Ботаническом саду, не обращая внимания на малого, нагло топающего по пятам. Питалась любимыми кашами и творогом, снова стала читать много по-английски. Постепенно она разобралась во всем происшедшем, картина выстроилась, и чтобы закрепить ее, она стала объяснять все дочери — Оля слушала, раскрыв рот, о заграничных родственниках, о наследстве, вокруг которого кипят страсти по обе стороны границы, о кавказских мафиози и вежливом гэбэшнике, произносящем «в соответствии с законодательством нашей страны» как остроумную шутку. Ольга получила аттестат со средним баллом четыре с половиной, но поступать, естественно, никуда и не пыталась, устроилась на почту в своем дворе, в отдел доставки, и большую часть времени проводила с матерью — словом, обычная семья, инвалид-мать и при ней обреченная на каторгу, пока мать жива, то есть лет на двадцать, дочь, немало вокруг таких... Одна деталь — у дверей квартиры этой психически больной немолодой женщины маялся топтун, а собственность ее специальный отдел Министерства финансов СССР оценивал в закрытой справке в четыреста с лишним миллионов инвалютных рублей — ничего не поделаешь, представительница одной из ветвей знаменитого эмигрантского миллиардерского рода Тевекелянов...

Так и прожили июнь, потом июль, август, начало сентября... Елена Валентиновна, гуляя, напряженно о чем-то думала, старалась не видеть светло-серые глаза у всех встречных — понимала, что это болезнь, но поделать ничего не могла — видела ясно.

Оля разносила почту, выдавала в пропахшей горячим сургучом и сырой бумагой комнате журналы «Америка» в плотных коричневых конвертах, ходила в магазины за творогом и геркулесом, Сомсик то гулял со старшей хозяйкой, то сидел вместе с младшей над учебником итальянского — Ольга занялась всерьез языком, и, как всем, чем занималась всерьез, — до полного озверения, круглые сутки и с быстрыми успехами.

Однажды Елена Валентиновна вернулась с прогулки уже в сумерках. Ольга открыла дверь напряженная, нелепо улыбаясь, сказала: «Тебя ждут». В комнате сидел тот самый — милиционер в звании подполковника Комитета государственной безопасности, Анатолий Иванович Черняк, как он представился еще на первом допросе. Вежливо встал навстречу: «Позволю себе отнять немного вашего времени, Елена Валентиновна». Она села на диван, взяла на руки ворчавшего Сомса, вытирала ему тряпкой ноги после гулянья — набегался сегодня, — на лице у Елены Валентиновны изобразилось уже привычное ледяное неслушание. Анатолий Иванович молча достал из плоского чемоданчика какие-то фотокопии, несколько листов, протянул ей. Она отложила в сторону тряпку, подвинулась к лампе. «Коллектив Инюрколлегии с прискорбием извещает о трагической гибели заведующего бюро переводов Гачечиладзе Мераба Отариевича и выражает...» Она отложила листок — это была копия внутриучрежденческого объявления, писанного от руки, — и поглядела на Анатолия Ивановича, как бы недоумевая. «Мы не могли примириться с тем, что люди с нечистыми руками используют в корыстных целях информацию государственной важности, — сказал гэбист. — Товарищ Гачечиладзе, кстати двоюродный брат небезызвестного вам гражданина Гулиа, имел по службе доступ к запросу о наследниках скончавшейся в Италии Зои Арменаковны Тевекелян. Ему стали известны также и данные розыска наследников, приведшие к вам, Елена Валентиновна. И пока наши компетентные органы решали, как помочь вам...» — «А вы бы не помогали...» «Ну, я вижу, вы окончательно поддались нездоровым настроениям, — покачал головой Анатолий Иванович. — Пока мы решали, этот Гачечиладзе сделал закрытую информацию достоянием преступной группы, возглавлявшейся Георгием Гулиа, профессиональным аферистом, не впервые пользовавшимся дове-

рием немолодой женщины, и неким Моисеем Зальцманом, уголовным преступником и сионистским агентом. В эту же группу входил и устраненный впоследствии самими преступниками — в результате конфликта внутри шайки, а также с целью скомпрометировать вас — некто Нодиашвили Давид...» «Нет», — тихо сказала Елена Валентиновна. «Пожалуйста, посмотрите следующую фотокопию», — так же тихо сказал Анатолий Иванович. На листе разбегались опрокинутые завитушки грузинского письма, тут же был перевод, заверенный какой-то официальной печатью: «Дато, блондинка не мать — не люби ее сильно, деньги все равно делить будем. Не забывай дело, Дато». «Это ложь, подделка», — сказала Елена Валентиновна. «Вы наслушались измышлений о наших методах, — улыбнулся Анатолий Иванович, кивнул на приемник. — Нехорошо, вы ведь все-таки советский человек. Ну, дело ваше, можете не верить, это уже не имеет значения...»

Елена Валентиновна поверила сразу — слишком безразлично говорил этот чекист, если бы он знал все, нажал бы на эту записку и ее достоверность как следует. Она поверила — и уже невнимательно, совсем невнимательно слушала дальше: «...в результате Гачечиладзе попал под электричку на станции Мамонтовка, его толкнула толпа...» «Не могли допустить, чтобы люди с нечистыми руками?..» — все-таки нашла в себе силы сказать Елена Валентиновна. Анатолий Иванович не ответил, только в глаза ей глянул прямо — она осеклась. «...Гулиа, как вам уже известно, погиб в автокатастрофе пьяным...» Ее все же подмывало — она, на секунду испугавшись до дрожи, уже совсем не боялась этого щенка — слишком он хвастался убийствами. «А это не вы, случайно, тогда вызвали Георгия из-за стола? Вроде бы похожи... Впрочем, что же, у вас в организации больше и людей нету — все вы да вы, во всех лицах...» Теперь он не стал смотреть на нее со значением, он просто продолжал — как бы признав ее равной, как бы выкладывая все козыри в открытую: «Нодиашвили, как нам стало недавно известно, скончался в вашей квартире от удара ножом. В убийстве сознался подручный Зальцмана Тышевич, выродок, рецидивист — он задержан и находится сейчас вместе с Зальцманом в следственном изоляторе нашего московского управления. Вы должны отвечать перед

судом за сокрытие обстоятельств убийства, Елена Валентиновна. Но у нас есть к вам серьезное предложение...»

В прихожей хлопнула дверь — Ольга, сидевшая все это время на кухне, откуда доносилась какая-то диковатая музыка, ушла разносить почту. «Ваша дочь пошла на вечернюю доставку, — сказал Анатолий Иванович. — В вашем квартале очень темные подъезды и полно молодого хулиганья, но вы не волнуйтесь: пока мы о вас заботимся, с нею ничего не случится...»

«Я покончу с собой», — неожиданно для себя громко сказала Елена Валентиновна. «И очень глупо поступите, — ответил спокойно Анатолий Иванович. — Мы вам предлагаем чрезвычайно выгодные для всех заинтересованных сторон условия. В течение месяца-полтора вы вместе с дочерью получите все необходимые для выезда из страны документы и, через Инюрколлегию, официально вступите в права наследования. Уже в октябре вы будете в Милане и воссоединитесь наконец с родственниками, для чего вам будет дана выездная виза...» «Какими еще родственниками? — безразлично поинтересовалась Елена Валентиновна. — Там же все умерли...» «Ничего подобного, — возразил Анатолий Иванович. — У вас есть племянник, Карло Тевекелян, тридцать четыре года, холост, учитель средней школы. Он делит с вами, кстати, все наследуемое в пропорции один к трем. Хороший парень, очень любит с ветерком проехаться на своем маленьком «порше» — между прочим, вы его наследница, в случае чего. Словом, руководствуясь гуманными побуждениями, наши органы могут разрешить вам выезд для воссоединения семьи, если...»

«Ну, что же “если”?» — спросила Елена Валентиновна. Все, что происходило с нею за последние месяцы, направило ее сообразительность в определенную сторону, и теперь она уже догадывалась о предложении, которое должен был сделать гэбэшник, но все-таки не могла поверить, что это происходит так просто. Сомс вдруг спрыгнул с ее колен, потопал на кухню — к своей пустой миске. Она пошла следом — варить ему геркулес. Анатолий Иванович ответил из комнаты — весело, громко: «Ничего особенного. Просто до отъезда вам надо будет оформить брак с хорошим, честным человеком, настоящим патриотом своей родины, а через полгода после приезда туда вы передадите ему все права

на ту часть вашего наследства, которая касается важного для стратегических интересов нашей страны производства...» «Аэронавигационные приборы?» — спросила Елена Валентиновна из кухни. «Ну, вы все понимаете, — обрадовался Анатолий Иванович. — Впрочем, было же письмо... А все остальное будет в полном вашем распоряжении — дом, машины, средства для жизни и прекрасного отдыха, для учебы дочери, для обеспечения ее будущего в том мире, где человек без денег — ничто...» «А кто мне гарантирует, что я не последую за... всеми... всеми, кого вы уже?.. Кто гарантирует, что через год в Милане нас с Олей не убьют какие-нибудь ваши красные бригады?» Елена Валентиновна изумлялась, как глубоко она вошла в это безумие, прежде она бы и представить всей этой пошлой бредятины не могла, теперь же это казалось ей обычной реальностью. «А кто гарантирует, что вы по приезде туда не обратитесь в полицию и против честного человека, скромного московского инженера, не имеющего ясных политических убеждений и последовавшего за вами только по большой любви к вам, да и отчасти поддавшись несколько критическим настроениям по отношению к советскому строю, — кто гарантирует, что против этого слабого, но ни в чем не повинного человека не будет сфабриковано обвинение в шпионаже, с громкими стандартными воплями газет о «руке Кремля», «проникновении чекистов» и так далее? Кто нам гарантирует? Кто мне гарантирует, что спецслужбы не займутся мною, едва я там появлюсь?»

Елена Валентиновна слушала все это из кухни — кормила Сомса, как обычно, смотрела, как он придерживает своими кривыми руками-ногами едущую по полу миску... Услышав последние слова, она вернулась в комнату. «Вы?!» «А что, очень не нравлюсь?» Он откинулся в кресле: впервые за вечер достал сигареты, жестом спросил разрешения курить, она автоматически подала пепельницу... «А где сейчас Массимо?» — спросила она. «Вы очень преданный человек, — серьезно сказал Анатолий Иванович. — Господин Кастальди, я думаю, получил в своем ведомстве отпуск после тяжелой службы в России и отдыхает где-нибудь в Альпах... А вам я советую дочитать эти документы. Там есть много любопытного о его чувствах к вам...»

Елена Валентиновна взяла последний лист фотокопии. Это

был текст какой-то справки, в правом верхнем углу имелся, как положено, гриф. «Кастальди Массимо Винченце Паоло... тысяча девятьсот тридцатый... отец — Кастальди Франческо, архитектор, при Муссолини — активный член фашистской партии, участник похода на Рим... связь с русской эмиграцией через друга отца, архитектора Джованни (Ивана Алексеевича) Михайлова, компаньона и друга семьи финансистов русско-армянского происхождения Тевекелянов. Массимо Кастальди, третий секретарь посольства Итальянской Республики в Москве, имеет поручение определенных финансовых кругов (и, возможно, контрразведки итальянской армии) вывезти из СССР, подстраховывая обычные каналы эмиграции (в данном случае, по соображениям гос. безопасности СССР, закрытые), гражданку Спасскую Е.В., наследницу Э.А. Тевекелян...»

«Это не имеет значения, даже если правда, — сказала Елена Валентиновна. — Да он кое-что и сам рассказывал, а ваше толкование меня не интересует... Ваша организация не слишком разбирается в обстоятельствах возникновения человеческих чувств...» «В общем, подумайте над тем, что я предложил, — сказал Анатолий Иванович. Он снова прикурил, и в огоньке зажигалки, в сизоватом этом свете, резко вспыхнувшем в густых сумерках, наполнивших комнату, — она забыла зажечь свет — Елена Валентиновна увидела светло-серые глаза, серьезные и грустные. Анатолий Иванович сидел в кресле, далеко вытянув вперед скрещенные ноги, и вдруг ей показалось, что она видит веселые разноцветные колечки, пластмассовую рукоятку чуть выше пояса, кровь... — Трех дней вам будет достаточно, чтобы подумать?» «Подумайте и вы о своей страстной любви к сорокалетней сумасшедшей бабе, — сказала Елена Валентиновна, они уже стояли в прихожей, Анатолий Иванович надевал плащ. — У вас ведь, наверное, и семья есть?» «А вот это уж вас не касается», — ответил Анатолий Иванович. Замок щелкнул, дверь открылась, вошла вымотанная разноской Ольга. Гэбист проскользнул мимо нее, вежливо попрощался, прикрыл за собой дверь без стука, и Елена Валентиновна услышала, как он сказал верзиле, подпиравшему стенку на лестничной площадке: «Не спи, Хромченко, не спи, звездочку проспипшь!» Вывыл лифт, и в ту же минуту из кухни, где Оля разогревала ужин, донесся ее тихий, буд-

то задавленный, вскрик и отчаянное, со взвизгиваньем, рычание Сомса...

Елена Валентиновна бросилась на кухню, насмерть перепугалась за них обоих. Балконная дверь была открыта, за нею была видна свешивающаяся сверху, слегка раскачивающаяся толстая веревка. Прижимаясь от храброго Сомсика к серванту, шепча: «Только не шумите, успокойте собаку, пожалуйста, не шумите, мы хотим вам помочь, успокойте собаку!..» — улыбаясь и одновременно делая серьезное и даже грустно-сочувственное лицо, на кухне стоял высокий, очень ширококостный, очень здоровый парень в куртке защитного цвета с большими карманами и погонами, в джинсах, в полотняной шапке с длинным козырьком, туго натянутой на буйные рыжеватые кудри. В глаза Елене Валентиновне бросился густой рыжий пух на вытянутых вперед мощных руках, странно подкрученные усы, красноватая загорелая кожа... «Успокойте собаку, ее же услышит этот идиот на лестнице, успокойте собаку, я помогу вам», — повторял парень. В балконную дверь, открытую настежь, ворвался и стих шум мотора. «Гэбэшник ваш отвалил», — сказал парень. Ольга бросила на стол большой нож-пилу для хлеба, который она, оказывается, все это время держала угрожающе в руках, и впервые за все эти страшные месяцы в голос заревела. «Только тише, ради Бога, что же вы делаете», — умолял парень. Сомс начал успокаиваться первым, парень сделал шаг к Елене Валентиновне, взмахнул рукой, адресуясь к ней, и она увидела в раскрывшемся кармане куртки чуть заслоненную клапаном рукоятку пистолета. Парень смотрел тревожно, глаза, светло-серые, чуть светящиеся при тусклой кухонной лампе глаза были снова те самые... «Вот и прекрасно, и сумасшедшая, и хорошо», — подумала Елена Валентиновна...

Плана, по сути дела, еще месяц назад не было никакого. План весь, от начала до конца, придумал какой-то старинный приятель Сергея Ильича, легендарная личность, сейчас он уже совсем старик, хотя Сергей Ильич зовет его Миша, а когда-то — ого, такой был мэн, чекистов метелил, и Сергей Ильич говорит — это правда... «Хорошо, — сказала Елена Валентиновна, сняла чайник, налила свежей заварки Ольге и этому странному малому, спустившемуся с крыши. — Хорошо, а кто же такой все-таки сам Сергей Ильич?» Рыжий парень, которого Оля уже

вполне свободно — будто не она стояла с дрожащим хлебным ножом — называла Геной, все объяснил. Сергей Ильич Горенштейн — скульптор, художник, график, немного поэт, участник бульдозерной и всех прочих выставок, решил уехать давно, отказывали ему уже не то семь, не то восемь раз, в последний же формулировка была страшная и безнадежная — «Вам отказано окончательно». После этого Сергей Ильич несколько месяцев метался, потом решился на любую крайность, собрался идти советоваться со своим Мишей — и тут звонок. Знакомства у неофициального художника имелись, как у всякого такого люда, в разных посольствах довольно многочисленные, кое-что из своих безыдейных творений он и продавал дипломатам... На этот раз звонил знакомый итальянец, спросил разрешения заехать. В визите таком не было ничего из ряда вон выходящего — те, кому надо, смотрели на них сквозь пальцы, чего с этого дураковатого мазилы возьмешь, пусть перехватит сотню-другую на жизнь у этих идиотов, меньше вонять будет, а мазня его Третьяковке не нужна... Итальянец приехал, привез записку от своего коллеги, высланного в двадцать четыре часа. В записке было все — адрес Елены Валентиновны, краткая история о наследстве, обещание большой помощи на Западе, если Сергей Ильич придумает, как выехать туда самому и вывезти Елену Валентиновну. А именно к Горенштейну незадачливому секретарю посольства посоветовал обратиться этот самый, привезший теперь записку, помощник культурного атташе — в глазах неумного и глухо провинциального, ни черта так и не понявшего ни в культуре, ни в жизни страны, где он служил уже не первый год, жизнелюбивого толстячка Горенштейн был серьезным оппонентом режиму, способным одержать верх над гэбэ. Этот хромой, весь в седых кудрях, вполне богемного вида человек казался мирному отцу трех девочек, не представляющему себе, как можно выйти из дому без галстука, настоящим представителем русского антитоталитарного подполья, чуть ли не знаменитым Карлосом, террористом, в общем — исчадием ада. «Это ваш... лаборе... ваше дело лучше, чем искусство, вы человек... акционе... действовать», — убеждал он Горенштейна. Сергей Ильич сам удивился — как легко он дал себя убедить. Собственно, он уже и был готов ко всему. Теперь требовался совет Миши с учетом новых обстоятельств.

То, что Елена Валентиновна жила с мудрым стариком в одном дворе, окончательно убедило Горенштейна — надо браться за это дело, случайно таких совпадений не бывает.

«А вам-то что до всего этого?» — спросила Елена Валентиновна у Гены. «Мам, ну ты просто!.. — возмутилась Ольга. — Он же уже рассказывал, что ты, как на допросе...» Елена Валентиновна извинилась — действительно, что-то у нее с памятью. Гена повторил, что Сергей Ильич ему как отец, а своего настоящего отца, майора внутренних войск, служащего в днепропетровской тюрьме, он знать давно не хочет, хотя и благодарен ему за то, что научил накачивать мышцы, приохотил к спорту, ко всякому мужскому делу. Теперь Гена — культурист, каратист, перво-разрядник чуть ли не по всем видам, а в духовном смысле ему, конечно, ближе всех Сергей Ильич, хотя сам Гена не такой, конечно, интеллигентный, а взгляды имеет попроще и пожестче. В Москве он не прижился, подрабатывал где и чем придется — в массовках, изображая почти всегда немецкого солдата, умывающегося у колодца голым по пояс — торс сделал бы честь любому рыцарю СС. От каждого упоминания об окружающей действительности Гена шипел, как раскаленная сковорода от плевка, при упоминании же о Штатах весь наливался умилением, носил с собою страничку из «Плейбоя» — рекламу «Кемела», на которой позировал мужик — копия Гены, а отчасти и Сергея Ильича, как ни странно, только помоложе... Если все удастся, свое место там Гена выбрал твердо: бодигардом к какому-нибудь богатенькому, подкопить немного, потом открыть бар где-нибудь в хорошем климате, самому в нем петь под гитару блатные песни — от любителей отбою не будет... Еще в деле должна была участвовать жена Сергея Ильича Валечка, девка серьезная, хоть и балеринка, готова куда и на что угодно, ловкая, тренированная — по профессии, преданная Сергею Ильичу, сообразительная... «В общем, все уже готово, завтра начинаем, — сказал Гена, — теперь главное, чтобы до начала не сорвалось...» Ольга встрепенулась — до этого будто задремала под сказочные картинки, которые без особенных литературных красот, но вдохновенно расписывал Гена, — пошла в прихожую, глянула в глазок. Очередной дежурный Хромченко или Ивахненко мирно дремал, привалившись к стене. «А это вам, Елена Валентиновна, — Гена достал

блочок каких-то голубых таблеток, — это Сергей Ильич велел передать, а ему итальянец дал — для спокойного сна и укрепления нервов...» Он встал, перехватил взгляд Елены Валентиновны на оттопыривающийся карман: «А, это газовый, на всякий случай, а в деле пригодится, я его в прошлом году в Риге у одного морячка купил...» Вышел на балкон — было уже совсем темно, деревья вокруг дома заслоняли балкон снизу, можно было не опасаться. «А вас аккуратно возьмем, уже сделали специальную корзинку», — сказал Гена, уцепился за свешивающуюся с крыши веревку и мгновенно вознесся — без всякого напряжения пару раз перехватился руками, и готово.

Елена Валентиновна вернулась на кухню, прислушалась. Над потолком что-то прощуршало едва слышно, удаляясь. «Наше счастье, что последний этаж, — сказала Ольга, — а ты все переживала, что не обменяемся никогда из-за этого. Видишь, может, скоро и обменяемся...» «Наверное, он выйдет через соседний подъезд, — наконец сообразила Елена Валентиновна. — Я и не знала, что по чердаку так можно пройти...» Ольга засмеялась: «А как бы он иначе вошел — мимо топтуна по лестнице? Тогда и по веревке лезть смысла не было бы... Ложись спать, мамочка, отдохни перед завтрашним...»

Елена Валентиновна проглотила голубую таблетку, уже засыпая, услышала, как роется в лекарствах Оля. «Спи, мамочка, я тоже хочу это принять, если можно...» И, не находя сил оторваться будто склеившиеся от снотворного веки, Елена Валентиновна заплакала — от страха и жалости к дочке, к себе, ко всем этим людям, похожим на полураздавленных лягушек, выбирающихся из-под бетонной плиты, — видела когда-то такое на стройке... И Оля плакала, сидя рядом с ней на постели, тыкаясь лицом в материну подушку — и без того уже мокрую. И в радужных кругах от слез проплыли перед глазами Елены Валентиновны те глаза — светящиеся серые глаза Дато, блуждающие уже почти год после смерти бедного грузина по разным лицам и никак не покидающие ее, и который уже раз она взмолилась, чтобы погасли наконец эти улики ее болезни.

...Под дебаркадером Киевского вокзала тяжело стлался обычный железнодорожный запах, перекликались чехи и болгары, нагруженные электроприборами, жалась к перепутанной руководи-

тельше туристская группа из Перми, и сентиментальные одесские дамы растроганно смотрели на таки что красивую то красивую пару, идущую к спальному мягкому вагону варненского поезда. Высокий рыжеволосый красавец с пышными усами вел под руку очень юную, на последнем месяце беременности жену, впереди быстро катил свою тележку носильщик — огромная, прочно обвязанная коробка от цветного телевизора, два гигантских и очень красивых кожаных чемодана, длинная нейлоновая сумка... Две минуты переговоров с проводницей, быстро мелькнувшая красненькая десятка — и вот уже счастливый муж и будущий отец вместе с носильщиком умещают в нерабочем тамбуре телевизор. «Мы ж не за границу, потом заберем, а в купе же тесно, девушка, ну пойдите же навстречу!..» Вот уже и чемоданы в купе, и сумка — а вот и поехали! Ну, Москва!.. Все. Будь здоров, Анатолий Иванович. Поздно врывается ты в знакомую квартиру, поздно соображаешь выглянуть на балкон и увидеть будто бы впопыхах забытую веревку, свесившуюся с крыши, и уж совсем зря так считаешься на свою тренированность — вместо того чтобы забраться на чердак через подъезд да расследовать на месте толком все удивительные обстоятельства, ловишь ты соблазнительно покачивающийся конец веревки, дергаешь, проверяя прочность, ставишь ноги на перила, подтягиваешься, перехватывая руками, — неужто эта девчонка и эта старая развалина, эта очкастая старая манда так ушли?! — еще раз подтягиваешься... и будь здоров, бедный грустноглазый Анатолий Иванович! Сэкономил минуту, как говорится... Прочно закреплен на чердаке конец веревки, но как раз там, где ложится она на край огораживающего плоскую крышу бордюра, подложил Гена, по совету хитроумного старца, опытного истребителя коллег и предшественников Анатолия Ивановича, неутомонного астматика из соседнего дома, — подложил Гена и укрепил острейшее лезвие от старого ножа, да еще и надрезал напоследок половину волокон проклятой веревки. Ломаются ветки окружающих дом деревьев, выскакивают на свои балконы перепуганные жильцы тихого и небогатого кооператива, все обходится без вскрика даже — потому что сразу и насквозь проходит через падающее с двадцатиметровой высоты человеческое тело металлический шест-подпорка, оставшийся неизвестно с каких времен от воздушки, протянутой еще строителями

для своих надобностей. А ведь если бы просто на деревья — может, и ничего, руки-ноги поломал бы, и обошлось бы... Эх! А ты что же, Хромченко?! Проспал-таки звездочку? Да если бы только ее... И до земляков с-под Донецка дойдет теперь слух не о закрытой награде за выполнение спецзадания, а о закрытом заседании спецтрибунала — эх, бедняга Хромченко...

В запертом изнутри, душном и без того купе — душно стало невыносимо. Едва слышно стонал, распрямляясь после чемодана, Сергей Ильич, прикусив губу, массировала руки и ноги Ольга. Сомсику было легче всех: угревшийся в специальном мешке под платьем Валечки, он так и продолжал мирно спать калачиком — укол должен был действовать еще около суток, только каждые четыре часа надо было еще вводить питательный раствор да время от времени греть бедного пса — лучше всего на чем-нибудь животе — все это по совету какого-то знакомого ветеринара Сергея Ильича, который, кстати, и шприцем ссудил, и нужными растворами...

Ольга представила, что сейчас испытывает мать, — прикусила губу еще сильнее — коробка хоть и была самым просторным из всех их передвижных вместилищ, но все равно для ста семидесяти пяти сантиметров и семидесяти пяти килограммов Елены Валентиновны места там было сверхъестественно мало.

В дверь постучали: «Чайку?» «Благодарю вас, мы уже легли», — томным голосом без пяти минут молодой матери ответила Валечка. Гена тем временем быстро распаковывал сумку. Сергей Ильич примерился: вроде бы получалось улечься под скамью, в пространство, остающееся от ящика для багажа. Если закрыть потом чемоданом — спрятаться можно. Ольга сумела полностью улечься в антресоли над коридором да еще прикрыться запасными одеялами — если специально не заглядывать, ничего не заметишь. Передохнули. Сергей Ильич, трижды извинившись, выкурил полсигареты — больше не мог терпеть. Потом он повторил инструктаж для девушек, шаг за шагом порядок их действий. Гена проверил свое изумительное оружие, вынул из обоймы патроны-пугачи, выбрасывающие длинное пламя, оставил только с парализующим газом, потом еще раз осмотрел главное — дурацкий корпус от автомобильного аккумулятора с водопроводным вентилем и множеством свисающих проводов —

вся эта бутафория была выкрашена в милитаристский цвет, темный хаки с тревожно-багровыми обводами.

Было уже начало первого ночи, вагон утих. Валечка взяла полотенце, сверху платья накинула широкий халат, подложила подушку — пошла вроде бы умыться и через пять минут привела скрюченную Елену Валентиновну, заслоняя ее полами халата. Наконец улеглись — Гена на полу, Сергей Ильич и Валечка, обнявшись, чтобы не свалиться, — на одной полке, Оля с Еленой Валентиновной — на противоположной. Сомсика пристроили на столике, обложили подушками. Елена Валентиновна почти ничего не соображала, заснула сразу же и только постанывала во сне — голубые таблетки действовали, но затекшее в коробке тело ныло. Оля лежала с открытыми глазами, глядела в потолок, по которому проносились тени от бегущих за окном фонарей. Ей не было страшно, она верила в то, что завтра все закончится благополучно, будто предстояло самое простое дело — вроде не слишком сложного школьного экзамена, не опаснее. Думала она о той жизни, что должна наступить потом... Гена вытянулся, насколько позволяло место, на спине, закрыл глаза, несколько раз глубоко вдохнул по какой-то специальной системе, расслабился — и через пять минут уже глубоко спал. Сергей Ильич и Валечка шептались неслышно, одним дыханием в ухо, посреди ночи Валечка тихо заплакала, и Сергею Ильичу стало нехорошо — прижало сердце, но он справился — осталось только ощущение непоправимой беды. Время от времени мимо пролетали освещенные станционные строения, длинные рампы, высокие ворота депо, зеленые вокзальные фасадики с полуколоннами и надписями каким-то специальным железнодорожным шрифтом — прямыми черными буквами. С воем остался позади несчастный маневровый тепловоз, вагон неохотно плыл в сторону на стрелке, ярко вспыхивала черт ее знает с какой стати и срочности ночная сварка — и снова становилось темно в душном купе, еще темнее, чем было, и уносились назад невидимые в темноте деревья, пустые бесснежные окоченелые пространства, сильно уже прихваченные поздней осенью, и поезд колотился о рельсы тряской и тяжелой эмеей — как колотится о проселок цепь, тянущаяся по невниманию возницы за лихо раскатившейся телегой. Снова вспыхивал проносющийся свет, снова плотнела тьма, и они

уезжали все дальше и дальше — от той жизни, что все-таки была, к той, что, может быть, будет...

Утром Гена сам сходил за чаем — жена плохо себя чувствует, лежит, ничто ей не мило... Весь вагон сочувствовал. Валечка действительно, пока дверь в купе была приоткрыта — запертая все время могла вызвать подозрение, приходилось все учитывать, — лежала под одеялом. Рядом с нею, старательно укрывшись с головой, примостилась Елена Валентиновна, никто особенно беременную не рассматривал, не удивлялся тому, что она едва умещается на полке. Сомсик перед самым рассветом очнулся, чуть было не начал скулить — Гена очень ловко сделал ему еще один укол со снотворным, а потом — еще, поддерживающий работу сердца и питательный. Сергей Ильич, пока было открыто купе, маялся под скамьей, Ольга довольно свободно лежала на антресоли. Потом снова заперли дверь, отдыхали, а ближе к вечеру стали готовиться.

Прежде всего на столике установили аккумуляторный корпус, провода от него провели в пустые багажные ящики под полки, к водопроводному вентилю сел Сергей Ильич — вид у него, в темных очках, черном свитере, с растрепанной седой шевелюрой, был достаточно решительный. Оля и Валечка переоделись в железнодорожную форму, кокетливо надвинули пилоточки — проводницы международного поезда получились отличные. Гена сменил обувь, вместо туфель надел удобнейшие старые кроссовки, газовый пистолет сунул сзади за пояс брюк, под куртку. Сергей Ильич посмотрел на часы: «Ну, господа, храни нас Бог, через четыре часа Вадул-Сирет, начали».

И Гена пошел в служебку. Было около пяти вечера, едва начало смеркаться.

Он вернулся через три с половиной минуты. «Ну?» — тихо спросила Елена Валентиновна. О ней все как-то забыли, ее просто везли как ценную вещь, оберегая. «Все в порядке, Елена Валентиновна, — с легкой одышкой ответил Гена, — без крови». Он проделал все строго по плану — просунул голову в дверь служебки, сказал: «Добрый вечер» и, прикрыв рот и нос платком, предварительно смоченным тут же, из титана, выстрелил в глубь купе — хлопок газовой игрушки и без грохота колес был бы едва слышен. Отшатнувшись, резко закрыл дверь, взял стакан,

стал наливать воду: кто-то прошел в уборную. Через минуту, снова прикрывшись платком, скользнул в служебку, заперся изнутри, открыл окно, девушек-проводниц, сползших в обмороке на пол вялыми кулями, быстро связал полотенцами, рты перетянул подвернувшимися под руку наволочками — на верхней полке лежали неиспользованные комплекты постелей. Обеих, словно нетяжелые поленья, положил на верхнюю полку, привалил постелями и матрацем...

Теперь настало время для Валечки и Ольги. Выглянули в коридор — пусто. Пошли по купе. Валечка пониже надвинула пилотку, говорила с пойманным еще при посадке у проводницы мягким «г» — очень похоже. А свет Гена еще из служебки по всему вагону переключил на малый, многое умел Гена — в том числе и работать проводником пассажирского вагона... И форма, кое-как, на живую нитку сшитая Валечкой по результатам ее собственных наблюдений — два раза ездила специально к варненскому поезду, к отправлению, приглядывалась, потом искала подходящую синюю ткань, — теперь ни у кого подозрений не вызвала. Валечка шла от двери к двери, говорила вполголоса одно и то же: «Хто захрыцю, паспорта будьте так любэзеньки!» Ольга молча держалась в тени, складывала паспорта стопкой, локтем придерживала под жакетиком газовый пистолет, теперь он был нужнее им, чем Гене. Так обошли весь вагон, поезд тем временем давно уже миновал станцию, до которой были билеты у Гены и Валечки, и вошел в запретную для них всех приграничную зону. Оля и Валечка сели в служебке рядышком, стараясь не слышать, как на верхней полке кто-то, кажется, ворочается и стонет. Поезд уже вкатывался тем временем на станцию, на перроне в густых сумерках замелькали зеленые фуражки, проехала мимо окна крупная надпись «Интурист». Самое страшное началось, и только теперь Оля почувствовала, как ужасно может быть то, что случится через несколько минут. В купе Сергей Ильич отчаянным шепотом будил Елену Валентиновну — она ничего не могла с собой поделаться, глаза слипались, голубые таблетки, в течение двух суток принимаемые регулярно, давали себя знать непредусмотренным образом. Гена догадался — схватил шприц, вкатил прямо через брюки, в которых Елена Валентиновна ходила практически всегда, забыла уже, как и надевают-то юбку,

укол, ввел то же стимулирующее средство, которым поддерживалась жизнь Сомсика, — неожиданно действовало, Елена Валентиновна немного оживилась...

Тем временем Валечка, как положено, перекрыла переходы в соседние вагоны и открыла тамбур. «Новенькая?» — спросил, взлетая по ступенькам, перетянутый, как танцор, сержант. «Ну», — ответила Валечка. Ольга молча, строго по плану, протянула пачечку паспортов. Сержант покосился на нее: «А разноску по купе?» «Вот же и тая разноска, под хазетой, — тут же вывернулась из-под его локтя Валечка, актерских данных у нее оказалось не на кордебалет в Станиславского, а на хорошую Сатиру. — Вот же и тая разноска, товарищ сержант!» Сержант хмыкнул, взял по форме заполненную бумажку, паспорта, вышел. «Хто желает покулять — пожалуйста, будэмо через час на этой же пути!» — прокричала Валечка в коридор. Пассажиры повалили на вокзал к сувенирным киоскам и буфетам, Сергей Ильич, Гена и Елена Валентиновна сидели в закрытом купе с задернутыми занавесками. За окном переговаривались рабочие, вагон дернулся, недолго проехал, встал, что-то лягнуло, вдруг железные балки за окнами плавно поехали вниз, потом вернулись на место — все, узкая колея, Европа!..

Когда дверь купе с грохотом откатилась и на пороге появилась стройный сержант со словами: « Попрошу всех на минуту выйти...» — Сергей Ильич сидел, сжимая вентиль, Гена тоже сидел, направив на дверь ствол не слишком внушительной даже на вид газовой забавы, Елена Валентиновна лежала у стены, за мужчинами — так было задумано. «Товарищи, вас же нету в разноске...» — растерянно проговорил сержант. «Быстро зовите сюда начальника наряда, но не поднимайте тревогу — я взорву вагон», — негромко, но очень внятно сказал Сергей Ильич. В то же мгновение Гена увидел, что сержант подносит к губам висящий на запястье свисток — об этих свистках все было известно заранее, пограничники пользуются ими, когда отправляют осмотренный поезд, но никто не мог предположить в сержанте такого упрямства — и Гена, спиной упершись в стенку купе над сжавшейся Еленой Валентиновной, а правой рукой в угол столика, прыгнул, выбросив вперед-вверх левую ногу. Сержант рухнул в коридор, зеленая фуражка покатила по белой холщовой до-

рожке. Второй пограничник недоуменно выглянул из соседнего купе, но Гена уже был в коридоре — перепрыгнул через лежащего, ровно сложенными пальцами ткнул розоволицего ефрейтора точно на сантиметр выше пряжки тутого ремня, ефрейтор открыл рот еще шире, вдохнул со всхлипом и упал на сержанта, окончательно перегородив проход. В соседнем купе раздался визг, Сергей Ильич тут же рванул книзу раму окна, закричал так, что слышно было наверняка во всех концах перрона: «Если ровно через пять минут поезд не двинется в сторону границы, я взорву вагон! Вагон эсэвэ заминирован и будет взорван, если нас не пропустят беспрепятственно через границу! Я требую, чтобы немедленно установили связь с румынскими пограничниками, по ту сторону границы нас должна ждать машина с запасом бензина! Через пять минут поезд должен отправиться!»

Сергей Ильич замолчал, и стало слышно, какая тишина установилась на станции — с дальних перестановочных путей доносились голоса перекликающихся вагонщиков да диспетчер охнул прямо в громкую связь: «Ох ты, етит твою так...» Тем временем Гена уже подтащил к двери вагона одного за другим пограничников, оба еще не совсем очухались, но на всякий случай были перетянуты по локтям собственными ремнями — дембельскими, кожаными. Осторожно, прикрываясь вагонной дверью, Гена потихоньку спихнул их на перрон. К ним тут же бросились солдаты и капитан. У обоих связанных кобуры были пусты. «Капитан!» — раздался голос Гены из тамбура. Офицер резко выпрямился, завел руку за спину — к оружию. В раме двери стоял насмерть перепуганный, на глазах трезвеющий мужчина в шикарном тренировочном костюме и шлепанцах, аккуратно подстриженные, с красивой сединой волосы его, кажется, стояли дыбом, полноватые гладкие щеки прыгали — рот кривился, как у собирающегося зареветь ребенка. «Капитан! — снова раздался голос Гены из-за спины человека в тренировочном костюме. — Перед вами секретарь Краснопресненского райкома КПСС города Москвы, направляющийся в братскую Болгарию на отдых...» Все, кто на станции, в поезде, в вокзале в эти минуты тишины услышали сказанное, вздрогнули — всем показалось, что человек говорит улыбаясь. «Капитан, — продолжал Гена, — я снова доверяю свою жизнь партии. В спину товарища секретаря, прямо в

его усталую поясницу упираются два отлично вычищенных вашими подчиненными «макарова». Отправляйте поезд, капитан, если вам дорога жизнь отличного коммуниста и отзывчивого человека. Он полностью сочувствует нашей просьбе, можете сами спросить... И пожалуйста, поменьше формализма в занятиях с личным составом физической подготовкой!»

И еще более жуткая тишина повисла над станцией. Несчастный секретарь открыл и закрыл рот, издав едва слышный писк, в котором можно было, прислушавшись, угадать слова: «Ради Христа!» — и откуда вспомнилось убежденному атеисту? «Дайте еще десять минут, — закричал хрипло капитан, — необходимо прицепить локомотив!» После недолгой паузы ответил ему Сергей Ильич — он тоже хрипел, первым криком сразу же сорвав глотку: «Не больше пяти! Не морочьте нам голову, локомотив давно готов, а прицепить можно и за пять! Через пять минут я все здесь взорву, клянусь, капитан! Вы понимаете, что теперь нам терять уже нечего!» И опять пауза. «Хорошо, — закричал офицер, — поезд сейчас отправится, локомотив уже подают!» Последнее его слово заглушил довольно сильный удар — будто на перрон рухнуло небольшое дерево. Капитан дернулся, обернулся назад всем телом. Гена едва заметно выглянул из-за плеча колеблющегося на совсем уже нетвердых ногах функционера, и даже Сергей Ильич чуть отодвинул занавеску — любая неожиданность могла мгновенно изменить ситуацию. Но событие произошло незначительное — просто повалилась в обморок восьмипудровая дама-таможенница, стоявшая на протяжении всего происшествия за спиной одного из пограничников и наконец не выдержавшая наплыва впечатлений и переживаний из-за небывалого срыва в выполнении ее обязанностей, — вагон СВ так и остался недосмотренным...

В ту секунду, когда кто-то из пограничников попытался поднять тяжеловесную защитницу государственных экономических интересов, поезд вздрогнул от толчка и прицепленный локомотив пронзительно и долго загудел. Общее внимание сразу отвлеклось от таможенницы, Гена напрягся за спиной секретаря, Сергей Ильич от напряжения сам едва не потерял сознание. Елена Валентиновна, как-то вяло — голубые таблетки да и общее состояние последних месяцев все-таки сказывались, — растерянно реаги-

рующая на все, вдруг спросила у Сергея Ильича нелепо спокойно и громко: «Одного не пойму — зачем надо было Оле и Валечке подменять проводниц? В этом был какой-то особый смысл?» От изумления Сергей Ильич едва не потерял дара речи — более неподходящего момента для бессмысленных вопросов нельзя было выбрать специально. «Мама, — зашипела Ольга, — да ты что?! Они же следят за билетами, чтобы не имеющие права не ехали в пограничную зону... И вообще — нашла ты время!...» Поезд опять дернулся, опять долго и протяжно загудел тепловоз, с соседнего пути ему откликнулся другой, откуда-то повалил белый пар... Сергей Ильич мельком подумал: «Чего они разгуделись, обычно так на станциях не гудят...» — что-то в этом было тревожное, но мысль тут же ускользнула, потому что с перрона раздался крик капитана: «Отправлять!» — тут же стоящий рядом с ним солдат резко засвистел в свой свисток. Поезд медленно тронулся, с подножек вагонов, идущих перед СВ, посыпались солдаты в зеленых фуражках, было видно, как они спрыгивают на перрон, делая по инерции пару шагов в сторону движения... Мимо них плыл бедный секретарь, в полуобмороке цепляющийся за поручень.

Через пятнадцать минут поезд — может, впервые в истории не до конца осмотренный и против воли властей — пересек границу великой страны.

Вдоль румынской платформы выстроились перекрещенные ремнями, в высоких ботинках солдаты. В руках у них были направленные на поезд десантные «калашниковы». Едва вагон СВ поравнялся с платформой, раздался усиленный репродуктором голос с шепелявым акцентом: «Внимание, террористы! Автомобиль находится на станции! Автомобиль для вас на станции! Правительство социалистической Румынии гарантирует вам безопасность! Вы без опасности направитесь в Австрию! Избегайте кровопролития, автомобиль на перроне!» Поезд остановился, ни одна дверь не открылась. Солдаты стояли неподвижно, в одном месте в их строю был разрыв метров в пять — там, развернутый к ведущему куда-то в степь шоссе, стоял микроавтобус «фольксваген». Быстро темнело, над станцией зажглись редкие желтые фонари. Через приоткрытое окно раздался резкий крик Сергея Ильича: «Солдатам отойти на сто метров, убрать оружие! Отойти

на сто метров, иначе мы взрываем вагон и все вокруг!» Репродуктор кашлянул и затих. Минуту спустя раздалась команда, румынский офицер пробежал вдоль строя, вдруг ударил кого-то из солдат кулаком по лицу — у того слетела пилотка. Шеренга развернулась кругом, солдаты закинули автоматы стволами вниз за спину, перестроились в колонну и протопали с платформы, плотным квадратом стали за маленьким вокзалом. Тогда дверь вагона растворилась, из нее, спотыкаясь и теснясь, выдавилась какая-то странная группа. Когда все оказались снаружи, стало понятно, почему они двигаются так неуклюже: туто связанные полотенцами рука к руке люди образовали кольцо, в середине которого, сильно согнувшись, шли Елена Валентиновна с собакой на руках, Ольга с газовым пистолетом, направленным на ближайших к ней заложников, Валечка и Гена с готовыми к стрельбе «макаровыми» и Сергей Ильич, несущий, тяжело хромя, громоздкую коробку, от которой в вагон тянулись постепенно разматывающиеся провода. Опять раздался крик — теперь это был голос Гены: «Мы отключим взрыватель, только сев в машину! Мы заберем с собой четырех заложников! Они будут освобождены после переезда в Австрию! Никому не двигаться — взрыватель не отключен!» Кольцо людей медленно топталось, постепенно приближаясь к автомобилю. Вот они уже рядом, вот уже Гена, поднырнув под связанные руки, резко открыл сдвижную дверь микроавтобуса, вот уже Елена Валентиновна в машине, Ольга... «Ну, вот и все», — подумал Сергей Ильич, и ему показалось, что зря они все так боялись — почти до остановки сердца, до тьмы в глазах, — план не мог не сработать в той стране, где давно уже отвыкла власть от малейшего сопротивления...

Вспыхнули и со всех сторон мгновенно осветили залитую за секунду до этого поздними синими сумерками платформу военные прожектора, с неба прогремел голос с отличным рязанским выговором: «Заложникам лечь на землю! Ложись!» — одновременно с крыши вагона, следующего за СВ, ударили пять выстрелов, скорчился у автомобильного колеса, прижимая к груди бессмысленный ящик, Сергей Ильич, рухнула, будто оступившись у балетного станка, Валечка, зазвенело заднее стекло «фольксвагена», а на платформу уже прыгали с крыши вагона солдаты в черных комбинезонах с красными погонами и буквами «ВВ» на них, по-

лосовали воздух над станцией трассирующие очереди, методично — секунда-выстрел, секунда-выстрел — действовали оставшиеся на крыше снайперы, а голос с неба гремел: «Террористам — бросить оружие! Бросить оружие, вам сохраняют жизнь, бросить оружие!»

Елена Валентиновна сидела на полу машины, между задним и средним сиденьями, начинающий просыпаться Сомс тихо повизгивал и дергался у нее на руках, глаза ее ничего не выражали, только сильно слезились от гари. Ольга стояла на четвереньках в проеме автомобильной двери, выгаскивала из сведенной руки Валечки тяжелый пистолет — газовый пугач валялся рядом. Все двигались медленно, как под водой, и время ползло медленно, и Елене Валентиновне вдруг представилось, что сейчас она вынырнет и увидит яркое небо, веселый пляж и чуть вдали — белый корпус пансионата, опоясанный белыми лентами балконов. В машину вполз Гена — левый рукав его защитной куртки стал темно-красным, под локтем был зажат пистолет, и опять Елене Валентиновне представилось, что сейчас она вынырнет и поплывет дальше, вспоминая глупое кино со стрельбой и приключениями... Гена следом за собой втащил — без лишних церемоний, просто за шиворот — того самого, в тренировочном, толкнул его за сиденье, снова свесился в дверь и втащил за шиворот же еще одного — это был румын, железнодорожник в синем мундире со множеством медных пуговиц, с разбитым в кровь лицом. Перед дверью двигалась, переливалась толпа — связанные люди тянули друг друга, одни лежали на земле, другие пытались встать, третьи отползали в сторону, и все оставались на месте, мешая друг другу и все плотнее заслоняя собой дверь.

Выстрелы прекратились. Время пошло обычным образом, Елена Валентиновна услышала за окном крики по-румынски, часто повторялось «Стоп-стоп!», отвечали явно русские голоса, но слов разобрать было нельзя. «Ну, девочки, сейчас по газам», — жутковато-веселым голосом сказал Гена, рыжие его кудри стояли шапкой, по лицу тек грязный пот, но светлые глаза, конечно, сияли в темноте — и снова померещилось Елене Валентиновне. «Внимание, слушайте меня! — заорал тут же в дверь Гена. — У нас в руках советский партийный работник и румынский гражданин! Мы убьем их, если только последует хоть один еще выстрел с

вашей стороны!» Ответа не было. «Ты машину водишь?» — спросил Гена у Ольги, та замотала головой молча. «Я попробую», — неожиданно для себя сказала Елена Валентиновна, передала уже во всю силу визжавшего Сомса Ольге, села за руль. Гена запихал совершенно обмякшего секретаря и бешено орущего, но нисколько не сопротивляющегося румына на заднее сиденье, погрозил им стволом пистолета, задвинул дверцу, скомандовал: «Ручной тормоз, справа сзади, отпустить. Ключ повернуть. Ну, сцепление... да слева же, плавно!..» — и они поехали, поехали, поехали! Румыны действительно заправили полный бак бензином да еще оставили в машине аптечку. Ольга уже перетягивала Гене бинтом руку — пуля прошла через плечо навывлет, кость вроде бы была цела. Гена для порядка держал перед носом румына пистолет, глядел в проем разлетевшегося в пыль заднего стекла. Уже далеко, словно на маленьком, ярко освещенном экране, двигались фигуры людей на станции — солдаты ходили вокруг плотной толпы заложников, развязывали полотенца, а чуть в стороне, на пыльном асфальте платформы, тускло отсвечивающем под прожекторами пыльном асфальте лежали две быстро сливающиеся с этим страшным асфальтом фигуры — согнутая Сергея Ильича и навзничь, во весь рост, с закинутыми за голову руками, почти касаясь ими головы мужа, — Валечки. Гена смотрел назад не мигая.

Ольга вытерла лицо румыну, оказалось, что у него всего-навсего выбит зуб — Гена нечаянно заехал локтем, когда схватил его, невесть откуда взявшегося под пулями, и поволол в машину. Доблестный краснопресенец сидел, будто онемев, из глаз его текли слезы, время от времени он отлеплял от ног мокрые тренировочные штаны, вдруг шепотом начал молиться: «Господи, помилуй меня, прости мне...» — довольно ловко для мастера совсем других речей. И Гена впервые сорвался. «Молчи, сука, — орал он, размахивая стволом перед белым, мертвым лицом, перед закрывшимися в смертном страхе глазами, — молчи, блядь советская, молчи! Ты кого убил, ты знаешь, кого убил?! Сука, гадина, гнида...» — и всем в машине казалось, что действительно этот обоссанный поганец убил несчастного художника и его жену. «Им отказано окончательно, — сказала Елена Валентиновна, — окончательно...»

Машина шла по ровному шоссе хорошо, километров через сотню Елена Валентиновна уже перестала налегать на руль всей силой — поехали, почти не виляя. Когда ей было шестнадцать лет, в Юрмале, учил ее управляться с «виллисмом» один латыш — она была рослая, он почти ничего не знал по-русски и считал ее себе равней, хотя был совсем взрослый человек, успел даже послужить в ульманисовской авиации, на побережье скрывался от высылки... «Спасибо, Эрик», — вслух поблагодарила сероглазого латыша Елена Валентиновна, хотя тут же подумала: может, его в живых-то давно нет, кого благодарит?.. Дочь покосилась на нее с ужасом и состраданием.

Спереди и сзади них мчались полицейские «мерседесы», время от времени оттуда через громкоговорители зывали: «Террористы! Ваши требования будут выполнены! Не проливайте кровь! Вы направляетесь к австрийской границе, не проливайте кровь!» Машина неслась уже ровно, включенные Геней фары бросали сильный свет на темное, почти черное шоссе, по сторонам мелькали указатели — Гена следил за ними, проверял по карте, срисованной еще в Москве, еще в другой, странной теперь тихой жизни, — ехали правильно, к границе кратчайшим путем...

Суд Австрийской Республики приговорил Гену и Ольгу за незаконное проникновение в страну и акты террора к трем годам, Елену Валентиновну от наказания освободили — врачи признали ее психически невменяемой. Ни о какой выдаче, конечно, не могло быть и речи.

Впрочем, итальянцы о невменяемости будто и не слышали, наследство узаконили — все по плану... Иногда в ее саду появляется полицейский — значит, Массимо опять неправильно поставил машину. Сомсик рычит на человека в форме, и все трое смеются.

Раз в две недели они ездят из Милана в Австрию. При последнем свидании Гена на их глазах отжался от пола пятьдесят раз — плечо совсем загло. У Ольги же они несколько раз заставляли какого-то молодого человека — в толстой стеганой безрукавке, с серьгой в левом ухе, да Елена Валентиновна уж начала привыкать к такому. Молодой человек оказался репортером телевидения, сказал, что обязательно сделает передачу об их неве-

роютном побеге, Хельга должна очень хорошо смотреться на экране, и пожилая фрау тоже, они удивят зрителей — обе представляют собой настоящий австрийский тип красоты, это вызовет дополнительное сочувствие. Массимо предпочел, чтобы его роль в этой истории была приглушена, как только можно, а сниматься для передачи отказался наотрез. Ольга была весела, довольно ловко объяснялась с журналистом по-английски, с Массимо — по-итальянски, демонстрировала, отойдя подальше от пуленепробиваемого стекла, разделяющего зал свиданий, новомодную мини, подаренную серьгастым, — словом, жила в свое удовольствие.

На обратной дороге Елена Валентиновна вспомнила веселящуюся в тюрьме дочь, прикрыла глаза, чтобы не видеть утомительно виляющее из городка в городок шоссе, — и увидела больничный парк в снегу, наборную ручку, торчащую из окровавленной рубахи, Дато, прыгающего на залитой солнцем волейбольной площадке, увидела сразу весь свой город, в слякоти марта, в пыли раннего мая, в сиренево-золотых закатах августа, в сумраке декабря, увидела подсвечивающие в полутьме серые глаза на неопределенно-знакомом лице — и заплакала, не поднимая век.

В этот день в Москве — кажется, даже и в этот почти час — на Хованском кладбище хоронили какого-то старика. Похороны были безлюдные — провожал тоже старик, прилично очень одетый, толстый, страшно и неудержимо плачущий, да какой-то средних лет, обнаживший у могилы лысую голову, высокий, очкастый... Довезли на железных высоких салазках гроб кладбищенские ханыги, они же опустили в яму и засыпали. А старик воткнул в землю кривоватую палку с плохо прибитой фанеркой, да и побрели оба провожающих в начинающейся пурге к далекому выходу. Там толстый сел в машину, вроде бы звал и второе, но тот отрицательно покачал головой, натянул получше капюшон куртки — и стинул в густо повалившем снеге.

1981—1984

САМОЗВАНЕЦ

Любые совпадения событий, названий, имен и биографий героев этого романа с реальными названиями, именами, а также биографиями живых или когда-либо живших людей и с событиями, которые имели или могут иметь место, являются случайными.

Как и вообще все совпадения в литературе и жизни.

I

Я проснулся от дождя. Вода шумела так, что сначала мне показалось — какая-то беда... Может, не закрутил кран в ванной? Страшный сон в чужом доме, испуганное размышление, что же теперь делать, бестолковые попытки справиться с последствиями, скрыть следы, кривые честные улыбки, ледяная европейская корректность хозяев. Если уже протекло на первый этаж или подмок ковер в верхнем холле... Ужас.

Дождь лился, сыпался, шуршал, дышал сыростью совсем рядом, и я сообразил наконец, что просто оставил окно открытым, точнее даже не окно, а высокую узкую дверь, выходящую на микроскопический французский балкончик. Я слез с высокого, выгнутого от старости горбом дивана и пошлепал, босиком и в полуслезливых трикотажных трусах, закрывать. Нагнулся, для верности тронул пол ладонью — вроде набрызгало не очень. Теперь надо было закрыть и запереть эту высокую, плотно затянутую изнутри складчатыми полотняными занавесками стеклянную дверь.

Запирание таких дверей и окон здесь, в мире пригодных для пользования вещей, было одновременно сложным фокусом, вроде продевания нитки в игольное ушко, и удовольствием простой удачи, вроде первого глотка пива из банки, открывающейся по-новомодному, не отрыванием за ухо металлического язычка, а продавливанием его с помощью этого же уха внутрь... Чтобы запереть такую дверь — или так же устроенное окно, — надо было, во-первых, совместить полукруглый паз, идущий по ребру одной створки во всю высоту, с полукруглым же выступом ребра другой, так что этот выступ как бы начинал входить в паз. Потом следовало одновременно, нажимая разом на обе створки, закрыть их плотно, при этом они входили одна в другую с небольшим

усилием, которое создавалось ограничивающим их проемом. И уж после надо было найти литую металлическую ручку с заглушками и круглым шпенечком, за который, собственно, и следовало браться, чтобы, повернув эту ручку, сдвинуть вверх и вниз проложенные вдоль одной из створок длинные штыри, края которых при этом входили в выемки в нижней и верхней планках рамы — вот и все.

При закрывании раздавался негромкий стук или щелчок, а металлическая ручка, если ее не придержать, падала со стуком более громким. От этих ее постоянных падений на раме и самой ручке скалывалась белая эмаль, которой все было выкрашено, так что появлялись пятна — светлого дерева и темного металла.

Теперь, вместо того чтобы закрыть дверь, я раскрыл ее пошире и встал на пороге балкончика. Строго говоря, за порогом никакого пространства не было, а сразу перила, как и следовало, поскольку это был французский балкончик. За этими низкими перилами я и встал, оказавшись точно вписанным в узкую и высокую раму открытой двери, из чего можно было сделать вывод, что высотой она была примерно метр восемьдесят пять — восемьдесят семь, а шириной пятьдесят второй — пятьдесят четвертый размер (по-здешнему сорок шесть — сорок восемь, кажется).

Лил дождь, блестел выгнутый на перекрестке асфальт, от перекрестка вверх одна улица вела к станции, а перпендикулярная ей шла вдоль фасада двухэтажного домика — в двери плоского балкончика второго этажа этого дома и стоял я, переминаясь на сыром босыми ногами и поправляя трусы. Домик в ряду других домиков на пустой и чистой улице недалекого пригорода, дождь, большой плакат S.N.C.F. на повороте к станции, на плакате востроносый, слегка лысоватый молодой человек в очках — видимо, на своем не совсем понятном языке призывающий ездить поездами S.N.C.F., — мокрые машины, влезшие на полтротуара, шорох льющейся не переставая воды. Тут-то, подумал я, будет правильно протянуть руку назад, в комнату, нащупать на круглом под плюшевой скатертью столике, среди мелочи и ключей, пачку «Gitanes» и зажигалочку «Bic» — и прикурить, осветив снизу уже намокшее лицо. Кадр не слишком оригинальный, но беспронгрышный, от него пусть чуть-чуть, но сожмет европейской грустью сердце все-

гда садящейся близко, не дальше седьмого ряда, сорокалетней одинокой библиотечарши или училки — впрочем, теперь они уже, должно быть, перестали ходить в кино...

Я закурил, и дождь тут же ляпнул мокрое пятно на сигарету.

От станции раздался нарастающий негромкий шум поезда со стороны города, шипение останавливающихся вагонов. Видно, они здесь ходят всю ночь, наверное, раз в час или что-нибудь в этом роде. Пустые светлые вагоны, откидные сиденья по сторонам от дверей, а двери раскрываются нажатием квадратной зеленой кнопки, и если сейчас никто не нажал, то вагоны так и стояли закрытыми и, сначала медленно, но очень резко набирая скорость, покатали дальше — в Версаль.

Я живу здесь по Версальской ветке, подумал я.

От станции шли двое, звук их шагов был странноватый — чавканье и скрип, без стука каблуков. Чавканье объяснялось просто, обувь не могла не промокнуть в этом бесконечном дожде, но что это за скрип, будто моют окно смятой газетой?

Они остановились точно посередине перекрестка, под светом из витрины угловой табачной лавки. Вот оно что! Это толстые синтетические подошвы кроссовок так скрипят по мокрому асфальту, это нейлоновый кроссовочный верх так чавкает... Одинаково одетая пара, unisex, униформа ко всему готовых: кроссовки, джинсы, кожаные куртки, блестящие под вечным дождем...

Мужчина, угнувшись, влез под зонтик — женщина подняла купол, насколько могла, — повозился с мокрыми спичками, прикурил. Перекрещиваясь с дрожащими лесками дождя, поплыл голубой клубочек дыма — и дым, и капли подсвечивались из окна лавки, забранного на ночь сеткой. Тоже приличный кадр, подумал я, а все вместе тянет на доброкачественную лирику, так необходимую для перебивки действия в хорошем психологическом триллере, с чуть расплывчатой, не совсем внятной интригой, с неоднозначными мотивировками, с грустной любовью, с привкусом безнадежной горечи, с легким общим безумием... Допустим, эти двое случайно знакомятся в большом городе, он скрывается от своих бывших дружков по перевозке наркотиков, они вместе переезжают из города в город... впрочем, это уже было... это «Репортер» Антониони... ну, пусть... и вот их видит мучающийся в дождли-

вую ночь бессонницей обыватель, житель тихого respectableного городка, и на его глазах все происходит — сорвавшийся откуда-то автомобиль, короткий стук очереди чешского автомата, упавший мужчина, и с этого все начинается, случайный свидетель влезает в самую гущу, а женщина...

— Идем, маленькая, — сказал мужчина.

— Идем, милый, идем быстрее, — ответила женщина.

И через мгновение они скрылись за углом. Мужчина, скособочившийся, чтобы голова и рука с сигаретой не попадали под дождь, и женщина, неловко тянущая вверх руку, чтобы защитить его от воды ребристым матерчатым куполом.

Не меньше минуты я прислушивался к чавканью и скрипу их шагов, прежде чем понял, что они говорили по-русски.

* * *

Все сошлось в один день.

Слухи, и даже не слухи, а вполне определенные сообщения начальства на собраниях, которые раньше назывались бы профсоюзными, но раньше такие сборища нельзя себе было и представить, да и начальство такое тоже — три года назад выпущенный из общественного небытия диссидент, картинной красоты седокурый плейбой, не вылезавший все эти три года из Штатов, Германии, Италии, большой любитель джентльменских игрушек: твидовых пиджаков, шелковых галстуков, виски, сверхъестественных часов и блондинок, отчаянно водящий серебристую «девятку», словом, победитель — так вот, сообщения стали подтверждаться. Два месяца Институт не получал зарплату, исчезли эфемерные тысячи, все еще казавшиеся деньгами наивным кандидаткам и кандидаткам, так и не научившимся считать по-новому. Не вышел сборник трудов, вожделенный рыхлый том в сизой оберточной обложке, дававшей в свое время институтским острякам и эрудитам повод называть его «сахарной головой» — намекая на приторную благостность содержания. Боже, каким счастьем еще недавно было попасть под эту дрянную обложку, сколько было склок и интриг, удач и крушений... Теперь сборник просто не вышел, и никто, в общем, и не заметил. Отменили годовую международную конференцию, поскольку за гостиницу и для своих-то платить стало нечем, а за иностранцев гостиничные люди потре-

бовали валюту — где же ее взять? Смешно... Но одно продолжалось с неизменной оживленностью: потопом хлынувшие в последние безумные годы приглашения и поездки. И какой-нибудь младший без степени, прославившийся парой журнальных, а то и газетных статей с историческими параллелями, собирался в Мюнхен или Болонью, естественно, полностью за счет приглашающей стороны, да еще и рассчитывая огрести там за лекцию сотню-другую долларов — годовую институтскую зарплату. И от рождения невыездной светило и полиглот укладывал застиранные рубашечки, озабоченный получением французской многократки и отрываемый восторженными звонками Сорбонны — о, неужели месье Игор правда будет здесь уже завтра? О, се тре агреабль, мы очень ждем ваши лекции! Но если можно, было бы очень интересно, если месье свяжет в этих лекциях своих любимых Розанофф и Шестофф с последними проблемами азерис, арменьен и балтик...

Единственный отдел, работавший в Институте до последнего все напряженной и напряженной, был бывший первый, влившийся теперь в отдел кадров и занимавшийся оформлением поездок.

Утром в этот день он пришел на работу очень рано. Вдоль коридора еще стояли ведра и бумажные мешки уборщиц, из приемной директора доносилась веселая музыка — в его кабинете уборщица по утрам всегда включала телевизор для настроения. Он остановился у давно опустевшей доски приказов и объявлений — на ней появилась одинокая, косо приколотая бумажка. Не до конца веря глазам, он еще читал: «...ликвидируется... с выплатой за месяц... по всем вопросам стажа и трудоустройства...» — когда услышал очень быстрые, очень четкие шаги и обернулся. Федор Владимирович Плотников летел по коридору обычным своим полетом, светлый длинный плащ на немислимой узорчатой подкладке нараспашку, клетчатый бежевый шарф знаменитой фирмы заносит встречным потоком воздуха за плечо, кейс в левой руке чуть на отлете, трубка в правой дымится и сыплет пепел, сидины сверкают...

— Что читаем? — спросил директор и новоизбранный академик еще издали, а поравнявшись, приобнял подчиненного за

плечи и повлек за собой. — Привет, привет... Давно не видно. Уезжали куда-нибудь? Кажется, в Штаты? Нет? Ну все равно, рад видеть. Приятно с утра встретить хорошего человека. Как дела?

— Ничего, — пробормотал он, — спасибо... Вот, стоял, приказ читал... Что ж теперь, Федор Владимирович?

— Приказ? — Директор оглянулся на доску с бумажкой, будто забыл, какой подписал вчера приказ. — А, это... Ну, вам-то что волноваться? Вы и так не больно от нашей шараги зависели, с вашим-то именем... Херня это все. Лучше пойдем ко мне, есть дело.

В кабинете Плотников сунул плащ в шкаф, швырнул кейс на пол за кресло, сел, набил немедленно и раскурил новую трубку и тут же стал читать какую-то бумагу, положенную секретаршей с вечера на стол поверх всей кучи. Вдруг двинул бумагу в сторону, взглянул, вспомнил:

— А дело вот какое: поехали-ка вместе в Данию, а? Приглашение есть на меня и троих сотрудников, оформим быстренько вас... и Юру Вельтмана, а? Чудесный человек, ученый настоящий... и Сашку Кравцова, он, конечно, из этих в прошлом... при погонах, но парень хороший, честный и помогает очень... Поехали? Платят, конечно, датчане, в гостинице будем жить хорошей, по Копенгагену походим, «карлсберга» попьем... Конференция-то, хер ее знает, не думаю, что очень интересная будет, но съездим напоследок? А вернемся — будем и наши проблемы решать, не волнуемся. Я всегда вам удивляюсь — чего вы за нашу контору переживаете? И уважаю, признаюсь, за это же... Ну, едем?

Плотников смотрел на него со знаменитой своей полуулыбкой — веселыми глазами, но со скорбными скульптурными складками у рта. Ну, Пол Ньюман — и все! А что прокатиться хочет просто за развлечением на халяву — и не скрывает. Эх, Федор Владимирович, Федя, столп вы нашей молодой демократии, легенда диссидентства...

— Поедем, конечно, — он покрутился в кресле, достал сигареты, не «мальборо», понятно, но все же «винстон», глянул вопросительно, директор с готовностью кивнул, мол, конечно, можно, курите, и даже зажигалку по столу придвинул, и пепельницу, — по-

еду с удовольствием, Федор Владимирович, я в Дании не был... Но...

— А чего «но»? — Плотников уже не улыбался, и даже интерес к собеседнику очевидно утратил, снова поглядывая на важную бумагу. Вопрос с сотрудником был решен, а рабочий день уже начинался. — Какое «но»? Все-таки волнуетесь, где после Дании работать будете? Так не волнуйтесь. Мне неделю назад предложили на Российскую Академию Структурных Проблем пойти. Считайте, что вас стол уже там ждет. Вы сколько у нас получали? Две? Ну, там, думаю, будет побольше...

— Спасибо, конечно. — Он продолжал мямлить, курил и чувствовал, что уже начинает раздражать начальство затягиванием разговора, но сказать надо было обязательно, потому что в Дании, а после приезда тем более, может оказаться поздно, места в этой блатной Академии расхватывают старые дружки и новые союзники Феди.

— Конечно, за предложение спасибо, Федор Владимирович, я с удовольствием... Но есть еще тут, понимаете, кое-кто из сотрудников, с кем я связан... по темам и вообще... хотелось бы как-то помочь, если будет, конечно, возможность... я понимаю, но...

— Кто? — Плотников спросил резко, уже не поднимая головы от чтения и опять раскуривая, третью за пятнадцать минут, трубку, сколько ж у него только на «амфору» уходит, да и не мальчик уже — так садить... — Кто именно?

— Ну... вот, например... — он уже совсем стал глотать слова, но тут Плотников поднял на него глаза, и опять эти голубые яркие глаза оказались бандитски веселыми, и он почувствовал, что может сказать прямо, как младший сообщник, — ...она ведь специалист первоклассный и будет очень полезна, и уже имя сделала, а я берусь ей помочь тему сформулировать... в общем...

— В общем, берем вашего специалиста. — Все же Плотников был хорош: не подмигнул, не выделил «вашего», даже глаза погасил и снова ткнулся в бумаги. — Берем. И для дела действительно будет польза, она баба толковая. Все? Давайте, скажите Вале, чтобы оформляла вас, а увидите Вельтмана и Кравцова — пошлите ко мне. Пока.

Днем они ехали в метро и, как всегда по дороге к нему, длин-

но и ожесточенно ссорились. Она упрекала его тем, что согласился на эту дрянную, холуйскую — так и сказала, «холуйскую» — датскую поездку, он пытался сначала отвечать спокойно и щадя, потом все же не утерпел: «Да срал я на эту Данию! Да если б... если бы я не согласился, как бы я с ним насчет тебя заговорил? Ты, между прочим, еще месяц назад в Барселону оформилась, тоже коллоквиум тот еще, да и не по твоей теме, но ведь не отказалась же, чтобы нам на неделю не разлучаться?» Она побелела, заговорила тихо, и он услышал уже настоящую ненависть в этих тихих словах: «Знаешь же, зачем я согласилась! Знаешь же, что я из дома бегу, чтобы не сорваться... Из-за тебя же... А ты, значит, за меня ходатайствуешь? Ну, спасибо. Счет приготовил? Оплатить?» На это он уже и ответить не смог, задохнулся. Замолчали до самой «Преображенки». Там он взял ее на перроне за плечи, повернул к себе: «Ну успокойся...» «Я спокойна». «Успокойся, успокойся... я тебя люблю, ты же знаешь... Ты бываешь несправедлива... И очень обижаешь. Ну какой же из меня холуй? Ты же сама все понимаешь... Съезжу я, потом ты, потом вернемся, и все будет нормально, будем вместе, снова будем ходить по одному коридору в этой идиотской Академии, все будет нормально, моя любимая, моя маленькая...»

В прихожей они постояли немного, глядя друг на друга молча. Собака суежилась вокруг них, часто перебирая кривыми крепкими ногами, с усилием задирая на расстроенных друзей длинную грустную рожу, наконец не выдержала: потопала в комнату, вошла на диван с так и не убранной постелью и улеглась, вытянувшись длинным рыжим телом по краю измятой простыни, приглашая последовать откровенному ее примеру. И они засмеялись, и прямо в прихожей она стала стягивать узкую юбку через туфли, и ушла в ванную в темных колготках и широкой, вроде мужской рубашки, черной блузке, и он спешил, почему-то стоя сдирая джинсы и носки, отстегивая царапающиеся часы, и когда она вышла, уже был готов, и собака, как обычно, реагировала на каждый ее стон тихим взвизгом, они уже привыкли к этой амур а труа, и была секунда, когда он, изогнувшись, оглянулся и увидел, что она гладит таксу, прижимая ее к чуть свалившейся вбок груди, гладит, гладит, но тут он отвернулся и снова увидел перед собой ее ноги, пальцы,

сведенные, будто судорогой, тонкую голубую сетку сосудов на внутренней стороне бедра, коротко, к лету, остриженные рыжевато-русые волосы, почувствовал становящийся все резче запах, почувствовал, как все жестче смыкаются на нем ее губы — и, подброшенный ее и своей одновременной спазмой, закрыв глаза, оскалившись, теряя сознание, но осторожно, чтобы не задеть собаку, упал рядом, перевернулся на спину и прикрыл лицо согнутой в локте рукой.

Когда-нибудь собака умрет, подумал он, тогда и мне придет черед. Лучше всего было бы умереть вот так. Но это бессовестно. У нее будут жуткие неприятности, да к тому же и описано у какого-то из модных, так что пошлость, поэтому хорошо бы умереть после ее очередного ухода, отпустить одну, отговорившись чем-нибудь, чтобы не провожать до метро, потом обязательно одеться, убрать постель, достать бутылку, хорошо бы Jack Daniels, он берет круче всего, налить, повалившись опять на диван, выпить глотком, налить сразу снова... и так, пока не разлетится в куски задняя стенка, перед этим будет сильный испуг, но надо его преодолеть, и выпить еще, и успеть поставить на пол бутылку, а остаток в стакане выльется на лицо и грудь, найдут дня через три, но это все же будет лучше, чем от цирроза в Боткинской...

В этот раз он проводил ее до пересадки в центре. Они стояли на эскалаторе обнявшись, вдруг она начала белеть, глаза застыли, он оглянулся, проследив ее взгляд, и на встречном эскалаторе увидел человека с сильно выраженным татарским типом лица, скуластого, ярко-кареглазого, с длинными по старой моде висячими усами.

Это был ее муж.

Три года назад, еще в самом начале, он допрашивал ее: «Ну что, что тебя с ним связывает? Почему он так подчинил тебя, так влияет на тебя до сих пор? Ведь уже ясно, ничего не представляет собой, одна имитация всего — и значительности, и таланта, и силы, все ушло, если и было когда-то... В чем же дело?» Она молчала, начинала тихо плакать, однажды наконец ответила: «Не знаю... он очень плохой, очень, а я покоряюсь плохому, у меня тяга... не знаю, наверное, поэтому...»

Теперь на эскалаторе она стояла совершенно белая, косо за-

кусив все еще по-молодому гладкую губу... Доехали до верха, протиснулись по переходу, он вместе с ней сел в ее поезд — и она наконец заговорила. «Когда выяснилось, — голос ее прервался, она прокашлялась, — когда стало окончательно ясно, что детей нет из-за него, я пообещала ему... поклялась даже, что никогда не уйду. Вот в чем все дело, все его влияние: он мой обет...»

В поезде было битком, их толкали, то прижимая друг к другу, то разводя, а он думал, что вот сегодня все и сошлось, и ничего не поделаешь, потому что ее детский идеализм, и сентиментальность, и книжные выдумки — это такая же реальность, как подступающая безработица, заботы о деньгах, и со всем этим надо жить, а время для последнего стакана еще не пришло, а когда придет, то его не распознаешь, потому что будут новые реальные заботы.

Впрочем, мой последний стакан — романная чепуха еще почище ее клятвы, подумал он. Бледность уходила из ее лица, он смотрел на нее поверх чьих-то голов и плечей и понимал только одно: почему-то эта женщина оказалась единственным, что есть настоящего в его жизни.

* * *

А следующий день начался так, будто ничего накануне и не случилось.

Это была одна из поздно постигнутых им мудростей, одно из достижений его невероятно затянувшегося взросления: то, что сегодня кажется катастрофой или счастьем, на завтра становится просто вчерашним днем. Однажды он поделился этой мудростью с нею, она тут же привела кучу книжных подтверждений, от античных до Серебряного века, а в конце концов засмеялась: «Стоило же рассуждать серьезным мыслителям, чтобы додуматься вдвоем, что утро вечера мудренее!» Иногда — не часто, вообще-то она была больше склонна к патетике — ее посещало ироническое настроение, он ее редкими шутками восхищался, они всегда были резче и точнее, чем обычный треп институтских среднеарифметических остряков «под Жванецкого».

Вот и это утро оказалось много разумнее вечера накануне, когда он сидел на кухне, дожимал бутылку под вечерние «Новости» и «Вести», переключая с канала на канал, под танки и авто-

маты, неразличимо одинаковые в Хорватии и Осетии, под биржевую рекламу утробным хамским голосом, наконец, под концерт до-модельного пэтэушного рэпа... Бутылка пустела довольно быстро, вызывая мимолетное сожаление о шестнадцати долларах и медленно нарастающее тепло отчаяния, уют безнадежности. Татарское лицо плыло над поручнями эскалатора, медленно поворачиваясь плоским фасом. Он никак не мог понять, что именно рухнуло из-за того, что их засекали, но что-то рухнуло, это было очевидно. И дело было не в практической стороне, в конце концов, они вместе работают, и ничего нет такого уж страшного, если сослуживец слегка приобнимет даму за плечи, чтобы поддержать ее на эскалаторе, провожая до пересадки и обсуждая весьма серьезную институтскую ситуацию, а выражение лиц с другого эскалатора особенно и не разглядишь, и ведь, если уж на то пошло, в метро в центре, а не в постели попались, и не в поцелуе... Но все равно было плохо, и наконец он начал понимать почему: они оказались *под взглядом*, не стало тайны, муж влез в их любовь, и теперь они уже никогда не останутся вдвоем, никогда, никогда... Он заплакал. Утром же он обнаружил себя на диване, вполне раздетым и даже укрытым, одежда была аккуратно сложена на кресло, но как он сюда попал, оставалось неизвестным. Собака, естественно, спала рядом, по-старушечьи, по-своему: на боку, сунув передние лапы под горестную во сне морду, лежащую на подушке. Когда он встал, она даже не пошевелилась, это давало свободу для необходимых действий до утренней прогулки. Печень вела себя адекватно, справа под ребрами ворочался ее мощный угловатый кулак. В кухне все оказалось тоже в порядке: телевизор выключен, бутылка с оставшейся четвертью соломенно-желтого содержимого закрыта, стакан и тарелка в мойке, остатки ветчины в холодильнике... Можно было начинать процесс реанимации.

Стоя сначала под очень горячим душем, потом под очень холодным и снова под горячим, он вдруг заметил, что уже совсем не думает о вчерашнем — ни о встрече с «нашим мужем», ни о закрытии Института, ни о предчувствии смерти, ни о поездке в Данию. Думал же он — убирая бутылку *Four roses* (в последнее время любил больше бурбон, чем скотч), бреясь почти бесшумным «Braun», надевая «levi's», шелковую рубашку, полотняный

пиджак, натягивая прочные, на толстой кожаной подошве ботинки «lloyd» с выстроченным носом, пристегивая к ошейнику собаки поводок-рулетку, — думал именно обо всем этом, пришедшем в его жизнь быстро, за последние год-два, и незаметно ставшем обычным, нормальным обрамлением существования. Теперь у него было все, что казалось еще совсем недавно совершенно недостижимым, да уже и не очень нужным, а лет пятнадцать назад — еще более недостижимым, но невообразимо, почти единственно желанным. Было немного стыдно признаться даже самому себе, но когда уезжала Лелька, и уже был оформлен развод, и уже все успокоилось, пришлось уйти из университета, но это оказалось только к лучшему, и общие знакомые уже отпереживали — он часто ловил себя на мысли, что теперь иногда можно будет оттуда что-нибудь получить. Ну там, пару джинсов раз в год, рубаху... Смешно. Самое смешное, что некоторое время и получал, особенно пока был без работы, и даже продавал тогда кое-что... Потом Лелька замолчала, исчезла где-то не то в Австралии, не то в Германии. Может, и правда — вышла замуж, и не до отправки штанов бывшему мужу стало... Потом появились одновременно и работа, и собака — странно, оба так хотели таксу, пока жили вместе, а завел он ее сам, мирясь с неудобствами, упрощая перед каждой поездкой кого-нибудь из знакомых передержать бедную псину недельку-другую. И начались эти самые поездки, и появились тряпки, и сам Плотников теперь иногда косился на его галстуки и пиджаки с замшевыми — как подобает кабинетному ученому — налокотниками, и обнаружили в Москве магазины, где за доллары давали быстро полюбившееся утешение души и гибель печени: соломенный в трехгранных бутылках Glenfiddich, рыжий в пузатых Chivas Regal, болотно-желтый в квадратных Ballantine, стандартный Johnny Walker и Teachers, верную учительскую горькую.

«Пойдем, Лелька», — сказал он. Собака суетливо побежала в лифт, сползла, стекла по ступенькам подъезда и тут же раскорячилась, виновато оглядываясь на него: извини, едва дотерпела. «Сука ты, Лелька», — вздохнул он, порадовавшись, что по раннему времени не встретился никто из соседей. Как всегда с похмелья, его подняло в пять...

Потом уже все закрутилось обычной спешкой: убежавший

кофе, геркулес для собаки, никак не желавший довариваться, поцелуй в ее вымазанную кашей и жирным бульоном рожу, подсевший и едва сработавший аккумулятор перекупленного (за полторы штуки зеленых у соседа, отбивавшего к новому месту дипломатической службы милого нигерийца) горбатого «фольксвагена», любимого с давних платонических времен красного «жука», предмета и тихой, и открытой зависти не столь разъездных коллег. Все были уверены, что машину он привез из той долгой, на семестр, поездки во Франкфурт, а он их не разубеждал.

Тогда он мог привезти не то что такую железку, но и божеество советского человека — «мерседес», и даже синий «ягуар», на который он как-то облизывался на тамошней автомобильной барахолке, — всего восьмилетний «jaguag-sovereign», мечту пинжонских времен... А не привез ничего.

На коктейле в издательстве Курт подвел его к маленькой, круглой, пышноволоосой и пышноплечей блондиночке, в которой он сразу же — несмотря на вполне приличную и даже не слишком переполненную блестками и бантиками, вполне европейскую университетского стиля одежду — распознал соотечественницу и коллегу. Может, по несвойственному местным интеллектуалкам, феминисткам, социалисткам и, следовательно, лахудрам женскому сиянию в глазах, широко открывшихся навстречу мужчинам... Курт хохотал, находя необыкновенно смешным, что он здесь, в Германии, знакомит москвичей, и даже коллег, а она раскрыла глаза еще шире: а, так вы и есть тот самый?... я так рада, а то все не было случая познакомиться, когда вы пришли к нам работать, я была в Штатах, а когда вернулась, вы уже сюда оформились... много слышала, и всегда читала, это ж настоящий класс — то, что вы делаете по героям и прототипам... да, всего на неделю на эту конференцию, вон там все наши стоят, видите?

Через полчаса они ушли вместе. Она жила в шикарной, огромной и скучной гостинице «Ramada». Как все отели этой сети, франкфуртский стоял на поддороге к аэропорту, у черта на рогах. Прежде чем брать такси, они зашли в маленькую пивную, взяли почему-то только кофе (потом выяснилось, что она стеснялась вводить его в расход), посидели... Вышли, двинулись в сторону вокзала по широкой и все более грязной улице. Заведения с ви-

деороликами по пять марок уже начинали закрываться. Из дискотеки вместе с музыкой вырвались буйные мальчишки и, никого не трогая, скрылись в переулке. Он поймал ее взгляд: она смотрела на витрину life show, глаза ее плыли... Тогда он поднял руку перед медленно едущим вдоль тротуара такси, почти втокнул ее в глубину заднего сиденья, сам сел рядом и сказал шоферу: «Отель «Ам Берг», битте», — и тут же обнял ее, положил руку на широкое, теплое под тонкими брюками колено, тихо сказал, глядя перед собой, будто продолжая обращаться к шоферу: «Самое лучшее состояние — это предчувствие любви, впадение в любовь. Вам приходилось это замечать или вы живете спокойно?» «Куда мы сейчас?» — спросила она. «Ну не к нашим же коллегам», — ответил он.

Они пересекли реку, проехали под путепроводом и повернули к его маленькому семейному пансиону, за который платили университет и издательство на паях. Он отпер дверь своим ключом и вошел первым. В холле было полутемно, из дальней комнаты хозяйки был слышен плохо поставленный студийный смех — передавали телевикторину. Гигантская альпийская овчарка Ласт подняла голову, посмотрела внимательно. «Ласт, Ласт, шоне Хунде», — сказал он вполголоса, одновременно поворачиваясь к ней и показывая, чтобы она вошла и сразу поднималась по лестнице. И двинулся за ней. Лестница отчаянно закрипела. Хозяйка появилась в холле, когда она уже скрылась за лестничным поворотом, он изо всех сил наступил на скрипучую ступеньку и улыбнулся, насколько растянулись губы: «Еншульдиген, фрау Хелен...»

Она так бесчинствовала в постели, что он ничего не понял — то ли настолько оголодала за эти два дня вне дома, то ли действительно мгновенная страсть... Он тогда не сразу въехал в то безумие, которое три года после этого терзало и терзает их обоих. Только в четыре утра, когда она уже стала собираться, чтобы успеть выйти из своего номера к завтраку с группой, достало и его. Он пересек свой гигантский, почему-то с тремя кроватями, номер и вошел к ней в ванную. Она уже вытиралась, стоя на мокрой подстилке, отражаясь в широком зеркале и одновременно, смутным контуром, в темно-синих кафельных стенах. В узком окне, пересеченном полосками пово-

ротных жалюзи, горело только что поднявшееся солнце. Он прижал ее к кафелю, она поставила одну ногу на край ванны, он подогнул колени — и тут почувствовал, что происходит нечто большее, чем обычный первый раз. «Я тебя люблю», — сказал он и услышал, что действительно признается в любви. «И я тебя люблю», — сказала она, ее голос прерывался, потому что, не давая ей говорить, он вдавливал и вдавливал ее в кафельную стену, сжимая все сильнее слишком широкие и полные для ее роста плечи, приподнимая ее от пола, ее груди вздрагивали, она не успела вытереться, и на самых их вершинах, на желто-розовых всхолмиях, почему-то напоминавших мелкие парковые грибы, дрожали прозрачные капли, и вдруг одна такая капля перешла к нему, застряла в волосах под крестиком.

Наконец проклятый «жук» завелся, и уже через пять минут он ехал по Красносельской, перестраиваясь к повороту у Трех вокзалов.

* * *

Весь день его донимали сотрудники. Первым пришел Кравцов, сунул руку дощечкой, пролетарской своей манерой, и заговорил, по обыкновению, не совсем внятно, но многозначительно:

— Значит, едем, старый? Ну, нормально... Ты, вообще, молодец, не даешь Феде на голову срать. Поедем, погудим немного. Ты «абсолют» любишь? Классная водка, скажи? Она, конечно, не датская, а шведская, но там ее везде навалом, ептмать. А сигареты у них «принц», дорогие, конечно, блин, но очень хорошие, сухие такие и без послевкусия, как раз крепкие, как ты любишь... Но ты даешь! Значит, едем? Так ты тогда к Феде зайди, объясни: Кравцов, значит, едет тоже, заходил ко мне, поговорили, все обсудили... Ты же понимаешь? Могут же быть проблемы, а меня там и в посольстве, ептмать, все знают, и в торгпредстве особенно, думаешь, там все новые? Да там Колька Семаков уже второй срок сидит, ептмать, и еще будет сидеть, ты ж меня понимаешь? Приёмственность же нужна...

Он исчез, как появился: краснорожий, с непроходящего похмеля, в старомодном, но некогда английском пиджачочке, с драной сумкой «Aeroflot» через плечо. Так и сказал: «приёмственность»... Вроде бы кандидат наук. Чем он занимается в Инсти-

туте, никто сказать не может, но все догадываются. И как сидел он у Феди подолгу раньше, так и последний год сидит. И как брал его Федя раньше с собой время от времени то в Англию, то в Испанию, так и теперь берет... Какая ж еще «приёмственность»? Черт знает что.

Он позвонил ей: «Привет, это я». «А, привет, привет! Ну, что слышно?» Веселый тон, оживленный. «Ты там не одна, говорить не можешь?» «Ну конечно, а ты как думал? Лучше ты расскажи, что нового? Все хорошо?» Он понимал, что иначе она говорить не может, но терпеть этот тон был не в состоянии. Какое, к хренам, «хорошо»? А, чтоб оно все... «Ты когда будешь одна? Я перезвоню...» Договорились в три созвониться и пойти вместе в буфет. Время от времени они позволяли себе это для естественности, ведь коллеги же. Да в последнее время многие в Институте уже почти и демаскировали их, так что оставалось просто соблюдать приличия и не обниматься при людях, а все остальное сослуживцы терпели...

Но в три ему пришлось позвонить и сказать, что обедать пойти не сможет. В три у него сидел Юра Вельтман, продолжая уже час с восторженной и бессмысленной улыбкой твердить о Королевской Библиотеке, куда надо будет обязательно свалить с этой дурацкой конференции.

— И еще я тебе Русалочку покажу, — говорил Юра в десятый раз и в десятый же раз начинал описывать копенгагенскую Русалочку. Он был в Дании по крайней мере трижды, но, кроме Королевской Библиотеки и увиденной в первой же экскурсии Русалочки, которую все остальные раз сто видели по телевизору, никаких впечатлений не вывез. Юра был необыкновенно в житейском смысле глупый и безукоризненно честный человек — и при этом действительно талантливый ученый. Больше всего на свете он любил рассказывать старые еврейские анекдоты и начинал смеяться за минуту до конца рассказа.

Юра еще был в комнате, когда вошел Сережка Гречихин.

— Я на минутку, — сказал он, не дав договорить Юре про Русалочку и ее похищенную голову, взял стул, с которого Юра только что поднялся, прочно сел и, едва закрылась за Вельтманом дверь, приблизил серьезное лицо, глянул сумрачно поверх съехав-

ших модных очков в желтой металлической оправе и спросил тихо:

— Ты только скажи мне откровенно, мы ж с тобой друзья... Мой сектор закрывают? Я здесь больше не нужен?

Вопрос был настолько неожиданным и в теперешней ситуации нелепым, что он засмеялся:

— Что значит — твой сектор закрывают? Ты ж читал приказ? Весь Институт закрывают...

— Только не надо... — Сережка хитро усмехнулся. — Мы ж не дети. Ты и сам отлично понимаешь, что такие вещи без цели не делаются. «Ликвидируется...» Гречихин, конечно, не гений, но на два шага вперед считать умеет. Сейчас закроют Институт, меня с сектором на улицу, а потом откроют... А я уже ни при чем. Так как? Ты ж с начальством говорил... Так?

— Да что откроют-то? — не выдержав, заорал он. — И при чем здесь, действительно, ты? Институт закрывают, понимаешь? Весь Институт. И о чем это, по-твоему, я говорил с начальством? О твоей судьбе? Ей-Богу, Сережка, ты совсем...

Он хотел сказать «с ума сошел», но вовремя поймал себя за язык. Десять лет назад Гречихин действительно отбыл в психушке пару месяцев с каким-то сильным срывом и с тех пор во всем происходящем видел постоянную интригу, направленную на изживание его, как психа.

— Я-то совсем... — сумрачно вздохнул Гречихин. — Тебе-то видней... В Данию, говоришь? Ну, давайте, езжайте... Только я не понимаю, что вы собираетесь хоть в Дании, хоть в Академии делать без сектора статистики...

И вышел.

Он было подумал, что не так уж Сережка и безумен, что-то промелькнуло в его словах, что как-то связало и вчерашний разговор с Федей, и утреннюю галиматью Кравцова. Академия... Дания...

Но закончить мысль он не успел, потому что вошла Елена Всеволодовна Шаховская. Из отдела истории движений. И из тех Шаховских.

— Добрый день, — сказала она с повышающейся интона-

цией классной дамы, и это прозвучало таким контрастом с сумрачным бредом Сережки, что он снова засмеялся.

— Я сказала что-нибудь комическое? — поинтересовалась Елена Всеволодовна и, не дав ему извиниться, продолжала: — Думаю, что положение не такое уж забавное. Я понимаю, что в ваших беседах с Федором Владимировичем вам не до мелких проблем нашего отдела, но я хотела бы, чтобы вы с Плотниковым имели в виду: я могу уйти в любую минуту, для этого не надо закрывать Институт, я, простите, уже в таком возрасте...

Тут он все же перебил:

— Ну, о каком возрасте вы говорите, Елена Всеволодовна...

— О своем, благодарю вас, — перебить ее было невозможно. — В любом случае я бы хотела, чтобы руководство имело в виду: отдел истории движений будет необходим и в Академии, или как там теперь будет называться эта организация, в которую нас преобразуют. К тому же вы должны учесть, что в отделе три женщины, на руках у которых семьи. У Катеньки больной отец, она одна...

Он опять сделал попытку перебить ее:

— Что значит «преобразуют»? Я слышал, что Федя, действительно идет на какую-то Структурную Академию, черт ее знает, но при чем здесь Институт? Институт закрывают, нет денег, вот и все. И опять же, при чем здесь я? С каких пор ко мне ходят с проблемами, которые по чину только директору? Ей-Богу, Елена Всеволодовна, это какая-то чушь. Я могу, конечно, поговорить с Федей... с Плотниковым, но это ничего не значит...

— Значит, — сказала Шаховская. — Вот вам он Федя, а мне Федор Владимирович. И иногда мне еще хочется назвать его «товарищ Плотников». Не отвыкла...

Качнувшись в дверях тенью — ходила всегда во всем сером, — старая княжна вышла.

Был уже пятый час. Можно, конечно, просто заглянуть к ней, поздороваться и потрепаться с ее девочками-аспирантками, дожидаться, пока они деликатно испарятся, и поговорить полчаса, узнать, что же у нее было дома вчера. Сама не звонит... Что это значит?

Телефон зазвонил.

— Это Валя, — сказала трубка. — Федор Владимирович просит зайти.

Там уже сидели Вельтман и Кравцов, и, кроме них, тоже знакомый ему человек, Алексей Петрович Журавский, членкорр, правительственный советник, знаменитость, независимый и достойный человек, оставшийся в вольной оппозиции интеллектуала к любой власти. Все курили.

— Вот, — сказал Плотников, перебираясь из-за письменного к длинному столу, за которым остальные уже устроились, — вот мы решили и Алексея Петровича с нами вытащить. Там в приглашении написано, оказывается, четверо, кроме меня. Хорошая компания собирается, а? Сейчас прикинем, кто с каким сообщением выступит... Идет?

— Когда летим, Федя? — спросил Журавский.

Плотников довольно поспешно бросился к календарю, полистал:

— Десятого, Леша, десятого. — И почему-то добавил: — Так что до двенадцатого еще два с лишним месяца...

Не совсем поняв смысл и вопроса, и ответа, кивнув всем, он присел к концу стола, тоже закурил. Между тем Журавский продолжал:

— Я потому спрашиваю, что, ты ж понимаешь, Федя, сообщения сообщениями, дело хорошее, а к июлю мы должны все успеть...

Тут он замолчал и взглянул в его сторону. Неожиданно заговорил Кравцов, которому в таком обществе полагалось бы молчать и молчать. И заговорил на удивление связно:

— Алексей Петрович, вы извините, только для нас все-таки очень важно сообщения обсудить. Вам с Федор Владимировичем, конечно, это раз плюнуть, эти там будут каждое ваше слово ловить. Юре, может, тоже, а нам... — Кравцов глянул на него, как бы ставя его и свои возможности на одну доску — ...нам все же ответственно, международная же тусовка, что ни говори...

Журавский молча пожал плечами, а Федя, будто только и ждал от Кравцова указаний, немедленно начал быстро и, как всегда, необыкновенно толково распределять роли. С основным докладом выступит, конечно, Леша, тут все ясно, вы, Юра, изложите

им попроще вашу последнюю статью, ну, ту, что в сборнике должна была выйти, да не забудьте сказать, что она уже взята на депонирование, а то сдерут, за ними не заржавеет, а вы, пожалуй, расскажите им коротко ту вашу главу из книги, где вы принцип добавочности имен и портретов героев и прототипов формулируете, не знаю, поймут ли, но слушать будут с открытым ртом... Ну, а мы с Сашей сделаем общее, что-нибудь по новым методикам в организации комплексных исследований структур, а?..

Вышли вместе с Вельтманом. В приемной Юра немедленно продолжил свой рассказ о Русалочке:

— И ты знаешь, что интересно: она совсем маленькая! Вообще-то дамы там будь здоров, крупные... Кстати, ты слышал, как мужик пятьдесят седьмой размер бюстгалтера покупал?

Тут Юра залился младенческим смехом, и он, воспользовавшись этим, быстро ответил: «Слышал, слышал, ему говорят, не бывает, а он говорит, как это не бывает, я сам шляпой мерил...» — и смылся.

Странная вся эта история, думал он, сидя у себя, и одновременно соображал, ушла она уже или нет, и если ушла, то обиделась ли, что он так и не нашел за день времени встретиться и поговорить... и чем все же кончился у нее дома вчерашний вечер?.. Голос по телефону был веселый, но это ничего не значит, там полная комната девок, не считая двух пенсионеров-отставников... Позвонить?

— А она только что ушла, — радостно ответил один из отставников, узнав, естественно, его голос. Но тут же придал тону солидность и академическую корректность: — Если угодно, я что-нибудь передам? Оставляю на завтра записочку?

Он молча бросил трубку и кинулся к лифту — на выходе можно перехватить. Увидел, как она сбегает по длинному и широкому маршу, по выщербленным мраморным ступеням некогда шикарного вестибюля, хотел догнать — и вдруг почему-то остановился. Она с усилием толкнула высокую, тяжелую дверь, вышла. Он ссыпался по лестнице, стал у бокового окна, за занавеской. Что-то заставило его стать так...

Внизу, у подъезда, прислонясь к своей старенькой «шестерке», ее ждал муж. Вот она вышла... Сбежала с крыльца, знаменитого

институтского крыльца с маленькими женогрудыми львами... Муж обнял ее, даже похлопал слегка по спине, по широкой ее, слишком широкой спине... Она вся прижалась, потянулась вверх, подняла лицо... Это она умеет.

Потом семья села в машину и уехала.

Странная, очень странная история, думал он, дожидаясь вечно занятого лифта, поднимаясь на свой этаж, запираясь в комнате, чтобы не влез кто-нибудь из тоскливо шатающихся после рабочего дня сослуживцев, закуривая — страннейшая история. Чем же так взял Федю Сашка Кравцов, маленький стукач, полуграмотный и нетрезвый? И что имел в виду Журавский, особо интересуюсь, успеют ли они что-то сделать до двенадцатого июля? И почему все считают, что Академия, руководить которой идет Плотников, — это не что иное, как Институт же, только как-то преобразованный? И какая во всем этом есть связь, какая-то есть, но какая? И в конце концов что ему за дело до всего этого?!

По-настоящему интересно было только одно: как они вчера объяснялись с мужем, лежа? Или, может, сначала долго выясняли отношения, сидя над недоеденным ужином на кухне?

* * *

Она уже была дома и даже успела приготовить неплохую версию, когда пришел муж, втащил новый аккумулятор, за которым, оказывается, и ездил в метро. Она усмехнулась про себя — все из-за аккумуляторов: они поехали в метро, потому что сел аккумулятор его «жука», муж поехал в метро, потому что наконец достал аккумулятор для своей развалюхи... Они все живут с подсевшей энергетикой, подумала она, машины и мужчины среднего возраста, подумала она, и, кажется, только я их подзаряжаю, маленькая передвижная зарядная станция, вполне еще исправно действующая для своих сорока...

Муж повозился в прихожей, примаскивая грязный железный ящик, прошел на кухню, привычно поцеловал ее, стоящую у плиты, в затылок. Не оборачиваясь, она повела плечами, поджала кожу сзади на шее — отчасти имитация удовольствия, отчасти ей это и действительно было всегда приятно, независимо ни от чего — чувствительное место...

— Этот, который ехал с тобой в метро, как его... — начал муж, она тут же, но не суетливо перебила:

— А, этот... Представляешь, повезло: выхожу из Института и на лестнице каблук — раз! Все, под корень... И тут он. Тоже крутился, машина не заводилась, у него какая-то западная, привез, говорят. Слава Богу! Уже поздно, никого нет, так хоть помог до пересадки доехать... Зато всю дорогу о своих успехах рассказывал, о том, как его во все университеты мира зовут, а он отказывается...

— Ага, — безразлично сказал муж. — А правда, что он в Данию через неделю едет с вашим Плотниковым и с Журавским? Я сегодня слышал...

Она сориентировалась мгновенно. Уж если муж в своем Центре, ото всех на отшибе, успел об этом узнать, то вполне естественно, что по дороге, в метро, и она услышала эту новость из первых уст, тем более что она как раз описала его хвастовство. Но при чем здесь Журавский? Этого еще не хватало... Что про Журавского-то может быть известно?

— Что-то такое он говорил. — Она, отвечая, снимала чайник, переставляла сковородку с картошкой, доставала из холодильника масло, вся эта суета позволяла говорить медленно, с паузами, прислушиваясь не то что к реакции, а даже к намерениям мужа реагировать. — Что-то говорил... Какая-то конференция. Еще, кажется, Вельтман едет и этот наш... Кравцов. А Журавский тут при чем? Это разве его уровень? И по-моему, он Журавского не называл, а то уж обязательно сказал бы — мол, мы с Лешей Журавским...

Ей стало горячо от стыда. Это было предательство — так говорить о нем, высмеивая ему почти несвойственное хвастовство, а если и свойственное в малой мере, то об этом известно только им, и только они вдвоем, вместе над этим могут посмеяться, и говорить так о нем с кем бы то ни было, а тем более с мужем — это предательство, это...

Хватит, сказала она себе, раскладывая по тарелкам картошку, вытряхивая из банки капусту, скатывая с маленькой сковороды по котлете, хватит терзаться. Нас засекли, и надо выкручиваться, и что бы для этого ни пришлось сказать или сделать — все мож-

но. Потому что это ради нас, ради нашей возможности видеться, потому что это жизнь, а я в этой жизни — передвижная зарядная станция для по крайней мере двоих мужчин среднего возраста. По крайней мере двоих.

Она постелила себе постель, как обычно, рассчитывая, что муж будет допоздна смотреть телевизор, ожидая ночных новостей ITN, — в маленькой комнате на узком диванчике, оставшемся еще от свекрови, и уже приготовила себе ночное чтение, скопившиеся за пару дней газеты и реферат, присланный на отзыв из Томска, когда зашел муж. Сел в кресло, взял с полу «Новости». Быстро всунувшись в ночную рубашку, она влезла под одеяло. Муж полистал газету, бросил... И спросил своим обыкновенным невыразительно-спокойным тоном:

— Он тебя обнимал там, в метро... У вас что, такие теплые отношения в Институте? Может, я отдам ему свой новый аккумулятор, чтобы он тебя отвозил после работы?

— Аккумулятор?! — она переспросила и уже за этот миг нашлась: засмеялась отчаянно, своим всегда безукоризненно действующим смехом со всхлипами, засмеялась, будто предложение мужа отдать аккумулятор любовнику было невероятно остроумно. — Аккумулятор? Ну, и ты будешь отдавать аккумулятор любому случайному попутчику, решившему в удобную минуту поухаживать за твоей женой? По-моему, аккумулятор теперь для вашего брата слишком большая ценность...

Она откинула одеяло. Рубашка, как и следовало ожидать, влезла вверх почти до пояса. Муж встал, перегнулся через нее, потянул за шнурок — погасил настенную лампу...

Одно, еще одно она смогла себя заставить — шептать ему в ухо: «Ты... ты же помнишь... все эти годы... навсегда... ты же помнишь... ты...» Но сверх этих слов выдавить из себя хоть каплю она, конечно, не смогла, уже давно это стало невозможно. С тех самых пор, как восемь лет назад они вместе ходили по врачам. Тогда все и кончилось.

И она только повторяла: «Я с тобой... с тобой...», так и не сказав ни разу «люблю».

И когда он заскрипел зубами, захрипел, когда она почувствовала, с едва ощутимой судорогой брезгливости, постороннее, не-

нужное тепло в себе — от сердца наконец отлегло: на этот раз обошлось, они прокололись, но она, кажется, все уладила.

Наутро она вспомнила про Журавского. Этого еще не хватало... И звонить, спрашивать нельзя, он сразу почувствует заинтересованность, начнет допытываться. Ну ладно. Днем, наверное, он позвонит, можно будет вместе пойти в буфет и там как-нибудь навести разговор.

Но днем он звонил дважды, а встретиться так и не удалось — что-то у него происходило, и она не могла узнать, что именно. К концу дня позвонил муж и сказал, что заедет. Радовался новому аккумулятору...

Уже садясь в машину, она увидела его. Он стоял в вестибюле и наблюдал за ней из-за занавески бокового окна. Значит, видел, как она подошла к мужу... Вечером, попозже, надо будет обязательно исхитриться и позвонить ему. Может, пойти к Ленке-соседке, забрать, допустим, юбку из переделки? И из автомата у ее подъезда... Только выбрать время, когда он уже точно вернется с собакой.

По дороге она рассказывала мужу о переполнявших Институт слухах насчет преобразования в Академию, о страхе сотрудников, опасаящихся вылететь на улицу под предлогом закрытия Института, о невыносимо ухудшившихся из-за этих страхов отношениях и общей атмосфере. Муж кивал, хмыкал, усмехался, а она думала только об одном — лгать, делать подлости, хоть воровать, хоть лечь под кого угодно, лишь бы сохранить отношения, лишь бы видаться каждый день, а дважды в неделю ехать через весь город в его уже родную, пыльную, набитую старым барахлом квартиру и освободиться от жизни, истекать жизнью под ним, на нем и рядом, рядом с ним, прижимая одной рукой его, а другой — теплое гладкое тело собаки. Что угодно, лишь бы это было всегда, и всегда был жив и благополучен он, с его дурацким барахлом, с пошлым представлением о мужественности, с хвастовством, с его бабьей любовью к тряпкам, с постыдным стремлением как бы ненароком подчеркнуть, какой дорогой подарок он ей привез в очередной раз... Даже с его тщательно скрываемой малограмотностью. Пусть он имитирует все — одно она знает твердо: любовь он не имитирует, он любит. Может, это первый из тех, кого она

знала, такой: несерьезный во всем, кроме любви. Все до него были устроены наоборот.

И потому — что угодно. Только убить, пожалуй, она не сможет ради этого. Хотя... Кто его знает.

— А Журавский точно едет в Данию, мне сегодня еще раз сказали, — муж быстро покосился на нее. Они уже въезжали во двор.

Домой не хотелось, хотя было давно пора, у бедной Лельки уже мочевого пузырь лопается... Он сидел, курил, бессмысленно глядя на телефон. Набрал ее номер. Короткие гудки — наверное, муж сел звонить. Они там, в Центре, на службу почти не ходят, все решают по телефону, вечерами он говорит часа по полтора, а потом садится к телевизору — и до упора. Так, во всяком случае, она рассказывает. Набрал еще раз. Занято... Полез в стол, вытащил уже початую фляжку Southern Comfort, хорошо глотнул. Остановят — черт с ними, за доллар-другой отпустят... Снова набрал. Бип-бип-бип. Ну, чтоб ты задавился...

Кто-то подошел, дернул дверь. Он затаился — избави Боже кого-нибудь сейчас видеть, разговаривать. И тут же зазвонил телефон. Ответить? Получалось неловко — дверь не открывает, а по телефону говорит. Телефон замолчал, к счастью, быстро. За дверью потоптались, потом он услышал голос Кравцова:

— Ушел... Ну хрен с ним. Хотя проблем с ним будет много, попомни, Федя, мои слова...

Что?! Это с каких же пор Плотников этому херу моржовому «Федя»? Странная история продолжается, продолжается... Телефон снова зазвонил. В коридоре чей-то голос ответил Кравцову, это не был голос Плотникова, но чей, разобрать было невозможно — телефон все звонил, а когда наконец заткнулся, в коридоре прикуривали — чиркали зажигалкой, чмокали первой затяжкой... Потом тот же голос — да это же Журавский, вот это кто! — сказал:

— И еще раз тебе говорю, Федя: регистрация и открытие счета только полдела, а вот получить разрешение на трансфертные операции сложнее. Тем более, что в этом мы с тобой ни хера не смыслим. Так что вот на Сашу вся и надежда...

— Родина на тебя смотрит, Саша, — и смешок. Это уже Федор Владимирович. Потоптались, пошли...

Он кинулся к окну. Второй раз за этот день подсматривал он за выходящими из подъезда Института, только теперь с другой точки. Отсюда, с шестого этажа, все выглядело черточками с кружочком посередине — плечи и голова. И вылетающие снизу поочередно ноги, один башмак вперед, другой... Вот легкой побегой, раздувая, как Batman, полы плаща, летит к своей «девятке» Федя. Вот подруливает к ступенькам казенная черная «волга» Журавского. А вот и неожиданный Кравцов обнаруживает еще одну неожиданность: пересекает улицу и открывает примостившийся на паркинге — кто бы подумал? — старенький, но вполне еще шикарный «вольво»-универсал, синий огромный station-vagon. Три года работает здесь и три года видит он этот фургон на стоянке, но и подозревать не мог, что принадлежит машина-то обормоту Сашке!.. Все, разъехались.

Это странная, страннейшая история, опять твердил он мысленно, идя по коридору, поворачивая к лестнице, чтобы не ждать вечно занятый лифт. Где-то он слышал, что это значит — «трансфертные операции», но не мог вспомнить точно. И о какой регистрации, о каком счете они говорили? Может, Журавский хочет открыть там счет, как делают теперь все эти новые большие люди? И Федя тоже? Тогда становится понятно, зачем им Сашка — с его старыми гэбэшными связями, с «Колькой Семаковым, который два срока сидит», и с прочим со всем. Но нет... Какой-то не такой у них был разговор, не приватный, а скорее служебный.

Тут его мысли сбились, потому что он вспомнил, как звонил телефон, пока он сидел затаившись. Наверное, решил он, это звонила она, дождалась, пока муж наговорился, и звякала просто так, узнать, в Институте он еще или поехал домой. Звякнет — и положит, звякнет — и положит, ведь она не может нормально говорить из дому, только когда муж выходит возиться с машиной. Жаль, что у них нет собаки, вечерняя прогулка с собакой дает возможность звонить из автомата. Впрочем, она бы не гуляла на своих выселках одна. И хорошо, что у них нет собаки. Лелька — наша общая собака, наша третья в любви... Но при чем же он-то

ко всей этой истории с трансфертными операциями, счетами и тому подобным?..

Неожиданно для себя он направился к приемной — как раз спустился до второго этажа. Как и следовало ожидать, Валька была еще там. В закутке, где она готовила чай, сидела постоянная ее компаньонша, Галя из машбюро, а сама Валька была уже хороша: на столике стояла почти пустая бутылка «лимонной».

— Грустишь? — Валька обняла его за шею могучей рукой, прижалась. — Не грусти. Поедете с Федей, оттянетесь там с датчанками...

Он притиснул девушку покрепче, двинул ладонь по спине вниз, Валька деланно закатила глаза.

— Валюша, — сказал он, — Валюша, зайчик мой... А ты не покажешь мне наше приглашение? А то у меня тут сроки, дела...

Она не дослушала:

— Вон, в правом верхнем ящике возьми конверт. Только оно еще не переведено. Ты что, и по-датски сечешь?

— Секу. — Он выдвинул ящик, взял конверт с прозрачным окошечком, вынул второе сложенный листок. — Секу, Валюша, я по-всякому секу...

«Dear Sir... — прочел он, — ...the pleasant to invite you... your four colleags you can propose... Sincerely...»

Вверху, над обращением, стояла его фамилия.

— Ну, разобрал? — спросила Валька. — Или без поллитры не разобраться? Так давай дерни с Валечкой и Галечкой... Давай?

— Ты даже не представляешь, насколько ты права, — сказал он. — Тут и с поллитрой не разберешься. Только я не могу, девушки, не обижайтесь: ГАИ не велит...

В машине он пожалел, что оставил недопитый виски на работе: голова начала болеть до того нестерпимо, что он был готов, в самых худших традициях, глотнуть, стоя у очередного светофора. Нагнуться — и глотнуть... Благо, все равно уже темно.

Но выпить в машине было нечего. И головная боль постепенно перешла в звон, в мерный шум в ушах, будто загомонили в голове огромная толпа, голоса спешили, раздавались отдельные

вскрики, и все громче, все быстрее... Это ему было знакомо еще с детства — такой шум в голове, начиналось всегда в тишине, когда сидел в комнате один, делал уроки, точнее, делал вид, что делает уроки, сунув в ящик стола «Трех товарищей». Смешно... Так и дожил, дурень, почти до старости по милой этой подростковой литературе. И все оттуда: и пьянство, и к женщине отношение, и к машине, и даже к тряпкам, если задуматься. Еще из «Черного обелиска», конечно, ну и из «Жизни взаимы». На листочки развалившиеся издания конца пятидесятых — начала шестидесятых. И любовь — из «Фиесты», из «Кошки под дождем», из «Оружия»... Вот и вся культурно-психологическая подкладка ученого, заметного персоноведа и номенолога. А все остальное — флер, декорация, видимость, понт. И имя-то сделал, проследив совпадения биографии такого же на пустом месте модного автора и судеб его героев, назвав настоящие имена вполне еще живых прототипов, известных людей, и, конечно же, сразу ставши не менее скандально знаменитым, чем сам романист...

В голове стоял крик. В детстве помогало вскочить из-за стола, забегать по комнате, с пением, с выкрикиванием во весь голос: «Мо-она Лиса...» — под любимейшего Пэта Буна с модуляциями. Из кухни приходила бабушка, с отчаянием смотрела на безумного мальчишку, редкие ее белые кудерьки шевелились под ветром из открытого настежь, но затянутого марлей на кнопках окна, она стояла, малюсенькая, сухая, но крутобедрая, с хорошо выпрямленной в ее семьдесят лет спиной, и смотрела, как внук на глазах сходит с ума от чтения и бесконечного слушания этой идиотской американской музыки...

Ночи напролет, вплотную прислонясь ухом к матерчатому фасаду мавзолееподобного приемника «Мир»...

Но в машине нельзя было вскочить, завопить, забегать, и крик нарастал, это больше всего было похоже на вопли политических шизофреников, все еще собиравшихся у стендов некогда модной газеты, хотя чего уж кричать? Все давно ясно.

Он опустил полностью окно, чтобы шум снаружи заглушил этот базар в мозгах. Машины встали у светофора перед поворотом у Красных ворот. Все газовали, дикая вонь паршивого бензина и грохот убогих моторов действительно потеснили внутренний

крик, но зато начало подташнивать от смрада и духоты. Был уже девятый час, а московская геенна все дышала огнем. Застряли, похоже, надолго — наверное, кому-нибудь кто-то въехал в бок на повороте, теперь будут долго качать права, переть на сумрачно-важного гаишника... Он поглядел по сторонам. Рядом слева стояло такси, набитое черноголовыми, темнолицыми молодыми людьми — обтянутые небритые скулы, короткие прямые носы, темно-го глаза, сверканье золота во рту и на пальцах и, главное, куртки, кожаные куртки, турецкая всемирная кожа, спецодежда мелких гангстеров от Магадана до Кушки... Таксист смотрел прямо перед собой, с профессиональным безразличием пережидая непробиваемый затор — чтобы, как только двинется, уж рвануть по-настоящему, объезжая и справа, и слева, подрезая и проскакивая. Пассажиры его оживленно беседовали, сверкая яростными фиксами, он же привычно ждал движения и хорошей, деловой расплаты от опасных, ненавидимых, но денежных южных друзей. Знакомое у таксиста лицо, вот он обернулся, почувствовав, видно, взгляд...

Сашка Кравцов.

Сашка...

И подмигнул еще.

И тут же все загазовали отчаянно, заревели и двинулись, а такси, просочившись между троллейбусом и военным фургоном, сразу ушло далеко вперед.

Чего ж он из «вольво»-то пересел, чего ж Сашка пересел из «вольво», думал он сосредоточенно, пытаясь совершенно безнадежно догнать лживое такси, которое уже мелькнуло где-то под путепроводом и затерялось, конечно, в машинной толчее у Казанского, куда же Сашка «вольво» девал, думал он неотступно... А может, это и не такси было, а как раз Сашкин универсал? Да нет, вроде такси... Черт его знает, что делается в Москве в это предвечернее время, подумал он, вот, как раз когда начинает темнеть и пыльное желтое марево приобретает сизо-сиреневый оттенок, в самом начале лета особенно, подумал он, что угодно можно увидеть...

Проехал «Красносельскую» — и опять встал, что-то впереди мудрили с дорогой, ходили мужики в оранжевых жилетах на го-

лое жилистое тело, бросали лопатами дымящийся гудрон, ехал задом наперед красный каток. За месяц четвертый раз здесь катают, как будто самый разбитый в городе асфальт нашли... Машины медленно объезжали огороженную поперечно-полосатыми конусами зону.

И тут он увидал новую новость: слева протискивался, пытаясь обойти его в узком проезде, лично Федор Владимирович Плотников. Сидел директор Института за рулем отнюдь не своей экспортной «девятки»-металлик, а в точно таком же, как у него, красном «жуке» и одет был невероятным для элегантного академика образом: в пятнистую куртку афганского ветерана. Пытаясь обойти конкурента, Федя рванул и, объезжая, перегнулся к правому открытому окну, крикнул — видно, чтобы загладить неловкость: «Эй, земля, где горбатого брал? Не в Мозамбике, случаем? Не интернационалист?»

Интересно, подумал он, взлетая на мост, куда это их несет? В гости к коллеге? Выпить-то у меня есть, но на таких гостей не хватит...

Они уже действительно стояли в его дворе, по-деревенски заросшем акацией и топольками, с кривыми лавками и доминошными столами, голубятнями и жестяными гробами гаражей. На лавках сидели вечные неразличимые старухи и кошки и рассматривали приехавших. Северокавказские молодцы стояли, прислонясь к такси, одинаково скрестив ноги в шелковых тренировочных штанах. Сашка Кравцов, как и положено не вмешивающемуся в разборку водиле, курил в кулак в сторонке. Плотников не вылез из «фольксвагена», сидел, постукивая по баранке тонкими кривоватыми пальцами, в быстро наступающих поздних сумерках блестящее граненое обручальное кольцо.

Выйдя из машины, он аккуратно ее запер, снял и сунул под мышку щетки и прошел мимо знакомых не глядя.

Когда же он спустился через пять минут с Лелькой, все были на тех же местах, но смотрели не на него, а на въезд во двор. Оттуда, тяжело поворачиваясь, вползало под низкие ветки дворовых зарослей светло-серое тело одного из недавно появившихся в обновленной столице свадебно-шейховских шестиметровых «линкольнов» с треугольным крылом на багажнике. На заднем сиде-

ные угадывался изысканно-простецкий, мужицко-дворянский, международно-российский лик Журавского Алексея Петровича.

Лелька, естественно, немедленно раскорячилась у самого подъезда, но бабки этого не заметили.

Муж прямо с балкона, весь в мыле, тяжело дыша после своих гантелей и эспандеров, прошел в ванную. Утро субботы начиналось, как всегда, совместным завтраком. Потом предстояла поездка на рынок, ставший уж совсем бешеным, но и магазины не лучше — проживали последний гонорар за его мадридские лекции, продавая понемногу доллары на все годящейся Ленке-соседке, а что потом будет, непонятно, особенно когда закроют Институт... Вечером предстоял большой прием в английском посольстве, туда пригласили «мистера энд миссис». После обеда надо было действительно сбегать за переделанной юбкой и тогда и позвонить ему, это уже безумие какое-то, третий день не виделись и даже не перезванивались, что-то происходит...

— Меня снова приглашают в Испанию, — сказал муж, допивая свой бескофеиновый кофе, аккуратно запаасаемый в каждой поездке, поскольку здоровье он считал своим главным и ценнейшим средством к существованию. — Теперь уже на весь семестр. На тебя приглашение есть тоже. Если захочешь, они придумают тебе какой-нибудь курс, или просто отдохнешь, считаешь, напишешь статью-другую... Я уже начал оформление. Вернешься из Барселоны, получишь новую визу — и поедем. Институт ваш закрывается, а через полгода найдем что-нибудь. Вчера я говорил с Журавским, он звонил в наш Центр и попал на меня. Между прочим, сказал, что Плотников возьмет тебя в эту Академию, которой будет с осени ваш Институт, даже после полугодового отпуска. Плотников и сам вроде собирался, но Журавский еще с ним поговорит, от Журавского теперь будет все зависеть, а сам Журавский очень заинтересован в нашем Центре, потому что это единственное, что останется, кроме Академии... Надо понемногу собираться. К концу лета я хочу продать машину, а то просто развалится...

Она слушала и чувствовала, что всегда выдававшую ее бледность уже давно должен бы заметить муж, если бы он был скло-

нен обращать внимание на перемены в ней. Или если бы обнаруживал, что обращает внимание... Ее застали врасплох, это случилось редко, но в последнее время она устала и все чаще оказывалась не готова к неожиданностям. Что можно ответить? Муж все прекрасно продумал, все устроил, все вовремя, и чем больше он говорит, тем меньше остается у нее поводов возразить. Только кричать — нет, нет, не могу. Полгода не видеть его, не лежать с ним на изжеванных простынях, пропитавшихся их запахом, не исходить последними, кажется, силами и не чувствовать, как они откуда-то вновь берутся уже через полчаса, не лететь в Институт, ожидая утреннего его звонка, не звонить ему по вечерам, слушая его нетерпеливое: «Але! Да говорите же... Ну перезвоните...», не целоваться, как девчонка, у каждого светофора, рискуя быть замеченной из соседней машины, не держать руку на его колене, мешая переключать передачи... Полгода провести с глазу на глаз с этим вот человеком, с его кофе «дескофеинадо», с его гантелями, с потом, выжимаемым обязательными упражнениями, с его невыключающимся возлюбленным «лэп-топом», с его безразлично-доброжелательным молчанием, редкими, но всегда с каким-то важным, неизвестным ей смыслом вопросами... И главное, полгода по ночам слышать хрип, скрежет зубов, тяжелое дыхание и единственное его слово: «Ну?.. ну?.. ну?..» — он всё ждал, год за годом, ее ответа, ее судороги. И без старания изображать эту судорогу, без выражения повторять: «Да... ты же знаешь... я с тобой...» Ужас, какой ужас! Незнакомые люди, город, по которому предстоит ходить одной. Если бы с ним, если бы... Нет, это невозможно. И невозможно ответить «нет» — всё за эту поездку: закрытие Института, подходящие к концу доллары, мечта мужа сменить машину, обещание Журавского потом помочь с ее работой... О Боже! И еще Журавский... Почему все в эти два дня совпало? Муж увидал в метро их, а заговорил о Журавском, потом Журавский звонил сам...

— Да, это неожиданно и очень кстати, — сказала она. — Только надо договориться с кем-нибудь из знакомых, чтобы жили здесь это время, сейчас пустые квартиры так грабят!.. Каждый день рассказывают.

Телефон зазвонил, когда она мыла посуду, пытаясь сообразить,

что же можно сделать, и окончательно понимая, что сделать ничего нельзя, да и не стоит, если честно: эти полгода дадут единственную возможность просуществовать потом какое-то время, и придется все вытерпеть, потому что иначе нищета разрушит их печальную, но все же романтическую любовь еще быстрее, чем разлука. Она не представляла, как будет себя с ним чувствовать, если придется скрывать рваные колготки, как будет принимать его подарки, садиться в машину... Хватит, рваные колготки в ее жизни уже были...

«Вас не слышно», — сказал муж в комнате и положил трубку. Через минуту звонок раздался снова, она дернулась, но сдержалась — сейчас нельзя, надо все устроить. Как же неудачно он выбрал время! Муж положил молчащую трубку, тихо пробормотав испанское ругательство. Муж никогда бы не позволил себе сказать то же самое при ней по-русски — в отличие от него, в отличие от него...

— Вынеси, пожалуйста, мусор, пока я соберусь! — крикнула она и ушла в ванную. Сквозь шум воды прислушалась... Вот он захлопнул за собой дверь... Она выскочила голая, мокрая, оставляя следы на линолеуме, сдвинула защелку — может, муж взял с собой ключ, — набрала его номер... «Что случилось?» «Да, это я звонил...» «Что, что случилось?! Скорее...» «Я хочу тебе рассказать... Мне кажется, я заболел... Знаешь, похоже, что действительно крыша поехала». Ее передернуло: даже сейчас она заметила этот отвратительный жаргон. «Приезжай... В половине шестого будь у Ленкиного подъезда, ты же знаешь где. У меня будет двадцать минут». «Хорошо, я приеду на такси, «жук» слишком заметен».

Муж уже звонил в дверь.

— Подожди, я в ванной! — закричала она, бросив трубку.

* * *

Было около двух ночи.

Журавский сидел в кресле, выглядел свежим, чуть улыбался, на коленях держал поднятый с полу английский «The Personalist», даже листал его, поглядывая иногда в текст. Плотников сидел на выдвинутом в середину комнаты стуле, положив ногу на ногу по-американски, щиколоткой на колено, дырил трубкой, наполняя

душную комнату приторным запахом не то «амфоры», не то «клана». Кравцов стоял у двери, прислонясь к притолоке, с любопытством искренним и наивным продолжая оглядывать комнату — пыльный резной буфет, картины в облезших золотых рамах, огромный дубовый стол и старый «рейнметалл» на нем...

Он сам сидел на кое-как прикрытом пледом диване. Лелька примостилась рядом, положив морду на его колено, внимательно и строго посматривая на гостей, не обращающих на собаку внимания.

— Видите ли, все это достаточно серьезные дела... — Журавский наконец решил, видимо, вступить сам в этот бессмысленный и затянувшийся разговор. — Наверное, вы не станете спорить, что все здесь присутствующие... — он довольно откровенно покосился, запнувшись, на Сашку, — ...практически все, тесно связаны с новой ситуацией. И вероятно, вы согласитесь, что, если жизнь покатится вспять, из нас... — он опять покосился на Кравцова, — ...из нас троих вы потеряете не больше всех. Поэтому мы и решились на этот — согласен, с точки зрения морали обычных обстоятельств достаточно сомнительный — шаг. Но выхода нет... Вы ведь автомобилист? Это же ваш красный «жучок» там у подъезда? Значит, вы должны понять. Мы поднимаемся в гору, угол почти критический, мотор глохнет, ручник не держит... Что же делать? Лететь назад через крышу, колеса вверх, стойки ломаются, позвоночник пополам?.. Или все же выскочить в последний момент, а под задние колеса ткнуть что под руку попало — хоть кирпич, хоть палку потолще, канистру... Мы хотим выскочить, да, с помощью этой самой Академии, сделаем ее международной, пусть будет, допустим, Российское отделение Международной Академии Структурных Проблем... Не это важно. Важно, что мы не только пытаемся сохранить свои позвонки, но и найти эти самые кирпич или палку, остановить машину...

— Простите, Алексей Петрович, я не совсем все-таки понимаю. — Он положил руку на Лелькин узкий затылок, и она едва слышно застонала от счастья. — Все это, конечно, ясно, и вы, наверное, правы... Но при чем здесь я? Почему надо было ставить меня в дурацкое положение с этим приглашением, с этой реорганизацией Института, о которой, оказывается, все знают, кро-

ме меня? И главное, я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря о кирпиче или палке, которые надо подложить под летящую в пропасть нашу колымагу. Вот тут Саша целый час твердил о каких-то народных средствах, которые спрятаны партократами по всему миру... Что ж, мы будем их собирать, чтобы вернуть народу? Через какие-то коммерческие структуры, черт его знает, я в этом не разбираюсь, через какие-то счета... Это ли занятие для академической организации? Я еду на конференцию, все нормально, и вдруг оказывается, что моя, да и ваша, простите, Алексей Петрович, функция — это прикрытие, а главная задача поставлена перед товарищем Кравцовым...

— Так, — крикнул Сашка, — значит, в «товарищи» меня произвел... Презрение, значит, хочешь показать? Ну, ептмать, ладно...

— погоди, Саша, — сказал Плотников, вытащил из чуть оскаленных желтых зубов трубку, не гася и не выбивая, сунул ее в карман куртки. — погоди... Тут вопрос поставлен принципиально. Я вас в таком случае спрашиваю конкретно и самым ясным образом: вы едете? Вы будете выступать с сообщением? Будете — тогда все, и считайте, что мы к вам просто в гости приехали, по рюмке выпить... — Он покосился в сторону стола, на котором стояли пустая бутылка Black & White, стаканы и плошка с растаявшим в лужицу льдом. — Будете? В конце концов, это начало вашей работы в Академии, если хотите откровенно.

Закурив, он осторожно, чтобы не потревожить Лельку, дотянулся до пепельницы, поставил ее на пол у ног... И ответил тихо, хорошо подобрав слова, и голос почти не дрожал:

— Я на атае, пока ворованное перепрятывать будут, стоять не хочу.

Тут же он услышал крик толпы. Странно, подумал он, в голове всегда начинало шуметь, когда оставался один и в тишине, а в такой обстановке впервые... Может, это просто давление подскочило, ведь психую же... Ведь страшно мне, невыносимо страшно, вот в чем дело, и уже почти нет сил храбриться, лицо сохранять... Крик нарастал, все громче и быстрее выкрикивали из толпы слова, которые невозможно было разобрать. Вдруг стены его старой, обжитой до последней пылинки, набитой милой сердцу рухлядью

комнаты поехали вверх, потолок стал удаляться и почти исчез где-то в ночном небе, и желтый, собственноручно сделанный из старой шелковой шали абажур повис, шевеля бахромой, нелепым авростатом. Все, кто был в комнате, и он сам тоже, уменьшились и медленно задвигались на дне этого мира.

Он поднялся, взяв поперек живота Лельку, и одним движением выставил ее в лоджию, и запер за ней дверь. Плотников нагнулся, не вставая со стула, порылся под свешивающейся почти до полу с круглого стола рваной штофной скатертью, вытащил оттуда желтый телефон с гербом СССР на диске, поставил «вертушку», шнур от которой тянулся в его же карман с непогашенным «данкиллом», на стол. Журавский швырнул журнал, откинулся в кресле, окаменел, потихоньку отвешивая нижнюю губу, отпуская поехавшие вниз щеки, хмурия брови. Сашка Кравцов отклеился от притолоки, не отрывая профессионального взгляда, держа опасность в секторе наблюдения, сделал шаг вперед.

Портфель, мягкий кожаный портфель, валялся на подоконнике. Он сунул в него руку и вытащил ее с огромным револьвером «python», чудовищной двухкилограммовой штуковинной, даже на вид способной пробить бетонную стену.

— Газовый, — криво усмехнулся Сашка Кравцов и, делая еще шаг вперед, завел руку за спину, вытащил из-за пояса брюк, из-под пиджачка, штатный спецназовский «стечкин». — Газовая игрушка, полная имитация... Ну козел...

— Договорились, — сказал в трубку «вертушки» Плотников, — обнимаю тебя, дорогой, звони. Ты сейчас где, в Барвихе? Ну я сам позвоню, как вернусь...

— Пора запомнить, — сказал Журавский, — мы никому не позволим остановить наши реформы, повернуть развитие нашего общества от демократии к тоталитаризму, от свободного рынка в интересах людей к административному хозяйствованию, от соблюдения прав человека к репрессиям и преследованиям инакомыслия, от либерализа...

Он сбился, губа его совсем отвисла, щеки легли на плечи.

— Ну все, козел, — сказал Сашка и поднял руку.

Между тем он еще вытаскивал из портфеля револьвер — но успел.

Во сне тоже всегда так, подумал он, бежишь, бежишь, тебя догоняют какие-то люди, наяву — это мирные знакомые, но во сне они хотят тебя убить, догоняют, но никак не догонят, и ты все бежишь... Он потянул спуск.

Кравцова крутнуло вправо, бросило назад, он ударился спиной в стену и сполз по ней, вытягивая вперед переставшие сгибаться ноги и опрокидывая ими стулья. На правом боку его пиджачка начало расплываться темное пятно, будто от пролившейся в самолете ручки, только все больше и больше. Все засуетились. Плотников сунул «вертушку» все в тот же карман, бросился к Сашке, подхватил под мышки, потащил, пятясь, к двери. Дверь уже открылась, в нее, теснясь, лезли кожаные убийцы, но он держал их под прицелом, широкий и длинный ствол «питона» чуть двигался, и он повторял: «Лежать!.. ложиться всем... стреляю... лежать!..» — а они, не имея места, чтобы развернуться, вытащить из-под курток обрезы, АКСу, ржавые, со сгнившими ручками «наганы», новенькие армейские «макаровы», теснились, сгибались, пятились, и следом за ними пятился Плотников, волоча Сашку, на губах которого вздувались бело-розовые пузыри, а последним шел Журавский. Вид у Алексея Петровича был международно-вальяжный, спокойный, проходя, он слегка, вполне деликатно похлопал его по левому плечу, обаятельно улыбнулся и добродушно проворчал: «До чего ж вы человек резкий... так разве можно?.. ну, в Копенгагене с вас за это банка пивка, это уж минимум». И, подобрав по пути Сашкин пистолет, вышел.

Он запер дверь. Постоял, послушал хлопанье и гуденье лифта, топот по лестнице. Глянул в глазок. Искаженная линзой, чуть искривленная лестничная площадка была пуста, банка для окурков, приспособленная соседом, — на своем месте, на батарее. Он перевел взгляд на свою правую, висящую вдоль тела руку. Револьвер тяжело смотрел в пол. Он оттянул фиксатор, дернул кистью — выбросил вбок барабан. Капсюль одного патрона — холостого, выбрасывающего страшный пугающий огонь — был пробит и черен, капсюли остальных — газовых — целы.

Он вернулся в комнату. На обоях, там, где к ним прислонился Сашка, расплылось Южной Америкой пятно крови. Прошел к лоджии, впустил рыдающую Лельку. В ужасе от незаслуженного

изгнания собака немедленно влезла на постель, под плед, выставила виноватую рожу: вот видишь, я даже не прошусь больше на улицу, и, если нечем, можешь меня не кормить, я уже легла и жду тебя, и не за что меня больше выставлять на балкон, что ты, с ума сошел? Я же твоя собака...

Тогда он пошел на кухню, достал из холодильника последнюю банку из привезенных в прошлый раз ее любимых консервов, открыл, позвал: «Лелька! Иди, не сердись...» Собака даже голоса не подала, перепуганная. Выложив полбанки в тарелку, он отнес тарелку в комнату, поставил перед черным носом прямо на плед. «Ну не сердись. Видишь, что делается? Я ж за тебя, дуру, испугался. Ешь...» Совершенно растерявшаяся Лелька начала есть только из вежливости, у нее был настоящий характер домашней женщины, она не любила приключений и перепадов, даже если после выкидывания в лоджию следовала такая сладость примирения, она предпочитала ровную, постоянную, тихую любовь. Он обнял ее, она застыла, перестав жевать...

Потом он отодрал всю полосу обоев, на которой внизу осталось кровавое пятно, всю, сверху донизу. Старые, ломкие обои изодрал на мелкие куски, на узкие колючие обрывки, и постепенно, кусок за куском сжег в большой пепельнице, а пепел вытряхнул в унитаз. Залез на стул, осторожно уместил на стуле кухонную табуретку, влез, едва дыша, — не хватает отсюда сверзиться! — на табуретку, сунул руку в пыльную глубину антресолей... Нащупал и вытащил рулон обоев, банку с еще хорошим, хотя состоявшимся с уже такого давнего ремонта, клеем...

Когда все было закончено, глянул на часы. Четверть шестого... Ложиться смысла не было. Пошел в ванную, принял долгий душ, побрился. Сварил кофе, выпил. Пошел в комнату, с тоской посмотрел на пустую бутылку — стакан возле нее был только один, остальные он, видно, сам не заметив, отнес на кухню и сполоснул. Вытащил из шкафа полную, самую уж последнюю — простецкий Long John, — скрутил ей голову, долго глотнул... Вот так. И черт с ней, с печенью. И с ними со всеми. Разбудил вконец одуревшую с таким полоумным хозяином Лельку, натянул спортивный костюм с надписью «New York Marathon» на груди и спине, кроссовки, надел на собаку ошейник и вышел во двор.

Под деревьями было пусто и сыро, дул довольно прохладный ветерок, но яростное московское солнце уже поднималось, его иступленный свет пробивался сквозь утреннюю смутность, асфальтовый пяточок перед помойками парил, быстро просыхая после ночного дождя, а посреди пяточка сверкал и лучился его красный, как игрушечная пожарная машина, «жук». Он подошел поближе. Все было цело, резина не проколота и не спущена, и даже ничего не написано гвоздем на будто напращивающейся на такое действие пологой и просторной крышке переднего багажника.

И только намокшая смятая бумажка желтела за поводком щетки. Он выгасил ее, расправил. Бледно-красными кривыми буквами, почерком малограмотного человека на бумажке было написано: «Ты казал мы вирнемся». Без знаков препинания. Написано было не чернилами, и похоже, это было единственное участие Кравцова в этой угрозе кровной мести — писали же, судя по орфографии, кожаные... Изорвав мелко бумажку, он бросил клочки по ветру — и тут заметил возле переднего колеса пузырьрек. Он поднял его. Пузырек был с красной тушью, наполовину еще полный.

Была суббота. Он позвонил ей в десять, попал на мужа, перезвонил... Потом позвонила она. До четырех, до того, как он вышел на угол ловить такси, он вообще старался ни о чем не думать, и ему удавалось...

Во всяком случае, он даже не пытался понять, как он пугачом ранил — убил?! — Кравцова...

Сидя в машине, почти беззвучным шепотом, с ужасом глядя в спину непрерывно курившего удушающую «яву» таксиста, они перебивали друг друга, спеша, захлебываясь своими рассказами. «Они хотели меня убить...» «Я не могу, понимаешь, не могу ничего придумать, чтобы не ехать с ним...» «Но, ты слышишь, осталась кровь, а я стрелял просто из пугача, пойми...» «В конце концов, это только полгода, и это деньги, я не могу лишать его заработка...» «Я не стану участвовать в их жульничестве, я просто не поеду...» «А ты, если уж на то пошло, никогда и не предлагал всерьез, чтобы ушла от него...» «Но уверяю тебя, это не галлюцинации, я видел, как смотрела на них Лелька...»

Вдруг дошло до обонх.

— Значит, ты уедешь на полгода, — сказал он, лицо его задрожало, он весь задержался, пытаясь сдержать слезы — начала выходить истерикой прошедшая ночь.

— Ты совсем, совсем болен, ты переутомился, ты смертельно устал от всего этого, и от меня, и от Института, — шептала она, глядя его по щеке, прижимаясь, забыв о таксисте, о том, что уже прошло больше получаса, и муж ждет ее, и звонит Ленке: «Леночка, она уже вышла? Мы же на прием опоздаем...», и бедная Ленка врет напрапалую, — забыв обо всем, она гладила его, дергающегося, напуганного, измотанного и дрянными людьми вокруг, и собственной их невыносимой любовью, совсем, Боже, совсем сумасшедшего ее мальчика, быстро стареющего, только сейчас она увидела, как он изменился за эти три года...

— Ехать будем? — спросил таксист. — А то ведь так за стольник-то не настоишься...

— Я приеду к тебе завтра, — сказала она. — Не знаю что, но придумаю и приеду. У нас будет целый день, мы все обсудим, и наговоримся, и даже где-нибудь погуляем, и поедем, и все решим, все...

Она хлопнула дверцей и побежала через двор, через вечные канавы, траншеи и свалки. В левой руке она несла большой пластиковый пакет «С & А» с юбкой, которую Ленка чуть укоротила по моде этого лета. Он закурил.

И выбросил сигарету уже перед светофором на Трубной, открыв дверцу, когда машина на секунду притормозила. Шофер же продолжал наполнять тесное пространство едким дымом. Приемник он врубил на полную громкость, хотя по возрасту не был похож на поклонника Джорджа Майкла на волнах «Европы-плюс».

* * *

Трехчасовое, самое жуткое, злобное солнце жгло город вовсю. Несчастные, не успевшие убраться на садовые участки, дачи, уехать за триста километров перебирать сруб, закупленный в прошлом году еще по дешевке где-то почти под Вологдой, просто вырваться на Клязьму или в Серебряный Бор — одурело бродили по рушащемуся, гниющему, засыпанному мусором, галдящему азиатско-африканскими рынками у станций метро бывшему напы-

щенному мегаполису, на глазах превращающемуся в гигантский лагерь старателей.

В его квартире шторы были наглухо задернуты, по углам шевелилась зимняя, сбившаяся в лохматые легкие валики пыль, но простыню он постелил свежую, в ребристых складках после прачечной, на подушку надел чистую, с трудом раскрывшуюся наволочку, а на кресле лежало их общее, купленное еще тогда, в Германии, шелковое черное кимоно с двумя золотыми драконами, намертво сцепившимися на спине, — его он сам вечером постирал, и за ночь шелк высох в лоджии, а утром, дожидаясь ее звонка, задохнувшегося: «Все, еду!..», долго гладил, разложив на круглом столе плед и подставив стулья, чтобы свешивающиеся рукава не касались пола.

Она лежала с закрытыми глазами, а он курил, одну за другой давя сигареты в стоявшей на полу пепельнице, время от времени они делали по глотку прямо из бутылки, она по-деревенски кривилась и гнала ладонью воздух в обожженный рот, он задерживал виски сантиметр за сантиметром — вот стало горячо в глотке, вот в груди, вот под ребрами... В два поели, не вставая — он нашел случайно зажившуюся в холодильнике банку китайского колбасного фарша еще из февральских, наверное, заказов, помыл и порезал на четвертинки пару привезенных ею помидоров, длинный огурец, выложил все это в одну глубокую тарелку, взял две вилки и принес на постель. Хлеба, конечно, не было, зато нашлись в буфете, черт его знает откуда, мелкие немецкие крекеры для коктейлей, в пластиковой коробке, разделенной перегородками — в одной части печеньеца в виде рыбок, соленые, в другой микроскопические крендельки с тмином... Лелька, вопреки всем педагогическим принципам, поела фарша вместе с ними, брезгливо дергая носом от близости помидоров и выпивки.

Потом он с наслаждением закурил и продолжал говорить — сил после первых полутора часов пока все равно больше ни на что не было. Она лежала на боку, подперев голову правой рукой, а левой бессознательно прикрывалась, приняв, наверное, самую естественную для обнаженной женщины позу, так хорошо известную старым живописцам и любителям альбомов классического изобразительного искусства. Она слушала его, почти не перебивая,

что было ей несвойственно, обыкновенно любая его фраза заканчивалась многоточием, после которого следовало ее длинное, с отступлениями и ассоциациями подтверждение и развитие его мысли, а чаще полное опровержение. Слишком самостоятельна была она в размышлениях, чтобы молча внимать. «Я могу внимать только в одном смысле», — однажды довольно лихо пошутила она, это потом стало их словом...

Но сейчас она слушала молча, глаза потемнели, блеск из них ушел, и она только раз шевельнулась — озябла, потянулась за киноно, прикрыла ноги. Ему же было жарко, бутылка неумолимо пустела, сзади подвадилась и сопела задремавшая Лелька... Они совсем не спешили, от этого горький его рассказ имел чудесный привкус счастья совместной беды. Она считалась уехавшей на весь день на дачу к подруге, подруга была предупреждена с вечера — позвонила из автомата на станции поделиться нескончаемыми проблемами с рушащейся дачей и двумя пацанами, восьми и пяти лет, оставшимися после полгода назад умершего от страшного инсульта сорокапятiletнего мужа, и звонок этот оказался чрезвычайно кстати, она тут же сообразила. «Я приеду к тебе завтра, — сказала она, — обязательно. Помнишь, в восемьдесят седьмом ты приезжала ко мне в такой же ситуации? Вот и я приеду, поговорим, разберемся со всеми проблемами, уйдем с ребятами в лес на целый день...» В восемьдесят седьмом у подруги был короткий, но жесточайший роман, дома говорила, что пошла к ней на целый день, будут шить детские тряпки, и исчезала к какому-то безумцу, который только и делал, что уговаривал ее немедленно уйти от мужа. Безумие заключалось в том, что подруга была на пятом месяце беременна, беременна от мужа, и весь роман длился между четвертым и восьмым месяцами, потом подруга родила, безумец ходил кругами возле ее дома, но муж взял большой отпуск, очень помогал, подруга не оставалась одна ни на минуту, и роман догорел тихо. В восемьдесят девятом безумец уехал по израильской визе. А потом умер муж.

Теперь считалось, что она на даче у этой подруги, поэтому в их распоряжении был весь день, допоздна.

«Я всегда чувствовал, что под этой, наружной, скучной, быговой жизнью что-то происходит, идет какая-то другая жизнь, —

говорил он. — И, не смеясь, романы и рассказы, которых я читался подростком, американское кино, которое я смотрел и смотрел в юности, еще без всякого видео, пролезая на любые просмотры, недели и фестивали, — все эти романтические сказки и утвердили меня в ощущении, в уверенности, что есть другая, скрытая, детская жизнь «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», молодая жизнь «Трех товарищей» и «Великого Гэтсби», наивные слезы «Любовников полуночи», которых у нас в прокате гениально называли «Разбитые мечты», и горький вздох «Искателей приключений», фанатики которых все мечтали посмотреть существующее в их мечтах продолжение...

Пришло время, и я получил новые, гениальные подтверждения иной жизни под поверхностью быта. И это уже были не сказки, безуспешно натягивавшие прозрачную маскировку жизнеподобия, сотканную из далекого времени или места, а это была сама жизнь, но тайная и потому более настоящая, чем внешняя.

Ведь истина всегда скрывается за ложью, а не наоборот.

Кот сидел на Бронной, озадаченно потирая усы гривенником, голая красавица маячила в верхнем окне особняка... Стекали по холсту подтаявшие часы, слон шел на мушинных ногах... Внутренняя Партия сторожила любовников у преступной постели... Джазовая баллада о гангстерах и чечеточниках оказывалась разыгранной на подмостках, и действующие лица сидели в зале, аплодируя своей смерти на сцене... Все смешалось, тайная жизнь прорастала в явную, сквозь тоскливую поверхность которой то тут, то там вылезали, прорывались бледные подземные грибы невидимого, несуществующего, невозможно антиобычного.

Москва наполнялась призраками особенно естественно, и мы, приезжие с юга, чувствовали это, кажется, всегда острее местных. Зыбкий, дрожащий розовый воздух над Кремлем двигался и поднимался слоями, словно сигаретный дым в хорошо прокуренной комнате. Объявляли о пленуме, а я представлял себе сумасшедших стариков, голдфингеров в криво сшитых черных костюмах, сидящих в подземелье, толстые трубы с грубыми вентилями шли по стенам, подъезжали особые подземные поезда, двигались стальные лифты... Конечно, я знал, что на самом деле они сидят в обычном тоскливом кабинете, обшитом полированным деревом, с

фирменным кондиционированием, и даже друг с другом говорят партийными эвфемизмами, но, согласись, слухи о бункерах и секретном метро ведь тоже ходили... Все чувствовали, что наружная эта жизнь невозможна без внутренней.

Я стремился в тайную жизнь всегда. Но единственным прорывом к ней долгие годы была только тайная любовь. Только она давала доступ под видимую тоску повседневного, хитро и корыстно, тонко и непрямойно устроенного мира, туда, где резкий контраст черно-белого, где есть любовь, а все остальное против нее, где самая большая хитрость — элементарный обман непосвященных, где действует главная и единственная пружина — непреодолимая тяга друг к другу, и эта пружина двигает весь сюжет наружных событий...

Собственно, никаких наружных событий и не было, после лекций еще с одним-двумя сравнительно молодыми преподавателями сворачивали с Моховой на Никитскую, шли пить в какую-нибудь из самых мерзких забегаловок где-нибудь у «Художественного» или на Воздвиженке, как они когда-то назывались, уже и не вспомнишь... Пьянство тоже было шагом в подпольную, идеальную жизнь, и не из-за галлюцинаций, которые были результатом, а из-за тайности, неофициальности самого действия. И у всех, у всех была скрываемая любовь, о ней не говорили, или почти не говорили, но ее существование подразумевалось, как главное содержание и смысл всего, и это укрепляло меня в стремлении под поверхность, под эпителий бытия.

Потом невероятная, сказочная жизнь вдруг рванула наружу сразу из сотен прорех, пробоин, и все погрузилось с полной готовностью в ее заливающие мир воды, в открытия скрытого, в название вещей их истинными именами, в объяснение хитрых, тонких, скучных житейских сплетений простыми причинами из сказочного ряда — переворот, заговор, столкновение простых интересов и характеров, опять заговор, опять переворот... Голдфингеры и их подземелье появились на экранах и полных приключений газетных страницах, Франкенштейн и его чудовища стали называемыми вслух персонажами. Меня этот прорыв сразу вынес на самый водоворот, видно, тайны связи персонажа и прототипа оказались очень кстати в это время авантюры и мелодрам. По чести сказать,

какая уж это наука, мои домыслы и допущения, примитивная романтика, лубок... Я всегда чувствовал себя неловко в серьезном академическом мире, мне было не место с моими детскими выдумками среди взрослых ученых. Но в Институте я пришелся ко двору, я совпал с институтским шарлатанством, возведенным в принцип, уличным популяризаторством, казавшимся непрофессионалом наукой, как алхимия средневековым толпам, с этим собранием мистификаторов и авантюристов. Я полюбил Институт, он стал для меня широким входом в торжествующую победу, тайную жизнь, в романтику сказки, ставшей не то что былью — бытом. И я не ошибся: здесь, как последнее подтверждение высшей достоверности невероятного, появилась ты, главная тайна и главная любовь — любовь самая скрытая и самая истинная. Я летел по этой вывернутой изнанкой наружу жизни, чувствуя, что это еще не все, что рано или поздно я ступлю дальше, что приключения еще не исчерпаны.

Может, я сходил понемногу с ума...

Но было бы и странно не сойти с ума, оказавшись вдруг, не меняя географии, в мире своих давних, всегдашних фантазий, снов, в мире игры собственного освобожденного воображения. Шум толпы, время от времени возникавший в моей голове, становился все громче. Кстати, тебе не знакомо такое ощущение?»

«Я не совсем понимаю, о чем именно ты говоришь, — она вздохнула, придвинулась к нему, привычно положила руку, он вздрогнул, глаза ее просветлели, осветились, — то есть я-то все понимаю... я почти такая же... Беспутная, тщательно скрывающая беспутство девчонка, актриска, выбравшая тягостную роль честного синего чулка и тянущая ее изо всех сил со всею женской добросовестностью и только с тобой, здесь, становящаяся тем, что я есть... как это там?.. Анжелика, маркиза одного чокнутого ангела... но эти голоса... нет, не слышу. Ты просто устал, изнервничался в нашем проклятом Институте, с Федей и вправду сойдешь с ума, он чудовище, злой, холодный, действительно злодей, с наслаждением дергающий жизнь за ниточки из своего замка. Ты устал, и обычные твои фантазии начали теснить тебя...»

«Не знаю, — он не стал настаивать, ему уже было не до этого, ее рука сосредоточила все, он чувствовал, как что-то под-

талкивает его, придвигает, прижимает к ней, — не знаю... Но они были здесь, можешь мне не верить, но я продырявил Сашке Кравцову правое легкое, надеюсь, что он выживет, мелкий говнюк, и я не понимаю как, но мой газовый пугач действительно стрелял всерьез, я почувствовал по отдаче, и настоящая кровь была на обоях, вон там, где теперь, видишь, более светлая полоса, и Плотников сидел здесь в камуфляжной идиотской куртке, разговаривая по «вертушке», и Журавский на глазах превращался в генсека, и...»

При имени Журавского она вздрогнула, но он уже не мог заметить этого: впервые за многие недели, месяцы, может, впервые за эти годы он не дождался ее, взвыл, затрясся, и счастье сразу же излилось в рыдания, он плакал взахлеб, уткнув мокрое лицо в ее розовое, натертое его отросшей за день щетиной, горячее плечо. Она лежала, пораженная всем — и тем, что на нее так подействовало это упоминание, и его слезами, его явным нервным перенапряжением, с которым, конечно же, связаны и эти страшные галлюцинации, и такая небывалая и немного огорчившая ее мгновенность реакции... «Я схожу с ума, — повторял он, — я действительно схожу с ума!» Его слезы текли по ней, ложбинка на груди уже была вся мокрая.

Потом они заснули — вместе, почти одновременно.

Но перед тем как мысли его стали путаться, слушая ее почти неслышное дыхание, глядя, как во сне она старается спрятать лицо — она всегда спала, уткнувшись в подушку или укрывшись с головой, будто боялась, что ее увидят беспомощной, — он успел подумать о том, о чем всегда думал после каждого разговора, даже с ней, с самой близкой, о чем думал, засыпая после любого дня.

Вроде бы, подумал он, я был не так уж плох в этом признании, вроде бы и честен, но ничего лишнего, некрасивого. Почти ничего. Все правда, что я ей сказал, и мне действительно стало легче, но, кажется, удалось остаться в образе.

Я выглядел неплохо, хотя не все было в стиле, подумал он — и заснул.

Когда он проснулся, в квартире была полная, абсолютная тишина и тьма. Он взглянул на валяющиеся на полу часы —

восьмой, день кончился. Она во сне перевернулась на бок, лежала к нему спиной в позе бегуни, подогнув одну ногу под живот. Он почувствовал, что тишина начала действовать: в голове снова зашумело, крики и гомон невидимого митинга становились все громче.

И тут же услышал какой-то реальный звук, шорох. Звук шел из лоджии. Лелька, из-за жары ушедшая от них спать на кресло, подняла голову, внимательно посмотрела в сторону стеклянной двери, задернутой вместе с окном глухими красно-коричневыми шторами.

Он встал, беззвучно, в секунду натянул трусы, джинсы, туфли, потрогал ее за плечо и, как только она открыла глаза, прижал к ее рту ладонь, жестом показал: надень кимоно и иди на кухню, затряс головой — не спорь, молчи, делай, что сказано! — и вытолкнул ее. Лелька немедленно потопала следом: проголодалась, и надежда что-нибудь там получить от любимой гостьи оказалась сильнее любопытства к происходящему в лоджии. Да и недолюбливала она эту лоджию после вчерашнего... Прикрыв за ними дверь, он осторожно выглянул, раздвинув в шторе щель в полсантиметра.

Как раз в этот миг на перилах лоджии появилась нога в сильно растоптанном мокасине с медной бляжкой на перемычке и в шелковой адидасовской штанине. Нога осторожно нащупывала опору, наконец утвердилось. Немедленно рядом с ней появилась вторая. Человек задержался, уверенно балансируя на перилах и готовясь прыгнуть в лоджию.

Все это мог бы проделать любой мальчишка, успел подумать он, и странно, что никто не проделал раньше: подняться по пожарной лестнице из пустой — позади гаражей — части двора и перелезть на перила с этой, проходящей в метре, лестницы ничего не стоит.

Примерно полторы секунды прошло с того мгновения, когда он увидел ногу, тянущуюся к перилам.

Кино продолжается, подумал он, но почему-то я играю главную роль без каскадера.

Он распахнул дверь удачно, поворотная ручка не заела, и, не теряя времени, чтобы поднять кулак, ударил человека в пах голо-

вой. Человек скорчился, но ноги его каким-то чудом не соскользнули с перил. Он почувствовал, что человек падает вперед и сейчас придавит его сверху к полу лоджии своей сотней килограммов, своим хрипом «Я маму твою...». Собрав все, что было в его мьшцах, сухожилиях, суставах, он рванулся вверх, разгибаясь, и ему опять повезло: затылком он попал точно в подбородок человеку, и тот опрокинулся, оторвался в пустоту...

Когда она прибежала из кухни, едва не растянувшись из-за путающейся в ногах собаки, он стоял, прислонясь к косяку распахнутой настежь двери, косо свисала полусорванная штора, он вспотел так, что по лицу текло, сочилась кровью ссадина, на лбу, но держался он за затылок. «Посмотри вниз», — сказал он почти без звука. Она глянула. Внизу, у глухой задней стены кооперативных гаражей медленно разворачивалась машина, такси, на ходу захлопывались дверцы, вот она рванула — и исчезла в арке соседнего длинного девятиподъездного дома.

* * *

Позвонила девочка из нового отдела, по связям с общественностью — теперь такие отделы под стильным названием «паблик рилэйшнз» возникли во всех конторах, работали в них неопределенные молодые люди с приличным английским и девочки из тех, которые и прежде всегда организовывали выпивки с баней для начальства. Девочка сказала, что сегодня всех, кто едет в Данию, приглашают выступить в телепрограмме «Вечерний монитор», Федор Владимирович просит быть в двадцать минут восьмого в Останкино, пропуска заказаны.

День предполагался совершенно пустой, у нее был свободный, библиотечный вторник, она сидела дома, возилась по хозяйству, понемногу писала главу в плановый отчет, а муж был дома всегда, и созвониться удавалось только случайно, если, улучив момент, она набирала его номер и заставала в комнате — где он бывал редко, предпочитая бродить по Институту, поскольку работать в офисе все равно не мог, и все, что писал, было домашнего, ночного, раннеутреннего, субботне-воскресного изготовления. Ему же звонить и просить ее к телефону деловым голосом, как иногда, нечестно, делал раньше, после встречи на эскалаторе было совершенно невозможно.

Он стоял в коридоре, покуривая и размышляя, пойти ли выпить паршивого кофе в буфет или попросить хорошего чаю у Фединой Вали, когда подошел Валера Грушко.

— Привет пытливым исследователям, — сказал Валера, и он, помимо желания, засмеялся. Не хитры были Валерины шутки, обычная полуинтеллигентская ирония, пародия на газетный стиль — уже умерший, кстати. Но само состояние Валеры Грушко, постоянная улыбка, с которой говорил, пил, ел и, наверное, спал этот человек, особый, обращенный на все вокруг и на себя самого усмешливый его прищур действовали безотказно. Это был стиль общения, уже очень давно занесенный режками, хорошо оформленными южанами в расплывчатую, вяловатую Москву, ставший принятым во всей стране стилем определенного, более или менее культурного слоя, постоянно подпитывающийся новыми талантами, поднимающимися к северным широтам из южных провинций, как легкие фракции при перегонке...

Однажды Сашка Кравцов прошипел в спину на ходу рассказавшего убойный анекдот Грушко: «Жидовские шуточки... над всем смеются...» — и он вдруг понял, как Валера должен раздражать таких, как Кравцов. Потому что со всеми своими анекдотами, с постоянным пересмешничаньем, был Грушко человеком очень серьезным, к делу и к своему положению в деле относился ответственно и в высшей степени профессионально, почти не пил и делал быструю и честную карьеру. Приехав десять лет назад из своего областного пединститута в целевую аспирантуру, женился удачно, на хорошей девке, причем по любви, это было очевидно и сейчас, через десять лет, но с не помешавшей чувству четырехкомнатной квартирой на Беговой, оставшейся от тестя, полного генерала, вовремя, за пару лет до перестройки, убравшегося на Новодевичье. Валера помощью тестя не пользовался, да и не мог, даже если бы захотел: во-первых, слишком оперативно товарищ генерал отбыл к месту вечной службы, во-вторых, никого не знал и знать не хотел в смутной гуманитарной сфере. Так что все, вплоть до защиты докторской и занятия в прошлом году места ученого секретаря, Валера сделал сам — все, включая необыкновенно красивого, похожего на мать восьмилетнего мальчишку, компьютерного вундеркинда, все, кроме сказочной квартиры, набитой тяжелой ме-

белью в стиле «ровенского гестапо», по Валериному же выражению, да еще «двадцать первой», хриплой, глохнущей, но все никак не разваливающейся благодаря танковому своему железу, — а продавать категорически не советовала теща, безвыездно живущая на даче в Архангельском, но и оттуда железной комдивской рукой держащая дочку, идиотку, вышедшую за этого... чернявого...

— Чувствую, что вчера состоялось взятие не одного стаканчика шотландского народного напитка, — сказал Валера. — Пошли, у Вальки чайку выпросим?

Они сели в малюсеньком, но хорошо изолированном кабинете Грушко, он полез в сейф и достал узкую бутылку где-то чудом добытого «Белого аиста» — у него, непьющего, всегда водилось, долили в сразу остывший чай.

— Что за странная у тебя история с Данией? — спросил Грушко. — Ты на Федю слишком не элись... Я и сам иногда от его людоедских манер устаю, но как вспоминаю, что без этого паровоза наша институтская телега и с места не сдвинулась бы, да и сейчас все только на нем держится... Ну, пусть Академия... Давай будем честны хотя бы друг перед другом: никогда мы с тобой так хорошо не жили, как сейчас. Наше это время... И в этом судьбоносном, как недавно говорилось, времени Федор Владимирович Плотников играет, по меткому выражению нашего друга Кравцова, большое значение и имеет огромную роль. Ну, что ты киснешь? Или печень послала на хер? Так сам виноват, ты с ней уж слишком крут...

— Кстати, ты не знаешь, чего Кравцова не видно? — перебил он. Даже в голову не пришло рассказать Валере про все чудеса и ужасы, творящиеся уже неделю, не тот Грушко человек, хороший, дельный парень, настоящий приятель, может, даже и друг, но не тот. Трезвый и слишком веселый. — Он же тоже в Данию намылился...

— Болеет, что ли, — Валера пожал плечами, — но не волнуйся, к Дании выздоровеет. А на черта он тебе сдался? Он еще в Копенгагене тебя достанет, большой любитель хорошего пива на халяву.

— Да я краем уха слышал о каких-то денежных делах, — сказал он небрежно, закуривая, чтобы не выдать голосом особый

интерес, — что-то там Журавский и Плотников проворачивают с зарубежными счетами... Вроде для будущей Академии? Партийные деньги, что ли, хотят вернуть... И Сашка Кравцов чем-то должен им в этой поездке помочь...

Он прикурил, отхлебнул чаю и только потом взглянул на Валеру. Грушко сидел молча, глядел пристально, и ни тени обычной, иронической, равно ко всему относящейся улыбки не было на его лице. Подвижное, все из-за этого в мелких морщинах, курносое лицо мальчишки вдруг стало лицом пожилого некрасивого человека.

— У нас в богадельне, — сказал Валера, и на втором слове улыбка вернулась, он даже коротко хохотнул, — слухи возникают и распространяются, как в провинциальном театре. Говорят, что режиссера на заслуженного выдвигают... Да не на заслуженного, а на народного и госпремию, а все это делает его любовница, с которой он жил в Конотопском оперном театре, а она теперь министр культуры Западно-Украинских вольных кантонов... Ну, что ты слушаешь? И кого? Максимум, что может быть — хотят наши академики тысячу-другую долларов в тамошний банк положить, кредитные карточки завести, как белые люди, а прохиндей Сашка обещал им в этом помочь... Ну, и дай им Бог, имеют право сохранить свои честно заработанные зеленые от нашего любимого государства, которое если что еще не отняло, так обязательно отнимет. А что услугами Кравцова пользуются, так академики вообще народ небрезгливый, я много раз убеждался, да и ты, думаю, тоже... Так что не бери ты себе это в голову, мой тебе совет. Съезди в Копенгаген, расскажи международной научной обществу, кто в какой нашей книжечке под каким именем выведен, а то она уж заждалась, измаялась, а потом оторвись ото всех, и, главное, от Юрки Вельмана, а то он тебя Русалочкой затрахаёт. И сходи-ка ты в Христианию, такой там райончик любопытный, гетто международных бродяг и старых хиппи, — наших, между прочим, ровесников...

Грушко болтал, налил еще коньяку, но он видел, что время от времени улыбка исчезает с Валериного лица. Что ж это происходит, подумал он, они все что-то знают о чем-то очень серьезном и скрывают от меня, все, даже Валерка... Но почему?! Что я, такой

уж чистюля, что мне не полагается знать о настоящей жизни? И зачем они тогда приезжали, все объясняли, угрожали, нарывались, и Кравцов нарвался-таки... Болеет... Или я действительно схожу с ума?

Он встал, поблагодарил Грушко за коньяк: «Спасибо, аист, спасибо, птица...» — и вышел.

И тут же в коридоре налетел на Леру Сванидзе, грозу и крест Института. Родовитую грузинскую фамилию она носила по бывшему мужу, внешность же имела Элен Безуховой: крупная блондинка с безукоризненным профилем камен, с платиновыми крупными локонами, с бледно-голубыми, чуть водянистыми большими глазами. Но при такой внешности и внушительной фигуре девушки с веслом пользовалась удивительным мужским равнодушием — единственное вызываемое ею чувство была постоянная опаска, как бы не нарваться на истерику, дикую, трамвайную грубость по любому поводу и без. Самым для него в Лерке отвратительным было то, что все ее истерики, вопли и хлопанье дверями были абсолютно продуманной линией поведения, методикой выбивания всего ей нужного, от внеочередной защиты до получения старшего научного, и осуществлялась эта линия с холодным, ледяным сердцем.

— Привет, — Лерка резко сунула руку для пожатия, мужественность поведения входила в методику, — ну что, едешь в Данию цековские деньги вытаскивать на нужды Журавского и Плотникова с их Академией? А мы, значит, быдло институтское, будем ждать своей участи, кого отбракуют, кого пощадят...

Это в ее образе считалось прямой — переть безостановочно гадости в глаза первому же встречному. Так же как поминание с ругательствами кстати и некстати коммунистов — смелостью.

— Слушай, Лера, — сказал он, — ты сама себе еще не надоела?

Она еще орала что-то в коридоре, когда он уже заперся в своей комнате, — какое счастье, что старец Ямщиков-Ланской, с которым делил эту каморку, появляется в Институте не чаще раза в месяц! — бессознательно набрал ее номер. Конечно, снял трубку муж. Станный тип. Вроде бы дельный и порядочный

малый, в Центре политологии считается человеком абсолютно честным. Знающий, хотя звезд с неба не хватает... Но однажды знакомый парень из Центра, коротая время за сплетнями шепотом на каком-то нудном межинститутском семинаре, назвал, среди прочих, фамилию (он вздрогнул, не сразу сообразив, что речь идет не о ней) и усмехнулся: «Подлостей не делает, потому что ленив, да и глуп для серьезных подлостей... Но своего не упустит, да и чужое прихватит. Особенно же любит собирать всякое говно, грязные слухи обо всех, копит информацию. До подходящего случая, наверное...» Парень и сам был дерьмо полное, в науке ничтожество и завистник, но вспомнилось старое правило, которое сформулировали они еще с Лелькой, в прежней жизни: «Если о ком-нибудь говорят, что он сволочь, задумайся — даже если говорящий сволочь сам». Правило достаточно циничное, но много раз подтверждавшееся.

Впрочем, не стоит искать объяснений для неприязненного чувства к мужу любовницы, тем более к мужу, к которому так и не разучился ревновать. Слишком хорошо он ее знал, ее почти неспособность сопротивляться жадному, корежащему изнутри желанию, представлял усилия, которые приходится ей прилагать, чтобы это желание, жжение терпеть, не показывать виду, носить милую маску домашней дамочки, пухленькой домохозяйки с научными интересами — терпеть и носить до поры, пока не взорвется бешенством. Муж всегда рядом...

Зазвонил телефон и сразу выключился. Перезванивает, дает понять, что слышала его звонок. Ну на том спасибо.

Все же они связаны неразрывно, он и эта странная, еще недавно невозможная для него женщина. До истерики уставал от нее, каждая секунда в этих трех годах была ею напряжена и вздрагивала, как перетянутая проволока. Иначе она не могла. Все в ней было поперек его представлений о женской привлекательности — и слишком самостоятельный ум, мощный, ни на секунду не прекращающий тяжелой мужской работы, и простоватая внешность, совсем не такая, как у стильных центровых девочек-дамочек, с которыми прежде имел дело, и тяжелый, не игровой характер, вдруг пересекающийся с чем-то таким же тяжелым, сидящим в нем, как оказалось, очень глубоко...

Под крутым мужиком — слякоть и вечный испуг закомплексованного, жаждущего удачи мальчишки, подумал он. Ну что делать, это он знает о себе давно, одна забота — другим не показывать. Но вот что под этой слякотью, кашей, пустотой есть еще более глубокий слой — угрюмой серьезности, свинцово-тяжкого размышления, — узнал только благодаря ей. Задела, зацепила что-то — и полезло наружу настоящее.

А настоящее оказалось безумием, подумал он. И додумал с холодной, деловой ясностью: да, болен, уже вторую неделю галлюцинирует, пора к врачу. Вот и сейчас — не заметил, когда началось, но в голове уже шумели, митинговали невесть как попавшие туда крикуны. Он встал, быстро прошел по комнате, из угла в угол. Полез в стол, вытащил транзистор, валявшийся там еще с тех ночей, когда приходил под утро не домой, а сюда, вымокший, небритый, встречался с другими, смеялись, от счастья все были немного не в себе, а он больше всех — сказка перла совсем уж круто, гвардейцы кардинала вот-вот пойдут в атаку!.. Но три дня и три ночи кончились, и начались скучноватые десять лет спустя, двадцать лет спустя — уже через какие-нибудь пару месяцев. А дальше и вовсе скука — скука и нарастающее уныние, безнадежность...

Он включил приемничек, плоский, черный, весь в кнопках и экранчиках, как волшебный прибор из какой-нибудь фантастики пятидесятых. «Грюндиг-космополит» захрипел едва слышно, батарейки сели. Хрип был тише, чем шум в голове...

— Валечка, если Федор Владимирович будет спрашивать, скажи, что я приеду в Останкино самостоятельно, мне в поликлинику заскочить надо, — сказал он, заглядывая в приемную. Валька молча кивнула на ходу: она волокла поднос с парадными чашками, чайниками и вазами с конфетами в кабинет Феде, дверь в который была открыта, оттуда слышалось радостное бульканье — о, грэйт! итс со интрестинг! — очередных визитеров. Мимо проскользнул в кабинет гладкий юноша из «паблик рилэйшнз» — переводить, и дверь закрылась. В приемной валялись дюралевые блестящие кофры и ящики от фирменной телеаппаратуры...

Он приткнул «жука» в довольно тесный ряд «шестерок» и

«восьмерок» у поликлиники, весьма престижной, к которой прицепился недавно, по совету Валеры Грушко и с его же помощью. «В нашем предпенсионном возрасте, дедушка, уже не помешает. Своевременная реанимация бывает столь же необходимой иногда, старик, как материальная помощь. Да и зуб-другой, глядишь, вставим по старой госцене...» В регистратуре было пусто — впрочем, по обе стороны барьера. Полы паркетные...

«Девушка, — позвал он, — можно вас на минутку...» Появилась чудовищно покрашенная жирная халява в коротком белом халате, надетом явно — в лучшем случае — прямо на белье. «А вы за минутку успеете?» — привычно буркнула она, видимо, даже не понимая хамскую скабрёзность навсегда полюбившегося ответа. «Я бы успел, если б мог, — ответил он тихо, со значением заглядывая в бессмысленные глаза, с некоторых пор научился себя вести с отечественным сервисом, — да мне сейчас к невропатологу надо. Вот подлечусь...» «Ну лечитесь, — протянула девица, оценивая глазом модную куртку, — только к невропатологу на сегодня талончиков уже нет, а завтра с утра приходите...» «Ну, девушка, — скорчил он жалобную рожу, — мне же быстрее надо, а то ведь у нас с вами любовь не получится, вы ж не станете с таким нервным!» Регистраторша засмеялась: «Я бы, может, и стала, да ведь нервный не станет... Ну ладно, иди так, без записи, невропатолог сейчас свободен, а я твою карту отнесу. Фамилия, нервный?»

Невропатолог, женщина довольно молодая и миловидная, очень высокая, почти его роста, обошла вокруг него, стоявшего посреди кабинета голым до пояса, провела рукой по позвоночнику, нажала на загривок над лопатками, попросила сесть, ручкой молоточка поводила по груди, нарисовав большой крест под его маленьким. Он напрягся. Все-таки хорошо хоть одно — живота нет, не жирный. И так-то раздеваться при женщине всякий раз испытание для комплексов, а то...

— Вы, извиняюсь, верующий? — вдруг спросила врача, уже садясь за свой стол, листая его пустое поликлиническое дело. — Одевайтесь...

— Да. — Он ответил коротко, как всегда на этот вопрос, с

тех пор как он стал официально возможен. — А что вас удивило? Или это как-то связано с моим состоянием?

— Ну почему... Просто здесь написано, что вы старший научный сотрудник... Просто странно, ученый — и в Бога верите...

— А вы не верите? — Он встал, повернулся к ней спиной, заправил рубаху в джинсы, снял со спинки стула и накинул куртку. — Вы что же считаете, что все начинается и кончается рефлексами?

— Я крещеная, — почему-то обиженно ответила она, — так ведь я ж не старший научный. Ну ладно... В чем, собственно, ваше недоумение? Жалуется на что?

Он вздохнул, на секунду закрыл глаза. Начать все рассказывать этой курице было невозможно. Придется ждать, пока однажды не придет «скорая» с сиреной и санитары не свяжут длинными полотняными лентами совсем сбрендившего, палящего по призракам старшего научного.

— Да как вам сказать... Бессонница, шум в ушах. Переутомление, наверное... — промямлил он.

— Переутомление... — с оттенком иронии по адресу переутомления научных сотрудников повторила докторша. — А если в ушах шумит, вам к терапевту надо.

Через пять минут, получив рекомендацию меньше курить, не пить кофе и, конечно, спиртного, гулять перед сном и употреблять настой валерианы, он уже гнал к Останкино. На Шереметьевской было полно машин, у каждого светофора застревали. Слева, за храмом Нечаянная Радости, рушилось в недра города круглое латунное блюдо солнца. Стекло рядом с его щекой нагрелось, и он вдруг почти ощутил ее прикосновение — тепло было очень похоже на тепло ее тела. Она глянула на него снизу, чуть косо повернув голову, немного испуганно и смущенно, втягивая щеки, крепко смыкая губы кольцом... Он потрянул головой, это тоже было галлюцинацией, хотя и прекрасной. Невозможно жить во сне, да еще и за рулем.

— В третью студию, пожалуйста, — сказала встречавшая женщина. В огромной пустоте студии бродили операторы, он, старательно переступая через кабели, прошел к ярко освещенной выгородке, сел в указанное кресло, посмотрел на камеру («там за-

горится красный сигнал, значит, вы в эфире»), подставил лацкан куртки под клипс микрофона («дайте-ка я вам петельку подвешу»), кивнул знакомой редакторше... Все уже сидели по креслам вокруг маленького столика, неловко уткнувшись в него коленями. Все, кроме Сашки Кравцова... Пробежала старушка, поправила сухой букет на заднем плане — передача должна была идти в непринужденной обстановке гостиной. Ведущий — какой-то толстый — широко заулыбался:

— Сегодня у нас в студии члены российской делегации на международной конференции по структурным проблемам, точнее, на конференции по международным структурам проблем, которая начнется на следующей неделе в Швеции, точнее, в Дании, столица которого, точнее, который столица Копенгаген уже давно известен высоким уровнем интереса к уровню наших сегодняшних непростых по уровню проблем и структур, в это сложное время, когда структуры так быстро обновляются, что весь мир... Федор Владимирович, точнее, Алексей Петрович, что вы хотели бы сказать нашим телезрителям, которых, конечно же, волнуют наши проблемы наших структур?

По экрану монитора пошла бегущая строка: «А. П. Журавский, академик, народный...», и появилось лицо Плотникова. В студию вошла телевизионная кошка, села точно у края освещенной съемочной площадки, вытянула вертикально вверх левую ногу и принялась подмываться. Передача началась.

...На обратном пути, когда он поворачивал с Олимпийского на Трубную, перед эстакадой, его круто обогнало и сразу же подрезало такси. Он, вжимаясь в спинку сиденья, изо всех сил упираясь в баранку и чувствуя, как она хрустит, ломается в руках, почти во всю длину вытянул ногу, придавливая тормоз — и встал, чуть развернувшись тяжелым моторным задом «жука» в сторону. Все же он был хороший водитель — подумал он, как о другом. И тут же, со страшным звоном и скрежетом ломая и отрывая его задний бампер, проскочил мимо короткий деревенский автобус, «пазик». Такси уже было далеко, номер в темноте нельзя было рассмотреть и в двух шагах, но он готов был спорить на что угодно, что такси было то же самое, Сашкино, и кто-то в кожаной куртке за рулем.

Он вылез, обошел несчастного «жука» вокруг. Левый задний фонарь вырван из стойки, разбит вдребезги, бампер оторван и сложился посередине в фигурную скобку... Могло быть и хуже. «Пазик» стоял метрах в пятидесяти, из него никто не выходил. Он направился было к проклятому автобусу и вдруг рассмотрел — остановился.

Автобус был охряно-желтый с черной полосой на борту. Похоронная колымага. И никто так и не вышел из кабины шофера.

Вот автобус медленно тронулся — и тут же свернул направо, исчез за углом.

К «жуку» уже медленно подъезжал гаишный «жигуль».

* * *

Время от времени с изумлением и ужасом перед самим собой он замечал, что многие чувства, переживания, внутренние состояния и даже размышления, которые считаются свойственными всем человеческим существам, обходят его стороной. Он думал о счастье и ясно понимал, что просто не знает смысла этого понятия и никогда в жизни его не испытал.

Даже когда его маленькая, в пол-листа статейка «Тень героя», опубликованная в заштатном сборнике, наделала невероятного шума, ее читали все, кто отродясь не слышал о самом анализируемом романе, на улицах показывали пальцами в угаданных им за романными персонажами знаменитостей, его интервьюировали Рейтер и «Нью-Йорк таймс», статью переводили и публиковали где попало, от «Тайма» до «Коррьере де ла сера», он мотался по миру, повторяя в лекциях свои измышления, наконец, ему передали уважительную обиду самого автора — был ли он счастлив? Кто ж его знает...

Он думал о любви, вспоминая их первые три свободных ото всех дня, когда он прилетел к ней в Ростов, на всесоюзное тогда еще совещание. Сразу после своего доклада она тихо исчезла, и они провели в ее номере безвыходно почти двое суток, только раз она выскочила в гостиничный буфет — он, нелегал, скрывался — и притащила какой-то довольно подкисшей еды и, гордясь собой, бутылку чудовищной краснодарской водки, они пыгались охладить ее в ванной, и все равно оба сильно напились теплой этой мерзостью в жаре, и засыпали друг на друге, и просыпались,

вместе шли в ванную, неистовые, вовсе потерявшие рассудок от желания окончательно соединиться, и он охрип, задавленно — чтобы не было слышно соседям — рыча... Была ли это любовь? Может, да, но ему казалось, что другие люди, и живые, и жившие в книгах, чувствовали совсем иное.

Он хоронил близких, ревел, дергая распухшим носом, повторял про себя: «Что же это?.. Все?.. Бедный, бедный старик, бедный мой старик, мы были похожи, что же, что же это...» — но действительно ли так переживают нормальные люди истинное горе, потерю?

Он думал и о своей смерти, о жизни внутри начала и конца, но мысли сбивались, он вспоминал о какой-нибудь милой, легкой и элегантной картинке, и только через несколько минут спохватывался — а как же там получалось со смыслом, со связью, с главным? Не получалось никак. Он вспоминал известные, много раз читанные чьи-нибудь размышления об этом и вяло удивлялся: как им удавалось не только додумать все до конца, но еще и на бумагу перенести?

Самое лучшее, не столько глубокое, сколько тонкое, что он придумал или ощутил, возникало на ходу, за рулем, за выпивкой в одиночестве в какой-нибудь малознакомой дыре, куда его вдруг заносило, и на бумагу переходило случайно, почему-то всплыв где-нибудь в пустом, проходном, соединительном месте статьи или главы. Так возникло и запомнившееся даже Феде построение о связи между персонажем и прототипом как между взаимно дополняющими частями одного существа...

Так же однажды он сообразил, что именно от этих его выродочных легковесности и бесчувственности родились страсть и стремление к скрытой авантюрной жизни, к романтической тайне, вкус к простоватой лирике и сентиментальность. Он испытывал не просто неприязнь — отвращение и вражду к той культуре, имеющей дело с истинным, некрасивым и недобрым, без правил живущим человеком, которая все мощнее полезла в последние годы изо всех щелей. Свобода, бля, свобода... Он с гадливостью смотрел на этих молодых людей, кстати, как правило, прекрасно устроенных, с американскими и немецкими стипендиями, спешащих выгащить на всеобщее обозрение свою внутреннюю — он

предполагал, что еще и сильно преувеличенную — грязь, гной души, уродство страстей.

«И что же тут нового? — спрашивал он ее в бесконечных их спорах, в очередной раз отвозя домой, для конспирации высаживая у метро за одну до нужной ей станции. — Что они придумали нового? До несчастного больного немца, завидовавшего здоровым, до маркиза с его разгулявшимся воображением были цезарский Рим, а до этого Содом, а до Sodoma, уверен, еще что-нибудь... Человек мерзок? Ну и открытие... Человек и в мерзости — человек? Тоже новость не первой свежести. Вот и остается от всей их новации одно: вызывающее заявление о собственной свободе от этого скучного, живущего по буржуазным правилам мира. Маяковщина... За что, кстати, мир всегда таким неплохо платил. Но разумный мир держал при этом их в художественных резервациях, а чуть разойдутся — и в тюрьмах. Понимая, что свобода от буржуазности — это свобода от свободы. У нас же им в рот смотрят, а они уже до чего договариваются: мол, человеку истинному свобода не нужна, это выдумка обывателя — свобода... Ненавижу...»

Он не выпускал ее из машины, заведясь, непременно стремясь договорить, размазать этих поганцев, к которым, ему казалось, она имеет некоторую неявную склонность. Она смеялась.

«Боже, до чего же ты малограмотен и, соответственно, безапелляционен!..»

Насчет малограмотности сначала говорилось вроде бы в шутку. Но бывало, что безапелляционность и линейность его рассуждений постепенно начинала злить ее всерьез, тогда они понемногу входили в ссору...

Танцы в сумерках, Синатра, «Стрэйнджерз ин де нйт», белые костюмы, открытый «шевроле», мимоходом убранный с дороги негодяй, лиловый закат над заливом, тайный побег на пустынный пляж, и объятия, объятия, и светлый песок под луной, прилипающий к мокрой коже и сверкающий вдруг в волосах, и никакой боли, никакого насилия — разве что картонная фигура все того же негодяя, заваливающаяся плоской мишенью от точного выстрела...

«"Великолепная семерка" и "Некоторые любят погорячее" за-

стряли в тебе навсегда, — хохотала она. И вдруг делалась серьезной, как обычно, когда заговаривала об интересующем ее настоящему. — А действительно, ты ведь никогда не делаешь мне больно... Почему? Тебе совсем не хочется? Или по принципиальному неприятию бедного маркиза?»

«Совсем не хочется? — он пожимал плечами. — Не знаю... Мне хочется, чтобы тебе было хорошо, все, что могу, я делаю для этого, при чем же здесь боль? Я действительно не понимаю, я, видно, начисто лишен этой составляющей либидо, моя агрессия, видишь, вся выходит в наши споры, в слова...»

Иногда эти дискуссии кончались тем, что она выходила из машины у ближайшего автомата, звонила домой, что еще на час задерживается, они мчались за Кольцевую, он сидел за рулем весь сжавшийся от желания, гнал машину жестче обычного, пуская «жука» в малейший просвет между автобусами, они выбирали какой-нибудь наименее сквозной лесок, съезжали с шоссе в быстро синеющей тьме, она умудрялась полностью раздеться в невозможной тесноте, он бросал на заднее сиденье огромную махровую простыню, всегда валявшуюся в пластиковом мешке в багажнике, и через миг, почувствовав влажную от дневного пота кожу под ее грудью, уже не ощущал ничего, кроме нее, не думал ни о чем, не существовал нигде, кроме как в ней.

«Не спеши, — твердила она, задыхаясь, светясь в темноте глазами, кожей, волосами, — ...не спеши... ляг здесь, сбоку... все, не двигайся, все... сейчас, сейчас...»

Иногда же спор переходил в такой серьезный скандал, что дергаясь и гримасничая от обиды, он, резко замолчав, тянулся через нее, распахивал, толкнув изнутри, дверцу с ее стороны, бросал: «Пока» — и, развернувшись почти на месте, уносился, не дожидаясь даже, чтобы она вошла в метро.

Так выродок я, что ли, думал он, добираясь пешком до дому с Бутырского хутора, где жил изумительный умелец, взявшийся всего за пять штук к возвращению хозяина через пару недель «с Копенхагена или откуда» сделать «жука» «как нового, сами тогда скажете». Устроил, конечно, Валера — со своей заслуженной «двадцать первой» он знал всех автомобильных левшей города... Выродок? Бесчувственное чучело, оснащенное десятком расхожих

понятий и соображений, некоторой наблюдательностью и способностью на лету схватить чужую мысль — вот и все... Но почему же все, и даже она, относятся ко мне как к настоящему человеку? Что они, не видят? Я не тот, за кого они меня принимают. Еще правильнее: я не тот, за кого себя выдаю, а они меня принимают не за того, за кого я себя выдаю. Даббл мизандерстэндинг.

На Трех вокзалах шла обычная ночная жизнь, и он удивился, что она даже не очень изменилась за последние двадцать лет. Несмотря на все катаклизмы, здесь почти все было, как в те времена, когда, застряв где-нибудь в центре допоздна, а живя в недосягаемом тогда Дегунине, он брел на Ярославский передраемать до первых троллейбусов... Милиционеры, давно прекратившие борьбу за нравственность где бы то ни было, здесь так же исправно гоняли тонконогих, страшно пахнущих полусумасшедших вокзальных пожилых девушек от автоматов с газировкой, девушки так же разбегались, унося граненые стаканы и тут же протягивая их первому встречному: «Налей, командир! Полюблю от души...» Все так же шатались очумелые дембеля в застроченной где только можно до полной обтяжки — хотя уже пятнистой — форме, ища бормотухи и приключений на свои закаленные задницы. И мелкоголовый мужичок отлавливал на проходе к стоянке такси каждого, начиная беседу неизменно: «Вы, извините, конечно, думаете, что я шакал? Иметь меня, извините, конечно, в рот, если я шакал... Мне только до Рыбинска доехать...»

Когда он поравнялся как раз с этим мужичком и уже обошел его, размышляя, не сократить ли прогулку и не взять ли отсюда до дому такси — в куче зеленовато-желтых машин, стоявших здесь в ожидании чумового клиента-северянина (после очередного повышения цен были как раз те два-три дня, когда народ привыкает и не особенно ездит), произошло движение. Одна довольно ободранная «волга» пробралась в первый ряд, ее пропустили, отъезжая, отворачивая в сторону, сдавая назад по каким-то своим правилам и соображениям о привилегиях. Дверца у шоферского места открылась, вышел таксист. Правую руку чертов водила держал как-то скованно, на отлете...

Ну и ладно, подумал он, надоело мне от них бегать, надоело их убивать, надоело воображать себя сумасшедшим, все надоело!

В конце концов, почему это психоз? Я же всегда был уверен, что приключения существуют, что под бессюжетнейшей бытга постоянно разыгрывается боевик... Вот оно и получилось по-моему, чего ж я психую? Ну-ка, руки в карманы — и пошел. Жаль, что «питон» именно сегодня валяется вместе с портфелем дома, самое ему сейчас время бы оказаться под курткой, слева за поясом, чтобы разом выдернуть. Что ж, придется играть с прыжками и разворотами, с прямыми в челюсть и выбиванием монтировки молниеносной пяткой, хотя каратэ — это не в моем образе, это следующее поколение...

— Куда поедет, батя? — спросил таксист, и он увидел, что никакой это не Сашка Кравцов и вообще не гангстер, а совсем молодой парень, с белобрысыми, слипшимися, длинными волосами по давно забытой везде, кроме эстрады и Мытищ, моде.

— Что с рукой-то? — спросил он, уже подъезжая к дому.

— А с черножопыми в Черемушках дрались, вот плечо и выбили эти суки палкой, — ответил парень весело. — Больничный не возьмешь, ну, зато ребята пропускают на стоянках, уважают... Приехали, отец. Новый тариф знаешь?

— Знаю, знаю, — пробормотал он, выкладывая пару четвертных сверх самого новейшего из новых тарифа борцу за национальную гордость великороссов. — Знаю... Слушай, а ты такого водителя, — он, как мог, описал Сашку, — не знаешь, случайно? Я у него в машине... сумку забыл.

— Знаю, а как же, — уверенно сказал особенно разговорчивый после лишнего полтинника парень, — это Митька Жевакин из пятнадцатого парка. Он тоже в Черемушках был, суровый мужик... Знаю, а как же! Он и говорил, что у него какой-то... — тут он немного смутился — ...фраерок, значит, сумку фирменную оставил. Понял? Запиши: Митька Жевакин из пятнадцатого. Будь здоров, батя.

Такси отъехало. Он пошел к подъезду. В голове шумело громче, чем когда-либо: перенервничал с таксистом. Под деревьями, на скамейках вокруг доминошного стола, сидели какие-то мужички, слышалось звяканье бутылки о стаканы, вспыхивали самолетными огнями сигареты, доносились отдельные слова...

Он услышал голос Федора Владимировича Плотникова:

— Мне не полный, Леша... Ну, так что же мы будем делать с сектором статистики? Пойдем поименно...

Но теперь он уже твердо решил не обращать внимания на такие глупости — история с таксистом его многому научила и почти полностью успокоила. Он поспешил домой, взял Лельку, сразу от подъезда свернул с нею за дом, миновал пустой асфальтовый пяточок у задней стенки гаражей, причем ничего не почувствовал, и вышел на заросший грязной и клочкастой травой пустырь, где всегда встречалось собачье братство. Но сегодня здесь, на его счастье, было совершенно пусто: уж слишком поздно он выбрался. Он обрадовался, как раз разговаривать с кем бы то ни было ему сейчас и не хотелось.

Через несколько минут он заметил, что в голове все стихло. Будто разошлась, по позднему времени, неутомная толпа. Наступило спокойствие, и он понял, что уже давно их не боится — перестал бояться, как только стало ясно, чего именно можно от них ждать.

II

Прямо за воротами, ведущими на территорию бывших казарм, начиналась грязь, как в Калуге весной. Стояли почему-то лужи, хотя дождя давно не было, прошлогодние палые листья каким-то образом сохранились в гниющих кучах, вместе с другим мусором, разбитый асфальт дорожек прерывался просто черной разъезжающейся глиной. У первой же халупы с забитыми разрисованной фанерой окнами полуголый, татуированный многоцветными гребенчатыми рыбами и пучеглазыми вампирами человек с длинной седой косицей, скользящей при движениях между лопаток, перебрасывал большой лопатой уголь из сваленной у стены горы в темный подвал. Жили здесь, судя по свисающим из выбитых окон тряпкам, в зданиях казарм, ободранных и по кирпичным брандмауэрам расписанных гигантскими червяками граффити, разобрать шрифт которых непосвященный не мог. Но многие обос-

новались и в пристроенных к основным домам хижинах из железа, фанеры, картона, сплошь покрытых многоцветными картинами — яркие, круглые, розово-зелено-голубые деревья, пузатые коротконогие птицеголовые люди — стиль поздних шестидесятых, великая «Yellow submarine». Эти шалаши, напоминавшие, если не считать роспись, самозастройку какой-нибудь Ахтырки, бывали и довольно аккуратными, в окошках светились уютные огоньки, висели вязаные занавесочки. Среди хижин и развалин была фанерная, но с деревянными столбиками колонн вегетарианская столовая. Кое-где попадались лавки, торгующие тем же базарным барахлом, что продают туристам грустные негры и арабы на всех европейских углах: кожаными широкополыми шляпами, ремнями, медными браслетами, мелкими серебряными кольцами, но были и местные особенности — крупными узлами связанные свитера, цветные чулки-гетры и много старых аптечных пузырьков с кривыми горлышками, медных ступок с пестиками, наводящими на мысль о нечаянном убийстве, бронзовых и фарфоровых резервуаров керосиновых ламп без стекол...

Всюду бродили неумытые, вполне цыганского вида, но светло-головые дети и огромные грязно-белые собаки одной, какой-то специфической здешней породы. Люди попадались навстречу самые разнообразные, но в то же время как бы в униформе. Это могла быть немолодая огромная блондинка в широчайшей арабской джеллабе и кожаных сандалиях; или мелкая, тощая, почти бесплотная брюнетка в черных рейтузах, черных солдатских башмаках и большом мужском черном пиджаке поверх рваной черной майки; лысый толстяк в джинсовом комбинезоне и босиком, собравший на затылке все остатки волос в некий как бы пони-тэйл без пони; или черногривый горбоносый красавец, в серьгах, в коже и бахrome, в серебряных пряжках и бляхах, решительно вдавливающий в грязь косые каблуки богато тисненых сапог — но все они были похожи друг на друга, как солдаты разных родов войск, но одной армии.

Он слонялся здесь уже полдня, чувство полнейшего отдыха и размягченной доброжелательности наполняло его, как в давние годы, когда Лелька бывала занята, и он сам приходил в детский сад за сыном, и стоял среди галдящих маленьких людей... Где те-

перь Лелька, и где теперь сын, сменивший, по слухам, даже имя? Может, вот пошел...

Три дня назад, когда после пресс-конференции пришлось уйти из гостиницы, он поселился у немедленно прильнувшего, немедленно перешедшего на «ты» здешнего русского. Уехал в начале семидесятых, что-то здесь пишет, для какого-то журнала корреспондирует, иногда переводит на русский для какой-то большой торговой фирмы переписку и каталоги, основной же источник существования — пособие... Всю ночь после пресс-конференции сидели на кухне, жена Галя жарила яичницу с колбасой, пили «столичную», взятую за углом, в окне была чернота — дом стоял напротив огромного кладбища, за высокой стеной невидимо шумевшего деревьями под ветром. Странное кладбище прямо в центре совершенно пустого по ночам, но ярко светящегося города.

— Да, ты совершил поступок, — твердил Костя, совершенно по-московски, будто и не прошло двадцати лет, добирая из всех бутылок все остатки, — ты и сам не понимаешь, какой поступок ты совершил... ты же первый такой здесь, с тех пор, как у вас там пришли эти... с тех пор, как они развалили нашу страну... это была такая страна, суки, что они с ней сделали... а ты — человек, давай за тебя!..

Чокались уже случайно задержавшимся в кухонном шкафу, в пыльной полупустой бутылке, апельсиновым итальянским ликером. Вдруг Костя заговорил довольно трезвым голосом:

— Но все-таки что же это за делишки, которые обдeldывают здесь твои коллеги и этот кагэбэшник с ними? Как это у вас теперь называют... партийные деньги? Да?..

Совершенно свободно переходя от «у вас» к «нашей стране», к утру Костя его достал. Наконец, с отчаянной гримасой хватаясь за затылок, поправившись «тюборгом» и громко его понося по сравнению с «нашим “жигулевским”», хозяин убежал по своим текущим делам. Он тут же попросил у Гали разрешения оставить пока сумку и немедленно смылся с твердым намерением ночевать хоть под мостом, но сегодня не возвращаться, отдохнуть ото всех соотечественников. Пару раз спросив дорогу у не слишком приветливых, не особенно белокурых и не выглядящих полностью сексу-

ально раскрепощенными женщинами — их почему-то на улицах было заметно больше мужчин, — он пришел-таки в описанную Валерой Христианию... Как-то там Валера Грушко после наверняка переданной «Свободой», да и нашими расписанной пресс-конференции?..

Здесь, среди неприкаянных из принципа, он пробродил несколько часов и вдруг — неприкаянный по необходимости — почувствовал себя более одиноким, чем среди блестящих магазинов, гостиниц и чистенькой публики центра. Он вернулся к воротам и, не доходя до них, слева, обнаружил сарай с дощатым крыльцом — бар, одноименный всему кварталу. Интересно, почему название совпадает с древним именем столицы недалекой страны? Интересно, но спросить не у кого.

В баре было так же грязно, как снаружи, как даже в бреду нельзя представить в любом баре любого другого района города. Бродили те же собаки, дети и костюмированные взрослые, а в довольно мглистом и сыром воздухе стоял сильный, странный запах — через минуту он сообразил, что впервые дышит в атмосфере марихуаны. Немного повело... Вот и славно, подумал он, можно бы и добавить, только по-своему, по-привычному, по-стариковски...

Тут обнаружилось, что в баре, кроме наличия грязи, есть и еще одна особенность: отсутствие чего-либо крепче пива. На его клубный пиджак с галстуком и короткую стрижку никто внимания не обращал, к туристам здесь привыкли и относились, видимо, как к неизбежности и даже необходимости. Но на «Уан скотч, плиз» бармен реагировал неприязненно — не глядя, ткнул большим пальцем за себя, где прямо на стене кривыми буквами было изображено «Никакого алкоголя» на всех языках. Слава Богу, хоть пиво они не считают алкоголем, чертовы наркоманы... Он взял бутылочку, какого-то местного, раньше даже не слышал, горьковатого, прекрасного, и стал в уголке, прислонясь к беленой, но не пачкающей стене. Подошла собака в половину его роста, понюхала, легла... Защемило сердце, защемило по-настоящему: как же теперь с Лелькой? Милая моя псина, Боже мой, как же я теперь буду без тебя...

Из-за одного столика на него уже несколько минут смотрел

странного по здешним местам вида господин. Было ему лет сорок, одет он был так, как рекомендовали каталоги в этом летнем сезоне сорокалетним господам: зеленоватый льняной пиджак чуть мешком, шелковая сизая рубашка, шелковый же сильно пестрый галстук и еще более пестрый платочек в нагрудном кармане. Стрижен красиво, и виски, конечно, серебряные... Господин улыбнулся и кивнул на свободный стул рядом с собой — садись, мол, старик, мы здесь должны поддерживать друг друга, среди этого детского сада переростков.

Когда он пересек сарай и сел, господин немедленно полез в карман, вытащил, развернул и торжествующе шлепнул на стол вчерашнюю газету. Так и есть: в чередѣ длинных слов с обилием точек над буквами — его перекошенная фотография.

— Ай спик онли инглиш, сорри, — сказал он и, извиняясь, улыбнулся: все понятно, мужик, ценю внимание, но, увы, разговора не получится... Тут модный господин радостно захохотал:

— Неужели и на русском вы нисколько не разговариваете, уважаемый товарищ? — Если не считать едва слышного акцента, чуть смещенных, странноватых оборотов и уже звучащего пародией «товарищ», язык его был безукоризнен.

Его звали, конечно, Ян. Ян преподавал русский и историю русской культуры в здешнем университете и иногда в соседней Швеции, ее можно в хорошую погоду увидеть с дамбы, Ян, естественно, как специалист по языку и стране, слушал все доклады русских товарищей, успел и на его пресс-конференцию — правда, не с самого начала. Если товарищ... о, извините!.. если господин коллега не возражает... Ян чувствует, что для их возраста здесь неподходящие напитки, он сам просто живет неподалеку, поэтому и забрел, но теперь можно пойти куда-нибудь... скотч?! но это чудесно, у них совсем совпадает тест, то есть как это... вкус.

Когда они вышли за ворота, было уже совсем темно. У обочины стоял нелепый здесь большой черный «пежо», битком набитый людьми.

Плевал я на них, подумал он, в конце концов, времена укула зонтиками прошли. И в голове за этот день почти не шумело, подумал он.

Вечером, после открытия конференции, после коктейля в честь этого в каком-то роскошном месте, где он даже забыл на время все свои горести и кошмары, до того прекрасный Chivas Royal Salute разливал бармен, до того хороши были копченые устрицы и лососина, до того милый попался в собеседники немец, — после чудесного этого двухчасового хождения, мелькания, дивной выпивки и еды нашел его Федя.

— Ребята предлагают пойти потом где-нибудь посидеть, — сказал он, одновременно знаками объясняя бармену: без льда и воды, мол, давай, чистого, — если вы еще с ног не валитесь, пойдем, поглядим на ночной городишко?

Пошли... Долго примеривались, где бы присесть, выбирая среди баров, сверкающих темным деревом и медью, стойками и желтыми уютными лампами. Отовсюду гремела музыка, было ощущение праздника, а заглянешь — пусто, два человека да перетирающий бокалы бармен, да и эти двое пьют пиво или кампари с водой... Впереди шли Плотников с Журавским, негромко переговаривались, затем он один, следом Юра Вельтман, радостно улыбающийся во все стороны, ощущающий себя заграничным гулякой впервые за все свои нередкие поездки, взад и вперед сновал Сашка Кравцов, совал нос во все двери, читал цены в меню, хмыкал — ептмать, ну, стакан пива у них, как сорочка! Сашка осторожно держал чуть на отлете правую руку, угораздило же за неделю до поездки ключицу сломать, погулял как-то вечером, ну и... сам понимаешь, старик... и, главное, ключица же не гипсуется, блин, а болит, ептмать!..

Наконец остановились на маленьком баре, посередине которого стоял огромный бильярдный стол, за ним двое довольно податых, по виду приезжих откуда-нибудь из Северной Африки или с Ближнего Востока работяг не очень ловко гоняли шары. Один из них сразу же повадился подходить, стрелять именно у него сигареты, оставляя каждый раз, несмотря на его протесты, на краешке стола по кроне.

— Ты так хороший бизнес с этим мудаком сделаешь, — сказал Сашка. Держался он в своей обычной манере, то и дело норовил левой, здоровой рукой хлопнуть его или Юру по спине,

Плотникова, слишком часто обращаясь, называл Федей, к Журавскому же вдруг начал адресоваться «Петрович», от чего того слегка передергивало... Заказали, с помощью Сашкиного быстро и достаточно многословного, но с диким выговором английского, Журавскому огромную кружку пива, Плотникову и ему виски, Grant's, а непьющему Юре Вельтману Сашка, как и себе, взял по большой рюмке «абсолюта».

— А закусить? — спросил наивный Юра. Посмеялись, потом все же взяли бедняге какой-то сандвич... Через минут двадцать все повторили, еще через пятнадцать — снова, кроме Юры и Журавского. Вельтман уже был хорош, теперь он решил удариться в игру: встал, пошел посмотреть, как арабы безуспешно пытаются засунуть в лузу последний шар, начал давать им советы по-французски. Решили рассчитаться и двигаться в гостиницу, там, если будет желание во втором часу ночи, можно добавить, у Плотникова имелось кое-что в чемодане. Бармен, увидав поднятый Сашкин палец, принес блюдечко со счетом, Сашка глянул, присвистнул, сделал как бы движение правой рукой во внутренний карман за бумажником, но ойкнул и матернулся от боли.

— Ну что там набежало? — поинтересовался Плотников. — Много, что ли? У меня только доллары, не успел обменять, но они, может, возьмут?..

Журавский сидел молча, наслаждался пивом и огнями беззвучно проплывавших по каналу барж, яхточек, тихих катеров... Тогда он вытащил из-под Сашкиной руки счет, посмотрел и положил его под блюдечко вместе со стокроновыми бумажками, махнул рукой подошедшему бармену, оставляя пятнадцать крон чаевых. Счастье, какое счастье, подумал он, что есть, хоть небольшой, долларовый заработок, позволяющий не считаться с этими жлобами, ну, Кравцов, ладно, но эти... «Академики народ небрезгливый», — вспомнил он опять Валеру Грушко. На улице Юра Вельтман всучил-таки ему раза в два больше, чем причиталось за «абсолют».

— Я ж не девушка, не фру какая-нибудь местная, — повторял он и радостно покатывался со смеху, — чтобы ты меня угощал! Я ж не фру...

До гостиницы идти оказалось довольно долго, он поглядывал

на темные, местами весьма обшарпанные дома. Город, из виденных им, сильнее всего напоминал Лондон, только, конечно, много меньше и вроде поплотнее... Неожиданно Журавский взял его под руку.

— Ну что, о чем задумались? Небось о судьбе нашей бедной страны, о том, будут ли у нас хоть через пять поколений такие витрины, чистые тротуары и гладкие мостовые? Размышления в загранице знакомые... Вот и мы с Федей о том же говорили, пока в эту забегаловку с приема брели. И пришли к двум выводам. Во-первых: ну прогнали ум, честь и совесть, а все никак не успокоимся, все власть гонять хочется, а власть, между прочим, не для того создана, чтобы ее гоняли, а чтобы была власть! А у нас, друг мой, после партии все еще никакой власти нету... И во-вторых: чтобы какая-нибудь власть в России — как и в любой стране — установилась, нужны этой власти деньги. Возвращаемся мы, таким образом, к тому же, о чем мы с вами уже однажды, дорогой мой друг, говорили... Дело нам здесь предстоит серьезное, мимо вас оно пройти никак не может, и нужен нам — и поэтому, и потому, что умные люди любому делу требуются, — в вашем лице надежный союзник...

— Сообщник... — тихо перебил он и, чуть напрягши локоть, высвободил руку. Журавский усмехнулся:

— Ну-ну... Вы человек остроумный. Кроме того, я заметил, материально в какой-то степени независимый? Так что наши предложения, как можно понять, категорически и даже с брезгливостью некоторой отвергаете. Что ж, дело ваше... Забудем. А то уж совсем рехнулись: Копенгаген, ночь чудесная, выпили, а все о проблемах наших несчастных... Лучше о других материях, более приятных, поговорим. Я вот на канал здесь смотрел и вспоминал одну такую поездочку, пару лет назад... Ездили мы хорошей такой компанией в Венецию, на конгресс...

Он задержал дыхание. Что это?! Этот конгресс, эту поездку, эту компанию он отлично помнил. Словно площадь взорвалась криками — зашумело в голове. Странно, раньше ведь такое бывало только в тишине и уединении... Но Венеция, что же это?..

— ...Она у вас же в Институте и работает, между прочим. Ну, по-джентльменски, не буду фамилию называть... И вот в та-

кую же, только много теплее, ночь стоим мы, представляете, на палубе огромной такой гондолы, они там бывают и маленькие, такси как бы, и здоровенные, вроде автобусов... Не бывали в Венеции? Ну, надо найти какую-нибудь поездку, посмотреть это чудо... Да. Значит, стоим мы с нею на палубе, музыка играет... Помните, в тот год всюду это крутили, в ушах навязало? Как ее... Ну в общем, романтическая была ночь, да...

Утром он в семь вылетел из гостиницы — в номере никак не мог справиться с телефоном, добежал до ближайшей кабины автомата, нашел на стенке номер международной, набрал код... Там уже девять, она как раз должна прийти на работу. Ответила сразу. Слышно, как и отовсюду, было лучше, чем в Москве.

— Это я, — сказал он, как говорят все и всегда, звоня самым близким, — здравствуй.

Она задохнулась, потом счастливо засмеялась:

— Ты... Ну что, что? Рассказывай скорей! Ты из гостиницы звонишь?

— Нет, из автомата. Ты одна, можешь говорить? — он зажал в горсти монеты, целую кучу которых наменял у портье, но автомат жрал их с невероятной скоростью.

— Пока одна, одна, девочки сегодня будут попозже, отпросились... Скучаю, уже скучаю...

— Скажи, а в Венеции, когда ты ездила с Журавским, ты тоже сильно скучала обо мне?

Он чувствовал себя почему-то последним подлецом, задавая вопрос, который повторял всю ночь, наливаясь в номере с неразобранной постелью ненавистью и дешевым виски, какой-то местной подделкой, купленной в грязнейшей забегаловке ночью же, когда от подъезда гостиницы повернул в переулок, бросив: «Пройтись!» — на встревоженный вопрос Плотникова вслед. Пустела грязноватая пластиковая бутылка, ныла печень, да и сердце постукивало недовольно... На рассвете принял плохо регулирующийся кранами душ — гостиница была не из самых дорогих. Долго брился, допил желтую дрянь, утром показавшуюся не такой уж дрянью. Заел тремя облатками аллохола, без которого уже давно не жил, подумал — и проглотил еще одну, после таких издевательств и более здоровые внутренности могут взбун-

товаться. Закурил... Прав был Кравцов, хорошие сигареты «Prince». Ну, дай ему за это Бог, пусть легкое простреленное — или что там у него, ключица сломанная? — заживет быстрее... Не в того стрелял... Одедся тщательно, больше, чем нужно, выпрыснул одеколону на горящие после бритья щеки. И, уже поняв, что с кнопками на гостиничном телефоне не разберешься — какую ни нажимал, отвечали «ресепшен», — пошел звонить.

Она молчала.

— Ты же расслышала? — спросил он безжалостно. Уже хотелось закричать: «Не слушай меня! Забудь все, ничто не имеет значения, все прощительно и исправимо, я тебя люблю! Люблю, все остальное не имеет значения, слышишь, никакого!..» — но он ждал ее ответа.

— Так я и знала... — сказала она. — Так я и знала, что эта ваша поездка добром не кончится. Ну хорошо. Что ты хочешь? У меня ничего не было с ним, он приставал всю ночь, мы все поехали кататься на гондоле, я стояла на палубе, он лез, лез, но я отворачивалась и смеялась — не лупить же его было по морде... Потом мы вернулись в гостиницу. Там всюду крутили эту музыку, я сходила от этой музыки с ума — помнишь, у нас еще только начиналось, и мы бродили по всем ресторанам в Москве, тогда все это еще было по-другому, и всюду была эта музыка, забыла название... Он пытался войти ко мне в номер, я его не пустила и промучилась всю ночь, вспоминая тебя, — вот и все. Ну подумай сам, как я могла бы с ним? Он жирный и старый...

— Не такой уж жирный, — ответил он и повесил трубку.

В десять утра он сказал знакомому парню с «Би-би-си», что хочет собрать пресс-конференцию. Зачем, удивился парень... А вот слушай, сказал он. Дамы и господа! Я не хочу участвовать в международных финансовых аферах подобно некоторым присутствующим на этой конференции. Не имея доказательств, воздержусь от имен, но...

* * *

— Только не рассказывай мне эти клепаные подробности о денежных махинациях твоего начальника и его дружков, — сказал Ян. С каждой минутой, проведенной ими вместе, он говорил

по-русски все точнее. — Меня все это говно совершенно не интересует, вся эта политика и прочая грязь. Конечно, по убеждениям я социал-демократ...

— Ну и мудак, — перебил он. — Вы еще нахлебаетесь с вашими левыми закидонами. Видал, где мы с тобой были? Вот это и есть торжество левой идеи, ваша Христиания, причем еще в лучшем варианте. Грязь, безделье и безобразие. Но пока есть пиво, потому что его привозят из других районов города, из нормальных. И пока не нашлось фюрера, хитрого мужика, который бы научился веревки вить из этих ленивых придурков. А теперь представь такую же, даже хуже, грязь в масштабе всей огромной страны; такое же, только не веселое, а унылое безделье; вместо травки паскудную водку, отдающую керосином; отсутствие пива навсегда, потому что его некому делать; кое-как сварганенные ракеты и танки, которым предназначено насаждать великую идею, — и ты получишь окончательное торжество социализма, которое мы имели семьдесят лет, и до сих пор никак не опомнимся. Видал жулье, с которым я приехал? Вот люди победившего социализма, он их создал, а теперь они жаждут его восстановить, воспроизводят свою среду обитания... Хочешь такого? Только не морочь мне голову, не объясняй, что наш социализм был не настоящий — как раз он-то самый настоящий и был, это ваш не настоящий! Как только на социализм напяливают человеческое лицо, либо социализм скукоживается, тихонько втискиваясь в самый настоящий капитализм, только современный, как у вас, либо маска лопается, и вылезает мерзкое людоедское рыло «реального социализма», которое, впрочем, тоже существует недолго — гниет изнутри...

— Вероятно, ты прав, — грустно вздохнул Ян. — Вы все это прожили... Но знаешь, очень не хочется расставаться с красивой идеей. Без нее здесь так скучно...

— Это другое дело, тут я тебя понимаю, — он примирительно снизил тон. — Я понимаю: окружающее всегда противно, и хочется думать, что возможно иное...

— Вот-вот! — обрадовался Ян. — Это как раз то, о чем ты мне рассказывал: иная, скрытая, романтическая жизнь. Социализм — это наше приключение. И я хочу рассказать одну вещь,

которая тебе покажется, думаю, очень интересной. А в твоём те-перешнем положении может быть даже полезной...

Уже часа три они сидели в малюсеньком, на четыре столика баре, с полуметровой стойкой, с тихой музыкой — может, Гил Эванс? — из невидимых колонок. Входили и выходили какие-то люди, некоторым Ян кивал, все они были однотипные, как и в Христиании, но совсем другой породы: средних лет, старательно и даже строго одетые, мужчины, как один, в костюмах с галстуками, некоторые даже в летних плащах, женщины в платьях, в туфлях на каблуке, куда дальше — в шляпках! Но вся эта одежда, доро-гая и хорошо сшитая, была как бы с чужого плеча, чуть широко-вата, чуть балахоном, и сильно потерта, и галстуки повязаны кри-вовато, хотя явно от Сен-Лорана, и плащи припачканы... Лица же у многих были слишком румяные, если присмотреться — в скле-ротической сеточке, а дамы, очень многие, были слишком тонконо-ги, так что чулки сидели нетуго, что, он давно заметил, во всем мире, от Трех вокзалов до Сен-Жермен, изобличает женщину пью-щую.

— Это наша интеллигенция, — сказал Ян. — Изыскан-ные художники, поэты, тонкие журналисты... Такой стиль: многие сильно пьют и одеты соответственно, как аристократы, третьи сут-ки ночующие под забором. Тоже протест — против здорового образа жизни, на котором, по примеру американцев, помешался и здесь обыватель, против правила выглядеть свежо и на десять лет моложе своего возраста... Думаю, они понравятся тебе и ты при-дешься среди них... как это?... ко двору. У меня есть план, и если он удастся, завтра все твои неприятности покажутся тебе... как это сказать... херней на постном масле, так?..

В третьем часу — он не спал вторые сутки, но чувствовал себя прекрасно и, главное, никакой суеты в мозгах! — они при-шли к Яну домой. Таких квартир в Москве не было и быть не могло, хоть у бывших членов бывшего политбюро: слишком краси-во. Запомнил только лимонное дерево, каким-то образом росшее прямо посреди гигантской комнаты, и огромное количество книг, ярких альбомов и изумительных постеров, валявшихся везде...

— Теперь ты идешь в душ, после душа наденешь вот эту ру-башку, эти носки, вот трусы... или ты предпочитаешь трикотаж?

Извини, нету, не ношу. И знаешь, не советую тебе: сдавливает... как у вас говорят?... а, да, яйца, а нам надо уже беречь. Иди, иди, все остальное у тебя в порядке, этот пиджак ты купил в России? Очень хороший... А, в Англии... Ну ладно, иди, купайся, мойся, потом я расскажу тебе мой план подробно.

План он начал рассказывать только утром, когда, пару часов передремав, они оба одновременно вскочили — Ян с постели где-то на возвышении вроде эстрады, а он с дивана — от телефонного звонка. Ян долго и, как ему показалось, очень нежно что-то втолковывал в плоскую трубку, потом, положив ее, еще некоторое время смотрел на телефон очумело.

— Итак, мой русский товарищ... я не в этом, не в этом смысле! — закричал Ян. — Это же не запрещенное, в конце концов, у вас слово? Итак, вот каковы обстоятельства. Твоя история, которая кажется такой исключительной, — ты сам, как неглупый человек, должен понимать, весьма обычная. Нас, мужчин от тридцати пяти до пятидесяти пяти, слишком поздно, или слишком неудачно, или слишком неожиданно застигнутых — это правильно, застигнутых? я так читал... — застигнутых любовью, тысячи, десятки, сотни тысяч на земле. Не меньше и женщин в таком положении. Наблюдения и логика показывают, что особенно часто это случается с людьми среднего класса, вроде нас с тобой. Объяснение простое: с одной стороны, у нас больше свободных сил и фантазии для этого, чем у какого-нибудь бедняги, приехавшего из Пакистана или Турции, чтобы подметать наши улицы или, в лучшем случае, встать у конвейера, разливающего швепс, с другой — у нас больше обязательств перед семьей и меньше материальных возможностей эти обязательства выполнять, чем у какого-нибудь малого, оставляющего унаследованную виллу на Côte d'Azur и сотню миллионов прежней жене, чтобы на яхте смыться к новой... И вот мы мучаемся. Мы делаем шаг в сторону, но никак не можем стать там двумя ногами, мы уходим и возвращаемся, в конце концов оказывается, что одна из возлюбленных — это серьезнее, чем просто наиболее удачное совпадение темпераментов. И тогда ты пьешь, пьешь все больше в своей студии, а у меня положение другое — я приезжаю в ее студию, чтобы перестать пить, а пью в барах, и жена уже привыкла, что от меня все-

гда пахнет виски, но никак не может понять, чем же она хуже той, от которой я прихожу без запаха спиртного. Да она и не хуже... Все это чудесно описал один американец в своем романе...

— Я читал, — сказал он, — у нас переводили... Что это такое — студия?

— А, ну как это называется у вас, — Ян постучал себя по лбу, — а, да: однокомнатная квартира, так. Ну и теперь: мой план...

Ян был женат уже двадцать лет, старшему парню было четырнадцать, второму — восемь. Пять лет назад на его курс пришла студентка-переросток, каких здесь полно, всего на два года моложе его самого, до этого зарабатывала на учебу медсестрой где-то в Африке. Через месяц все и началось... Ян показывал фотографию жены — прелестная темная шатенка, которую никак нельзя было счесть матерью огромных белобрысых пацанов в рваных майках, стоявших рядом с ней. Ян показывал и фотографию любимой, сто раз вытаскивая ее из потайного отделения бумажника. Прелестная темная шатенка, пожалуй, чуть постарше жены на вид. Вот и вся любовь.

— Тайна сия велика есть, — пробормотал он.

— Что? — встрепенулся совсем было загрустивший, глядя на фотографии, Ян. — Что ты сказал?

Он вздохнул:

— Старые мы с тобой козлы, Ян, вот что.

Наконец дошли и до собственно плана, и тут обнаружилось, что далеко не они одни старые козлы... Жена и сыновья Яна были сейчас на отдыхе, «на Балеарах, это, конечно, не Багамы, но очень милое место». Сам Ян должен лететь туда через три недели, так что, естественно, сейчас вполне счастлив и за последние дни впервые ночевал дома, а не у нее. Следующие три недели Ян будет наслаждаться любовью, «а ты будешь жить здесь, как у Христа за пазухой, правильно?».

Вот холодильник, вот здесь выпивка, на полицию плевать, а через три недели он улетит на Балеары с паспортом Яна, он увидит сам, что это вполне возможно, надо только встать в большую группу, которая будет идти в самолет, и помахать перед носом у этого парня в форме этой... внимание, сейчас Ян употребит слово,

которому научился еще пятнадцать лет назад, на стажировке в Ленинграде!.. этой ксивой, правильно? И все! И он уже будет на острове, в чудесном городе Пальма-де-Майорка, где датчан, англичан и немцев в сезон гораздо больше, чем местных, майоркинцев, где вечером на каждом углу едят паэлью, моллюсков с рисом, где все прекрасно, только очень низкорослые женщины, как, впрочем, и мужчины, что нам безразлично, и где есть друг Антонио, такой же старый козел, как мы, и у друга Антонио есть тоже студия, которую он снимает для свиданий с любимой, и можно пожить в этой студии, потому что любимая друга Антонио как раз уезжает в Мексику, у нее там бизнес, а потом он сможет спокойно перелететь в Барселону, потому что Пальма, Балеары — это уже Испания, и никакой визы не понадобится, а сам Ян просто прилетит на неделю позже, когда получит новый паспорт вместо потерянного. А он в Барселоне сможет разыскать свою любимую, выяснить наконец с ней отношения и уж потом решить, где они поселятся. Ян советует обосноваться вообще в Испании, чудесная страна... Все.

— Извини, все это невозможно, — сказал он и, не давая возразить уже набравшему воздух для следующей бесконечной фразы Яну, продолжил: — и не потому, что я боюсь вашей полиции. Я очень, честно, очень благодарен тебе, Ян, ты удивительный парень, правда, но я не смогу... Извини, ты, наверное, забыл: у нас, приезжих из России, не бывает достаточно денег, чтобы прожить здесь самостоятельно даже неделю. Завтра я пойду в полицию, просить убежища, потом что-то надо будет решать с работой... С прежней жизнью кончено, Ян.

— Ты говно, — сказал Ян. — Говно и предатель. У меня нет миллионов, но есть немного денег, чтобы дать займы старому козлу, который готов из-за паршивой сплетни бросить любимую и даже не пытается с нею объясниться, потому что не хочет брать деньги у приятеля... Потом отдашь. И ты, и она, я уверен, найдете здесь работу, в вашей профессии вы ведь имеете репутацию? И больше не будем говорить об этом. Я бы тебе не советовал особенно бродить по городу — после фотографий в газетах тебя будут узнавать, как я, многие. Сиди, смотри телевизор, хотя это очень скучно... Надеюсь, что ты оставишь мне хотя бы глоток из

моих запасов к возвращению. Завтра продолжим обсуждение деталей и поговорим еще о социализме — мне кажется, что ты все-таки преувеличиваешь... Я пошел на лекцию, потом к ней. И не грусти слишком сильно, слышишь? А на телефонные звонки не отвечай — здесь есть машина, она все запишет.

Ян ушел.

У него не было сил подняться — так и лежал на диване. В квартире установилась ровная, отчаянная тишина. В голове медленно зашумело, крики становились все громче, ему казалось, что сейчас что-то взорвется, такой шум не может усиливаться бесконечно. Он дотянулся, взял пульт дистанционного управления, экран телевизора осветился. Минут через десять, после прекрасной детской передачи — отличные взрослые актеры без всяких костюмов и приспособлений изображали животных, лучше всех был старый дядька в тенниске и джинсах, игравший черепаху, — пошли новости. Не понимая на этом странном, несколько, но очень отдаленно, напоминающем английский язык ни одного слова, он все же как-то сориентировался: вот карта Ближнего Востока, потом репортаж — инспекторы в Ираке ищут ядерные объекты... вот взорванное здание, солдаты вытаскивают изломанное тело, кладут на носилки... где же это? а, в Испании, баски... вот бегут люди с «калашниковыми», стреляет многоствольный миномет, старухи и дети сидят в подвале... Карабах, понятно, нет конца... а вот и Федор Владимирович Плотников. Во весь экран.

«Господа, я вынужден сделать официальное заявление после безответственного...»

...а, мать их, переводчик заглушает!..

«...никаких незаконных операций... правительство демократической России... отношения, установившиеся между Данией и нашей страной... благодарю вас».

Он выключил телевизор. Все же это не бред, подумал он, все это было — их приезд вечером, сволочь Сашка, разговор с Журавским, пресс-конференция... Жизнь кончилась, уже ничего нельзя исправить, как после смерти, подумал он. Ну и слава Богу. В конце концов, тут, в Христиании, он видал мужиков и постарше, живут как-то. И наверняка далеко не у всех порядок с документами. Если бросить пить — а на что будешь пить-то? вот и хо-

рошее следствие нищеты, — печень восстановится довольно быстро, а прочих органов может хватить надолго. Наконец отпущу косицу, давно хотелось.

Только две мысли вызывали нестерпимую боль — о ней и о собаке. Разговор с Журавским вспоминался уже вполне спокойно. Ну, допустим даже, что и было... А, черт! Ну трахнулась. Чепуха. Он прислушался к себе — действительно, представлять это было почти терпимо. Невозможно было терпеть другое: сознание, что уже никогда, никогда в этой жизни, она не примчится, задыхаясь, на Преображенку, не проскочит в ванную, не выйдет оттуда в его рубаше, достающей ей до колен, не мелькнут из-за отошедшей полы еще мокрые волосы, русые, почти не скрученные в кольца... И Лелька, милая Лелька не подляжет к ним!

Надо лететь в эту, как ее, в Пальму, подумал он — и заснул.

Он не слышал, как по пахнувшей дезодорантами лестнице поднялись трое, как один из них вставил отмычку в дверь Яновой квартиры, долго и безуспешно крутил — пока не открылась дверь на этаж выше и не послышались тяжелые шаги толстой соседки Яна, вдовы знаменитого копенгагенского архитектора, не слышал, как ссыпались все трое вниз, захлопали дверцы «пежо», и, когда машина тронулась, один из взломщиков, почти не двигавший правой рукой, сказал тому, кто действовал отмычкой: «Ну, хрен с ним, Коля. Сам здесь с голоду сохнет... Теперь-то наших здесь и без него — девать некуда... мувило».

Он не слышал ничего, он спал первым сном после окончания жизни.

* * *

Новость она услышала утром, в лифте, но сначала не поняла, о чем и о ком идет речь.

— Приложил, в общем, он всех наших здорово, — сказал малознакомый ей парень, кажется, редактор из издательского отдела, другому, вовсе ей не знакомому, продолжая, видимо, рассказ.

— И что же теперь? — почему-то понизив голос, спросил незнакомец.

— Останется, — твердо ответил редактор, — что ему здесь делать...

Они оба засмеялись и замолчали, переживая рассказ. Она

вышла на своем четвертом и оглянулась — мужчины смотрели ей вслед, но тогда она не поняла почему и вошла к себе в комнату довольная: все-таки эти узкие брюки по совсем новой моде она еще может себе позволить...

Через полчаса все объяснил муж. Позвонил, сказал веселым, совершенно несвойственным ему обычно голосом:

— Ну, ты уже знаешь, конечно? — И, не дожидаясь ее ответа, продолжал: — У нас ребята возмущаются, матом его несут, считают, что всем нам, делу вообще, он повредил, что все его откровения на руку только патриотам из Института славянской истории. А я считаю, молодец, мужественный мужик, а то ваш Плотников с Журавским одурели совсем, почище прежних цеховских академиком...

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, — перебила она, уже почти понимая, уже поплыв, уже теряя дыхание. — Кто возмущается? Кто молодец?

— Ты не знаешь?! — искренне изумился муж. — Да этот же... приятель твой! Вчера днем собрал пресс-конференцию, рассказал, что Журавский, Плотников и этот ваш с ними... сапог... приехали туда с главной целью деньги партийные выручить. Скандал! Ночью, оказывается, все голоса передавали. А сегодня уже и в наших газетах есть... Говорят, сразу после пресс-конференции он ушел из гостиницы — и с концами.

— Ага, — сказала она, не слыша своего голоса, — молодец.

И повесила трубку. Вчера, после его звонка, она часа два сходила с ума, будь проклята эта Венеция, обернувшаяся вот чем! Тогда, два года назад, конгресс казался таким привлекательным, ее впервые включили в команду столь высокого уровня, в конце концов, это было ее профессиональным признанием... И вот теперь расплачивается, и хоть было бы за что... Но постепенно успокоилась. Ну ладно, не первая же их ссора, он и раньше ревновал ее страшно, особенно к начальству, липнувшему, надо признать, действительно постоянно: любят старички пухленьких и светленьких. Вернется — помиримся, а может, и сам к вечеру опомнится, а завтра снова позвонит... Но в начале одиннадцатого вдруг остро закололо в груди, стала задыхаться, девочки заволно-

вались — ой, вы вся прямо красная, может, у вас давление? — она им казалась вполне инвалидного возраста. И до самого вечера кружилась голова, а ночью не спала ни минуты, думала — из-за жары...

Потом в комнату стали одна за другой заглядывать подруги и просто знакомые, пытались рассказать услышанные по радио и вычитанные в газетах подробности, она поняла, сколько же народу на самом деле знало об их отношениях. В буфет, конечно, не пошла, вместо этого по прожаренному солнцем стеклянному переходу на уровне третьего этажа перебралась в новый корпус, зашла в библиотеку, взяла еще не разобранные утренние газеты, стала искать сообщения, прочла в одном месте, в другом... И все поняла.

Бедный, несчастный ее мальчик! Испуганный, затравленный этими негодьями — может, действительно приезжали к нему домой, что-то требовали? Довели до того, что ему показалось, будто убил этого засранца Сашку Кравцова, а тот вон, живехонек, отвечает в Копенгагене на вопросы нашего корреспондента: «Это не более чем фантазии довольно талантливого, будем справедливы, но неуравновешенного и легкомысленного человека...»

Да еще и от ревности потерял окончательно рассудок... Что же он пережил, если решился... Для него это же все равно, что самоубийство, она знает... Журавский, тварь, подонок!.. И ничего, ничего она теперь не сможет сделать...

Она почувствовала взгляд — от соседнего столика на нее смотрела Валя, секретарша Плотникова, воспользовавшаяся отсутствием хозяина и заглянувшая полистать «Бурду». Она попыталась улыбнуться этой незлой девке и вдруг почувствовала, что уже давно плачет, слезы текут по щекам, размывая и без того подтаявший от жары грим. Хороша же она сейчас... Валя встала, быстро подошла вплотную, быстро вытащила из кармана узейшей и короткой джинсовой юбки бумажную салфетку.

— На, вытрись, — сказала тихо. Всем в Институте, кроме самого Феди, говорила она «ты», не различая ни возраста, ни положения. Было ей не то тридцать, не то сорок, и никто, кроме подружек-машинисток, не знал о ней ничего. — Вытрись, вытрись... Еще наладится. Теперь еще и не такие возвращаются. Время пройдет — еще встречать будут, как космонавта. Парень,

конечно, хороший, плакать стоит. Только на Федю он зря попер, я так считаю. Федя — человек, вы никто не знаете его...

А еще через два дня вернулась вся делегация, все, кроме него. Она сидела безвыходно в комнате, раза по три в день пила какие-то таблетки, добытые великой Ленкой, от таблеток немного кружилась голова и плавали строчки, но можно было жить. Институтские собирались вокруг Кравцова, выпытывали подробности, Сашка хмыкал: «Ептмать, тоже, новый диссидент нашелся... Просто решил там сразу выбиться в люди, да там теперь не больно с такими носятся...» Плотников в Институте почти не появлялся, видно, хватало хлопот в больших кабинетах, где утрясались последние проблемы с организацией Академии. На доске приказов вывесили объявление, что последняя зарплата будет в июле, вместе с ней всем, кроме тех, кто к тому времени уйдет переводом в другие организации, будет выдано выходное... Что значит «другие организации», все понимали — Академия. Заглянул Юра Вельтман, поздоровался с поцелуем, потоптался, поулыбался, повздыхал — видно, даже на его безоблачные небеса донеслись какие-то слухи. Вдруг решил, сказал:

— Ты, милая, держись... Он, между прочим, совершенно правильно поступил, я считаю. У меня, например, просто характер не такой, а то... А ты держись. — И неожиданно закончил: — Мы с тобой еще в этой Академии дурацкой поработаем, будь здоров!

Вельтман ушел. Она тут же приняла таблетку: почувствовала, что опять подступают слезы, спешила заглушить становящуюся совершенно невыносимой, едва кончалось действие Ленкиного лекарства, боль в груди. Девочек теперь почти постоянно не было, бегали, оформляли перевод в университетскую аспирантуру, а старички-отставники как-то незаметно исчезли — на пенсию... Едва успела проглотить огромную, с пятак, таблетку, запить противной теплой водой из нагретшегося графина, как позвонили из группы оформления, попросили зайти.

— Тут такое дело, — сказал, глядя то в стол, то в потолок, вечный Федор Степаныч, сидевший здесь, когда это еще был первый отдел, и когда еще просто секретный, и даже, говорят, когда на двери была совсем откровенная табличка «Уполномоченный ОГПУ», — такое дело... Не едешь ты в Барселону. Не

успели мы тебе у испанцев визу вырвать. Волокитчики они, испанцы, перестройку им, такое дело, пора устраивать. Но ты не расстраивайся. Тут лично тезка мой, — он со значением поднял палец, и она с некоторым трудом поняла, что речь идет о Плотникове, — звонил сейчас мне и порекомендовал тебя в другую группу включить...

— Что значит «в другую»? — Ей, в общем, это было сейчас вполне безразлично, она даже не хотела никуда уезжать, ей казалось, что каким-то образом все скоро прояснится, он появится или хотя бы позвонит, но сообщение Степаныча ее возмутило страшно. — Что значит «в группу»? Я не туристка, я еду на коллоквиум, в программе мое выступление...

— Не шуми, — старый чекист посмотрел холодно, но страшного льда в глазах не нашлось, вытаял весь за полвека оттепелей, получилась просто старческая бесцветная слеза. — Не шуми, а посмотри лучше, куда тебя товарищ Плотни... куда тебя руководство включает.

Он подвинул ей факс, скручивающуюся тонкую бумажку, заполненную смазанным английским текстом. Она прочитала, пропуская непонятные слова: «...Международная Ассоциация Гуманитарных Исследователей проводит в Париже... пять дней с... по... во Дворце... расходы по пребыванию и транспорту...»

Париж... И на две недели позже, чем Барселона. Может, что-то уже прояснится, может, он позвонит, и если он действительно остался, может... Какое-то безумие, подумала она, я тоже становлюсь тайной авантюристкой, это перешло от него.

— Ну, допустим, что по этой теме мое сообщение тоже может пройти, — сказала она. — Так ведь вы и сюда не успеете оформить?

— Успеем, успеем, — усмехнулся старик. — У французов в консульском отделе мой дружок трудится. Я еще и других не засылал на визу, за три дня все сделаем. Ты, еще Гречихин пусть напоследок съездит, да вот Сашку Кравцова надо послать, он с языками, поможет вам... А в Испанию ты ведь все равно скоро с супругом едешь, я слышал?

Тут-то до нее дошло все. В Барселону ее не пускают, и вовсе не испанцы! В Барселону она должна была ехать одна, а они

теперь этого не хотят, они все знают и хотят держать ее за границей постоянно под присмотром — на тот случай, если он попытается с нею увидеться. Неужели все это не кончилось?! Неужели они и теперь могут преследовать за границей, мстить?..

Убить. Они могут убить — сразу и удивительно ясно поняла она. Но кто они-то? Ведь уже нет ничего... И немедленно сама себе возразила с вдруг пришедшей и уже не исчезающей трезвостью: да вот Сашка Кравцов и может убить. С молчаливого согласия — а то и просто по указанию — этих распрекрасных, знаменитейших, интеллигентнейших, совести страны — Плотникова с Журавским... Неужели могут? Неужели он был прав... Или действительно испытал...

А если так, подумала она с той злостью, которая всегда охватывала, если что-нибудь мешало удовлетворить жажду, страсть, желание тела, а если так, то я поеду в Париж, и посмотрим, что сможет сделать этот говнюк Кравцов, если придется, с нами двумя.

— Хорошо, Федор Степаныч, оформляйте, спасибо.

Домой ехала в каком-то веселом настроении, даже мелодию ту, двухлетней давности, то и дело начинала про себя петь. Ладно, твердила она, вы все против, ладно, а мы вдвоем, вдвоем, будем вдвоем... Ей уже казалось, что он в Париже окажется обязательно, что у них там назначена встреча. Все будет хорошо, твердила она себе, ничего не кончилось, жизнь большая, люди уезжают, возвращаются, она потерпит, хотя нет для нее ничего страшнее, чем терпеть его отсутствие, и ночь за ночью мучиться, а на третью, ну, на четвертую, в полубреду, почти в горячке, дотрагиваться до только что заснувшего после позднейших телепрограмм мужа, и уже знать, что это ничего не даст, будет пятиминутное ожидание, а потом отвлечение и все та же, даже хуже, иссушающая жажда — но она потерпит, дождется, и все еще будет, будет соединение, то, ради чего можно жить, а без надежды на это — нельзя...

Только уже подходя к дому, она вспомнила, что впереди — Мадрид. Полгода.

* * *

Вечером, после девяти, становилось прохладно. Он сидел за столиком популярнейшего в городе бара «Bosch», на углу площади, названной в честь нынешнего короля, тихонько высасывал

свой один за день стаканчик — виски стоил столько, сколько четыре пива, но, собственно, больше ни на что расходовать деньги с портретом все того же красавца короля из довольно толстой пачки, в которую превратился здесь всунутый на прощание Яном чек, не приходилось. В студии Антонио, которая действительно была удивительно похожа на однокомнатную московскую квартиру, только вся белая, с мраморным полом, и ванная побольше, а кухня поменьше, холодильник был забит тонкими ломтями ветчины в запаянных пластиковых лотках, банками с оливками, в каждую из которых вместо косточки был всунут кусочек анчоуса, да еще и дырка заткнута вырезанной из оливки же пробочкой, колбасами, покрытыми белым налетом, пивом, помидорами, гигантским, почти древовидным луком... А есть в жару не хотелось, днем валялся на ближайшем к студии Антонио пляже, в пригороде Cala Maior, рассматривал удивительно некрасивых женщин, которым мода *top-less* не добавляла сексуальности, а, напротив, отнимала последнюю, и только после пяти, когда жара спадала хоть немного, садился в автобус, ехал по невероятно узким, да еще и петляющим дорогам в гору, с горы, по сторонам стояли дома, каждый с названием — «Villa Maria», «Edificio Solar», к дороге они выходили лакированными дверями с начищенными медными ручками, а в противоположную сторону спускались с откоса двумя-тремя этажами, садом, бассейном... Это были пригородные деревни. Он всякий раз смотрел в спину шофера, разъезжавшегося в полусантиметре со встречными «сеатами» и «судзуки», — и не мог перестать удивляться этому цирку. Ему казалось, что он бы слетел в пропасть на первом же закрытом повороте... Приезжал в центр, бродил по пешеходным торговым улицам, до тошноты рассматривая витрины, выходил к огромному, застывшему наплывами свечного воска собору, поворачивал в полуметровой ширины сырые древние улицы — к арабским баням, сидел там в замкнутом каменными стенами садике... Потом спускался к оживленному бульвару, к площади, садился на углу. «Камареро! Уна скотч, пор фавор». Отучить их пихать в стакан лед не удалось...

В девятом часу у края тротуара швартовался открытый «сааб», самый местный шик, приезжал Антонио.

Провожая его в аэропорт, скорчившись за рулем своего мик-

роскопического «остина» (а это тамошний, североевропейский стиль), Ян вдруг сказал: «Я знал довольно много русских... Ты совсем, совсем нестандартный, так? Да, нетипичный. Я тоже датчанин... нетипичный. Теперь тебя встретит нетипичный испанец...» И замолчал. Молча, грустно доехали до аэропорта, долго искали место, чтобы воткнуть полутораметровую машину. Потом все было именно так, как Ян предсказал: он затесался в шумную группу, все в длинных и широких цветастых шортах, в майках, с детьми, стариками и инвалидами в креслах-катаках, с огромными чемоданами на колесах, и он тоже был в этих дурацких штанах, в бейсбольной шапке, с отросшей за неделю и аккуратно подбритой седоватой щетиной, делавшей его непонятным образом похожим на круглолицего Яна, слегка приподнял синюю книжечку — и все, за стеклом! В этот момент шум в голове поднялся такой, какого никогда не бывало. Все же впервые в жизни пересек границу нелегально, да еще и не свою... Оглянулся — Ян стоял, подняв обе руки, в лиловой тенниске с крокодилчиком на груди слева, словно с точкой мишени, словно сдающийся.

Сколько таких нетипичных в мире, подумал он, может, вместе нас больше, чем типичных, может, мы, безумные, ведущие скрыто истинную жизнь и томящиеся во внешней, ложной — может, мы и есть самые нормальные, может, это в нас здоровье бунтует?

Нетипичный Антонио служил в сети местных сберкасс, организации на острове, судя по обилию ее рекламы и отделений, вездесущей и могущественной. Судя же по бешено дорогой машине, огромному особняку в тихом районе, который показал издали по дороге из аэропорта, и по каждый день меняющимся, но всегда темным тонким костюмам, белым рубашкам и английским галстукам, занимал Антонио в своей конторе положение немаленькое.

Единственная при первом знакомстве странность: не говорил ни на каком языке, кроме испанского. Полное невладение английским — такая же к западу от Чопа редкость, как неумение водить машину, но бывает и то, и другое... Тем не менее разговорились уже в зале прилета, где суровый пограничник в черных погонах — в цвет усов и вылезавшей из-под черного же форменного берета шевелюры — очень строго помахал ему ладонью, проходи, мол, не тычь мне свой датский паспорт, не задерживай...

Антонио стоял за барьером, и он сразу узнал прекрасно описанного Яном испанца: «Он будет самым элегантным, если поблизости не окажется манекенщика от Hugo Boss». Антонио сделал шаг вперед и негромко сказал: «Ола, Ян», — и оба дико расхохотались. После этого, перекрикивая в открытой машине шум дороги, на невероятной комбинации испанского с жестами, интернациональными словами и мимикой, Антонио умудрился рассказать ему, что у него жена и дочь-невеста, а самому сорок семь, последние, понимаешь, друг, годочки, и вдруг приходит к ним в контору молодая бизнесвумен, совсем, друг, молодая, двадцать девять, представляешь, и блондинка, настоящая, представляешь, друг, здешняя, но блондинка, а ты сам блондинок любишь? Ну правильно, настоящий мужчина, значит, поймешь, это, друг, последнее счастье в жизни, а уйти от жены нельзя, никак нельзя, у нее диабет, и еще их родители очень дружили... Антонио совсем расстроился, прижал, «сааб» вылетел в крайний левый ряд, и ветер засвистел так, что говорить стало невозможно, даже не имея общего языка. Влетели на эстакаду, потом под другую — дороги на острове были не хуже, чем где бы то ни было на цивилизованной части материка — и остановились у бара. Здесь обнаружилось, что, кроме языка, есть еще одно расхождение, неполное понимание: Антонио с ужасом посмотрел на выбранный им Bell's и взял себе коньяку — конечно, не дешевого местного, а настоящего, Remy Martin. Да, есть такая слабость, здесь этого никто не понимает, друг, а как проживешь без коньяка, когда тебе сорок семь, а ей двадцать девять, и у тебя дочь-невеста, учится в университете в Мадриде, жена больна, очень больна, а здесь все пьют только вино, красное, тинто, а он не может, потому что у него желудок, эстомахо, и теперь едем в эстудио, там все хорошо, муй буэно, и через десять дней ты будешь в Барселоне, друг, как раз там будет твоя русская блондинка, и все будет окей, поехали, садись...

Антонио причаливал, брал свой коньяк, норовил заплатить за его виски, они сидели, молча переглядываясь, когда — в толпе толстых старух, хромых стариков, даунов, будто специально съехавшихся сюда со всей Европы в невероятных количествах, видно, настоящий сезон еще не начался и пока совсем по дешевке здесь отдыхали пенсионеры и инвалиды — проходила вдруг немка

или скандинавка лет тридцати—сорока, беловолосая, уже дотемна загорелая, дергая шорты-кюлоты или короткую юбчонку крепкими, твердыми ногами... Что может быть прекраснее загорелой блондинки, спрашивали они друг друга взглядами и взглядами отвечали друг другу — ничего. Потом Антонио отвозил его в студию, в Cala Mayor.

Однажды Антонио запоздал. Было уже девять, половина десятого... Народ постепенно перемещался с уличных столиков под крышу. К вечеру он, думая молча сойти за местного, чисто брился и надевал свой блейзер, но сейчас продрог и в пиджаке. Надеюсь завтра сэкономить — Антонио собирался пойти с ним и еще одним своим приятелем в ресторан, съесть хорошую пазью, — он заказал второй виски, чтобы согреться. Глотнул — и сразу возник шум, закричала в голове возвращающаяся туда время от времени, хотя все реже, толпа. Может, выпивка так подействовала, отвык от нормальных порций, подумал он, и тут же другой шум, настоящий, заглушил все.

От дальней стороны бульвара показались, приближаясь со скоростью идущего на посадку самолета, мотоциклы...

Они неслись уже совсем близко, уже мимо него промелькнули первые — в черной коже, в черных круглых глухих шлемах, без лиц, на горящих мощными фарами машинах с высоко поднятыми широкими крупами...

Всадники Апокалипсиса, успел подумать он, вот настоящие Всадники Апокалипсиса, а не хлипкие скелеты на заморенных клячах...

В эту секунду один из мотоциклистов круто свернул, поднял машину на дыбы и, въехав на тротуар, оказался в полуметре от его столика. Рядом упал плетеный стул, с которого вскочила, пытаясь убежать, женщина. Мотоциклист же, со всего размаху опустив переднее колесо, затормозил и сорвал шлем...

Он увидел знакомое яростное лицо, небритые, туго обтянутые скулы, золотые фиксы, сверкающие в оскале... И еще успел разглядеть шелковые тренировочные штаны между черной кожаной курткой и теми самыми, не удержавшимися на перилах его лоджики мокасинами с медными бляхами на перемычках...

Мотоциклист взмахнул шлемом — и в тот же момент, толк-

нувши от себя стол, он опрокинулся вместе со стулом навзничь, вбруя в плечи голову, чтобы не шмякнуться об асфальт затылком. Стол, переворачивающийся в сторону мотоциклиста, толкнул убийцу, сбил удар, и шлем обрушился как раз на ребро столешницы, расколовшись вдребезги и расколов мраморную столешницу пополам.

И мотоциклисты исчезли, проглотив в своей исходящей ревом колонне приехжего товарища.

Антонио подъехал через секунду. Идем, друг, идем, торопил, подталкивая его к машине и расплачиваясь с официантом за все выпитое и разбитое, старательно отворачиваясь от знакомых, идем, тебе совершенно не стоит дожидаться полиции с твоим чудесным датским паспортом, черт меня дернул сегодня задержаться, понимаешь, я в офисе ждал ее звонка, вот и опоздал.

Они уже отъезжали под крики опомнившихся посетителей бара, в криках этих нетрудно было различить слова, вполне похожие на нормальные русские: «хулиганы» и «бандитизм». Он оглянулся. За крайним столиком со стороны, противоположной той, к которой подъехал дважды незадачливый киллер, сидел пожилой господин. Седые его кудри слегка шевелил вечерний ветер, светлый летний костюм был безукоризнен, трубка сыпала мелкие искры в синюю ночь. Ну, Федор Владимирович, вы даете, подумал он, лично контролируете... Что поделаешь, привычка руководителя. А с многократкой испанской прилететь сюда — проблема небольшая.

На шум в голове он уже внимания не обращал.

Через три дня Антонио проводил его в Барселону. Прощаясь, поцеловались по-западному — дважды, потом третий раз — по-русски...

В кармане его лежал чужой датский паспорт и вполне приличная сумма в песетах, в сумке — абсолютно приемлемая по любым требованиям одежда, билет пижон Антонио взял, конечно, в первый класс... Когда и как я расплачусь с этими ребятами, подумал он, с Яном и Антонио? Кто знает. Надо бы постараться расплатиться, пока жив... Ладно, что-нибудь придумается...

Полчаса лету до Барселоны он дремал. Когда сели и народ пробирался к выходу, столкнулись с седым господином в светлом

костюме, с нераскуренной трубкой в зубах. «Пардон, месье», — сказал господин. «Ничего, Федор Владимирович», — ответил он. Господин взглянул на него с легким удивлением, потом засмеялся, как хорошей шутке: «Рюс? Же не парль па, месье...»

Но ему уже было все равно. Он вышел к стоянке такси и сказал шоферу: «Отель “Суизо”». Это было единственное название в Барселоне, которое он знал. И это была последняя и, может, самая главная услуга, которую оказал ему Антонио: бился все десять дней, но через каких-то своих могущественных деловых знакомых узнал-таки, где будут жить участники коллоквиума.

Открытие коллоквиума состоялось сегодня утром. Он рассчитывал перехватить ее у входа в отель вечером. Должна же она будет вернуться когда-нибудь в номер, даже если банкет в честь встречи выдающихся ученых планеты очень затянется... Главное — выбрать место для наблюдения, чтобы не раздражать швейцаров и полицейских.

Что будет потом, он себе не представлял, но не особенно и старался представить. Главное было: не стать слишком близко, но и не прозевать ее, потому что иначе придется снова караулить с утра...

Таксист напрягал слух, но не мог разобрать ни слова из тех, что бормотал сам себе иностранец. Сумасшедший швед или датчанин, решил таксист, их сейчас здесь полно.

* * *

В Москве, как почти все последние годы, отчаянная, горечью отдающая жара мая сменилась дождливыми, почти осенними днями уже к концу июня. Лужи, вроде бы чистые, оставляли на джинсах — похолодало настолько, что приходилось одеваться как в сентябре, она ходила в джинсах и кожаной куртке — грязно-желтые пятна.

Однажды в коридоре встретила Журавского, было это уже дня за четыре до отъезда, визы французы еще не дали, но Степаныч обещал, что хоть к самолету, да привезут... Журавский остановил, изобразил бурную радость, с объятиями и поцелуями, эта манера была принята, отворачиваться выглядело бы неприлично.

— Ну, в Лютецию? — по-барски громко спросил академик. — Хорошее дело. Шанзэлизе, улица Фобур Сент Оноре,

магазин «Гермес»... Отвлечешься, красавица, от наших тоскливых обстоятельств. Надолго?

— На пять дней, — коротко ответила она, не глядя, уже сделав шаг, чтобы обойти его.

— Жаль, мало... А ты, милая, что грустная такая? Или на меня дуешься за что-то? За что же? А я твою главу читал в предварительной верстке сборника, понравилась безоговорочно, мы с тобой полные единомышленники...

Она побледнела. Ему эта бледность мгновенно бы сказала обо всем — о наполнившем ее бешенстве, об изнуренности давно не удовлетворенным желанием, о том, что сейчас будет взрыв, скандал. Но академик Журавский ее настолько не знал, да и вообще не был склонен к наблюдательности по отношению к хорошеньким сотрудницам — просто отмечал их проходящее покачивание некоторым движением в своем организме, движением этим бывал удовлетворен, значит, все еще в порядке с Лешей Журавским, разговоры же с дамами на профессиональные темы считал неизбежной и скучной вежливостью.

— Я никогда не чувствовала себя полной вашей единомышленницей, Алексей Петрович, — сказала она очень тихо, и он был вынужден замолчать, прислушаться, — а в последнее время особенно. Кроме научных позиций, я придаю большое значение научному поведению... Не понятно? А знаете, как в спорте? Там за неспортивное поведение могут дисквалифицировать независимо от профессиональных результатов. Вот я считаю, что и за ненаучное надо бы тоже... Кстати — а разве мы с вами переходили на «ты»?

Она наконец обошла его и направилась к приемной: вызвал Федя, чего почти никогда с нею не бывало. Чувствовала, что Журавский смотрит вслед — и услышала-таки за спиной его негромкое, но внятное:

— Недостаточную настойчивость женщины никогда не прощают — вот и вся наука...

Ответить на это — уже был бы просто базарный скандал, она предпочла не услышать. Самое оскорбительное, что в этом отчасти была правда. Уж лез — так умел бы лезть! Как он: молча всунул в такси, повез... А этот поганец все на группу огля-

дывался, не видит ли кто да не стукнет ли его Насте... Да и ему наговорил, мразь, от бессилия и в своих жлобских деловых целях... Ладно, забыть. Она толкнула дверь и с тихим «Можно?» вошла в кабинет Плотникова, Валя даже головы не подняла.

Плотников встал, вышел из-за стола, хотя обычно его галантность на сотрудниц не распространялась, усадил. И начал сразу, как умел только он:

— Скажите... прошу простить, это, естественно, между нами, даже оговаривать отдельно не надо... у вас с ним в последнее время какие-нибудь контакты были? Звонил? Передавал, может, с кем-нибудь что-нибудь? Поверьте, я на него не в обиде. Ну, сделал человек свой выбор, решил, что если один раз на скандале с названием прототипов удачно сыграл, то и во второй раз скандалом укрепит свое положение — его дело. Но поймите, дальнейшие его действия очень важны для всех нас, и для вашей судьбы, конечно, тоже. Ваша поездка с мужем в Мадрид...

Она сидела молча, глядя ему прямо в глаза. Ну, Федя!.. Тем не менее что-то надо отвечать. Решила немного выиграть время:

— Я не понимаю, Федор Владимирович, о ком вы говорите, о каком скандале, о каких звонках? И что вы имеете в виду, говоря о поездке в Мадрид? Это еще не решено, и я если поеду, то не от Института...

Федя вздохнул, начал раскуривать трубку:

— С вашего позволения?.. Эх... Значит, не хотите говорить откровенно? Что ж, в другое время я бы посчитался с вашим правом на скрытность, посчитаюсь даже и сейчас. Но уж не обижайтесь, сам буду откровенен. Вы задали вопросы, я отвечу. Говорю я о нем. Скандал, который разыгрался с его обвинениями в адрес Института... в мой и Алексея Петровича адрес, известен всем, известен, конечно, и вам. Так же, как многим, и мне, конечно, известны ваши отношения... близкой дружбы, будем говорить, оставаясь в рамках приличий. Известны они и очень мною уважаемому вашему супругу, и он мирился с ними до поры. Но сейчас слишком многое с неуравновешенностью и непредсказуемостью вашего друга оказалось связано. Мы не можем допустить, чтобы его контакты с вами были нам не известны — именно через эти контакты мы надеемся дать ему знать, что если он не

будет продолжать своих, кажущихся ему честными, высказываний, разоблачений, называйте, как хотите, мы, в свою очередь, просто оставим его в покое, пусть живет, как хочет, решит вернуться — думаю, не в Академии, так вон хоть у коллег, в Коммерческой исследовательской лаборатории, место ему найдется. Останется окончательно — будете видаться при любой возможности, мы будем даже помогать, только, чтобы помогать, надо ведь в курсе быть, правильно? Вот здесь и связь с Мадридом... Почему вы не поехали в Барселону, сами, наверное, догадались. В Париже, надемся, будете вести себя разумно, если что — Кравцов будет там, вы же знаете... Ну что, подруга героя, звонил он? Или действительно — нет?

Слушая Плотникова, она взяла из стакана на его столе карандаш, отклеила от кубика квадратный листок для записок, чертила бессознательно — и вдруг увидела, что рисует одно и то же: таксу, таксу, таксу... Только сейчас сообразила, что надо было давно позвонить соседке, которой он оставил Лельку, успокоить, завезти денег на кормежку собаки. Что же сказать? Федя действительно откровенен предельно. Почему-то из всего услышанного меньше всего задело очевидное соучастие мужа, стало даже легче... Ну ладно.

— Контактков, к сожалению, не было, — сказала она и захлебнулась воздухом, закашлялась, едва отдышалась. — Звонили, правда, один раз из-за границы, судя по звонку, но трубку взял... муж... в общем, ничего не было слышно. Так что о его судьбе и планах я знаю не больше, Федор Владимирович, чем вы с уважаемым Алексеем Петровичем. Обещать стучать на него не могу, даже ради его безопасности, он бы не простил. Если и в Париж не пустите, как в Барселону, дело ваше, хозяйское, но одно обещаю точно: если поеду, ни при каких обстоятельствах этой гниде Кравцову ничего от меня известно не станет. Если же поездка мужа в Мадрид не состоится — что ж, это его проблемы, пусть он их и решает с вами. А со мной если захочет прояснить отношения, я готова, но вас, господа, извините, это не касается, это дело наше семейное. Вот, естественно, все, что могу вам сказать. Если вызывали только для этого разговора, я пойду?..

Она заметила, что говорит сама в совершенно плотниковском

стиле: вежливо, складно, точно выбирая слова, которые обычно приходили ей на ум только задним числом после серьезных разговоров, особенно с начальством — и порадовалась за себя. Она сегодня была достойна его романтики, его представлений об истинной жизни. Бедная, не совсем выездная госпожа Бонасье!..

— Что же вам сказать... — Федя выколотил трубку в пепельницу, стал набивать новую. — Счастливо съездить в Париж! И все же не забывайте, о чем мы говорили, при случае, может, передадите. Мы все можем оказаться скоро очень полезны и даже необходимы друг другу, все, кто связан с Институтом и вообще с новой жизнью. Может, уже через пару недель... Возможно, и ему, и вам потребуется наша помощь — и у нас будут для этого возможности, ради того и стараемся, ради того и шокировали, может, его щепетильность... А возможно, и он сможет помочь нам... Как еще ситуация повернется... Ну, счастливо.

Она вернулась в свою комнату. За окном лупил дождь, и, не смотря на раннее время, всего около четырех, от туч было темно. Через пару недель... А сегодня какое? Двадцать девятое июня. Значит, числа двенадцатого июля что-то должно случиться? Боже, до чего ж он был прав: истинная жизнь авантюрна, похожа на роман и, видимо, никогда не прекращается и не прекращалась под поверхностью внешней, обыденной, серьезной. А время от времени вырывается вот таким обжигающим выплеском... Муж... Ну вот и наступила полная свобода — свобода не мучиться совестью, не считать себя предающей. Если знал все время... И к тому же знал про Журавского — а видимо, знал, судя по некоторым фразам, как теперь становилось ясно... Все, свободна! Свободна играть по тем же правилам, на свой, отдельный выигрыш, лгать и ловчить, используя любой промах этого уже чужого человека в своих интересах... А ее интересы одни: увидеть его, быть с ним, когда и где только можно, быть с ним снова и всегда.

Пока же было ясно: в Париж она поедет, потому что они рассчитывают, что там он... как это говорилось в идиотских шпионских фильмах?... «выйдет на нее». А если они на это рассчитывают, значит, такая возможность есть, она поверила в их осведомленность и могущество после разговора с Федей, они действительно все, почти все знают и могут. Он был прав, и никакие не

галлюцинации его мучили, а, конечно же, они преследовали его, пытались сломать заранее, чувствуя, что он для них опасен. Жаль, что он не пристрелил тогда Сашку Кравцова, только ранил — до сих пор рукой почти не двигает... Она ужаснулась этой своей мысли, злорадному воспоминанию о том, как он сбросил из лоджии одного из их помощников, — но ужаснулась мельком и тут же отвлеклась. Выйдет на нее, на нее... на нее... Господи, если они не встретятся скоро, через несколько дней, она тоже сойдет с ума! И так уже каждую ночь ей мерещится он, его тяжесть, его тепло, его стон, и приходится тихо идти в ванную, выдирать над собой невесть что, пытаясь утихомирить боль, жжение, муку... Она сойдет с ума, и они встретятся, двое безумцев, обязательно встретятся, но именно не раньше, чем она сойдет с ума, сравняется с ним — в этот миг она поняла абсолютно ясно, что так и будет. Ну так пусть же скорее, хоть сейчас я лишусь рассудка, взмолилась она, вот хотя бы в эту минуту, под этот сумрачный дождь, льющий весь день, в этой постылой, заваленной никому не нужными бумагами комнате, пусть!

И зазвонил телефон — длинным, нескончаемым, международным звонком.

И телефон звонил, а она тянулась, тянулась к трубке и никак не могла дотянуться, снять.

И она сняла трубку.

— Наконец, — сказал он, — наконец я дозвонился до тебя. Здравствуй.

* * *

Комнату он нашел только часам к пяти — к счастью, в пансионе «Fontanella», в двух шагах от ее «Suizo», на той же *via Laetana*.

Он бросил сумку, умылся, сменил рубашку и повязал галстук, чтобы выглядеть нормально в окрестностях приличной гостиницы, в самом центре города, и отправился на дежурство. Заплатил он только за сутки — без всякой особой идеи, просто цена, как всегда в отелях, показалась поначалу несообразно высокой даже в этом, беззвездном — впрочем, вполне начищенном и исправном во всех частях, от лифта до бачка в уборной.

Он прошел по забитой машинами улице. Справа остался ка-

кой-то не то замок, не то дворец с высокой глухой стеной и узкими, между тонких колонн, окнами, выходящими на балюстраду где-то на уровне четвертого—пятого этажа, перед замком маленький памятник, позади замка собор — все, что полагается.

Ходу было ровно десять минут. Он занял наблюдательный пост через неширокую улицу — одну из отходивших от прелестной площади, на которой стоял ее отель с красивым и чем-то идущим ей названием «Суизо». Это могло бы быть ее именем, но, как нетрудно догадаться, по-испански это просто «Швейцария», что и явствует из флага над отелем.

Спустя час он понял, что отсюда он может ее не разглядеть, да и простоит еще максимум час — или заметит какой-нибудь полицейский, или ноги подкосятся. Тогда он вышел на площадь и оказался в баре, в самом удобном для наблюдения месте, со столиками, естественно, на воздухе. Взял «кафе соло», то есть без молока, «пекеньо» — маленький, закурил... Здесь он провел еще час.

В десятом часу народ начал толпами возвращаться в гостиницу. К этому времени он в своем баре уже хватанул дважды — махнув рукой на деньги, как-нибудь все устроится — пахнущего цветами дивного бурбона, полностью соответствующего своему названию Four roses, но все равно начинал замерзать, оставшись один среди пустых столиков на площади. В числе входящих он приметил мужчину с удивительно знакомым лицом, и после недолгой пытки память выдала: американец, кажется, Пит... или Билл... черт его знает, факт, что постоянно околачивается в Москве, до недавнего времени назывался советолог, теперь просто русист, хотя никакой он, понятно, не филолог, просто отлично говорящий по-русски и знающий страну политический разведчик, работавший, вероятно, и на тех, и на других... Но раз он прошел, значит, все правильно, коллоквиум размещен здесь, и компания, в которой мелькнул Пит или Билл, — это возвращавшиеся с коктейля или осмотра достопримечательностей участники.

Ее не было.

Мимо все время ходили отчаянно вооруженные — пистолеты, дубинки и даже короткие автоматы — полицейские из управ-

ления, которое он заметил поблизости. Он вспомнил, что живет с чужим паспортом...

Без пяти десять он вскочил из-за стола так, что чуть не перевернул его — показалось, что она. Но это была немка или шведка, на двадцать сантиметров выше, на сорок килограммов толще и уродина. Тогда он расплатился в баре — зашел, не дожидаясь официанта, направился к стойке, «уна кафе соло и дос борбонас, граснас, буэнас тардес» — и вдруг сообразил, когда бармен подвинул ему вместе со сдачей талончик счета: счет... заказ... регистрация! Какую фантастическую тупость демонстрировал он весь сегодняшний день!

Он бросился в вестибюль гостиницы. Идиот, идиот, сколько времени потеряно! А все привычка последних недель чувствовать себя нелегалом, всего бояться, скрываться... Как будто здесь на каждом углу требуют документы... Хэлло, ду ю спик инглиш? О'кей, ай'м лункинг фо рашен лэйди, хе нэйм из... О, дэт'с им-поссибл, ши маст би хиэ, плиз, трай эгэйн...

Она не останавливалась в этом отеле.

Сорри, кен ай аск ю? Из дэ энаде пипл, ху тэйк парт ин дэ колок, уот'с оргэнайэд бай ээ юнивесети? Йес? Тэнкс. Бай.

Она не приехала на коллоквиум. Теперь он соображал быстро — если бы давно так, а то сейчас в Москве уже... хотя... ничего страшного, только четверть первого, муж наверняка еще смотрит телевизор, она может взять трубку... Только услышать голос, узнать, что жива — и все. Идиот, идиот, самолюбивый идиот, обиделся — и чего ждал? Ей же позвонить некуда, что она, могла позвонить в студию Антонио? А если так уж обиделся, не простил ей историю с Журавским, чего городил огород, прискакал в этот неведомый город, бродишь здесь у подъезда, как подкарауливающий задевшую за живое девчонку семиклассник? Провинциальный русский подросток в Барселоне...

Деньги разменял на тяжеленькие стопесетовые желтые кружочки в том же баре — бармен невозмутимо улыбался, отсчитывая монеты сумасшедшему, то сидящему три часа неподвижно, уставившись на подъезд гостиницы, то вскакивающему, как укушенный, то намерившемуся звонить, судя по разменной сумме, на Луну и говорить час...

Он вперся в будку автомата, прочел здешний код международной, набрал... теперь Россию, отовсюду семерка... Так. Муж, конечно, следовало ожидать...

— Але? Але?! Вас не слышно! Не слышно!

И вдруг — в сторону, но совершенно отчетливо, в сторону — значит, ей, больше некому:

— ...Наверное, меня. Может, Мадрид, звонок международный... странно, оттуда всегда хорошо проходит... или тебя? Але? Але! Не слышно вас.

И гудки.

Все. Боже... Она есть, существует, муж обращался к ней. Не приехала — ничего страшного, может, визу не успели сделать... Хотя... Собиралась давно. В чем же дело?

Облегчение, когда он услышал, как муж обращается к ней, прошло и сменилось совершенным отчаянием. Что он здесь делает? И что будет делать дальше?

В голове уже давно стоял дикий крик, он брел к своей гостинице, миновал ее, повернул налево, вышел на какую-то замкнутую со всех сторон домами прямоугольную площадь — все другие, которые он прошел, были круглыми, пошел дальше, попал на широчайший бульвар, вымощенный плиткой так, что создавался зрительный эффект волн, его уже и без того качало, он побрел по бульвару вниз, выбрался к набережной...

В небо, нижняя часть которого угадывалась как море, упиралась колонна с человеком на вершине.

Вдруг почему-то подумалось: давно ничего не происходило с ним страшного, только мотоциклист в Пальме, давненько никто в него не стрелял, да и он здесь, в мирной Европе, почти не воюет. Вот что значит хорошая полиция, ее и призраки боятся, усмехнулся он про себя.

— Колон, — сказал появившийся рядом старик с потухшей трубкой в зубах, в кепке, из-под которой выбивались седые кудри, в растянутой вязаной кофте.

Он не сразу понял, что это означает не «колонна», а «Колумб». Памятник человеку, совершившему самую удачную из возможных ошибок. Кажется, он поплыл отсюда, всем задолжавший Христофор. «Я тоже отсюда плыву... черт меня знает куда...» — пробормотал он.

— Алемано? — спросил старик. Он подумал, потом кивнул. — Ке таль, алемано? — Он знал, что это значит «как дела?», и знал, как ответить.

— Муи бьен, грасиас.

— Пепе, — сказал старик и ткнул большим пальцем себя в кофту.

Он подумал и похлопал себя по лацкану пиджака:

— Ян.

Старик посмотрел на него внимательно, потом взял за локоть, повернул, как паралитика, и подтолкнул.

Они пошли рядом, время от времени старик подталкивал его, и они поворачивали направо, налево, снова направо. Так они шли совсем недолго, но город изменился совершенно. Вместо широких и хорошо освещенных бульваров и проспектов здесь город состоял из теснейших и грязных улочек, причем не было ощущения древности — грязь была обычной грязью, сырость обычной сыростью, теснота обычной теснотой, и только полуметровая ширина мостовой, да то, что мостовая эта все-таки была, да в черном небе палки поперек улицы, а к палкам привязаны веревки, а на веревках тени белья — только это и напоминало, что ты не в Челябинске, не на Автозаводской в Москве, не в Тюмени, а в иной, чуть все же более экзотической нищете. Темные человеческие фигуры выходили из полусломанных дверей, переходили в один шаг улицу, распахивали другие такие же двери — открывался взгляду бар, затхлый узкий коридорчик с тремя пластиковыми столами и полусгнившей стойкой. За стойкой поднимали стаканы люди в грязной одежде, и запах старого пота перешибал все. Вот еще отличие — даже таких баров в Челябинске не водится... Людей на улицах было полно, район и не думал спать, все окна светились — собственно, это и было здесь единственное уличное освещение.

Он вяло переставлял ноги, вяло, привычно искал аналогии тому, что видел, в виденном раньше, без особой боли всплывали слова — «Москва», «дома», «у нас»... Он почти спал на ходу, хотя было не так уж и поздно. Старик шел молча. Ржавые, модели семидесятых годов машины были каким-то образом тоже втиснуты в эти улицы, время от времени какая-нибудь из них пе-

регораживала дорогу, тогда старик осторожно помогал ему обойти препятствие, как слепому. «Вот я и уплыл, — бормотал он, — вот моя Вест-Индия...» Старик молчал. На улице же непрерывно звучала тихая речь — иногда, среди испанской, арабская...

Вдруг он понял, что уже никогда не увидит ее, что все попытки бессмысленны, что невозможно встретиться двум русским в мире, населенном людьми, говорящими на непонятных языках. Утром придумаю, как послать отсюда все деньги в Москву, чтобы кормили Лельку, подумал он, наверняка здесь есть какая-нибудь организация, через которую это возможно сделать. И приду в этот квартал, здесь останусь. Это хорошее место для сошедшего с ума пацана с Преображенки...

Старик толкнул дверь, и вошли в помещение небольшого магазина — из тех, что торгуют тряпками для молодежи: джинсами, ковбойскими сапогами, кожаными куртками и бейсбольными каскетками с нейлоновой сеткой сзади.

На прилавке сидел парень, одетый во все продающееся в магазине барахло, и курил тоненькую самокрутку, светлый дым плыл к потолку, под которым горела одна смутно видимая лампочка.

— Алемано, — сказал старик парню и показал на него. Парень спрыгнул с прилавка и обошел вокруг, словно прикидывая, какой размер одежды ему нужен. Наверное, просто привык так осматривать людей, работая в магазине. Потом парень снова взлез на прилавок, вытащил из одного кармана черной рубашки тоненький пакетик, вроде тех, в которые кладут овощи в супермаркетах, из другого — бумагу для самокруток и протянул все это ему.

— Херба, — сказал парень, — грасс.

Тут он понял, что ему предлагают покурить травку и сразу вспомнил, где пахло так же, как в этой лавочке, — в том баре, где встретил он Яна, это было уже почти месяц назад... Он кивнул.

Старик давно ушел. Он сидел на стуле, который парень принес и поставил посередине помещения, прямо под лампой, и докуривал самокрутку, за которую заплатил парню три тысячи. Это недорого, думал он, совсем недорого за то, что удалось совершенно остановить время, я выкурил всего одну тоненькую самокрутку, а

прошел уже целый час... Или год?.. Но значит, я не остановил, а ускорил время?.. Тем лучше, значит, еще одна самокрутка, и жизнь кончится, и мне не надо будет возвращаться в гостиницу, и все...

Потом время пошло обычно. Он огляделся. Парень дремал, лежа боком, поджав ноги, на прилавке, больше никого не было. Он взглянул на часы — три двадцать, ничего себе, погулял... Жутко хотелось пить. Он посидел, подумал... Встал, подошел к парню, подергал за плечо, парень не проснулся, спал здоровым, детским сном, дыхание было ровное, лицо незапоминающееся, чистое и спокойное. На прилавке лежала стопка карточек, он взял одну, там было название лавки — «California» — и адрес. Он сунул карточку в карман и вышел.

До гостиницы он добрался, проплутав, но ни на минуту не отчаиваясь, как раз вовремя, к шести. Уборщица, мывшая холл, посмотрела на него с полным безразличием, поправила свой белейший фартук и снова стала возить по цветному камню толстой розовой губкой на розовой же палке. Он взял свой ключ, назвав фамилию Яна, и поднялся в номер, разделся, пошел в ванную. Московская закалка и давно проверенная методика помогли: полчасовой контрастный душ, беспощадное бритье, одеколон, старательнейшее причесывание... Натянул трусы, джинсы, толстые носки, надел кроссовки, черную майку... Бегом спустился с лестницы, обогнав по дороге медленно сползавшую в зарешеченный пролет полированную деревянную шкатулку лифта... Выскочил на улицу, прорезал поток идущих на работу служащих в просторных костюмах и секретарш в узких юбках, влетел в лавку на углу... Через пять минут был уже снова в номере, скрутил голову маленькой фляжке дешевлешего Queen Apple, сделал большой глоток, подышал, сделал маленький...

Все. Можно жить дальше, особенно если фляжка осела в заднем кармане. Еще раз ополоснул лицо холодной водой. Засунул всю одежду в сумку, пиджак надел прямо на майку.

И ушел, положив на стойку ключ, махнув на прощание уборщице — адюс, адюс!

Было еще слишком рано, он решил пройтись...

Вдруг остановился: один из углов очередного перекрестка был

волнистым, как вчерашний бульвар, но это был дом, а не мостовая, и волнистым в этом доме было все — линии балконов, окна, крыша... Угол, на котором стоял дом, был живым, камень дома будто двигался, это было похоже на плывущую медузу... Он вспомнил имя Gaudi, и фильм, в котором видел этот дом впервые.

То, что происходит со мной в последнее время, подумал он, должно бы происходить именно здесь, в этом городе, в этом доме, они достаточно безумны.

Он повернул назад и вскоре уже шел по вчерашнему бульвару, при свете утра не менее волнистому, но еще обнаружившему и свое название — Rambla, и свое основное назначение — здесь был цветочный и птичий рынок. Продавали также сиамских кремовых котят с бессмысленными голубыми глазами... Он опять дошел до набережной, повернул, сверившись с вынутой из кармана карточкой, спросил дорогу у старухи, тащившей из чистки мужской костюм на плечиках, в прозрачном чехле...

Наконец он увидал вывеску «California» и вошел.

Парень посмотрел на него со спокойной профессиональной улыбкой продавца, как на абсолютно незнакомого. И понадобилось не меньше получаса, чтобы по-английски — говорил молодой хозяин «Калифорнии» на соответствующем языке вполне свободно — уломать его взять сумку со всем содержимым.

— Три таунэндс, — сказал парень. Он пожал плечами, это было ничтожно мало за свитера, и шорты, и рубашки, и английские ботинки, все почти новое, но что сделаешь... Парень протянул ему три ярко-зеленые бумажки, и он мог бы поручиться, что именно эти самые он вчера здесь оставил за тощую закрутку не очень хорошей травки. Тогда он снял с себя и протянул парню пиджак. Помяв в руках купленный на Oxford street настоящий Harris tweed, парень бросил пиджак на прилавок и протянул ему, вытащив откуда-то из-за себя, кожаную куртку, черную блестящую куртку, униформу российских гангстеров и всемирных бродяг. Теперь все было в порядке. Он сунул бумажник поглубже в карман, застегнул молнию. Теперь, налегке, он был готов ко всему предстоящему...

В три он решил позвонить ей на работу. В конце концов, он или не застанет ее, или услышит ее голос, услышит — и все, поло-

жит трубку. В конце концов, он может позволить себе такое прощание — молча. В конце концов, если они уже никогда не увидятся, это еще не значит, что нельзя будет иногда позвонить и услышать ее голос. Можно всю жизнь звонить и класть трубку. В конце концов, даже если от этого будет только тяжелее, все равно стоит позвонить, разве до этого он делал только то, от чего становилось легче?

Он уже бежал, высматривая автомат. Сейчас там пять, сооразил он, пять... Еще, может, не ушла.

Он дозвонился сразу.

И в сплошном, захлебывающемся, с причитаниями плаче — впервые он слышал, чтоб так плакала эта женщина, и успел подумывать, что, видимо, не так уж хорошо знал ее раньше, если впервые слышит ее горький плач — он вдруг разобрал: «Париж...»

— Что?! — закричал он. — Какой еще Париж? Когда? Что же ты молчишь?

— Я говорю, — она еще всхлипывала. — Ассоциация Гуманитарных Исследователей, через четыре дня...

— Отель? В каком отеле ты будешь?

— Не знаю. Заседания будут во Дворце... Ой, я не помню названия, подожди... подожди... где же эта бумажка...

И у него уже кончались монеты и время, на экранчике вместо трехзначных запрыгали двузначные цифры кредита, значит, осталось меньше минуты.

— Я найду тебя! — заорал он, стараясь перекричать короткие гудки, предупреждающие о прерывании разговора. — Найду обяза...

Прервалось.

И он сразу же вспомнил, что паспорт Яна — в пиджаке...

Остаток дня он искал лавку «California».

Ужас заключался в том, что карточку он уже выбросил, а адрес не запомнил.

По некоторым переулкам он прошел трижды, и толстые тетки, стоявшие в дверях своих домов с пригоршнями обычных, серых с белыми гранями, жареных подсолнечных семечек, совершенно как в Орле, при его появлении кричали что-то, оборачиваясь в темные глубокие коридоры, и оттуда выходили сумрачные мужики в май-

ках, в тапках на босу огромную ногу, смотрели без выражения ему прямо в лицо... Он наткнулся на магазин, торгующий подержанной кухонной мебелью, двое одинаковых — коротких, толстых, без шей, широкоплечих, на мощных низких ногах — выносили оттуда тяжелую стальную мойку. При этом они были, скорее всего, муж и жена, во всяком случае, один из них был лыс, а другая неаккуратно крашена хной. Он попытался разминуться с ними, шагнул влево, вправо, опять влево — и все же оказался у них на пути, как раз когда они собирались запихнуть груз в высокий фургончик «рено». Тогда муж поставил свой угол на землю, взял его за ворот кожаной куртки одной рукой, а другую, сжатую в кулак, сильно прижал к его щеке, сворачивая голову на сторону, придавливая нос, как бы демонстрируя в статике, что его ждет, если будет путаться под ногами у бедных, но работающих людей — старый псих в куртке, как у молодых бездельников. Он разобрал в крике толстого два слова: «идиото» и «ходер». Что значило второе, он уже тоже знал, по-русски в таком случае обычно добавляют какое-нибудь прилагательное. Час спустя за ним увязался мальчишка, методично швырявший ему в спину пустую пластиковую бутылку. Бутылка с гулким стуком отскакивала, он оглядывался, но пацан уже успевал поймать свой снаряд и, под хохот друзей-болельщиков, кривлялся метрах в пяти: хлопал себя рукой по ширинке, тут же поворачивался, наклонялся и так же хлопал по темной латке на заднице ветхих штанов...

Лавки нигде не было.

Он пошел наугад к границе этого странного квартала и вдруг опять вышел, через пять—семь минут, к памятнику Колумбу.

Старик стоял на том же месте, что вчера, в той же кепке, только вместо вязаной кофты на старике был его пиджак, английский пиджак, оставленный утром в проклятой лавке. Трубка сеяла искры в ярко-синий вечерний воздух, седые кудри, торчавшие из-под кепки, сверкали под светом фонарей на бульваре.

Где-то я видел этого старика раньше, подумал он, не вчера, а гораздо раньше, не здесь... Вспоминать было некогда.

Уже почти понимая, что все бесполезно, он подошел, заглянул в лицо старика, похлопал себя по лацкану куртки:

— Алемано. — И добавил: — Ола, чико.

Старик смотрел на памятник.

— Колон, — сказал старик. Потом перевел взгляд на него и отрицательно покачал головой:

— Но. Ту Пепе. Йо алемано. — И ткнул себя большим пальцем в твид пиджака.

* * *

Из невероятно, невыносимо грязного вагона, примерно равного по этому качеству межобластному Казань — Йошкар-Ола, он вышел в сумерках. Городишко, по его расчетам, сделанным с помощью туристской карты, был уже у самой границы.

Все те же двух-трехэтажные дома, гаражи, лакированные двери к улице, машины сплошным рядом у тротуаров... Он побрел без особой цели от станции, рассчитывая выйти к здешнему центру. Зайти в какой-нибудь бар, попробовать разговориться, предложить все оставшиеся деньги, часы — настоящие, хорошие «Seiko», купленные из первых гонораров, золотую цепочку, перевесив крестик на шнурок... Оставить только на дешевейший билет до Парижа, проклятого, недостижимого города. О контрабандистах на этой границе у него были сведения только из древней комедии с Фернанделем. Вероятней всего, что теперь, в их единой Европе, контрабандистов вообще нет, но другой возможности придумать не мог...

Никакого центра не оказалось. Вместо этого через десять минут ходу все по той же широкой, прямой и абсолютно безлюдной улице, ровно текущей черным асфальтом среди темных машин и домов с закрытыми ставнями, между планок которых пробивался слабый свет, он вышел к грязному пустырю. За пустырем стоял непроглядно темный лес, круто забиравший в гору. На вершине горы из лесу торчала, черным силуэтом туры на почти черном небе, башня.

Он оглянулся. Редкая цепочка фонарей спускалась по пройденной им улице до самого вокзала. Далеко слева — там, видно, и остался центр — мигали несколько разноцветных вывесок, среди которых выделялась огромная зеленая «7 up». Ничего гаже этого напитка он в своей жизни не пробовал... Справа улица завершалась высокой каменной стеной с мощными, но ажурно кованными воротами, в стиле «арт деко». Он двинулся обратно по правому тротуару, у ворот остановился, заглянул...

За воротами был запущенный, колючий, мало отличающийся от недалекого пустыря сад, двор с кустами и толстыми, кривыми деревьями. Среди кустов поднималась к стоящему в глубине дому широкая каменная лестница с обрушенными ступенями, а дом, не ярко освещенный фонарем, стоявшим на противоположном тротуаре, был не совсем дом, а скорее маленький дворец. Облупленные тонкие колонны поддерживали широкий навес над крыльцом-террасой, колонны стояли на спинах каменных львов с орлиными головами, а по всему краю крыши третьего этажа шла низкая балюстрада, столбики которой были так пузаты, что почти смыкались друг с другом. Ставен на окнах дома не было, но никакого света не падало из них, только желтое отражение повторялось в пяти высоких и узких черных стеклах.

Дворец был прекрасен, но выглядел настоящей руиной.

Как же я живу теперь, подумал он, если даже эта декорация к хоррору не может меня особенно удивить.

— Интересно мне, чего этот пидар здесь трется, — сказали позади него, не повышая голоса, но внятно.

В ту же секунду над краем каменной стены появилась широкогрудая, лобастая черная собака, вернее, хорошо очерченная тень собаки, и захрипела, нависая над ним. Ротвейлер, узнал он, если прыгнет — конец, это убийца...

А позади другой голос спокойно поддержал диалог:

— Ты что, Саша, не видишь, кто это? Куда ж ему деваться, как не сюда... Все по плану, Саша, все по плану...

Он оглянулся, сделал шаг к кабине огромного трейлера «вольво», стоявшего напротив ворот. Тут же дверца кабины распахнулась, и один за другим на землю прыгнули старший научный сотрудник Кравцов, академики Плотников и Журавский. Все трое были, по обыкновению водителей колесящих по всему миру трейлеров, голы до пояса, и зрелище это внушало уважение: страшный рваный шрам на груди Кравцова, под правой ключицей, хорошо прочерченные, густо заросшие седым волосом мышцы Плотникова, баварский живот, отдавливающий вниз парусиновые штаны, и жирные бицепсы Журавского... Пес за спиной перестал хрипеть, он услышал тяжелый прыжок, треск раздвигающихся кузовов — зверь передал его дежурной группе и ушел вглубь двора.

— Ну, что ж так у ворот топтаться? — спросил Плотников голосом хорошо воспитанного хозяина. — Входите, входите, очень вовремя вы успели...

— Давай, — Кравцов хлопнул его по плечу, сунул руку дощечкой, даже почти обнял, — давай, старичок, посидим, примем понемножку... У нас там еще есть, Петрович?

Журавский досадливо пожал круглыми плечами:

— Вы, Саша, честное слово, меня прямо барменом назначили. Ну, думаю, найдем что-нибудь, а то вон на человеке с дороги лица нет.

Ворота открылись легко и беззвучно, они начали подниматься по лестнице, он впереди, остальные следом. Ротвейлер остался на нижней ступеньке, радостно дергая обручком хвоста, изображая им виляние.

Наверху, на террасе, почти точно посередине между львами, их ждал высокий человек в светлом костюме. В полутьме он разобрал только, что человек был очень стар, руки и лицо его были темными не то от возраста, не то от загара, на голове была светлая, под костюм шляпа с широкими опущенными полями.

— Прошу в дом, — сказал человек в белом, делая шаг в сторону, снимая шляпу и жестом приглашая его в темный проем настежь открытой двери. — А вас, господа, благодарю, можете пока спокойно отдыхать...

Он оглянулся на коллег. Секунду помешкав на ступеньках, они развернулись и потопали вниз. Первым шел Журавский... Вот они вышли за ворота, осторожно прикрыв их за собой, и, один за другим, полезли в просторную кабину...

— Прошу, прошу, — повторил белый господин и пошел впереди. Вдвоем они миновали абсолютно темное помещение, видимо холл, и двинулись в глубину дома. Он шел за колеблющимся впереди белым пятном.

— Осторожно, сударь, здесь порожек, а после три ступеньки вверх, — сказал хозяин, одновременно, судя по звуку, поворачивая где-то впереди ключ в замке.

Дверь распахнулась, они вошли в гостиную, и впервые за этот вечер он подумал: «Все же... странно. Может, правда повредился

я? Или так бывает? Что ж, к Князю тьмы меня Сашка Кравцов привел, что ли?»

Меньше всего удивляло его появление Сашки и остальных, он уж привык к их возникновению в самых разных местах, к меняющемуся, но всегда непотребному виду. А к крикам в голове своей давно не прислушивался. Но гостиная его поразила.

Была она не слишком велика и довольно тесно заставлена красного дерева мебелью, настоящей павловской. Во всех углах стояли застекленные горки, в ближней он усмотрел эмалевое яйцо Фаберже, прочие мелочи были примерно того же свойства. Вдоль стены, противоположной двери, стоял, как положено, длинный диван, с жесткой гнутой спинкой, с сиденьем, обтянутым синим полосатым шелком. Перед диваном был круглый стол на львиной мощной ноге, на столе стояла фарфоровая лампа под темно-оранжевым абажуром с золотистой бахромой, лежал альбом для фотокарточек в отделанном металлом, с ирисами и длиннобедрыми дамами, переплете, стояли две гарднеровские чашки, чайник, серебряная сахарница с торчащими из нее щипцами. Слева от дивана — фортепиано с заваленной нотами крышкой, клавиатура была открыта, а свечи в поворотных шандалах сближены к пюпитру и горели. Справа стояли два кресла такого же, что и диван, синего шелка, а между ними второй столик, поменьше, с бутылками, синими и лиловыми стопками и лафитниками, с плетеной из белой соломки тарелкой, на которой лежали бутерброды — пара с паюсной икрой, пара с окороком, несколько с розовыми ломтями лососяны...

На диване сидела дама. Лицо ее было в тени, видны были только светлые, слегка распушенные на висках, забранные назад волосы. Лампа освещала белое широкое платье, загорелые руки, сизо вспыхивали камни в ромбе единственного перстня. Ноги дама подобрала, белые ее муаровые туфли чуть косо стояли на полу.

— Позволь, милая, тебе представить, — сказал хозяин и назвал его фамилию, имя и отчество.

— Очень рада... — Дама протянула руку. — Много слышала о вас, и так... вообще, и вот он, — она дотронулась другой рукою до белого пиджачного рукава, — дружочек мой, мне все

подробно всегда рассказывает... Очень, искренне рада видеть у нас. Чаю хотите?

— Ты, милая, ей-Богу, предлагаешь усталому мужчине чаю, словно в насмешку. — Хозяин сел в кресло, потянулся к бутылкам на маленьком столике. — Водочки? Вот «смирнофф» есть двадцать первый номер, найдется и наша, «столичная»... Впрочем, что это я? Знаю ведь, что вы шотландское предпочитаете. Простите великодушно, для русского человека, по-моему, странный вкус. Но... мы с вами и поколения разного, и закалки. Прошу, вот есть, кажется, неплохой сорт, как его... а, вот, пожалуйста: Dimple. Любите? Ну, так и наливайте себе сами, хелп, как ваши друзья-то говорят, ёселф, а я за льдом... И бутербродцы вот, берите, берите...

Он глотнул, задержал воздух.

— Виски превосходный, — сказал он в тень от лампы, — я и не слышал прежде о таком. Благодарю... Простите... вы и ваш...

Дама подсказала:

— Друг. Ежели уж тридцать лет вместе, так иначе, чем друг, не назовешь. Прежде сказали бы — любовники, да на такой долгий век одной любви не хватило бы, выходит — друзья...

— Вы и ваш друг... Вы из первой волны, видимо? — он почувствовал, что и сам начинает говорить в их старомодном, таком прекрасном стиле. Ответил ему уже господин, как раз вернувшийся с хрустальной селедочницей, в которой скользили полые ледышки:

— Другой-то и посудыны не нашел, мы лед в напитках не жалуем... из какой, из какой, вы говорите, волны? То есть... о, нет, что вы, молодой человек, ни из какой мы не из волны! Правильно, милая? Мы сами, сами по себе... Да не о нас сейчас речь, это все позже, позже. Вы выпили? Ну и прекрасно, и еще налейте, и закусите. Хоть нерусское питье, а заесть-то по-нашему очень рекомендую. И я с вами... чистенькой и бутерброд... А тебе вина?

Он налил и передал даме высокий бокал, красное вино вспыхнуло под светом лампы. Некоторое время все трое молчали, подносили ко рту выпивку и еду, глотали... Наконец хозяин поставил свою рюмку.

— Ну, червячка заморили, и ладно. Сигару?

— Я, если можно, сигарету. — Он похлопал себя по карманам куртки, вытащил мятую голубую пачку «Ducados». Хозяин замахал руками:

— Что вы, дорогой мой, с ума сошли, простите, здесь эту вонь испанскую разводите? Здесь дама. Вот, если уж вам угодно, как обычно, крепких, пожалуйста, любимые ваши...

И протянул, взяв со столика, пачку «Prince», сам закурил длинную и тонкую сероватую сигару. Затянулись... Дама чуть отодвинулась от курильщиков, устроилась в уголке дивана, но лицо ее так и осталось в тени.

Все это было похоже на вечер где-нибудь в квартире старых мхатовских актеров — и мебель, и хозяева... Только по стенам не фотографии в ролях, а сплошь темные портреты, мундиры, декорльте... Да пол не паркетный, а мраморный под ковром.

— Теперь можно и о делах, — сказал хозяин. С этими словами вместе с креслом передвинулся ближе к лампе, и он наконец смог рассмотреть это лицо как следует.

Хозяин был очень стар и худ, коричневые его щеки были впалы и покрыты частыми и глубокими морщинами, обтянутые темной кожей скулы сильно выдавались. Лысая, коричневая, словно полированная голова была обрамлена совершенно седыми, до короткой щетины постриженными волосами, седые усы почти закрывали рот, свешиваясь над верхней губой — старый морж... Полотняный белый костюм сиял чистотой, но был сильно помят, зато белая рубашка выглажена идеально, кремовый в мелкий голубой квадратик шелковый галстук повязан туго, в нагрудном кармане пиджака — шелковый голубой платок. Ногу он положил на ногу, замшевая белая туфля едва заметно покачивалась.

— И поскольку времени у нас немного, утром вам надобно ехать, предисловия все и пояснения убедительнейшим образом прошу опустить, — продолжал хозяин. Заметив же выражение его лица, поспешил добавить: — И вопросы, не относящиеся до самого главного, тоже потом, потом! Давайте лучше сразу: что вас наиболее мучает в сей именно момент?

— Я хочу ее видеть, — сказал он.

При этих словах дама пошевелилась, сделав движение встать.

Ее лицо впервые оказалось освещено, и он увидел никак не старуху, а именно немолодую даму, блондинку — седина в таких волосах не видна, голубоглазую, нос чуть уточкой, лицо чуть широкато... В общем, обычный славянский тип... И при этом безусловная, очевидная красавица! Лет ей может быть и семьдесят... Что изумительно — ровный загар правильного золотого цвета.

— Я, пожалуй, пойду? — с некоторым сомнением спросила она как бы одновременно у обоих мужчин. — У вас, господа, разговор мужской...

— Ну что вы... — сказал он и был тут же поддержан хозяином:

— Ни в коем случае, милая! Если ты, понятное дело, не устала... Нам как раз женский ум и суждения могут очень даже понадобиться, чтобы все разрешить. Остаься, уж я тебя прошу! Итак...

— Я хочу ее видеть, — повторил он. — Я... я ее люблю. Я жить без нее не могу. Я обожаю ее. Я...

— Слова правильные, — негромко сказала дама, — все сходится.

— Ты думаешь? — так же негромко ответил ей хозяин. — Ну, слава Богу. Я был уверен, но все же без тебя не решился... Простите, простите стариков, никак за жизнь между собой не наговоримся! Продолжайте, прошу вас.

— А мне, собственно, больше нечего сказать. — Он почувствовал, что сейчас заплачет, и заплакал уже. Повернулся к столу, потянулся, налил светло-соломенного спасения в стакан с толстым дном почти до половины. Хозяин засуетился:

— И я, и я с вами... Своей, родной... С икоркой-то не осталось? Ладно, можно и свиной зажевать. Будьте здоровы, дорогой мой!

— Будьте здоровы! — Дама потянулась своим бокалом, тоже чокнуться. Оба делали вид, что слез его не видят, просто всем захотелось выпить.

— Мне нечего больше сказать. — Упрямо, уже не вытирая слез, он смотрел на них. — И желать больше нечего. Я хочу ее видеть, быть с нею, вот и все. И у меня есть только два условия, через которые я не могу переступить даже... в общем, даже ради любви.

— Опять все правильно, — почти прошептала дама, но мужчины ее расслышали, — надеюсь, что и условия тоже...

— Уверен, — громко ответил ей хозяин. — Ну, молодой человек, не томите: какие же ваши два условия? Вдруг окажутся для меня непомерны — это будет огорчительно, весьма...

— Я не хочу причинять большого зла никому, кто не сделал зла мне, — сказал он. Подумал, добавил:

— И вообще... никому, если возможно. Если возможно... Я не святой, но не хочу...

— Второе? — коротко, без дополнительных вежливостей спросил хозяин.

— Я хочу остаться способным зарабатывать на жизнь, себе и ей. Если я стану... калекой или совсем потеряю рассудок... тогда...

— Так, — крикнул хозяин. — Договорились-таки... Что это значит: потеряю рассудок? С какой стати?

— Ну что ты кричишь? — Дама встала, подошла к гостю, как ребенка погладила его по голове. — Вы простите, что я с вами так, старухе можно... Что ты кричишь? Разве ты не понимаешь, почему у нашего гостя такие мысли? Зачем ты делаешь вид, будто не понимаешь, что именно может навести человека в его обстоятельствах на такие страхи?

— Ты права, — хозяин грустно, «домиком», поднял брови, — ты права... Значит, вы предполагаете, что сходите с ума?

— Уже сошел. — Он усмехнулся. — С призраками воюю, преследования мерещатся... Сбежал от них, а они всюду... И потом... вы... как бы это сказать...

Тут оба, и хозяин, и его дама, рассмеялись. Хозяин смеялся неожиданно тонко, даже со взвизгиванием, дама же совершенно детским, звенящим смехом.

— Ох... — Хозяин отдышался, вытащил из внутреннего кармана пиджака круглые очки в золотой оправе, надел, посмотрел на него пристально. — Ну, будем говорить в предложенном вами порядке. Призраки, преследования — это все в Москве, за это я отвечать не могу. Город такой... Может, и вправду было. Слышите? Не вы умом тронулись, господин ученый, а город ваш! Понятно? И шум в голове ни при чем, это давление... Теперь

относительно того, что они всюду... Где именно? Где вы их в последний раз видали?

— Да здесь же... — Он от этого вопроса даже опешил. — В грузовике же... И Сашка Кравцов, и академики эти...

— Это служащие мои, — холодно и спокойно ответил хозяин. — У меня, видите ли, есть бизнес, дело по-нашему: грузовиками продовольствие по всей Европе вожу. Сегодня утром один как раз из рейса вернулся, ребята заехали ко мне по делам. Есть среди моих водителей люди и из бывших... ну, как бы выразиться?... несчастных стран — поляки, чехи... Но именно русских, которых, увы, теперь немало бродяжничают в Европе, я не беру, у меня есть принцип. Не та Россия страна, чтобы граждане ее по миру слонялись да чем попало подрабатывали, не та! Так что насчет этих троих, которых вы встретили, — ошибаетесь, уверяю вас. Да сейчас сами убедитесь... Паспорт при вас?

— У меня нет паспорта, — сказал он, — в этом и проблема.

— Что?! — удивился хозяин. — Да как же вам не стыдно? Вы что же, русский паспорт и за бумагу не считаете? Вы ж его не пропили, он небось в кармане этих порток негодных лежит?

Он сунул руку — и с восторгом и счастьем вытащил из заднего кармана собственный, темно-розовый, с давно закончившейся датской визой, забытый начисто...

— Дайте-ка, — хозяин протянул руку, а другой одновременно взяв и потряс довольно большой медный колокольчик. Дверь отворилась, и появился Сашка Кравцов — хоть теперь это уже очевидно был не Сашка Кравцов, а просто несколько похожий на него парень, но явно местный, с маленькой серьгой в левом ухе и аккуратно постриженными темными волосами. Одет он был в приличную лакею куртку. Хозяин сказал ему короткую фразу по-испански, Сашка поклонился и вышел. Через минуту дверь снова открылась и вошли Журавский с Плотниковым, оба в чистых теннисках, стали у порога.

— Вот, знакомьтесь, — обратился к ним хозяин по-русски, — этот господин должен завтра быть в Париже. Значит, вы,

Мирек, — он протянул его паспорт Журавскому, и тут же обнаружилось, что никакой это не Журавский, а типичный чех, ну, может, немного на Журавского похожий, — вы займитесь в этой бумажке визами. Чтобы была французская, «до сорти» на всякий случай, и чтобы с русскими датами было все в порядке... Инструменты у вас с собой?

— То праца, — буркнул Журавский, взял паспорт и вышел.

— А вы, Анджей, — продолжал хозяин, — сделайте вот что...

— Слухам пана, — сказал как бы Плотников и подошел на шаг.

— Вот что... Вы купите билет в Париж на завтра. Ну конечно, первый класс, сами там разберетесь... На не самый ранний рейс. А прямо с утра любым способом узнайте вот что: в каком отеле будут жить участники открывающейся завтра в Париже встречи Ассоциации Гуманитарных Исследователей... Правильно? Да, Ассоциации. И в этом же отеле или, в крайнем случае, поблизости закажите нашему гостю номер. Да! Билет, конечно, тоже на его имя, паспорт возьмете у Мирека. Все.

— Моге запытаць пана? — спросил польский Плотников. Хозяин кивнул. Поляк-Плотников улыбнулся, достал трубку, не раскуривая, сунул ее в зубы, почмокал...

И вдруг глянул на гостя резко:

— Чи ест пан задоволенный вшистким тераз? Мы в гувне, пан не в бялом, так э бялым седзи...

Хозяин молчал, смотрел с интересом, Плотников ждал, дама привстала и сама налила себе вина, глотнула...

— Как вам сказать, Федор Владимирович... — Он закурил, встал, оказался со старым негодяем лицом к лицу. — Если честно... В свое время вы были отличным мужиком, я и сам вас любил. А теперь... Вы мне безразличны, вы все. У меня своя жизнь, и завтра я к ней вернусь. А вы свою напоследок изгадили. Это грустно, и совсем я не радуюсь, радоваться тут нечему. Надеюсь только, что вам не удастся изгадить и общую нашу жизнь, может, люди спохватятся... И зачем вы в поляки подались? Это народ твердый, их вам не обдурить. Да, надеюсь, и нас тоже.

— Все, совершенно все сходится, — сказала дама и, встав, поцеловала его...

Утром хозяин открыл гараж и сам вывел оттуда синий «jaguar-sovereign». В десять они уже медленно плыли по дороге к аэропорту... В зале было абсолютно пусто, они присели к стойке выпить кофе. Дама попросила чаю — это наделало переполох...

— Паспорт у вас в кармане, билет тоже, — сказал хозяин. — Номер в отеле «Меридиан» заказан, и если все так, как сказал этот мошенник Анджей, вы будете с нею на одном этаже... О собаке не волнуйтесь: она, — усмехнулся в сторону дамы, — сама следит, такса ваша в порядке, даст Бог — свидеться... Теперь вот еще что: деньги...

Он протестующе замотал головой.

— Да не перебивайте же меня! — остановил его хозяин. — В конце концов, я старше... Значит, деньги вашему Антонио — за билет до Барселоны и прочие мелочи — я послал. С Яном сложнее... Так получилось, что мне не известна его фамилия, это со мною в последнее время бывает, возраст... Но еще хуже, что не известен и его адрес... Паспорт вы посеяли. Что будем делать?

— Я могу сказать, в каком баре он сидит по вечерам чаще всего, там встречается вся их элита... — начал он, хозяин перебил:

— А, знаю, знаю. Ну и чудесно. Мы давно собирались в этот сумрачный город, походить по Христиании, повидать осевших там друзей... Я сам верну ему ваш долг.

— Но... — снова начал он, однако хозяин опять не дал ему продолжать:

— Вы все еще ничего не поняли? Меня считаете Князем тьмы, романным героем, а даму небось воображаете передвигающейся на метле? Ох, начитались вы все известных книг... Ну хорошо, допустим — я оттуда. И что? Вы удовлетворяетесь таким объяснением?.. А на самом деле суть вот в чем: время — оно, должен вам сообщить, весьма и весьма запутанная вещь. И уж если мы, бедолаги и мученики, в него попали, то не след рассчитывать на плавное скольжение, время — это вам, голубчик мой, не

уан вэй роад, как на нынешнем англизированном волапюке выражаются. Вполне оно может закрутить, и двинетесь вы по собственному следу... Впрочем... Ладно... У вас ее фотография есть?

— Конечно. — Он достал бумажник, вытащил уже немного помятую цветную фотографию. — Вот...

На фотографии она смеялась.

— Теперь посмотрите на эту красавицу, — сказал хозяин и тяжело положил руку на загорелое плечо своей дамы. Дама была сегодня в очень открытой блузке, и оказалось, что еще вполне могла себе это позволить. Выглядела тем не менее грустной...

— Посмотрите внимательней, — настаивал хозяин. — Ну, все поняли? Нет? Тогда идемте со мной.

Они встали с высоких табуреток, хозяин потащил его за собой. Зеркало во всю стену над умывальниками отразило двоих мужчин.

— Ну, — сказал хозяин, — наконец сообразили? Так что эти деньги — не подарок, скорее наследство... И даже не совсем понятно, чье и кому...

Два лица, будто негатив и позитив одного снимка, положенные рядом, смотрели из зеркала...

Когда самолет, круто задирая нос, пошел вверх, он прижался к иллюминатору, и ему показалось, что он видит пару в белом. Они шли, две сплюсненные фигурки, а земля, по которой они ступали, отсюда, освещенная ярким солнцем, казалась красной.

Он развернул газету, «International Herald». На первой полосе было сообщение из Москвы. Не сразу поняв заголовок, он перечитал, перечитал еще раз, начал разбирать текст...

«В России не было власти почти год, теперь она будет, сказал новый премьер, вчера приступивший к обязанностям...»

Он глянул на дату номера — 13 июля.

«...основания для того, чтобы с уверенностью смотреть в будущее, заявил новый премьер-министр, пришедший в политику из научных кругов, у нас есть. Достаточно сказать, что нам удалось вернуть в страну миллиарды, спрятанные партийной номенклатурой в зарубежных банках. Одно это позволит в ближайшее время снизить цены на основные продукты питания в среднем на тридцать процентов... По оценкам западных специалистов...»

Он снова посмотрел в иллюминатор. Летели уже совсем высоко, но он почти разглядел плоскую синюю машину, плывущую по пустынной дороге.

Газета упала на пол, смялась, крупные строчки заголовка скрылись, и уже не понять было, о чем там речь и есть ли там слово Russia.

* * *

Дождь лупил, как в Москве. Она порадовалась, что перед отъездом не было ни времени, ни настроения тщательно собираться, поехала, в чем ходила последнее время — в джинсах, в куртке, только юбку захватила для выступления да платье для коктейля, которое не понадобилось, маленький прием начался прямо в зале, после заседания никто не переодевался. Народ не столько пил и ел, сколько обсуждал последние события в России. Неожиданно центром внимания оказался Сашка Кравцов, на многих, надо отдать ему должное, языках объяснявший, что в Кремле наконец обосновались серьезные люди, с позитивной программой, не авантюристы, декларировавшие благие намерения и выпрашивавшие под эти декларации да свои сомнительные научные степени помощь от всего мира, а настоящие лидеры, возможно, кому-то они покажутся жестковатыми, но следует вспомнить, какими жесткими были руководители, начинавшие модернизацию в Южной Корее или на Тайване... Слушали с интересом, но смотрели с ужасом, особенно при упоминании о жесткости новых людей в Кремле.

Подошел изрядно поддавший Сережа Гречихин, симпатичный малый, попавший сюда явно по недоразумению и симпатии Федора Степаныча, делать ему было нечего, большую часть выступлений он не понимал с синхронным переводом так же, как и без, и откровенно снимал наушники: к статистике темы не имели отношения.

— Ну что, — сумрачно сказал он, — что, красавица? Говорила ты здорово... Только какой теперь во всем этом смысл? Хоть не возвращайся... Трогать-то сразу они не будут, но вспомнить — потом вспомнят, каждое такое слово зачтут. Да и мне мои справки и опросы отольются... Эх, японский бог! Насочинял все это один, извини, мудило пять лет назад, с тех пор и по-

шло — что ни год, то переворот. Как в Венесуэле какой-нибудь... Только хуже.

— Не расстраивайся, Сережа. — Она положила руку бедняге на плечо, но Гречихин взглянул на нее с трезвым интересом, и она руку тут же сняла. — Не расстраивайся, чепуха все эти перевороты, обойдется...

Говорила, не задумываясь, и вдруг сама вспомнила Москву накануне отлета, лозунги и призывы, вспомнила рабочих, сдиравших вывеску Института, рядом стояло уже приготовленное солидное черное с золотом стекло: «Российская Академия Структурных Проблем». Вспомнила тихое бешенство мужа: «Не успели... не успели... накрылся Мадрид наверняка...»

— Извини, Сережа, — сказала она, — я, по-моему, перебрала. Вон что-то говорят насчет первого автобуса, который пойдет в гостиницу сейчас, ты не провожай, это ж не пешком, останься, тут все еще в разгаре...

И вышла под дождь. Блистел асфальт, лучились и отражались в лужах огни проносившихся, огибающих площадь машин, в темноте вырисовывался Дворец, парный тому, в котором они заседали. Два эти куба, словно отражаясь друг в друге, словно часовые у официального входа, стояли по обе стороны верхней площадки огромной лестницы, спускавшейся к реке. Днем она видела, как по этой площадке носились парни на роликовых досках, это был настоящий цирк — доски переворачивались в воздухе, и парни снова вставали на них, и летели дальше, и прыгали со ступеньки на ступеньку, почти до самой реки, за которой сейчас плыла, взлетала в небо на клубящемся прожекторном свете, отталкиваясь всеми четырьмя расставленными лапами, башня.

Как он найдет, думала она, несясь в темном автобусе по мигающим сквозь дождь цветными огнями улицам, принимая в номере очень горячий душ, устраиваясь в широченной постели, как он найдет, не зная ни отеля, ни Дворца, как он доберется в Париж? Откуда у него здесь деньги, визы?.. Внезапно впервые задумалась: а что он вообще делает без нее? Про себя употребила самое простое и грубое: как обходится? Она знала свои муки и примерно могла себе представить его, они всегда совпадали, хотели одинаково... Какая-нибудь датчанка или нем-

ка — с его страстью к северному типу — уже наверняка нашлась.

Вместе со злостью окатило желание, постель стала жечь сквозь ночную рубашку. Она сбросила легкое, но слишком теплое одеяло, потащила вторую подушку, устраниваясь поудобнее...

В дверь негромко постучали. Она замерла. Постучали снова. Она бросилась, чуть не расшиблась, опрокинув стул с одеждой.

За дверью тихо назвали ее имя. «Нет, — сказала она, — нет...» «Да, — ответил он, — да».

Когда она открыла, он произнес непонятную фразу: «Скотина Федя, не мог узнать, что здесь два «Меридиана», я три часа искал». Больше ничего не сказал...

Дождь шумел за окном, городские огни вспыхивали сквозь дождевые слезы. Она не успевала, не успевала за ним, и тянулась, тянулась, но он все время обгонял, и все начиналось снова, и наконец она успела, он сжал ее так, что дыхание кончилось, кончилось, все кончилось, кончилось, кончилось, и он остался лежать вниз лицом, а она еще выгибалась, ее выкручивало, она нечаянно дотронулась до его груди, под кожей вздрогнули мышцы, и он застонал, подобранный ее прикосновением.

И снова, второй раз за этот месяц, услышал, как она плачет.

В первом часу они вышли из отеля, пошлепали под непрекращающимся дождем наугад. Этот город был для них, как «Остров сокровищ» для мальчишки — никогда не виденный, тысячу раз исхоженный по карте, такой изумительно достоверной перед текстом. Блокгауз... Дерево скелета... Оба были здесь впервые, деловые их путешествия, к счастью, оставили в стороне этот город — в стороне любви... Лил дождь, вставала в перспективе арка, за ней лежал необъятной ширины проспект, потом по его сторонам исчез асфальт, они шли по мокрому, подающемуся под ногой гравию. Справа, в проемах коротких улиц, возникала тьма, за ней снова городские огни — река, берег. По реке медленно двигалась баржа, на ней ярко горел свет, в окнах надстройки мелькали люди, донеслась музыка — там веселились. Они зашли в бар — немного просохнуть, он взял выпить: «ун скотч, силь ву пле, ун амаретто». Бар был пуст, только одна грустная пара сидела в углу: полный, рыхлый, лысоватый блондин и очень худой

брюнет, с мелко завитой, опускающейся на лопатки гривой. Лица у голубых были отчаянные — может, предстояла разлука, может, просто в их любви было слишком много проблем, как во всякой не совсем законной любви, — блондин гладил руку любимого, потом наклонился, поцеловал у запястья...

От бара снова повернули к широчайшей улице, оказались на площади с иглой обелиска посередине, двинулись влево. Теперь шли обнявшись, по очереди держа над двумя безумными головами ее зонтик, он что-то рассказывал, она сначала перебивала, переспрашивала, потом отчаялась понять последовательность и связь, просто слушала, тихо дышала. Глядели по сторонам, постояли минуту перед мрачной, совершенно питерской колоннадой.

Неожиданно, через какие-то короткие пустые пассажи, заброшенные мусором, вышли к уныло освещенному огромному зданию, здесь мелькали человеческие фигуры, шла жизнь. Они сообразили — вокзал, вошли... На табло светилась надпись: «Versaille». «Поедем, посмотрим на рассвете дворец, лестницу, на которой д'Артаньян задел Портоза, — предложил он, — а там видно будет...» Сели без билетов, не найдя мелочи для кассы. Вагон был пуст, свет в нем от этого казался особенно, бессмысленно ярким. Объявления были невнятные. Вдруг им показалось: «Версаль», они, повоевав с дверями, найдя наконец зеленую кнопку, от нажатия на которую разошлись створки, выскочили. Дождь...

Поезд ушел. Разобрали название станции — это был вовсе не Версаль, а какой-то Шавиль или что-то вроде того. Деваться было абсолютно некуда. «У меня совсем мокрые тапки, — сказала она, — может, попытаемся вернуться в город?»

Они остановились на перекрестке у станции, он прикуривал...

— Идем, маленькая, — сказал он. Безумие проходило, и прежде всего он начал бояться, что она заболит.

— Идем, милый, идем быстрее, — ответила она, уже дрожа, это не было простудой, скорее, это был страх.

Потому что она уже знала, что все кончится, чувствовала, что после такой ночи ничего не может быть дальше, слишком близки они были, бредя по невероятному городу, слишком соединились, теперь их обязательно разнесет в разные стороны, и ничего с этим поделать нельзя.

На перекрестке, освещенном витриной табачной лавки, под дождем, глядя на смешную фигуру мучающегося бессонницей обывателя на балкончике выходящего фасадом на перекресток дома, она поняла, что вернется домой, в Москву, что, может, это их последняя ночь.

Потом я умру, подумала она, собственно, можно считать, что я уже умерла. И он тоже умер, хотя, наверное, еще долго будет скитаться по этому странному миру, все больше становясь не похожим на того пятидесятилетнего мальчишку с Преображенки, к которому я бегала за любовью. Он уже не похож...

Русские улетали назавтра, дневным аэрофлотовским рейсом. Кравцов объявил, что ситуация в стране заставляет их делегацию немедленно вернуться.

Она сумела дать ему знать, и он успел поменять билет, достал на тот же день, только, конечно, на «Air France», через три часа после ее рейса. У него была совершенно сумасшедшая улыбка, когда он показывал ей свой паспорт, полный порядок с визами и датами. Он мог вернуться, он возвращается!

Она шла, не глядя по сторонам, Сережа Гречихин толкал тележку с их сумками. Впереди важно шагал Кравцов. Вдруг засуетился, кинулся: из-за барьерчика показались первые дождавшие багажа пассажиры из Москвы, ви ай пи, фест класс. Журавский двигался тяжело, летний его костюм был мят, пиджак распахнут, между концом галстука и пряжкой выпирал тяжкий живот. Плотников летел, сдерживая рядом с приятелем легкий свой шаг, шелковая куртка, фуляр на шее, издалека благоухающая трубка. Поганец Сашка кланялся, тряс руки, скалился, подмигивал: поздравляю, поздравляю, господа министры! С первым официальным визитом, Петрович, с нашей удачей, Федя...

Отодвинув его, Журавский направился к встречающим французам, рядом летел Плотников, вдруг остановился, вернулся к Кравцову, что-то сказал коротко — и поспешил здороваться с представителями местных властей...

Он сидел в белом пластиковом кресле, с чашкой остывшего кофе в руке, смотрел ей вслед. Он не видал ничего — ни суеты мерзавцев, ни внезапно, неведомо откуда появившихся смуглых, плохо бритых молодых людей, в коже, как всегда, среди которых

один, с полным ртом золотых зубов, нес в руке мотоциклетный шлем и немного прихрамывал — он ничего не видел, только ее, уходящую, пропадающую за чужими спинами.

Ничего, думал он, завтра мы оба уже будем в Москве, все устроится, обойдется... В своем городе я всегда выгребу, выплыву...

В баре беззвучно работал телевизор, шли всемирные новости CNN, по экрану двигалась огромная демонстрация, она выплзала с Красной площади, над ней колыхались гигантские флаги. Вперемежку с флагами качались портреты, уже почти забытые монстры и уроды...

И призывы — бей, бей, бей!..

Ничего, думал он, ничего, выживем. Теперь хотя бы ясно, как придется выживать.

Когда он пошел к регистрации, на ходу вынимая из кармана длинный конвертик с билетом, толпа вдруг налетела, закрутила его: шла какая-то шумная немецкая группа. В этой толпе к нему прижался один кожаный молодец, другой, а третий, золотозубый, толкнул его так, что конвертик с билетом вылетел, упал на пол — впрочем, тут же извинился, пардон, месье, и даже наклонился поднять, их руки соприкоснулись, золотозубый тут посмотрел ему в глаза и усмехнулся: ну вот, фраер теплый, мы и сочлись...

Девушка на регистрации посмотрела в его билет и с милой улыбкой переадресовала к другой стойке. Здесь еще раз улыбнулась та же — или такая же? — девушка, дала посадочный, он отправился по прозрачным трубам, пологим эскалаторам и коротким лестницам в самолет. Сосед, едва он присел, чудовищно быстро и с непонятным акцентом заговорил по-английски. Не кажется ли джентльмену, что он слишком легко одет? Там, куда они летят, сейчас зима... Сам попутчик выглядел, как чучело: в короткой дубленой куртке и в широкополой, вроде ковбойской, но с перышком, шляпе. Он усмехнулся — все здесь считают, что в России вечная зима... Пилот представился по трансляции и еще что-то долго говорил.

Самолет уже набрал высоту, показали, как обращаться со спасательным жилетом — стюард показывал жестами, текст по-

французски и английски транслировали по радио. Разнесли обед — или ужин? Опустили экран, погасили свет, начали показывать совершенно идиотскую комедию.

Вдруг до него дошло. «Куда мы летим, — спросил он соседа, — увэа ви а флаинг?» «Острэлиа, — захохотал сосед, — дис ис гуд джок, е квесшен, ю хэв гуд сенс оф хьюмор. Острэлиа, даун андер, бадди...»

И тогда он наконец потерял сознание.

Сосед снял шляпу, вытер пот со лба, раскурил трубку. Седые кудри, веселые глаза, скорбные скульптурные складки у рта...

Дурачок, думал Плотников, он считал, что мы такие же. Нет уж, мы и он всегда были и будем разными. Другое дело, кто в конце окажется в выигрыше? Но тут уж ничего не поделаешь: каждый есть только тот, кем он может быть.

Стьюард уже бежал со льдом.

— Когда придет в себя, — сказал седой, — дайте ему виски. Без воды. Я его хорошо знаю, этого парня. У него чудесное чувство юмора, просто он немного устал.

В Сингапуре седой господин вышел, побродил по бесконечным стеклянным садам, холлам и магазинам аэропорта — и как-то получилось, что опоздал на свой самолет... Служащая в мундирчике, с дощечкой в руке, на которой был написан номер рейса, собиравшая пассажиров по всему необозримому аэропортовскому пространству, до седого путешника не добралась...

А спустя два часа седой человек в австралийской шляпе вылетел обратно, в Европу. Через Москву.

Тот же, о ком он заботился в самолете, в Мельбурне сошел нетвердым шагом — и был тут же задержан иммиграционным офицером за попытку незаконного проникновения в страну, однако уладилось и это — как улаживались с некоторых пор все его неприятности.

Дул сильный ветер, и в аэропортовском шопе он купил пальто — и уж потом вышел, прикурив в дверях, чтобы не задуло огонь.

* * *

Я вернулся в комнату. Дверь закрылась с негромким щелчком, но металлическая ручка не стукнула, я придержал ее. Что же это такое, соображал я, что же заставляет людей брести под дождем, в

маленьком, неизвестном им городе, в чужой стране, что же мучает, корежит их жизнь и нет ли способа избежать этого наказания?..

Включив свет, я принялся снова перебирать прочитанные вечером бумаги: старая русская дама, жившая в этом доме, умерла, остались письма, фотографии, кое-что из них уже опубликовала «Русская мысль»... Ночник светил, казалось, слишком ярко — так всегда светит поздно горящая лампа. Снова и снова я перечитывал две короткие записки...

Больше полувека назад была дама молодой, на весь — не только эмигрантский — Париж известной красавицей, и увлекся ею живший тогда здесь и уже к этому времени испытавший мировую славу немолодой господин, тоже русский. Писал, посылал «пневматички», была тогда такая почта в этом городе, звонил, ждал в кафе, а красавица не приходила, не отвечала на звонки — сказывалась занятой... И ничего не вышло, романа не получилось. Впрочем, господин бывал женщинами увлечен часто, так что если бы и получился, то скорее рассказ, а не роман.

И умер господин, и дама, много спустя, умерла. Идет время, темнеют тайные складки тела, утоньшается кожа, исчезают люди, с которыми провел годы, хотя многие еще живы, кончается жизнь, а еще раньше кончается страсть любить. Продлить ее можно лишь ценой мук, скитаний в непогоду, мучая себя и других людей, сокращая жизнь так, чтобы стала она короче любви. Но кто знает, может, самое горькое горе — подрубить страсть, сразу лишить ее сил, которые прибывают от любовных встреч и быстро иссякают от встреч случайных... Страсть иссякнет, и все соки ее, иссохшей, достанутся жизни, и жизнь будет длиться еще долго, долго — чтобы долго вспоминалась давно мертвая страсть.

Кто же выигрывает, размышлял и прикидывал я, складывая письма, испещренные твердым знаком, похожим на мужественный знак Марса, и фотографии откинувшейся в кресле, нога на ногу, узкоплечей блондинки с волосами, зачесанными надо лбом валиком — по последней предвоенной моде... Да и выигрывает ли кто-нибудь?

Или, может, иных награждает Господь равно с жизнью длящейся страстью... Но если возможна такая награда, то чем я могу заслужить ее, чем?!

Красная, словно из старого кирпича, земля истерзала ноги. Идти по этому камню было невозможно, шаг отдавался ударом, к тому же городская, низкая и нетуго сидящая туфля на трещинах выворачивалась, приходилось напрягать и щиколотку, и пальцы, от этого усталость накапливалась много быстрее, чем от самой ходьбы.

Он представил себе: ночью, под нелепым светом звезд, каких никто никогда не видел в нормальной жизни, по каменной пустыне идет человек в тяжелом и длинном пальто, в длинном шарфе, болтающемся и закидываемом ветром, пот течет по лицу человека, стекает под уже грязный воротник рубахи, пятнает и без того быстро засалившийся узел яркого, но потемневшего шелкового галстука, и шляпа уже тоже пропотела по краю ленты, потные пятна выползли на поля — он идет, распахиваются и хлопают по коленям полы пальто, тяжелое, шумное, нездоровьем пахнущее дыхание вырывается изо рта, обжигая ссохшиеся, сморщившиеся губы.

Боже, подумал он, у меня нет сил убить себя — убей же меня Ты, неожиданно, внезапно и сразу, я уже готов считать такую смерть истинным счастьем, мне уже не важно и не интересно, что будет наутро. Пошли мне смерть, Боже, думал он, не заставляй меня делать выбор, лиши меня выбора, Боже милосердный. Все равно это уже не будет жизнью, то, что наступает теперь...

Становилось все светлее, из-за горизонта поднимался сизый свет, он поднимался все выше и наконец оторвался от края земли, а край этот стал неровным, будто щербатый, гнилой, полувыломанный оскал. Он понял, что это за город и что теперь он уже дойдет — даже если сделать добавку на ровную пустыню, то оставалось не больше десяти миль.

Телефонная будка стояла на первом же углу. В ней горели яркие лампы, прекрасный, новой модели телефон-автомат сиял разноцветным металлом и пластмассой, сверкали обложки телефонных книг, толстые тома которых в ряд висели на специальных штырях. А невысокие, двух- и трехэтажные дома, ухотившие от перекрестка в четыре стороны, были черны, и некоторые темные окна к тому же закрыты ставнями.

Он сунул в щель сразу три пятидолларовые монеты. Это

было настоящее счастье — новый автомат, принимающий не только карточки, но и монеты. Услышав гудок, он нажал кнопку оператора.

— Плиз хелп ми, — сказал он, — ай вонт колл ту Раша ту Москоу. Тэнк ю.

Он ждал, пока в трубке сменяли друг друга гудки разного тона, что-то со щелчком переключилось, что-то пропело, опять раздались гудки — и после молчания он услышал ее голос.

— Здравствуй, — сказал он, — это я. Да, я звоню тебе отсюда. У меня не очень много монет, и сейчас ночь, да и днем мне их неоткуда будет взять, дело не в том, что нет размена. У меня осталось ровно сто долларов пятидолларовыми монетами, и я их все прозвоню, и не спорь со мной по телефону — у нас мало времени и, кроме того, на таком расстоянии невозможно спорить, слишком долго идет сигнал, между словами надо делать полусекундные паузы.

Поэтому выслушай меня наконец.

Теперь уже пора рассказать тебе все. Очень легко признаваться через океан, через пустыню, через много пустынь, и лес, и мелкие города, и пустыни, и реки, и опять пустыни. Знаешь, я совсем не помню географию, но уверен — больше всего на земле пустынь. Там, в Москве, вся земля представлялась мне городом, и где бы я ни был, я получал этому подтверждения, потому что и Париж, и Лондон, и райцентр в Заволжье равно доказывали, что существует только Москва, слякоть на входе в метро, смрад недомытых людей и плохого бензина, запах жизни. Но здесь я понял, что это было заблуждение, глупое сладостное обольщение, уют от настольной лампы и теплых, журчащих батарей в дождливый вечер — а правда заключается в том, что все есть пустыня. Пожалуйста, не перебивай меня, потому что уже третий пятидолларовый кружок провалился, и их осталось всего семнадцать.

Я расскажу тебе о человеке, которого ты любила довольно долго и думала, что успела узнать о нем многое.

Сначала я выдавал себя за доброго, очень, удивительно доброго. У меня это получается лучше всего — такой взгляд, едва заметная улыбка, только чуть-чуть, в уголках глаз, сочувствие, готовность бежать, ждать, слушать, помогать. Это совсем нетрудно.

Ну, например, ты болела, я доставал лекарства, будто из-под земли, и когда ты удивлялась и восхищалась — как тебе удалось?! — я молчал, улыбался, морща уголки глаз и наконец называл имя дальнего, почти случайного знакомца, и ты изумлялась, сколько же я смог перебрать вариантов, чтобы в конце концов натолкнуться на этот! Но я-то знал, что был всего один звонок, потому что парень известен именно своими возможностями по части аптек, один звонок и деньги, довольно много, но ничто в те времена для меня.

Ладно, это чепуха.

Я вообще играл в очень щедрого, и действительно тратил, и тратил, и тратил — но и это была ложь, потому что я тогда как раз стал сравнительно богат, сравнительно, например, с тобою, и траты эти были ничтожны, но и их я считал, всегда зная, сколько потрачено, и убажрал себя этой щедростью скупого.

Потом ты разобралась, но было уже поздно — я проник в тебя.

Кроме того, ты считала меня умным, хорошо — пусть без должной системы — образованным и вполне интеллектуальным, загорающимся от твоей мысли, как спичка от спички. Бедная, бедная простушка! Не буду вдаваться, скажу только, что необразован я фантастически, и если б знала ты, что все, почти абсолютно все, о чем я с тобой спорил часами, мне было известно лишь понаслышке! Что правда — то правда: схватывал всегда легко, но это не ум, а лишь актерская восприимчивость, сообразительность, обезьянья имитация.

Пожалуй, это и есть мой единственный талант, это — а совсем не то, что ты принимала за истинный дар, назначение, миссию. У меня нет миссии, и даже в том, что вроде бы было настоящим — в жизненных удовольствиях, во вкусе к выпивке и табачу, одежде и красивым игрушкам — даже в этом был я лишь тенью, подобием, но, на несчастье свое, ты не знала оригиналов.

Впрочем, осталось только двенадцать монет, я перейду к делу.

Наверное, не очень убедительно и, безусловно, на совершенно пустяковых примерах я попытался объяснить тебе, кто я. Теперь я вижу, что объяснить это не удастся: ты либо не поверишь в мои откровения, либо не придашь им значения. Ведь многое из того,

что я тебе сейчас говорю, ты знала и сама, давно о многом догадывалась, даже посмеивалась кое над чем, а кое из-за чего ссорилась со мною, но все-таки всерьез не задумывалась. Иначе тебе пришлось бы самой сделать вывод, что ты годами любила ничтожество, а сделать такой вывод самой почти невозможно, почти так же невозможно, как признать нечто подобное о себе. Мне жаль тебя, и я сделаю этот вывод сам и сейчас сообщу тебе.

Слушай.

Я — самозванец.

Составь представление, что именно может означать для тебя это слово. И совмести теперь это представление с тем человеком, который однажды привел тебя в комнату с дрянным раскладным диваном и ждал, пока ты раздевалась в ванной, переступая там по ледяному кафелю босыми ногами. Знаешь, почему он был еще в плавках, когда ты вернулась, набросив рубаху, из-под края которой, из-под отошедшей чуть в сторону полы, тенью проступили русые, почти не скрученные в кольца волосы, знаешь почему? Он точно знал, что так, в плавках — привлекательнее, красивей, и успел об этом подумать, и принял точную позу, чуть расставив ноги и сложив на груди руки, чтобы подтянулись мышцы, и не забывал при этом дышать тяжело, громко, чтобы ты чувствовала страсть. Кстати, страсть действительно была, но и ее он умудрился одеть в самозванство.

Я всегда, каждую секунду жизни был самозванцем, обманщиком, лжеперсоной. Те, кто знал меня долго, постепенно начинали замечать вылезавшее то тут, то там из-под рясы книжника, из-под камзола кавалера, из-под потной рубахи труженика настоящее обличье — маленького вруна, трусливого, жадного и безразличного ко всему, кроме собственного восхождения к успеху. Наконец заметила это и ты. К тому времени я уже успел потешить тобою и жадность свою, и тщеславие. Я получил тебя для жадности и — для тщеславия — постоянно напоминал себе, кого именно я получил.

Но ты заметила, заметила! И то, что я признаю тебе сейчас, — это вынужденная честность, я понял, что ты не можешь больше делать вид, будто не догадалась, а я — будто не догадался, что догадалась ты...

Все, хватит.

Знаешь, в пустыне самое интересное — это ее пустота. Здесь ничего нет, понимаешь, совершенно ничего. И я понял, что это самое подходящее для меня место. Нечего пожелать, нечего захватить, получить, присвоить, и некому это показать, разве что себе самому, но что? Километры красного камня, потрескавшегося, как старый кирпич? Не моя эстетика, и не нужно мне этого.

Я достиг Рая. Здесь ничто не вызывает моего желания, в пустыне я чист. Если б ты могла сейчас увидеть меня, подойти ко мне — грязному, отвратительно пахнущему, покрытому пыльными пятнами экземы! Это было бы последнее, неосуществимое счастье: я выдал бы себя за праведного, сыграл бы последнюю несыгранную роль и, вместе с тобою, восхитился бы ею. Но свидеться невозможно, к тому же у меня осталось всего сорок долларов, и этого хватит только, чтобы попрощаться...

Он взял выложенные в ряд на полочку монеты и начал заряжать ими телефон.

В тот же миг возник и стал быстро приближаться со стороны пустыни гул. Он не успел даже прислушаться и понять, что это шум мотора — машина ворвалась на перекресток, это был темно-синий «jaguar-sovereign», фары подожгли воздух, дома засверкали чернотой, свет в телефонной кабине поблек в этом электрическом огне.

— Але, — закричал он в трубку, — але! Ты слышишь меня?

Но там уже была тишина. Автомобиль стоял, остывал после дальней дороги, оседал, фары погасли... Он взял оставшиеся деньги и вышел.

Она с некоторым усилием открыла дверь и выбралась из-за руля. Почему-то на ней тоже была шляпа — широкополая, в которой она перестала ходить давным-давно. Узкие джинсы были заправлены в высокие сапоги, широкая рубашка — кажется, его старая — была надета навывпуск и туго перетянута ремнем.

Я все-таки простудилась, шляясь с тобой по лужам, сказала она, и в этой машине было жарко, я открывала окно... А думаешь, я в этой пустыне чувствовал себя хорошо, сказал он ворчливо, ненавистным ей капризным голосом. Ну вот, сказала она, как

всегда, начал считаться. Я не считаюсь, сказал он, сейчас не до этого, но я должен тебе повторить, ты уж извини: у меня действительно осталось всего сорок долларов, теперь даже меньше... А без долларов ты, конечно, не можешь, сказала она. Ладно, хватит, сказал он, пошли. Что здесь топтаться? Вечно мы отираемся на перекрестках. Идем, идем. Скоро начнет светать, а светает здесь резко, и мы не успеем смыться из города, будут дикие неприятности: ведь мы оба здесь незаконно. Мы везде незаконно, возразила она.

* * *

Они отошли километра на три в пустыню и остановились привести себя в порядок.

Он небрежно вытащил из кармана тридцать долларов — шесть монет все же осталось — и немедленно заказал комнату на сутки. Комната, конечно, была скромненькая, но в ванной было тепло, чуть слышно гудела лампа над зеркалом.

Она сразу же позвонила домой, чтобы все было спокойно.

Он занял пока ванную, быстро умылся. Бритвы с собой не было, но щетина очень шла к его нынешнему общему стилю — длинное пальто он вычистит и теперь наденет прямо поверх рубахи с шикарным шелковым галстуком, в этом сезоне так ходят.

Она выгнала его из ванной, мгновенно вымылась, молниеносно постирала и его белье, и свое, развесила на крючках для полотенец, накрутила трусы на горячую хромированную трубу и вышла в рубахе, из-под края которой проступила тень русских, почти не скрученных в кольца волос.

Он стал посреди комнаты в плавках, чуть расставив ноги и сложив на груди руки, чтобы поднатянулись мышцы, и не забывал при этом дышать тяжело, громко, чтобы она чувствовала страсть. Кстати, страсть действительно была.

В следующий раз я тебя застукаю на горячем, сказал он. Будешь, предположим, думать обо мне или просто вспомнишь лицо, а я тут как тут. Приземлюсь, допустим, в популярном самолете «сессна» на ни в чем не повинную крышу твоей девятиэтажки, посрашив в очередной раз отечественную пэвэо, и прерву тебя на самом откровенном месте... Хватит тебе болтать, болтун, сказала она, ты что, не можешь остановиться? Выдумал тоже: самозва-

нец... Нашел-таки чем гордиться. А я кто? Все мы — самозванцы, но на любовь это не распространяется. И хватит уже спорить, займись лучше делом!

Перемирие до утра, сказал он, согласен.

Потом они заснули рядом, она крепко прижалась к нему спиной, так что они вписались, вложились друг в друга, словно привычные, старые супруги, но через час, когда он открыл глаза, она спала, как обычно, глубоко спрятав лицо в подушку.

И это еще не самое последнее счастье, подумал он, она еще проснется.

Он протянул руку, чтобы на ощупь налить. Рука ткнулась в мускулистое маленькое тело, собака тихонько вздохнула.

Так теперь и будем путешествовать все вместе, подумал он. Переживем всех хитрецов, все власти — будем жить тяжело, охая и стеля, радуясь ерунде, стремясь быть красивыми и легкомысленными вопреки истинному, безобразному и серьезному лику страсти — и успеем стать старыми, высохшими, легкими, а страсть сохранится уже сама по себе, не в нас, а рядом с нами, вокруг нас, как общий покров.

Будем жить долго, подумал он, любви хватит.

КАФЕ
“ЮНОСТЬ”

В лифте было душно, пахло горячим пластиком облицовки, на которой, конечно, было много чего написано. Обязательные три буквы перемежались названиями рок-групп как бы с понтом фашистских — обязательной же «Кисс» с эсэсовскими молниями, «Айрон Мэйден» и «ЭйСи-ДиСи». На полу, естественно, валялся бычок, троллейбусный билет и темным пятном неведомого материка застыла высохшая лужа, великоватая для собачьей. Но запах нового пластика заглушал все. Дом был приличный, с кодовым замком в подъезде, и лифты здесь ремонтировали достаточно часто.

Хозяин открыл дверь с радушной из улыбок. Немножко уже обросший корректной, но подзапущенной сединой, немножко уже пообтрепавший свои тропические рубашечки, немножко уже домашний, расслабленный, изумленный отечественным бытом, взаимоотношениями с задыхающимися от зависти сослуживцами, отсутствием автосервиса и прислуги — бедный сагиб в однокомнатной клетушке, забитой черными деревянными уродцами, веерами, резными столиками и «шарпами», «шарпами», «шарпами»...

— А у меня для тебя есть сюрприз, — сказал он светски. — Сейчас по глоточку... виски пьешь? Желудок-то позволяет?.. ну, по глоточку... а, ты знаешь эти сигарки, знаешь, да?.. голландские, приятные, правда?.. на кухне покурим, если не возражаешь... ну, вот, садись, вот здесь громче... здесь яркость... смотри, а я уже смотрел, пойду позвоню кое-кому... надо дела утрясти... а ты смотри, смотри, фильм отличный, на той неделе только привезли, прямо оттуда... дружок один, еще по Найроби... мы с подружкой

смотрели с большим удовольствием... а я на кухне, на кухне, на кух...

По экрану побежали синие искры, поначалу с небольшим подвывом пошла музыка — ах, вот она, какая музыка! Значит, ретро, самое модное, ближнее, это когда же мы Чеккера-то слушали? Точно, ровно двадцать пять лет тому — и пошло кино, еще до титров...

Мать твою, такое кино, подумал я, это же что? Это же, значит, про меня, что ли? Как же... при чем здесь Найроби, неделю назад прямо оттуда... ничего не понимаю... А снято как ловко, как эдорово, с первого кадра, и до чего точно, точно все...

Яркий экран «шарпа» сиял темно-синим, багровым, оранжевым, зеленый глазок видика чуть дрожал, и мигал его отключенный таймер. Из кухни доносилось утрясение дел, потом оно затихло, потом все отодвинулось, остался только экран. Уже шли титры...

Южный город. Темный бульвар уходит вверх, и на самом верху он подсвечен как бы только что севшим солнцем. Широкий асфальтовый подъем между черными деревьями с обязательным фонарем сквозь листья, с неизменными белыми скамейками вдоль бульвара. И ветер дует, несет против природы вверх по полосатому и пятнистому от фонарей асфальту кусок рваной афишки.

А навстречу бумаге летит с горы трамвай, гремит, и вдруг светом из окон попадает на обрывок — а обрывок уже зацепился за угол скамейки и неожиданно расправился, и в трамвайном свете ясно читается: «...ственный университет... по специальностям... 1964—65 учебный год... имеющих производственный стаж или демобилизованных из рядов...» Дунул ветер — и дальше понеслась бумага, вверх по бульвару. И трамвай все летит с горы, гремит, и сквозь гром прорывается музыка, орет Чабби Чеккер про уже устаревший твист, который мы так лихо плясали еще так недавно, еще прошлым летом.

И в трамвае, на заднем, рейками обшитом сиденье прицепки сижу я, восемнадцать лет от роду, один в пустом вагоне. Вот он — я, сдержанный и романтический искатель радостей ночной жизни, клубмен в обдергаистом, высоко застегнутом пиджачке, а под пиджачком — белая нейлоновая рубашечка, польский галстучек в

шлагбаумную полосу, а ботиночки венгерские, утконосые с тенями, а прическа на лоб, не слишком, с остатками еще только отошедшего кока, умеренная, но уже длинноватая — ах! И смотрит, смотрит лихой клубмен в темное окно, за которым тоже плывет, летит в черном воздухе, просвечиваясь еще более черными деревьями, клубмен, одинокий плейбой в галстушке и с непрменным старательно заглаженным платочком в грудном кармане, романтический лонели харт...

И идут титры. Допустим, старринг молодой Дастин Хоффман и юная Джессика Ланж в фильме, предположим, Френсиса Форда Coppoly... да, именно так: «Кафе “Юность”»... а также Хельмут, пусть будет, Бергер, еще кто-нибудь, черт их там знает, и при участии... Винтон Марсалис в роли трубача Коня-младшего, Гровер Вашингтон в роли саксофониста Ржавого... впрочем, как же они могут быть в ролях, если они негры, черные люди... а, ладно... диалоги... стори... директор оф фотографии... музыка Эллингтона, Роджерса, Портера, Аркадия Островского, а также джазовые стандарты... костюмы Мэри Куант... и несется трамвай.

И уже не орет дурной твистер, а божественный Малиган мужественно рыдает. С окна пятого этажа, с пленки гробовидного «днепра-10», дует ледяной свой плач рыжий Джерри на всю бедную улицу, совсем темную, не светят здесь фонари, это не центральный бульвар — только деревья чернеют чернее неба, да окна новых пятиэтажек плавают светом, да ветер южного октября дует в открытое окно.

За окном Колька собирается на вечер. Дакроновый, серебряного блеска костюм вынимается из шкафа в простынном чехле, виски прилизываются, а ежик надо лбом даже и не трогается, и черные ботиночки вынимаются из коробки «Цебо», а смурной Джерри все дует и дует на всю бедную улицу, на всех несчастных Колькиных соседей, но далеко еще до одиннадцати, и пусть они все заборуются. Вяжет Колька перед темным зеркалом тугой галстук, и в зеркале во тьме стекла снуют руки вокруг галстучного узла.

Теперь уже в гору едет трамвай, еще пуще гремит, мотается, и мотается за стеклом одинокий ездок, и мелькает все быстрее трамвайный свет.

И под «Ночь в Тунисе», под обожаемую свою тезку из дряхлого «Спалиса» красит веки Элка-Малая в одной только нижней юбке, сильно несвежей, желтеющей еще июльскими приключениями в Мисхоре и даже еще апрельскими вечерними делами прямо на холодном песке пустого Веселого острова, среди старых остовов пляжных грибков. Красит веки, близко пригибаясь к круглому зеркалу на заставленном немьгтыми тарелками столе, красит их зеленым-зеленым, и еще черным по краю, и слюнит карандаш и обломки щеточки, и соски ползают по клеенке в лад с движениями руки — так низко наклоняется близорукая, Элка к зеркалу, близорукая двадцатипятилетняя джазовая борушка и классная наша сингерша, со свингом и хорошим скэтом. Элка-Малая в одной нижней юбке, загорелая, только грудь, жалостно лежащаяся на клеенку проколотыми воздушными шариками, непристойно белеет. О, вандерфул найт ин Тэнишиа!

Уносится к какой-то несуществующей конечной, к кольцу у завода пустой трамвай, и уже иду я ко входу, над которым сломанный неон «Кафе “Юность”», и дергается и жужжит «Н».

А перед входом толпа, дружинники в прыщах, светящихся даже в темноте, пихают в грудь каких-то непосвященных, не своих, и пробирается с высоко поднятым футляром недоступный поклонникам и желающим, чтобы провел, Конь-младший, а следом и Шурик-Долбец тащит всю свою кухню, цепляя стойкой хай-хета джазовых девочек прямо по волосам, по бабеттам с подложенными чулками, а вот и сам Ржавый вытряхивается из трамвая и хлячет, шаркает своей гарлемской походочкой, хипстерским шарканьем, великий Ржавый с драгоценным «сельмером» в сереньком пестроватом футляре. И падает на его безразличное лицо с узкой и острой переносицей неоновый трупный свет. Здорово, Ржавый, здорово, вот и я тоже знаком с тобой, и я посвященный. Правда, таких посвященных бригадил в гробу видал, штаны резать таким посвященным, волосы стричь и на доску вешать, чтобы не проходили мимо тлетвора советские люди, но уже машет нам призывно из-за жлобских спин всемогущий дакроновый Колька, глава джазового лобби в райкоме, и мы проходим прямо в музыкантскую, свои люди.

И в заставленной сломанными стульями музыкантской они

сразу разливают по бумажным стаканчикам кубинский ром, настоящее хемингуэевское питье, завезенное в счет неудачно размещенных ракет во все уголки необъятной части суши вплоть до нашего простодушного города. И закуриваем свои обязательные в тех сезонах трубки. В тех давних сезонах, когда все мы носили ботинки «с разговорами», блэйзеры и косополосатые галстуки, бороды и трубки, трубки, трубки — одуревшие от детской игры и детских надежд всесоюзные курильщики трубок... Смотри, говорю я начитанному Кольке, совершенно аксеновская атмосфера, или это только мне кажется, что аксеновская. Нет, говорит Колька, не кажется, а именно звездный билет и даже немножко от самого Васи есть, каким я его видел на фестивале во Дворце Горбунова. Я ведь только что с фестиваля, с Москвы, Харанян там лабнул ничего себе, говорит Колька, и столичные его впечатления ловко укладываются в местный выговор — «с Москвы» и «Харанян»...

В пустой общежитской комнате с портретом актрисы Быстрицкой собирается на дежурство Володя, дружинная его повязка лежит на столе рядом с куском хлеба и книгой «И один в поле воин». Давит перед зеркалом Володя прыщ на переносице, заливает ранку «Шипром», поднимает косой чуб, примеривается к еще одному, на лбу, да рукой машет — всю эту заразу не изведешь...

И идет по коридору, вздрагивая жилистыми тонкими ногами, неся на руке, перекинутыми, брюки для глажки и одеяло казенное — подкладывать, и гладит на подоконнике необъятной кухни, бегая за утюгом к плите, тонким голосом выстанывая «Маленький цветок».

А в ресторане, в поплавке, выстанывает тот же «Цветок» вторая дудка города, кабацкий лабух, торгующий святым искусством Генка-Морух, потому и второй, что торгует, а играл бы серьезно джаз, не было бы в городе лучше тенора, но очень любит башли Морух, и сейчас лабает «Цветок» на полукруглой кабацкой эстраде, и хорошие башли суют жлобы в аккордеонный футляр, лабает Морух со своими моруховскими чувачками, лысыми, толстыми семейными евреями, игравшими в свое время в этом же кабаке еще «Фон дер Пшика», а теперь заглядывающими Моруху в рот — шутка в жизни, этот чувачок молодой для всех составов в городе

расписывает, и как расписывает! Как все равно тот Рознер... И потому не будут они, конечно, возражать, чтобы Морух схилял после «Цветка», пусть идет в свою «Юность» на свой джем или как их там, пусть лабает своего Муликана, а башли свои он получит, шо они, жлобы?

И на коду, на коду дует Морух, и укладывает в футляр свой еще более драгоценный, чем того Ржавого, тенор — как-нибудь не чешский, а настоящий, кабаком заработанный.

И хватает Морух такси прямо на пустой набережной, и спешит.

Под его коду ведет к столику, возвращает на место свою даму знаменитый наш Ал Капоне, непревзойденный мастер буры и сики, лихой гагринский раздевала и еще немножко администратор на Озерном рынке, ресторанный житель и владелец двухцветной, коричнево-бежевой, «волги», в суперблестящих штанах под тугим брюхом, в териленовой джерсовой рубашечке из еврейских посылок под распахнутым пиджаком — Миша Гринштейн, прозванный Грином.

И дама в желтом солнце-клеш садится на оплаченное место, и пьет румынское сухое, и ест цыпленка, и упрямо смотрит на Грина — пусть жлоб, да пусть кормит — восемнадцатилетняя оранжевокудрая дама Лида.

Гордая Лида на лекциях нашего курса всегда в самом последнем ряду, на верхотуре амфитеатровой аудитории, и не знающая с нами, видеть она не может этих интеллектуалов, что они знают, кроме Ремарка и Аксенова, и джаза, и все понаслышке, показушники, говнюки.

Ладно, Миша, поедем покатаемся, а куда вы меня повезете, поедете в аэропорт, ладно? Хорошо, потом к вам, только ненадолго, ладно?

И встает Грин, и, развернув жирные плечи, ведет даму на выход.

И, проходя мимо знакомых, кивает, привет, мальчики, хотите пульку на ночь? через часок буду дома, ах, не хотите, тоже в «Юность», ну, тогда пока, тогда вам, конечно, не до пули, у вас культура в голове, джаз, а у меня свой джаз — раз, и на матрас.

И она слышит насчет матраса. Но идет, идет к коричнево-бежевой «волге».

А Мишины знакомые уже ловят такси, и, не поймав, всовываются в один на всех собственный «москвичок», Юркин, декановского Юрки, «москвичок» — и туда, где сегодня, говорят, будет джем.

А в гигантской, пустоватой и слишком ярко освещенной пятирожковой люстрой гостиной просторно стоит модная, слишком маленькая для такой комнаты тонконогая мебель — столик фасолиной на раскоряченных ногах, телевизор — на раскоряченных, радиола на таких же, и большой стол, и даже стулья, а подо всем этим бедным модерном с инвентарными номерками адмхозотдела — голубой китайский ковер.

И в самом углу гостиной, на диване, почему-то шепчутся подружки, Лена и Галя.

Представляешь, говорит Лена, папа вернулся из Австрии, а мне привез такую чепуху, даже джинсов не привез, а там сейчас все носят джинсы, а он привез платьев, кому они нужны, сейчас уже на нижних юбках не носят, а носят очень короткие и узкие, мода называется мини, понимаешь, значит минимум... а я один раз иду по лестнице, а снизу один мальчик с переводческого, он с трех лет с родителями в Англии жил, и говорит снизу по-английски: о, зе бест кан оф зе совет юнион! Понимаешь, это по-английски получается остроумно и почти в рифму, но очень грубо, значит, у меня самая лучшая в Советском Союзе... понимаешь?

Понимаю, говорит Галя, а что такое джинсы? а, это техасы, я видела такие летом, когда ездила у «Спутник», так в таких были эти немьгтые американки, но мне не понравилось, это брезент и не женственно, а мини мне пойдет, у меня ноги красивые, докуда носят, вот досюда? выше? нет, выше нельзя, видны трусики, видишь, надо тогда надеть другие, потуже, да, так? а потом вызовем машину, и ты поедешь в наше кафе, называется «Юность», там лучшие мальчики собираются, музыканты и вообще, и играют этот джаз, и танцуют твист, а мне нельзя, папе расскажут, а можно просто трусики снизу подвернуть туго, вот так, не видно? и не заметно, вот потрогай, Лена, потрогай... и тут, и тут тоже... ох, Леночка... а на радиоле хрипит привезенная московской гостьей мягкая прозрачная пластинка, твист эгейн, о, Леночка, о...

Покинул свой пост у ворот сержант Гнущенко, холодно под ве-

чер в октябре даже в наших благословенных краях, ветер дует в сизой южной ночи, шумят тополя в саду вокруг охраняемого спец-объекта, да, холодновато, это только молодые, вроде дочки, ходят сейчас без головных уборов, и хоть бы шо...

Приткнулся на террасе от ветра Гнущенко, присмолил, глянул косо в окошко начальству — и услышал дурную музыку, и увидел, и опупел бедный Гнущенко, шо ж воны, сучки, роблять, шо ж воны, мать же их так, роблять, позорные сучки, отцов своих позорить, сикухи, ах, да шо ж воно таке роблиться в этом свете, ничего не может понять Гнущенко, только одно думает — а как и моя зассышка такое дэсь зробыт, убью!

И одно чувствует бедный Гнущенко вопреки идейной закалке и политической подготовке — встает в нем великий гнев проверенного бойца и участника, это ж не за цих курв высаживался он в ледяную новороссийскую воду, ах, ты... а гнев все-таки встает. И яркий желтый свет из окна освещает толстоносое, в глубоких складках лицо.

Кстати ведь говоря, прав бедный сержант! Не то чтобы до такой степени морального разложения дошла его дочка Нина — она не то что про джинсы еще не знает, ей и самой мини-юбка разворотом кажется — но и она подтягивается сейчас к пресловутой базе западного проникновения, к «Юности», и не одна подтягивается, а едет именно в набитом сверх всякой меры «москвичке», приняв перед тем в поплавке за счет культурных преферансистов, университетских плейбоев, хороший стаканец таврического бренди.

Едет в переполненном «москвичке», лежа по тесноте на коленях, и не без толку проводит время в дороге, и сама не хочет даже себе признаваться, что не спит она, не задремала от выпитого, а только глаза закрыла — хоть и темно в машине, и все равно никто ничего не видит, и орет какой-то из окна в каком-то доме по дороге про твист, — и с закрытыми глазами едет Нина Гнущенко, и широко раскрыт ее недавно еще детский рот, в который вкладывал Иван Никитич Гнущенко то абрикосу-кольеровку, то какую другую фрухту, а теперь вот что делает подлючая девка!..

И не широкий, зигзагом простроченный отцовский ремень ходит по ее еще недавно детской заднице, совсем не ремень, а пальцы, крепкие пальцы картежников, волейболистов, и все дальше, ре-

мень туда не дохлестывал, слава хосподи, берех дочу сержант — вот те и сберех, мать бы ее. Темно в машине, только попа Нинкина белеет. И все тяжелее пыхтят кавалеры.

Октябрь 1964 года. Восемь часов тридцать минут вечера. Кафе «Юность».

И поднимается на неглубокую эстрадку все тот же дакроновый Коля, и комсомольским голосом сообщает, что начинаем вечер отдыха молодежи Жовтневого района и что у нас в гостях сегодня джаз-ансамбль под управлением Анатолия Рудого в составе: Юрий Коньчук — труба, Александр Глувштейн — ударные, Игорь Губерман — рояль, Юрий Ивахненко — контрабас и Анатолий! Рудый! тенор-саксофон! кларнет! флейта!

И заорали, захлопали, засвистели, как настоящие ньюпортские завсегдатаи, о, Рудый, Рыжий, Ржавый, давай, Конь, давай, Долбец, давай, Гарик, давай, Юдык, давай! Давай «Раунд миднайт», давай около полуночи, давай «Эй-трэйн», давай «Ин э мелотон», давай-давай!

И дал Ржавый. И, раз-два-три-четыре, раз-два-три, раз! Пошли! По теме сначала, по теме, ин э мелотон, ин э мелотон, ин э мелотон, ин э мелотон, вау-вау-ува, вау-вау-ува, прошлись все по теме, и в унисон с Конем, и в сторону отхлял Ржавый, отстегнул дудку, положил на свой стул рядом с кларнетом и флейтой, стал тихонько в уголке за фоно, в тень за сраным раздолбанным пианино, какой там рояль в кафе «Юность», с какой горы, а Конь уже дует вовсю, сначала по гармонии, нормально, а вот уже и похитрей, и едва ли не по ладу, обгоняя эпоху, засаживает эрудированный Конь, что ему вест коуст, что ему Девис, он уже и кое-что похитрее слышал, чем Диззи, он уже и Фергюссона знает, и снимает дай Бог, и дует, и выходит на свист, на писк, на ультразвук, на самый заоблачный верх, где один только октябрьский ветер да пяток гениев — вон Майлс, вон сам Диззи кривляется, дергает эспаньолкой, вон веселый Сачмо, вон Андрюша Товмасян, а вот и лично Конь, глаза закрыты, губы расплоснуты, в хорошей компании заканчивает квадрат — и, оп!

И дал Игорек, старший инженер почтового ящика номер двести одиннадцать Игорь Губерман, скромнейший и корректнейший Гарик, виртуозный наш, как Гарднер, без нот, пиджачок черненький

аккуратно на спинку стула повесил, рукава белейшие на один оборот завернул, под воротничком ленточка черная на гагринскую жемчужину застегнута, а руки — никакой скромности, мощная волосатая лапа, и чешет, и чешет, ах, ты, наш Брубек родной — и, раз!

И Юдык тоже дал, приложился щекой к грифу и забулькал, забормотал, и, слава те, Господи, микрофон, примотанный к деке, не вырубился сегодня и не хрипит, и динамики в оклеенном дерматином ящике не вяжут, и все клево, и поднывает, подстанывает Юдык своему загадочному басу, трясет рано лысеющей башкой у самых колков, потряхивает пальцами, будто отрывает от струн эту музыку, эту песню, этот все выше и быстрее забирающий полет, и тихо шелестят, глухо хлопают его крылья — и, раз-два-три, пауза!

И оборвал чёс Шурик, и начал давать, стукнул, попробовал шкуру и снова стукнул, будто поперек доли, да как врезал — сразу мощным чёсом по тарелке, по хэту, по биг-тому, и сбивочка, другая, третья, и облился потом, и вдруг — по большому педалью, руки с палками свесил, голову наклонил — слушает и снова бух-бух-бух-бух, та-та-рабух-бух...

И быстро, на ходу подцепляя тенор, вышел Ржавый. И сыграл. Нормально сыграл, как прописал доктор.

И все, под свист и хлопки, вернулись, вошли в тему, ин э мелотон, ин э мелотон, ин э мелотон... Все. Кода. Жарко. И смущенный Коля объявляет: администрация просит не свистеть и не хлопать во время исполнения, иначе выступление ансамбля будет прекращено.

И снова — конечно, сразу после темы — и свист, и хлопки, что мы, не знаем, как джазменам полагается реагировать? А администрацию видали мы на известном месте — а тема-то не какая-нибудь, а «Софистикэйтед леди», Ржавый флейточку взял, Гарики весь утнулся — ах, до чего же клево!

А вот и я сижу, трясу головой, качаюсь, по ляжке слегка прихлопываю, глаза закрываю, и вся без исключения молодежь Жовтневого района трясет, качается, прихлопывает, жмурится, переживает гениальное явление Дюка, воплотившегося в этой жизни в Ржавом, и Гарики, и Юдыке, и Долбеце.

Отдул свое Ржавый, передал Коню — и опять свист, хлопки на горе бедной администрации. А особенно Коле, раздирающему-

ся между естественными чувствами джазового человека, желанием самому хлопать, свистеть — и пониманием, что в райкоме, если узнают, а узнают обязательно, вон, кажется, и сам Гнащенко сидит, секретарь, гадский рот, и будут мозги борать, а главное — вообще могут закрыть лавочку, и не то что джемов до трех ночи — простых вечеров не будет, заставят «У нас во дворе» лабать, и фестиваль, который уже почти пробит на весну, накроется...

Но живой и Коля человек, и он от свинга балду ловит, и свистит еще погромче других! Давай, Ржавый, давай, Долбец, давай-давай!

А музыка уже кончилась. Кочум. Потные все. Дудки по стульям, и пиджак Гариков на стуле остался, а ребята разошлись — кто в музыкантскую пошел кирнуть, кто к друзьям подсел. Под бутылочки «Грушевой» и «Крем-соды» поплыл тихонечко все тот же удивительно популярный в столь отдаленном от «Тропиканы» месте напиток — зеленоватый баккарди из больших бутылок, дешевый, зараза, крепкий, в общем — мужское дело. Кто попроще или понезависимее, особенно из музыкантов, те родную, по два восемьдесят семь, мы ж не стилиаги.

Словом, отдых. Для отдыха же через «маг-8» Питерсона слегка врубали. Жарко только — вот лажа. Но не снимаются кургузые пиджачки, не распускаются даже галстушки, прет модный народ под нейлоном, и уже чуть-чуть текут синие, зеленые, черные веки девочек. И полутьма в зале, как полагается, только на эстраде, где разложены по стульям инструменты да торчат микрофонные стойки, стоит прожектор.

Будто немного во сне все это. Будто немного не со мной. Игра это будто, и играю я в грустноватую ночную жизнь, в одинокое среди старых друзей и единомышленников грустное джазовое веселье. Словом, сон, кино. От баккарди, от свинга, от общего завода. От того, наконец, что, может, сегодня схиляю отсюда после всего, после джема, в ночь с Элкой-Малой, до сих пор мимо проходящей, а ведь можно с ней, это точно известно, все ребята знают, весь университет, и механический весь, и все лабухи, и все, кто в Мисхор летом ездит, и вообще все, да и знакомы мы ведь давно, и рожа у меня сегодня в порядке, еще летняя, еще загар не сошел, и на висках волосы не торчат, и красные носки...

Или вон сидит какая-то, незнакомая, в мини, смотри-ка, не из наших, а клевая чува, и волосы по плечам, как надо, и вообще...

И все это сон, сон, потный детский сон.

Вон Коля подсел к райкомовскому дятлу, как его, Гнащенко. Говорит что-то ему Коля, можно догадаться что. Понимаете, говорит Коля, понимаете, Толик, или Юрик, или Эдик, понимаете, это так принято — свистеть под джаз вместо аплодисментов, вы знаете, я в этом году в Москве был на фестивале джаза во дворце культуры одном, проводил, между прочим, горком комсомола, так все свистели — и никто никому ничего не ховорил. У нас же здесь все студенты, все билеты через комитеты комсомола шли, здесь же с улицы нету, здесь же ни с Шепелевки, ни с Барыховки хулиганов нету, шо вы!..

И солидно кивает Гнащенко, и уже сам прикидывает — а не свистнуть ли, если вот товарищ с Москвы приехал и там на мероприятиях свистят? Шо ж, от современности отрываться нельзя, сейчас не рекомендуют молодежи не позволять веселиться, а, наоборот, открывать молодежные кафе и продавать в них сидро, не смотря на план. Тем более, что и сам Гнащенко был в столице нашей родины той зимой, и через комсомольскую школу пробился в Политехнический, и там от тех Евтушенка с Вознесенским такое слушал, что раньше и билет можно было на стол положить, а ведь это наверняка партийные товарищи, и Евтушенко, и тот же Рождественский, хоть еще и молодые, но знают, что рекомендуется, а что нет. Инструктируют же их у том союзе писателей...

Вон Элка курит «резор», кирает тихонько коньячок из чьей-то бутылки и смотрит на Ржавого — ах, ты, Ржавый, любимый мой лабух, смурная твоя джазовая душа, и злой твой смур, сколько ж из-за тебя Элкой выпито, и выкурено, и проерзано под всякими на пляжах и общежитских простынях! Сука ты, Ржавый...

Вон Долбец, не отвлекаясь, деловито кирнул водочки и забалдел, поплыл, взлабнет теперь Шурик после перерыва, и на джеме палочки ломает, и свалится в музыкантской до самого серого утра...

Вон гордый Гарик, некурящий, молчит, без выражения слушает Юдыка, а тот небось анекдот шепчет, вон и ручищей своей басистской чего-то смешное показывает, а Гарик только чуть улыбает-

ся — красавец Гарик, копия Бриннер, только с волосами, женатый красавец Гарик, недоступная мечта всех джазовых девочек...

Вон незнакомая мне столичная в мини-юбке, взъехавшей до самой той самой, лучшей в Союзе. Оглядывается незнакомая, улыбается снисходительно — что ей весь этот периферийный понт после «Ритма», и «Аэлиты», и «Молодежного», после мимошных вечеров и пластинок прямо из Штатов...

Вон целый столик веселых преферансистов: Борух, и Витя, и Гарик-большой, и Юрка-Декан, и Куцый, и Нинка Гнущенко, красивая девочка, но одета — я тебе дам! чистая Шепелевка, платье в розочках. Большой кир идет за их столиком, коньяк киряют, видно, хорошо поиграли вчера в механическом, сотню, а то и две сняли за ночь...

Вон и Морух появился, схилял, видно, из своего кабака, спешил, хоть виду не подает, сакс свой знаменитый тащит, а место ему уже освободилось, понятно, рядом со Ржавым, вот они, великие-то, сидят рядышком, о знакомых, наверно, беседуют, о смурном Сонни Ролинсе, о таинственном Орнетте Колмане, о неведомом простому джазмену Колтрейне, о хард-бопе и куле, о Гараняне и Козлове, об авангардных своих делах...

Вон в дверях и бригадмил бдит, курирует стилиг и лабухов, инструменты рассматривает. Вон и Володя там мелькает, в глаженных брюках, с расковыренной переносицей под косым чубом, с боксерскими выстриженными висками, на девочек косится с презрением, ни одной чистенькой небось нету, по кафе да ресторанам целки оставили, проститутки...

Вон и весь народ киряет, потеет, и сами дружинники под киром, и сам Гнащенко подмышки проветривает, расстегнув пиджак.

И чешет Петерсон босса-нову с пленки, принесенной главным городским коллекционером, у которого и пластинки американские, и стерео первое на область, и даже открыточки с Пресли и Джеймсом Дином. Поскольку живут родственники Сашки Нузмана в Филадельфии и лет пять назад объявились, и стал жирный, вислоносый и сильно уже немолодой Сашка — за тридцать — нашим джазовым королем...

Кафе «Юность». Тот же вечер. Девять часов сорок минут.

Докурили, допили, разобрали инструменты — и как взыграли, с новыми-то силами, с заводом после кира! И вышла Элка, ткну-

лась в микрофон, а он сегодня на удивление не вяжет, и сразу — эх! О, тискет, о, таскет, май литтл йеллоу баскет! Ну, Элка, врезает! Ну, наша Элочка! Элка, давай!

По черному шоссе, под все холодающим небом, под ветром, от аэропорта уже в город ведет Грин свою коричнево-бежевую одной левой, а правую, как положено, под солнце-клеш, выше чулка, еще повыше... Миша, не надо, Миша, ну, Мишенька, не здесь, я так не хочу, не люблю, ну, Миша, я же к вам еду, Миша, я тебя прошу, не надо! Шо ты, маленькая, какое может быть не надо, усе в норме, сейчас приедем, подкеросиним немножко, у меня какие-то виски есть, с Киева привезли, музыку послушаем, записи есть американские, мах «Гурюндик» с Одессы привез, все будет как у кино, Лидочка, лапочка, ну, не дергайся...

Спит охраняемый спецобъект крепким и счастливым сном. Спит чувствительная девушка Галя на модной деревянной кровати с инвентарным номерком, спит, улыбаясь, снится ей, видно, мини на ее красивых ногах, мальчики с английскими шутками, снятся руки приезжей подруги Лены, и с улыбкой переворачивается она на живот, обнимает подушку, поджимает, подтягивает к животу ногу, а другой — сбрасывает, спихивает на пол одеяло. Жарко Гале.

А за окном сидит, нарушая инструктаж, на освещенной наполовину террасе сержант Гнущенко, курит восьмую «приму», за голову держится, эх, до чего же дойшлы, сикухи, а товарищ Гнищенко небось и не знает, бедный, в яком ховне его дочка шкрутится, да и у второй, мабуть, батька непростой человек, с самой Москвы приехала, и машину к самолету посылали... Ах, сучки, вы, сучки!

Тут и появляется — сначала в мыслях сержанта, а потом и тенью за немеркнувшим окном большого дома на центральной площади — еще одно наше действующее лицо, товарищ Гнищенко. И объяснять ничего не надо, поскольку Гнищенко — эту фамилию в нашем городе не объясняют.

Встала тень, прошлась от стола к двери, вдоль совещательного столища и ряда стульев, вернулась, боржому попила. Тоже и отцу жарко, не хуже дочки, да разный только у них предмет возбуждения. Вот накрутила тень вэче... Алло, здравствуй, Федор Тарасыч. Ну, что слышно? Не кончился еще? Так, понял. А на улицах? Порядок? А сам? Прилетел? Понял. Понял. Понял.

И голову задрала тень — будто можно увидеть сквозь потолок во тьме ночи огни шпарящего с юга истребителя и странного пассажира, спешащего к своей судьбе этим непассажирским транспортом. Нет, ничего не видно сквозь потолок даже товарищу Гнищенко. Звонит в неурочное время телефон, снимает тень трубку. Да, слушаю. Что?! Да вы с ума посходили там все, что ли?! Завтра будем говорить, на бюро, поняли? Вы демагогию не заводите! Сейчас меры принимайте, мать... И докладывать мне!..

Отпела свое Элка. Дошла, мокрая вся. И тушь течет, и зеленая краска, и платье красное промокло под мышками, и хороша она сейчас лицом, как не бывает, конечно, хороша ни днями в своем механическом, ни ночами даже на крымских пляжах, ни, конечно, утрами после всего. Хороша, и курит красиво, и киряет красиво, и идет танцевать красиво.

А твист уже всю гуляет по комсомольскому мероприятию. Юдык отставил бас, взял гитару, орет, что твой Чабби, — эх, твист эгейн, лайк ви мэйд, значит, ласт саммер!

И все твистуем, крутим задницами, и я твистую с этой незнакомой, которую, оказывается, зовут Леной, и приехала она, как и следовало, из Москвы, и учится в инъязе, и вообще — полный порядок! Твист эгейн, ребята! Твист эгейн, чуваки, все клево, твист эгейн!

Твист эгейн, кричит Юдык, выставляя по-битовому гитару грифом вперед, как автомат, приседая в своих узейших черных брючках, даром что перешиты из тех, в которых пришел с флота, выглядят как на Джонни Холидее, и носочки из-под них белые, и туфельки востроносые, хоть и за девять рублей местного розлива, а на Юдыке — как австрийские, и рубаха в клетку расстегнута до пупа, воротник поднят по джеймс-диновски — ох, твист эгейн, честное слово!

Все твистуем, и на Гнащенко дивятся дружинники, поскольку и райкомовский товарищ жопой пошел крутить — кочумай, ребята, твист эгейн!

Да шабер с ним, с этим джемом, говорит Борух.

И Юрка-Декан его поддерживает — шо нам слушать этих поцов, поехали к Грину на пулю.

Буди Нинку, говорит Витька, совсем скирялась бедная сосалка.

Да не разбудишь ее, говорит Юрка-Декан, задрушлая, как у себя в хате.

Ну, оставь ее тут, говорит Борух, оставь ее вот тут, в пустом халдеробе, пусть продрушляется.

А она, смотри, уже обсурлялась вся, куда ее в машину, говорит Юрка-Декан.

Поехали, поехали, сжиливаем, говорит Борух.

Очень они любят джазовые слова, эти здоровые ребята, ядро университетского волейбола, горе и рок крымских пляжных фраеров, преферансная элита, двухметровые двадцатилетние аборигены, очень они любят весь джазовый понт — кроме музыки, конечно.

И отъехал «москвичок».

Спит в гардеробе, среди пустых железных стоек бедная сержантская дочка. Спит, сидя на полу, на мокром подоле выходного штапельного платья в розочку.

А «москвичок» помигал задними фонариками — и нет его. Твист, как говорится, эгейн.

Твист-твист, рок-а-билли, твист-твист, орет Юдык, мокрый как мышь.

Ржавый подыгрывает в унисон с Конем — твист-твист!

И Долбец успевает вставить брэйк — рок-а-билли!

И Гарик чешет октавами, так что того гляди развалится фоно.

И отчаянно прыгают по струнам молоточки, и вся эта открытая механика ходуном ходит на виду у танцующих — передняя дека снята, и микрофон пригнут к самым струнам. Твист-твист!

Тот же вечер. Одиннадцать пятнадцать.

Извините, говорит Леночка, извините, я скоро приду. И он понимающе улыбается — мол, в чем дело, мы же не ханжи, не в деревне, в дабл так в дабл, счастливого пути и полной удачи, и машет даже приветственной рукой.

Я сажусь за свой столик, и по полному праву наливаю себе хороших полстакана баккарди. Это наша с Колей пополам бутылка, и я имею право на хороший мужской глоток, пока жду подругу.

Подруга еще видна — вот она пробралась через зал, протиснулась в вестибюль, прошла мимо гардероба, покосившись на что-то, даже остановившись на секунду, — и скрылась за углом, там, где, я знаю, за пыльной занавеской есть, одна на оба пола, дверь с

длинным крючком изнутри, а за дверью желтая раковина. И противостоит естественно грязный унитаз — за еще одной внутренней дверью, с еще более разболтанным крючком. На передней двери толстой прерывающейся красной линией — цветным карандашом — написано «туалет».

Сейчас она уже моет руки. Надо будет потом незаметно позвонить матери, что ночью у Юрки... И куда? Можно, конечно, к тому же Юрке — если она пойдет... Можно на Веселый остров... Хотя уже холодно ночью. В пиджаке ничего, если идти, а если сидеть... Октябрь. Вот черт! Ну где же ночной отель и портье, у которого нужно записаться как мистер и миссис Смит?

Музыканты наконец кочумнули, устал Юдык, и все устали, задохнулись, садятся. Сейчас все отдохнут, еще кирнут, Коля объявит официальное окончание вечера — и начнется джем! Вон уже Морух открывает футляр, вон еще какой-то незнакомый, с бородой как у Монка, это, наверно, тот, из Вильнюса, про которого вчера говорил Колька, достает альт... Ну, сейчас будет джем!

В тот момент, когда Морух достает из коробочки новую трость и начинает вставлять ее в мундштук, когда я допиваю ром и ставлю стакан, когда Гарик приподнимается на стуле, чтобы придвинуться ближе к педалям и начать, — из вестибюля раздается крик. Это очень громкий женский крик, не понять слов, и даже я не сразу соображаю, откуда он раздается. Но одно я, как ни странно, понимаю сразу: это кричит моя новая знакомая, Леночка из московского инъяза, столичная гостя.

Потом, когда все бросились туда; и даже Гарик, приподнявшись со стула, не придвинул его к пианино, а встал совсем и сделал шаг к вестибюлю; и Морух положил мундштук снова в футляр и обернулся; и прибалт весь дернулся и улыбнулся на всякий случай; и когда, сквозь уже начавшиеся команды дружинников «Куда?! Куда?! Все в зал вернитесь! Пройдите!!! Здесь не кино!» прорвался второй ее крик — я разобрал слова и одновременно понял, откуда она кричит.

Она кричала оттуда, из-за пыльной занавески, оттуда, где красной прерывистой карандашной линией было написано «туалет». И кричала она вот что: «Дверь! Закройте дверь! Дверь!»

И сон кончился. И я протрезвел. И началась ночь...

Так не играем, Грин, сказал Борух, это не игра, ты дергаешь.

А за такие слова, хлопчик, можно свободно получить ув хлеба-ло, сказал Грин, ты меня за руку держал чи как, шо ты ховоришь, я дергаю?

Ладно, не дергаешь, сказал Борух, но играть больше не буду.

А кто это у тебя там вякает, Грин, спросил Юрка-Декан, кто это там у тебя вякает в спальне, а?

Да, сказал Витька, кто, вроде чувиха?

Да зассышка одна, сказал Грин, понял, покушала, попила, понял, и не дает, так я ее на усякий случай к койке пристехнул, пусть отдохнет, подумает, шо оно такое жизнь.

А ты сука, Грин, сказал Борух, сейчас я тебе так вломлю, что ты все поймешь, сука ты рваная.

Хнида, ховно, падла, сказал Куцый, я тебе сейчас по яйцам засажу, так ты от чувих на всю жизнь отстанешь.

Бросьте, ребята, схиливаем отсюда, заборайся он в рот с его чувствами, сказал Юрка-Декан, шо у нас, своего горя нету?

Нет, сказал Грин, вы не спешите, мальчики, вам не надо спешить, усе равно с вами ребята с Шепелевки и с базара разберутся за такую хрубость до мене, хлупые вы дураки, и ты, Борух, мудило ты бед...

И врезал Борух.

И врезал Грин — даром что толстый, а удар крепкий, не кисьель, и правильный, злой, точный — прямо в дыхало.

И лег Борух.

И Куцый уделал Грина ровно в хлебало, будто блок пробил на первенстве «Буревестника».

И лег Грин.

А Юрка-Декан сгреб все башли — и к двери, кочумай, чуваки, хватит ему, насовали, пошли.

А Витька уже в спальню шагнул и увидел, какая же все-таки сука Грин. Фашист, падла! А может, это и к лучшему, что фашист. Потому что трусики в тот год у всех наших девочек были одинаковые, египетские появились, а лица, как и всегда, разные. И увидел Витька только желтое солнце-кlesh, задранное на лицо и связанное над головой бельевой веревкой, а конец веревки — к спинке кровати, и арабские трусики. А больше ничего не успел

увидеть — шагнул к кровати, отвязал бельевую веревку — и едва устоял, отскочил от удара в живот оранжевыми кудрями.

И вылетело неузнанным существо из проклятой хаты — вот и вся благодарность освободителям.

Да и правильно. Узнали бы — и не жить бедной Лидке в университете, потому что и благородные игроки — они тоже люди. И, скорей всего, ездила бы она с ними еще года три в Мисхор, и возвращались бы они с промысла своего под вечер, и шли бы в приморский кабак, и возвращались бы опять под большой балдой, или, уже на третьем году, в большом кайфе, и спали бы в одной незаконной пансионатской комнате, и совсем бы она с ними, по доброте и симпатии, заборалась, или, года через три, затрахалась бы. Не дай Бог...

Но схиляла она.

Вот сука, мы за нее под Грина встали, а она ни здрасьте, ни спасибо, говорит Юрка-Декан.

Молчи, ховно, говорит Борух, Гринов дружок.

Тормозни и хиляй ты по прохладе, а мы так пошли, говорит Куцый.

И они уходят.

Давай, хнида, деньги, говорит Витька, вот твой четвертной, и чеши отсюда, и на тренировку не приходи.

И хер бы с вами, говорит Юрка-Декан.

И они уходят, спускаются с холма и идут по уже совсем темному бульвару.

И отшвыривает ногой обрывок бумаги Борух, а что это за бумага — то ли то самое объявление о приеме на подготовительные курсы, то ли просто газета — кто же теперь знает.

Давно это было, двадцать пять лет назад.

Темно на юге ночью в октябре, и ветер свистит — хоть и не слишком холодный, но осенний, нудный ветер.

И светит во тьме одно окно в большом доме на центральной площади, светит прямо над памятником. Алло, Федор Тарасыч, это опять Гнищенко беспокоит... Сам позвонишь? Понял. Понял. Понял... Алло, дежурный? Ну, что там, разобрались в «Юности»? Это Гнищенко говорит... Так. Понял. Понял. Понял.

А сержант Гнущенко тем временем уже и с дежурства сме-

нился, и в отделение пришел. И ничего не понимает, что говорит ему дежурный капитан. Який такой общий выезд, яка така чепе? Шо ж, я, товарищ капитан, права на отдых не маю? Слушаюсь. Слушаюсь.

И садится Гнущенко в опермашину, и сидит в ней минут сорок. А де ж воны, остальные? Як это, нема кому ихать? Я з дежурства — и иду, а бильш нема кому? Ув «Юность»? А шо там такое, шо то за «Юность»?

Сидит в «газоне» Гнущенко, ждет, пока соберется опергруппа. Волнуется товарищ Гнущенко, а опергруппе на это волнение форменным образом тыфу пять раз — нема кому ехать, и все. А сержант уже и сам весь нервничает, потому что вспомнил он безобразия, которое видал сегодня на спецобъекте, и дочку Нинку вспомнил, и сам не знает почему, но рвется он в эту «Юность» и боится чего-то, а чего ему бояться-то? Ах, Нинка, Нинка, доча моя...

В крике и ужасе, который рухнул вдруг на оттивистовавшее уже заведение — навсегда оттивистовавшее, не знают еще этого ни Коля, знающий все, и ни даже сам товарищ Гнащенко, да кто теперь Гнащенко? До ближайшего бюро горкома он Гнащенко, а потом никто — в крике и ужасе ожил Володя. Как и почему он принял решение именно никого не выпускать из опозоренного кафе? Почему сразу стал в дверях, широко расставив ноги, еще ниже свесив косою чуб на расковырянную переносицу, заложив руки за спину?

Может, какой-то вражеский опыт всплыл, из любимой книги писателя Дольд-Михайлика, из многократно читанных эсэсовских облав, многократно смотренных гестаповских визитов... Шнель, шнель! Конечно, говнюки они были, что на нас полезли. Но что умели, то умели — и фуражки высокие, и ноги расставить, и вообще — шнель, шнель...

А может, навела его на эту идею сама пострадавшая, проститутка из этих, курящих, в коротких юбках, с диким москальским выговором, сидящая на полу в сральне, стреноженная полусодранными трусами, в размазанной по морде сине-зеленой краске пополам с соплями и слезами... Она сидела, будто ноги отнялись, и, даже трусы не подтянув, рожу не закрыв, монотонно орала: «Дверь! Закройте дверь!»

Потом оказалось, что она просила закрыть дверь в туалет — стеснялась, сучка. Когда кто-то из ребят сунулся к ней, хотел поднять — может, побитая сильно? — пнула, сикуха, его ногой, завизжала совсем по-черному: «Дверь! Сволочи, гады, дверь!..»

Тут-то Володя и решил все. Ему надо было решать, поскольку был он старшим наряда, и он решил. Выход перекрыли, быстро загнали всех в зал, двое стали в дверях зала — присматривать, за окнами следить, двое оттащили эту, из сортира, в музыкантскую. Кое-как юбку ей опустили, с вырванным клочком мини-юбку, она перестала визжать, прошла спокойно, лицо только от зала отвернув, завесив его волосами, села в музыкантской на сломанный стул, сказала тихо: «Милицию вызовите». Будто без нее, дуры, не догадуются.

Туда же отволокли и пьянь обоссанную из гардероба, та и не проснулась, ногами скребла по полу, бросили ее у стены, а музыкантскую заперли на всякий случай — нашли ключ у перепуганной, не понимающей ничего буфетчицы.

И зажгли в зале полный свет — хватит, доигрались в темноте, плесень, стилиаги, одну споили, другую не то изнасиловали, не то просто в лоб дали — хватит!

Мы сидели за теми же столиками, словно и не было ничего. Может, и правда не было? Только свет кто-то зажег, и все стали бледные, да эти поганцы в дверях, да еще двое — у запертой музыкантской, а все как было.

Мы молчали, и молчали уже так долго — не то полчаса, не то час — что уже и невозможно было заговорить, и пошевелиться, и даже просто вдохнуть глубоко. Да и нечего стало вдыхать, потому что при закрытых окнах стало еще жарче и душно невыносимо.

И первой заговорила Элка. Кочумай курить, сказала она тихо Коню, кочумай курить, здесь воздуха нет.

И Конь пошевелился, задавил сигарету.

И следом за ним пошевелился Ржавый. Он сначала пошевелился как-то неловко, не то удобнее пересел на стуле, не то подвеску для дудки вокруг воротника поправил, но оказалось, что это он встает.

И он встал.

И в нестерпимо ярком свете, бледный, прошел к дверям, обходя столики, протискиваясь между стульями, и когда он проходил, то те, кто сидел спиной, не оборачивались, а те, кто лицом — не смотрели, их взгляды обходили Ржавого, как обходят они на улице пристроившегося к углу пьяного, а Ржавый прошел наконец к двери и приблизился к тем двоим, посмотрел на них молча.

И так же молча, так же пробираясь между стульями и столами, вернулся на свое место, раскрыл футляр, поднялся на эстраду, взял там свои дудки, разложенные на стуле, сгреб их под мышку, и снова вернулся на свое место, уложил тенор в футляр, флейту и кларнет — в футлярчики, пристегнул их багажным ремнем к большому футляру.

И все это время все смотрели на него, и те, кто сидел спиной, уже обернулись, а кто лицом — не отрывали глаз.

А Ржавый взял футляр с пристегнутыми футлярчиками и опять пошел к дверям, и, дойдя до дружинников, сказал, хватит, ребята, кочуем, всем по домам надо, первый час, а милиция ваша не едет, а всем надо по домам, и вы тут оставьте, кого надо, а я пошел...

Тот, что стоял справа от двери, молча толкнул Ржавого в плечо, так что чуть не выбил футляр. А тот, что слева, тоже молча толкнул Ржавого в лоб, раскрытой пятерней. И Ржавый сделал два шага назад, поставил футляр осторожно на попа, и сделал один шаг вперед, и немного пригнулся, и сзади было видно, что он внимательно смотрит на того, что слева, а тот уже чуть пятится.

И уже Конь приподнялся.

И уже идет к двери Юдык, держа у груди свои гигантские лапы басиста.

И вдруг Гнащенко тонким голосом говорит, вы, товарищи, действительно, неправильно действуете, вы лучше милицию вызовите, а товарищей отпустите по домам. Все и забыли про этого Гнащенко, а он вдруг не свой голос подал.

Но его уже никто и не слышит, и даже Коля про него забыл, и снимает серебристый пиджак, и уже едва ли не сжимает свой кулак, которым он прошлым летом в колхозе на спор доску в заборе пробил.

И уже заводят свою обязательную песню девочки, ну не надо, мальчики, надо с ними поговорить.

И уже я думаю, что если порвут рубашку, то и черт с ней, она от стирки все равно желтеть начала, и что хотя там, у двери, и без меня достаточно ребят, чтобы насовать этим засранцам, но надо будет и мне вставать, вот сейчас, и идти. И сразу, издали, ногой повыше, того, что справа, потому что про него все забудут, а он-то, пока все будут за Ржавого с левым считаться, он-то и может кому-нибудь как следует вломить, и надо но...

Из-за двери, из-за спин тех двоих выходит Володя. Он идет твердо, как будто долго идет по длинной дорожке, и распрямляется, и косою чуб красиво падает на лоб, и прыщи побледнели.

Он достигает Ржавого, я уже стою немного сбоку, и мне все хорошо видно.

В страшном ярком свете, заливающим зал, Володя притягивает к себе Ржавого за подвеску, за черную, перехваченную пряжкой ленту вокруг шеи, с крючком-карабином для дудки, притягивает и коленом бьет Ржавого по яйцам, и Ржавый даже не кричит и не ругается, он только сгибается, и зажимает ладони между ногами, и так, согнувшись, отступает к своему месту, сначала спиной, потом поворачивается, но не разгибается, и пробирается опять, опять к своему месту, между стульями и столами, и те, кто сидел лицом, смотрят не на Ржавого, а на Володю, который командует одному из своих, возьми, указывает он на футляр Ржавого, и отнеси этой падле, а то потом скажет, что мы украли его трубу.

Ржавый уже сидит на своем стуле, согнувшись, прижав грудь к своим коленям, а над ним стоит — она одна стоит во всем зале — Элка, и курит, и смотрит вниз, на Ржавого, и курит, стряхивая пепел в ладонь.

Так проходит еще час, потом я смотрю на часы и вижу, что с того времени, когда Лена ушла в уборную, прошло только двадцать пять минут, может, тридцать, не больше.

Первым это сказал Конь. Заборемся мы здесь их милицию ждать, сказал Конь, небось в мусорской все накирянные, а мы их жди. Давайте лучше влабнем, сказал Конь.

И пошел на эстраду, взял свою трубу, вынул мундштук, потряс им, и вытряс слюни, и вставил мундштук.

А Долбец уже пристроился за барабаны, взял палочки, сложил их вместе, крутнул и вывернул ладони, разминаясь.

А Гарик сел за фоно и чуть проехался по хроматической.

А Морух тогда снова открыл футляр, и вставил трость, и вышел, прицепляя свой белый тенор, и наклонил к плечу голову, ожидая тему для джема.

А прибалт, дергая бородкой, засосал свой альт и тоже стал ждать тему.

А Долбец стукнул сначала слишком громко, но все сразу поняли, что это кажется слишком громко от яркого света, а Гарик дал тему, «Ворк сонг», а Долбец дал ритм, а Юдык забубнил своим басом, и разом, аккордом, вступили прибалт и Морух, а Ржавый глядел на них, задрал голову от колен, не разгибаясь, и слезы текли по его красному от проходящей боли лицу, а Элка бросила сигарету в пустую бутылку от «Грушевой», и пошла на сцену, и встала за фоно, оперлась на крышку.

А Морух уже начал соло, длинное, и кто-то первым захопал после его соло, и все захопали и засвистели после соло прибалта, короткого и буйного, и Элка выгнанцевала к микрофону и выдала скэтом свое соло, и Ржавый, разогнувшись, стал открывать принесенные по команде Володи футляры, и вытащил флейту, и, еще согнувшись, но уже не очень, пошел к эстраде, и Долбец сделал короткую сбивку, и Юдык забулькал, запел и оборвал, а Ржавый уже добрел со своей флейтой до микрофона и засвистел, ох, клево засвистел Ржавый, и квадрат он свистел, и второй, и шестой, и все забыли, что это Ржавому только что засадили по яйцам, и хлопали, и орали, и раскачивались, отбивая «Ворк сонг» ладонями по ляжкам, и вступила Элка со своим скэтом, вместе с флейтой Ржавого, и они вдвоем повели тему, и вступил прибалт, стоя подальше от микрофона, чтобы не заглушать Элку и флейту, и вступил Морух, и они выдали такой кристал-хорус, когда Ржавому кто-то подал его тенор, и Элка закочумала, отошла, танцуя, и раскачиваясь, и прихлопывая себя по бедру, а дудки выдавали кристал-хорус, и все мы оцепенели, и мурашки поползли по нашим джазовым спинам.

Прекратите, заорал Володя, кончайте свою музыку.

Но никто не услышал его крика, и те двое, у дверей, тоже немало раскачивались и прихлопывали, и те двое, у музыкантской, тоже, а Конь уже визжал свое соло и снова взлетел в черное небо, к Сачмо и Дэвису, и планировал оттуда к Андриюше, и сам по себе

кружил в этом черном небе, один со своей рабочей песней, а потом была пауза, и брэйк Долбеца, и его артиллерийское соло, а после соло Ржавый взял кларнет и задул «Александр рэгтайм бэнд», и тут вдруг пошла танцевать Элка с каким-то парнем из механического, и потом все, все ринулись в недавно оживленный, но уже отживший свой короткий ренессанс чарльстон, выбрасывая в стороны веселые ноги, подпрыгивая, сходясь и расходясь в тесноте между стульями и столами. А кто-то уже заорал, а теперь шейк, шейк, шейк, чуваки, давайте шейк — кто-то из наших университетских, из самых авангардистов.

Но рухнул микрофон, сдернутый с эстрады за шнур Володей.

Замолчали музыканты, только Юдык еще один такт отбухал.

А Володя уже дергался, кричал, махал руками, и раздвигались, пятились от него все, и подчиненные боялись подойти к своему вождю, потому что был это уже настоящий припадок.

Суки, орал Володя, рваные суки, бляди, и девки ваши проститутки, хватит вашей американской музыки, хватит, одни еврейчики и стилиги. Пляшете, суки, орал Володя, а в цеху пахать — нету вас, в институтах учитесь, штаны американские покупаете, рокенролы танцуете, а девки ваши проститутки, курят, ни одной нет целки, а вы все еврейчики ученые, а Гагарин, что ли, для этого летал, а космонавты сейчас для этого, что ли, летают, чтобы вы тут под американский джаз плясали, суки, проститутки.

Кричал Володя, дергался, схватил неведомо как оказавшегося у него под рукой прибалта за горло, едва вырвался прибалт, врезал Володя своему же бригадмилыцу, когда тот попробовал схватить его сзади поперек рук, да так врезал локтем в рожу, что сразу залился кровью малый, а Володя уже стул схватил, фанерное, голубым крашенное сиденье на железных раскоряченных ножках, и этим стулом — по столу, по бутылкам, по чьим-то головам.

И, опомнившись, кто-то из ребят уже крепко сунул Володе сзади по затылку, может и бутылкой сунул, потому что кровь потекла по стриженому этому затылку, но не почувствовал ничего Володя — жизнь его заели эти еврейчики, и стилиги, и лабухи, ученые гады из университетов и институтов, не желающие знать порядка, не понимающие, какая сила и красота во всем этом — в летающих сейчас космонавтах, и в песне «Маленький цветок», и в на-

стоящей дружбе, и в самом Володе, который хочет порядка, и хорошей музыки, и уважения к простым людям, которые пашут, и пашут, и пашут, а живут в общежитии, и нету у них дурных червонцев, чтобы ходить по кафе и обжиматься, и танцевать твист с этими проститутками...

Гнущенко вошел в кафе первым и увидел беснующегося Володю. Гнущенко подошел к нему сзади, ткнул кулаком в почки, поймал этого падающего прыщавого пацана с окровавленным затылком и обернулся к идущему следом молодому старшине из Центрального отделения — по дороге захватили в опермашину, для поддержки, поскольку всей группы нашлось — сам Гнущенко да помощник дежурного из их Жовтневого отделения. Отведи у машину, сказал Гнущенко, отведи хражданина у машину. Усе сидайте по местам, сказал Гнущенко нам, для составления протокола. Хто затеял безобразия, то исть драку? Хворить быстро, зараз свидетелей перепишем, и по домам усе пойдете.

У Гнущенко неожиданно сделалось хорошее настроение: он сразу увидел, что Нинки нема тут, сыдять, мабуть, доча дома, спыть, а эти... ладно, зараз протокол, а утром будут с ними ув институтах разбираться.

Тут Гнущенко увидел прибалта. Тот сидел на стуле, задрал бороду, крутил головой, разминал шею, на которой уже проступили багрово-синие пятна от Володиных пальцев. И этого, сказал Гнущенко вернувшимся в зал старшине и помощнику дежурного, младшему сержанту из москалей, и этого тоже у машину, он, мабуть, и зачав...

Ты, Гнущенко, не дури, сказал младший сержант тихо, в отделение звонили про изнасилование, а ты двоих за драку берешь, ты разберись, протокол нужен, свидетели...

Яке знасиловання, сказал Гнущенко, яке ще знасиловання — и снова стало ему тоскливо, тошно на душе, а ну, як Нинка дэсь тут, а он не заметил? Яке знасиловання?

И тут вышел Гнащенко. Товарищ сержант, сказал он, я работник райкома комсомола, наблюдал за проведением вечера отдыха молодежи, когда и произошло... в общем, неприятность. Девушка вот здесь находится в комнате, под ключом, а товарищ, которого вы увели, он из комсомольского оперативного отряда, поддерживал по-

рядок и пострадавшую девушку задержал, но повел себя впоследствии неправильно, в связи с чем...

Погоди, сказал Гнущенко, дэ твои документи, кражданин? Гнащенко достал удостоверение, Гнущенко прочитал удостоверение, покачал головой — ну, товарищ заведующий отделом, шо ж вы в таке мисто ходите? На шо оно вам, с хулиганьем тут видпочивати? И яка пострадавшая, який последственный, ничего не поймешь... Однако на дверь под ключом кивнул старшине...

Сколько это все продолжалось? Может, всю ночь. Мы сидели, стояли, молчали, и дружинники молчали, не вступались за своего фюрера, и музыканты стояли на сцене, с инструментами, потные, и Ржавый стоял, все еще полусогнутый, и Элка, потная и очень красивая.

И мерзкий яркий свет наполнял зал, и девочки, в раскисшей краске, в пропотевших платьях и блузках, начинали дрожать, понимая, что это уже всерьез и что можно за такое вылететь из института, и уже заплакали тихонько...

Старшина открыл дверь и не успел шагнуть в музыкантскую — отстраняя его, оттуда вышла Лена. Вид у нее был такой, будто не она полтора часа назад сидела на полу уборной и кричала невнятные слова — вид у нее был такой, как будто она собралась на занятия в свой ингъяз, только волосы не успела причесать.

Она прошла к дверям и, подойдя вплотную к Гнущенко, — черт ее знает, почему она поняла, что он старший, — сказала:

— Я пошла в туалет. Ко мне ворвались и... изнасиловали, — она чуть запнулась, но и это страшное слово произнесла твердо. Девочки тихо застонали. — Это был... он. — Она обернулась к эстраде и показала на Ржавого. — Я запомнила его.

И она прошла в дверь, мимо посторонившихся милиционеров, и вышла, и скрылась в ночи, и исчезла навсегда. И только мелькнуло: вот о чем-то беседует она с отцом подруги Гали, с самим товарищем Гнищенко; вот молча собирает чемодан, а рядом стоит подруга Галя и смотрит на нее с откровенным восхищением; вот сидит в самолете, разворачивающемся уже над Москвой; вот выходит из «победы»-такси возле одной из высоток, едет в лифте; вот какой-то мужчина, в белой рубашке с галстуком, завтракающий в одиночестве, встает ей навстречу и дает пощечину такой силы, что

летит Лена на кафельный кухонный пол; вот лежит она на этом полу и смотрит на этого мужчину, конечно, отца ее, улыбаясь, смотрит, явственно улыбаясь, смотрит снизу, от пола, на твердо выходящего из кухни мужчину, надевающего темный пиджак в прихожей, захлопывающего за собой дверь. А вот и прощание наше с нею: встала с пола, спокойно пошла к телефону, потирая щеку, набрала номер... И-1-25... Алло, можно Игоря, Игорь, это я, да, уже приехала, я тебе звоню, чтобы ты не волновался, ничего не надо, и не надо ничего говорить ни моему папе, ни твоему, все в порядке, ты можешь не жениться на мне, ты сволочь и трус, и мне никогда не было хорошо с тобой.

Почему же показала она на Ржавого? А черт ее, суку, знает. Может, потому, что очень плох был ее мимошный Игорь рядом со Ржавым. Или слишком хорош был сам Ржавый. Или мы все. Неизвестно, и уже не узнаешь...

Еще чего, опять первым опомнился Конь. Да здесь сто человек, товарищ сержант, и все видели, что Ржавый... Какой еще Ржавый, говорит Гнущенко. Ну, вот этот, Анатолий, говорит Конь, никуда не выходил, а все время играл. А шо ж тревогу на весь город подняли, говорит Гнущенко, аж до самого... ладно, короче, сейчас протокол...

Тихо я проскальзываю в открытую дверь музыкантской.

Там сидит на полу Нинка Гнущенко, еще пьяная, но уже сообщает. Папка, сидит она, указывая на дверь в зал, там папка мий...

Кочумай, Нинка, говорю я, кочумай, надо схиливать отсюда.

Там, в зале, пишут протокол, потом слышатся новые голоса, к кому-то обращается Гнущенко — товарищ майор, докладываю: в кафе «Юность» произошло происшествие, которое, значит, случилось зناسлованья... Идите, сержант, идите в машину, говорит новый голос, там у вас задержанные, а мы сейчас разберемся. Граждане, для предварительного опроса подходите по одному, не задерживайте себя и других... Так, Рудый Анатолий... Отчество? Где работаете, учитесь?..

Схиливаем, шепчу я Нинке и тяну на себя окно. Конечно, даже шпингалеты здесь не закрыты, просто рама разохлась и плохо открывается, но открывается, все же открывается понемногу, только бы не услышали.

Я, наверное, раньше всех понял, чем это может кончиться. Вылетишь из университета — и все. Я-то догадался, к кому в гости приехала эта Лена. Да она сама сказала — у подружки... там, на Нагорной дом, знаете... Похвасталась, гадина... ведь не мог быть это Ржавый, он все время в зале был, зачем ей это.

Схиливаем, Нинка, ну, а то сейчас тебя твой отец тут найдет, мокрую... давай, давай...

Там, в зале, несмотря на старания майора, стоит шум, все говорят за Ржавого, доказывают, что не мог он.

Ну и докажут, ничего с ним не будет, со Ржавым. А вот с Нинкой будет, и со мной будет, потому что к моим-то пропускам только письма из милиции не хватает декану.

И наконец он осиливает раму, и вылезает, и спрыгивает с невысокого первого этажа в какой-то мусор, в свалку какую-то, и тянет из окна подвыпившую девицу, и они уходят в ночь.

И уже через десять минут не видна была нам даже сломанная неоновая вывеска, и сгнуло кафе «Юность» — а скоро и вообще сгнуло...

Через Детский парк бредем мы с Нинкой, почти не различая дорожек.

Ты с физического, спрашивает быстро трезвеющая на холоде Нинка, да, ты с физического? Я тебя знаю, ты твист сильно танцуешь, и в кавээне, да?

Да, говорю я, я тебя тоже знаю, ты с биологического, Нинка Гнущенко, ты с этими, с Борухом и дружками его, пришла, напилась...

Она только вздыхает. Юбка мокрая, говорит она, ты не знаешь, почему у меня юбка мокрая?

Да уж догадаться можно, говорю я с добродушным смешком.

Уже завожусь, видно. Уже совсем чувствую себя добрым дялюшкой-спасителем. И, конечно, она плачет, а он ее утешает... Тьфу, ну и говно я!..

Дай закурить, говорит Нинка, и мы закуриваем. Отвернись, говорит Нинка, я юбку выжму.

Да ладно тебе, говорю я, сильно, что ли, мокрая?

Да нет, говорит Нинка, она уже почти просохла, и знаешь, ты зря так думаешь... это меня чем-то облили, наверное «Грушевой», даже липнет от сахара.

Ну, «Грушевой», великодушно соглашаюсь я.

Мы сидим с Нинкой на скамейке и курим, глаза уже привыкли к темноте, я вижу светлые Нинкины ноги: липкую юбку она высоко задрала.

Ну не надо, говорит она, ну не надо, ты хороший, добрый, да, мне хорошо с тобой, но не надо так, я не могу, мать все узнает, и отец убьет, ну не надо так, лучше вот так, и так.

И она сползает со скамейки, и стоит на коленях на песке дорожки, который все лучше виден, потому что уже начинает чуть-чуть светать. Нинка стоит на коленях, я смотрю на ее макушку, на испорченную, растрепанную бабетту, и ничего не чувствую, кроме неудобства и опасения за брюки.

Черт бы меня взял, что же я за скотина такая?! Ведь она очень хорошая девочка, Нинка, и та, сумасшедшая гадина, сказавшая про Ржавого, Лена, тоже ничего... и Элка тоже, и что же я за скотина?! Неужели я такой гад, что ничего не чувствую, неужели не почувствую я ничего никогда ни к кому, но ведь все, все об этом пишут, не выдумывают же они все?!!

Захлопнула Нинка калитку и пошла к своей хате, к стоящей на самом Шепелевском обрыве совсем деревенской хате, махнула мне, чтобы уходил.

И — тут же забылось все. Вот идет он, добродушный гуляка, возвращается после ночи приключений. Вот идет он, в распушенном слегка галстуке, познавший все, крепко подвыпивший и повеселившийся в ночном заведении, где-нибудь на Пятьдесят Второй стрит, небольшое приключение с полицией — все, все как положено!

И, как положено, выходят мне навстречу, от конца улицы, трое. Грин и еще двое с ним, в тяжелых штанах и черных, очень черных под рассветной серой мглой пиджаках, в капроновых не по сезону шляпах — шепелевские ребята.

Он, спрашивает один у Грина.

Нет, отвечает Грин, не он... но из этих, отвечает Грин, с джаза своего ползет, спросите у нехо, хлопцы, чего он забыл у нас на Шепелевке.

Шо ты забыл у нас на Шепелевке, спрашивает один.

Шо ты забыл, ховна кусок, спрашивает другой.

И меня уже колотит.

Грин, говорю я, что я тебе сделал, зачем ты натравливаешь их на меня, Грин?

И меня колотит все сильнее, а когда колотит, драться нельзя, толку не будет, да с ними драться все равно без толку.

Что натравливает, спрашивает один.

Что, спрашивает другой.

И я стучаюсь затылком об асфальт, и успеваю перевернуться на бок и сжать колени, и носок гриновского хорошего чешского ботинка попадает мимо цели, просто по колену, и они уходят.

Я чищу возле колонки, нажимаю на рычаг, вода вырывается из сплющенного носика колонки широкой струей, мокрой рукой чищу брюки, пиджак, осторожно промываю разбитый глаз, задираю штанину, рассматриваю ссаженное и быстро распухающее колено, промываю и его... И иду к трамваю под внимательными и неодобрительными взглядами потянувшихся уже на смену, на трубный, на вагоноремонтный, на вертолетный шепелевских мужиков. Иду к трамвайной остановке. Шесть тридцать утра. Ночь кончилась. Сильно похолодало, а я еще и в мокром.

Лена собирает чемодан. Галя стоит возле нее, в ночной рубашке, заглядывает в лицо — неужели ж правда, прямо у туалета, а ты кричала?

Борух валяется на диване, не раздевшись, смотрит в потолок, курит.

Ржавый выходит из отделения, с трудом тащит Ржавый футляры со своими дудками, бедный, изуродованный Ржавый.

Коля сидит на подоконнике, что же это случилось с аккуратным Колей, так и сидит, не сняв серебристых брюк, и молчит рядом его «днепр».

Элка стоит у дверей дома Ржавого, мерзнет в своем красном платице и кофтенке, обхватила себя за плечи руками, без выражения смотрит в тот переулок, откуда должен появиться, вот уже появляется Ржавый. И так же, без выражения, смотрит он на Элку.

Гарик открывает дверь своей коммуналки в трущобах за центральной площадью, входит в комнату, тихонько подходит к кровати, на которой спят жена и сын, садится на край кровати спиной к ним, рассматривает свои руки.

Нинка в засаленном халатике возится на кухне, готовит завтрак отцу, вернувшемуся с тяжелого дежурства, а сам Гнущенко сидит в форменных брюках, в бязевой нижней рубашке, босой, смотрит на дочкину спину и думает о чем-то, бедный сержант.

У товарища Гнищенко раздается в домашнем кабинете телефонный звонок. И слышен в сыром утреннем саду вокруг коттеджа пробивающийся через даже закрытое окно голос — Гнищенко слушает, да, Федор Тарасыч, да, понял, понял, понял! Ну, поздравляю тебя...

Грин сидит на кухне и колбасу жрет.

Только Володя не сидит и не лежит. Встает сейчас Володя на подоконник в своей комнате в общаге, прилаживает ремень к ручке оконной рамы, продевает в этот старенький, но крепкий еще ремень тощую шею — и падает, и висит, как висят у хороших хозяев за окнами елки накануне Нового года. Захлопывается от тяжести тела рама, вылетает стекло, большие куски его, планируя, падают на Володю, но уже не больно ему, и уже ботинки его китайские перестали скрести по стене, и уже ничего не страшно Володе — даже то, что найдут в кармане его наглаженных брюк обрывок мини-юбки.

А Лида едет в том трамвае, в который вхожу на остановке «Шепелевский рынок» я. Пуст трамвай, поскольку идет он от заводов, а ночная смена уже проехала, а утренняя едет в противоположном направлении, и трамвай пуст, пуст и насквозь светел, одни мы с Лидой.

Привет, Лидка, говорю я.

Привет, говорит она.

А чего ты в «Юности» не была, говорю я.

А что я там забыла, говорит она.

А откуда ты в таком платье утром, спрашиваю я.

Не твое дело, говорит она.

И мы едем с нею в пустом трамвае. И никогда не узнаю я, что сидела она этой ночью в том же парке, где пыталась поблагодарить меня за спасение Нинка, и ходила по шепелевским пыльным улицам, между деревянными, заросшими заборами, бродила, бродила, пока не потянулся народ на смену и не стали прилипать глаза к ее солнце-кляшу.

Кто это тебя, спрашивает Лида без особенного любопытства,

потому что фингал под глазом в ту пору у молодых людей нашего круга не был ничем из ряда вон выдающимся.

Да так, отвечаю я, было тут...

Знаешь, Никиту сняли, Хрущева, говорит Лида.

Иди ты, кричу я, быть не может, откуда ты знаешь.

Слышала, как на остановке мужики говорили, а ты-то чего разволновался, говорит Лида.

Глупая ты, Лидка, говорю я, ничего не понимаешь. Сейчас все изменится, говорю я.

Изменится, повторяет Лида.

Медленно едет трамвай, почти не гремит, только качается здорово. И мы все едем в этом трамвае. Неудобно здесь будет танцевать, говорю я Лиде, как ты думаешь? Ничего, отвечает Лида, не упадем.

Ит хэппенед ин Мантэрей, поет Синатра, ит хэппенед... Мона Лиса, поет Нат «Кинг» Коул, Мона Лиса... О, Мари, кривляется Луи Прима, о, Мари, дуба-дуба-ду, вторит ему Келли Смит...

Откуда это у тебя музыка, спрашивает она.

А вот из этой штуки, отвечает он.

А что это такое, спрашивает она.

А это такой кассетный магнитофон, который я привезу себе из Италии через двадцать лет, отвечает он.

А почему же музыка оттуда такая, как сегодня, а не та, которая будет через двадцать лет, спрашивает она. Что-то ты плохо придумал, говорит она.

Ничего не плохо, говорит он, просто я через двадцать лет запишу такую музыку на свой магнитофон, мне она тогда еще больше будет нравиться, эта музыка.

А мы поженимся, спрашивает она.

Нет, отвечает он, не поженимся. Ты же ведь не придашь значения этой мимолевой симпатии в пустом трамвае, этим танцам во сне? Наверное, не придам, говорит она. Вот видишь, говорит он, и я тоже сочту это чепухой — подумаешь, потанцевали под Синатру... Завтра ты будешь смотреть с еще большим презрением, чем обычно, на меня и моих джазовых дружков. Ты не простишь нам Грина, хотя меня, между прочим, тоже избил Грин, и вообще, он к нам, интеллектуалам-авангардистам, никакого отношения...

Ну, завел, говорит она, хватит, танцуй лучше...

Ит хэппенед ин Мантэрей... Едет, качается пустой трамвай под рассеянным светом, серым светом октябрьского утра. Синие искры мелькают в воздухе вокруг нас, и музыка слегка подвывает. И из второго вагона смотрят, прилипнув к стеклам, на нас с Лидой, выходящих из трамвая и бредущих куда-то в обнимку, не обращая внимания на утренних людей, смотрят из второго вагона и Коля, и Борух, и даже сам товарищ Гнищенко со своего сидячего места для инвалидов и детей смотрит. И стоят в вагоне все наши лабухи — от Ржавого до Гарика — и сопровождают Синатре. Как они туда попали? А мы и не заметили, затанцевались...

Я выключил видик, на экране телевизора замелькали ярко-синие искры, и музыка, последние такты, стала подвывать. И тут же вошел хозяин.

— Ну как? — заговорил он оживленно. — Здорово, правда? Дружок... на той неделе... из Найроби... представлял там одну нашу фирму, возвращается и, надо же, привозит этот фильм... я прямо вцепился... это ж, говорю, специально для одного моего приятеля... для тебя то есть... здорово, правда?

— Здорово, — говорю я, — только я что-то не пойму... это же именно про меня, ничего не придумано, все точно... И актер похож... при чем здесь Найроби?.. голова у меня, старик, пухнет...

Но хозяин уже не отвечает мне. Он выключает телевизор — чего впустую кинескоп-то жечь, правильно? И меркнет ярко-синий экран «шарпа», и исчезает свет, весь свет. Что ж, все правильно, надо выключить, кончилось кино-то... Кончилось кино.

*МАСЛО,
ЗАПЯТАЯ,
ХОЛСТ*

Ну, ребята, наливай. Чего там у нас сегодня? Смирнофф двадцать первый, мать бы его... А ведь хорошая же водка, натуральная, скажи? А что-то не то... Сладкая, что ли? Или вода у них тут такая? Все натуральное, за фальсификацию тюрьма, а все ненастоящее. Блябуду, ребята, а сейчас коленвал — помните коленвал? ну, при Черненке, кажется, появился, или даже раньше — я этот гадский коленвал вспоминаю. Ведь чистый керосин был, изо рта дизельный выхлоп, а уже кажется, что тот керосин лучше шел, чем эта джинуин грэйн, задавись она конем. И салями ихнее драное, как бумага копченая... То ли было, сосисочек пластмассовых отваришь,пельменей из пачки, котлетку за двенадцать копеек из пекинской кулинарии... Кайф!

Ладно. Я понимаю, что ностальгия. Но разве от понимания легче? Ну, не лезет в меня их grosерия, и дринк не лезет... Ну-ну, давай-ка сюда, мало ли, что не лезет. А воля советскому человеку зачем? Он сказал поехали, и махнул рукой... Ух-х! За их сухой закон! Сухой закон — основной закон социализма.

Я все, как эту бутылку вижу, однофамильца ее вспоминаю, и никак рассказать вам не соберусь. Был у нас один, кое-кто из питерских его тоже знал, Колька такой Смирнов, мазиламученик. Не слышали? Понятно, у вас же в Хохляндии свои были гении и звезды, Задуйкоза какой-нибудь или Поперденко, несли свет авангардизма над широким Днепром... Ну, хорош, что мы, за многонациональное братство драться здесь будем? Слушайте лучше, интересная байка...

Вот. Значит, Колька Смирнов. Москвич он был, насколько я знаю, коренной. Вроде бы в пятидесятые, в самом начале, уезжал куда-то на несколько лет, по распределению, да в эвакуацию с матерью где-то под Пермью припухал, а так — всю жизнь на Маросейке. Кончил он Полиграфический, художник печати, а по главной профессии был стилиста. У вас-то, я думаю, это все по-другому выглядело, да? С одной стороны, беспросветней, наверное, с другой — не настолько сурово... А в столице это целый мир был, целая жизнь! Фарцовка! Пиджачки, знаете, как проверяли? Фирменный вот тут, под воротником, должен был быть подшит суконочкой такой специальной. И показывали, как сыщики: отворачивали вот так... А галстуки! А носочки безразмерные, первый раз увиденные — чудо цивилизации... А ботинки на подклеенных тушинскими артельщиками тракторах... А самоострок, подделки с лэйбалами! Я вчера в лавку пошел, штаны прикупить, разорвались джинсы-то, говно у них теперь... И вспомнил первые свои «Ли», в сантиметр толщиной. Я их как раз у Кольки-то Смирнова и купил, за триста пятьдесят рублей. Какой же это год был? Не помню... До фестиваля еще... Не поверите, вы ж молодые, — вся общага приходила молнию на ширинке смотреть! А я потом мать заставил в старые, из отцовского форменного синего шевиота, тоже молнию вставить вместо пуговиц. Советскую, конечно... А она у меня на пляжах и накрылась! «Рок эраунд зэ» — а у меня яйцеклетка в семейных трусах наружу! Билл Хейли пел, его Хелеем тогда называли, многое через поляков шло. Да...

Где теперь все эти стильные, центровые? Кто в абстракционисты, кто в лабухи... Ранний боп, Пэт Бун, Луи Прима и Келли Смит — все было кучей... А теперь кто где. Кто в родную землю лег, скрывшись. Кто одумался и в большие начальники вышел, в заслуженные, джаз разрешенный играет, соцреализм недобитый добывает остороженько. Кто в Мордовской республике срочок-другой оттянув, на медсестре женился и в передовые шофера вышел... А кто, дожив до шестидесят восьмого — семидесятого, подался на родину джинсов. Я-то, долбец, до последнего сидел, все ждал чего-то, пока чуть дверь не захлопнулась...

Так. Давай-ка, наливай, разволновался бедный старик. Заехал в мемуары. У всех? Ну, будем... Я тогда за дудку и взялся, Хоукинса пытался снимать, на танцах в цэдэса лабали. Пиджачок у меня был!.. Плечи, разрезик в глубоком тылу, в кармане платочек пришит... Весь барак мой, измайловский, сбегался смотреть, когда я, в сумерках уже, с альтом в чехле, уходил нарядный. Эй, папина «победа», пацаны кричат, обезьяна стильная! А папаши-то моего последняя победа — в тридцать восьмом... Ну, ладно. Хватит.

А Колька Смирнов, конечно, принялся тогда малевать, сначала, как все, беспредметцу, Поллок тогда как раз до нас дошел, потащили дурь всякую на холсты. Выставками еще, даже бульдозерными, не пахло, еще и в Манеже Никита не матюкался. А просто по мастерским, по квартирам ходили картинки смотреть. И я ходил, большой был любитель, хотя не понимал многого. Начали, понятное дело, и атташе, какие поумней, покупать потом кое-что, Костаки их привозил... Но Колька скоро и от экспрессионизма абстрактного отошел, очухался, хотя ценил абстракцию и понимал. Но рисовальщик он был хороший, форму здорово видел и, кроме того, всегда литературу в работу тащил, сюжет ему был нужен, смысл... А в «суровые» — была тогда такая школка, нефтяников писали с угловными рожами, пейзажи вроде лагерных — тоже не подался. Не так видел...

И остался в стороне. Чего-то малевал у себя на Хмельницкого. Была у него там комната в коммуналке, метров сорок, мать умерла, и он этот сарай быстренько в помойку превратил. Тут и мастерская, тут и станок стоял, клетчатый платком покрытый. Все как положено: подрамники лицом к стенкам, кисти вылезшие, оклады без икон, часы старые, трубки... «Грюндиг» недоломанный Паркера хрипит. Да, конечно, уже с бородой, на джинсах заплатка кожаная между ног, свитер латышский на голое тело... Джаз, конечно, любил, на джемах мы и познакомились поближе...

А жил он хреново. Покупать его никто не покупал. Дипкорпус интересовался чем? Ну, если уж фигуративная работа — так чтобы с милиционером, с пьяными, с лозунгами му-

дацкими. Коллекционеры за Фальком гонялись, скупали у дураков, а если молодых и брали, то беспредметников опять же... В общем, нечего было Кольке жрать. Это не то что потом стали неконформисты наши жить — не хуже выездных, все в фирме да в долларах. А тогда еще ни горкома не было, ни Грузинской... Так что делал Коля Смирнов эскизы коробок для игрушечной фабрики. Сотни две с трудом выжимал и был тем очень счастлив. А в остальное время слонялся по Москве, на народ глазел, так просто по сторонам пялился... Называл это он «ездить по транспорту», какая-то шутка у него была с этим выражением, я уж не помню.

Наливай, наливай, ты меня не спрашивай, я всегда разделяю и поддерживаю. Ну, рванули? Ё хеллз, май рашен френдз... Тьфу, дрянь все-таки!

Да, так вот. Все шатался этот Смирнов по городу. Это у него, после шмотья фирменного, вторая была любовь: пейзаж московский, вообще город, городская жизнь. Такое, понимаете, противоречие: с одной стороны, низкопоклонство перед западными тряпками и мазней ихней обезьяньей — тогда в «Крокодиле» любили рисовать макаку с кистью, в берете, перед как бы абстрактной картиной, мол, так и обезьяна умеет. Да еще, помню, какая-то сука прямо в свою карикатуру вонючую любила настоящую репродукцию с какой-нибудь французской или американской работы вмонтировать. Этак, дескать, обезьяна может, а как Налбандян — не может.

Чего у нас так обезьян не любят? Мы ж, материалисты, от них произошли... Потому, наверное, и не любят...

Значит, с одной стороны, был Смирнов низкопоклонником, а с другой — патриотом великой столицы социалистической родины.

Мы тогда, помню, высотками все возмущались, сталинским ампиром. Понастроил усатый тортов и колоннад римских... А Кольке и это все нравилось. Романтик он был. И с бабами тоже. Ну, у каждого кто-нибудь подночевывал, многие и женились уже. Кто на актрисе какой-нибудь задрипанной, кто на манекенщице длиннобудылой, а кто и на дочке. И сам уж в высотку, а то и на дачку перебрался, и внучка профессору

или генералу гэбэшному выстрогал... А в мастерских или у приятеля с лишним ключом, конечно, своим путем: кожанку там, или, к примеру, студенточку ингязовскую, или просто шалавку, приехавшую откуда-нибудь из Симферополя столицу приступом брать... В общем, нормально, все люди. А Колька и тут с приветом, и с большим. То на такой, завоевательнице-то, жениться вздумал, чуть она у него его комнатищу не отсудила — не знаю даже, как он выгреб... Только развелся — опять башкой в приключения: нашел какую-то, вроде него самого, живописку. Такая же, не продавала ни черта, только рассуждать умела о работе. Рассуждала, надо сказать, неглупо, да толку? Коля хоть от Бога глаз имел, способный был мальч, действительно, талантливый даже. А у нее, кроме навыка кое-какого, — ничего. А ведь Суриковский кончила... Хрен ее знает, не было в ней страсти — и все. Как водой писала. Бывал я у нее и в мастерской. Грамотный такой импрессионизм. А он и тогда никому на хер был не нужен. Властям это — авангард, а для приличных людей — старье... Времена ж были! Не верится, что не приснилось...

Ага. О чем это я начал? Ты наливай, наливай, не обращай внимания. Пузырь-то большой, вечер длинный, от тиви ихнего я блюю... Ох, Господи!.. Хорошо. Нет, я уже есть не хочу. У тебя какие? А «лаки» нет? Люблю их. Вроде «дымка» нашего, но получше... А главное, страшна она была — ужас! Толстенная, нескладная, волосы жидкие, и одевалась — кошмар! В такие же свитера протертые. Латинский квартал довоенный. Как он, стилига, это терпел? Черт его знает...

Хорошо хоть, что не съехались они с Колькой. У нее своя квартира была, где-то на Метростроевской, большая, отдельная, шикарная. Да еще мастерская рядом в подвале. Батя у нее был, ни мало ни много, академик живописи, все суворовских чудо-богатырей писал, баталин метров шесть на три... Помер в сорок девятом, но оставил, конечно, порядочно, так что она, и не продавая свою херню, не бедствовала. И дача была, и «победа», хоть и развалюха, а машина. Так что Колька с нею даже ожил. Пожрать всегда было, да и выпить тоже.

А выпить, я вам скажу, он очень и очень любил. На чем мы с ним тогда именно и сошлись. Он ни с кем особенно не дружил, да и не знал его почти никто. Так, фамилию вроде слышали, вроде приличный художник, профессионал, и парень неплохой... А что он там делает, никто конкретно не интересовался. Раз фирма не покупает — значит, чего-то не то...

А я, мужики, хоть и не художник, мои картины вон, в футлярах лежат, но в живописи уже разобрался. С художниками всю жизнь дружить — поднатаскаешься. Вы думаете, лабух — и все? Не-ет... Вот завтра у евреев здешних свадьбу буду играть... И плевать...

В общем, я один знал, мужики, что художник-то он настоящий, классный. Он все мелочь тогда писал, фрагментики, а было уже видно... Зайдем на Смоленке в гастроном, возьмем «столицы» бутылочку, сырку хорошего, швейцарского, хлеба рижского свеженького... И к ней, домой или в подвал. А у него в руке мешок из старой занавески, плоский, на веревках. Значит, сейчас новое будет показывать, чего там у себя на Маросейке наваял. Он почему-то любил показывать у нее, там у нее и хранил... Придем, кирнем хорошо — и ставит он работу. И мы с нею вдвоем сразу забалдеваем... Особенно помню крышу его одну. Жестяная такая крыша в самом низу холста, а над нею небо московское, сиреневое, и в небе зелено так, едва заметишь, проступает что-то. Страшное. А что — не поймешь.

Я уж потом понял, что это все были этюды. А тогда просто удивлялся: с такой он точки писал, куда, конечно, никак залезть не мог, таких ни чердаков, ни окон не бывает. Значит, выдумывал все! Но как... Ох, ребята, вы б видели как... Ох...

А она сдержанно одобряла, хотя, я видел, ведь тоже кайф ловит. Но сразу же с разбором лезла, ясно? Мол, тут то, тут се, то такое влияние, тут такое... А он слушает, и, хоть и спорил страшно, но в конце концов соглашался всегда. И холст — мордой к стене...

Вот такие дела.

Потом как-то разошлись мы с ним. Я тогда уж в отказе

был. Стали зарубежные товарищи поддерживать меня со страшной силой, из оркестра-то меня уже выхилили. Днем дома сидел, занимался — я тогда-то как раз дудку не бросал и как музыкант вырос сильно, а вечером тормозит «фольксваген» какой-нибудь под окнами, и через десять минут я или просто капусту считаю, или магнитофончик прикидываю, кому толкнуть, или шубейку дубленую... Жил, словом. Ну, и с ОВИРОм воевал. Сами знаете...

К Кольке вовсе ходить перестал. Во-первых, не знал, не боится ли он с отказником общаться. Многие не хотели... Я так считал: если не боится, сам придет. Но он не приходил... Во-вторых, кто-то из ребят сказал, что стали они, вместе со своей чучелой, по-черному уже пить. А я как раз тогда завязал, некогда было, при деле: в приемную ходил, в общем, занят был, а когда занят, не кирается. В-третьих, вообще не до него мне было: уезжать он не собирался, все мазал что-то и мазал, и интересы наши расходились и расходились...

Давай, давай! Слушай, а ведь мы этот баллон-то почти усидели?! Не хватит, мужики...

Встретились мы со Смирновым этим после лет полутора как-то случайно. У общих знакомых, на каком-то дне рождения, что ли. Смотрю — ой-е-ей, лопнутый рот, что же это с Колькой стало?! Старый стал, башка плешивая, волосы — все ж таки, по моде, длинные, стилиягу не переделаешь — бахромой висят, борода клоками, да и серая... Скирялся мужик. Глаза провалились, морщины... Но это ладно. Тут другое: явилась с ним не халда его толстожопая, а, я вам скажу, некто! Красавицей, конечно, не назовешь, мне такие даже вообще не нравятся. Фигура никакая, ни плохая ни хорошая, только что не толстая, рожица тоже — назавтра не узнаешь... Но глаза я заметил! Я думаю, их все заметили. Я, мужики, хоть и не художник, но цвет хорошо вижу, и чувствую хорошо. Seriously. Так вот: я таких глаз, синих, чистый кобальт, вообще не видал. Ни до, ни после. И светятся, понял? Настоящий такой свет идет... Я сразу знаешь чего вспомнил? Прожектора, которыми раньше во время салютов римские цифры в небе писали. Даты. Столбы синего света. Точно такие глаза.

Больше о ней я и вспомнить ничего не могу.

Колька мне обрадовался страшно.

— Что ж ты, зараза, — говорит, — пропал? Если уже одной ногой там, на воле, так и кирнуть с другом не хочешь?

— На какой там воле, — отвечаю. — Мне как бы на северо-восток, в Потьму куда-нибудь не уехать вместо юго-запада. Анекдот знаешь?.. «Граждане, выезжающие в Израиль! Поезд на Воркуту отправляется...» Компрометировать не хочу.

— Какой, к херам собачьим, компрометировать! — кричит. А сам уже поддал, и тут же сломался. Глаза разъехались, орет на всю комнату. Ну, я повел его на кухню, покурить, потреться. Водички холодной попили...

— Какой там компрометировать, — говорит он. — Плевал я на них! Я, милый ты мой, картину заканчиваю — это раз. И когда я эту картину закончу, мне полностью на все положить будет. Для нее через двадцать лет отдельный музей где-нибудь построят. Ты завтра ко мне приходи, на Маросейку, прямо с утра, покажу — сам все поймешь... А кроме того, я теперь вообще ничего не боюсь. Потому что, если бы меня, как только картину закончу, кто-нибудь не то что в тюрьму посадил, а просто убил, я бы только спасибо сказал... Лажа мне, старый.

Смотрю, у него уже и слезы текут, и сопли. И, главное, вижу, что это не только от поддатости, а действительно херово парню. Пошел я в комнату — там гуляют себе, кто-то, конечно, к его девке, к фарам ее, клеится, но она сидит себе скромненько, киряет чего-то, покуривает и молча улыбается — ну, я взял нам с ним бутылку и на кухню вернулся.

Врезали сразу по полстакана, он даже протрезвел немного.

— Ты видел, с кем я пришел? — спрашивает. — Ну вот. Ты понимаешь, что я ее люблю?

— Понимаю, — говорю. И осторожно так пошутил: — Ты ж без любви не можешь. Ты и лимиту свою, аферистку, любил, и ту, с Метростроевской... Ты их всех любишь. А они — тебя...

Он только глянул на меня жалобно, и я сразу заткнулся.

— Ты ж ее видел, — говорит. — Я от нее отвернуться

не могу. Все время прямо в лицо мне смотрит. Спиной сажусь — не помогает. С ума схожу, понимаешь?.. А с Натальей дело плохо...

Это ту его, халду, Натальей звали. Причем именно Натальей, а не Наташей или Наташкой — она сама так представлялась, и он ее всегда так называл, и за глаза тоже.

— С Натальей плохо, — качает головой, а сам себе еще полстакана наливает. Но я отобрал. — Плохо... Совсем она, бедный человек, спилась, работает с трудом и не хочет работать. Представляешь? Наталья ж раньше пахала больше меня!.. Да и не может она теперь работать. Болеть стала. Почки, еще там всякое... А помнишь, какая была? Тебя могла запросто перепить. Помнишь?

— Ну, помню, — говорю. А я уже понял, что дела его действительно плохие. Парень он хороший и бросить эту бабу в такой ситуации действительно не сможет. И скирятся они оба вконец, и помрет он, может, еще раньше нее. И картину свою, про которую опять что-то начал бормотать, не закончит... И с прожектористкой своей не проживет, не порадуется... В общем, действительно, лажа чуваку наступила, полный конец. Жалко.

А он все бормочет, совсем уже плохой:

— ...Но я все же решу эту проблему... У меня есть проблема правого края, но я ее, кажется, решу... Я ее, бля, решу, и все будет хорошо... Все будет хорошо...

В общем, засыпает.

Вызвал я тихонько его глазастую любовь из комнаты, свели мы его на улицу, поймал я такси. Повезли его на Маросейку. Он в машине и вовсе вырубился, она тоже сидит молча, его держит, чтобы мордой не приложился, я курю — расстроился чего-то, сам не пойму чего, хотя, в общем-то, ясно, из-за чего: жалко мужика. Дружили все же...

Так. Лей, лей, что оставлять? Да посмотри в рефрижераторе, там, кажется, еще есть «тюборга» банок десять. Дерьмо, конечно, по сравнению с «жигулями», а все-таки не на сухую сидеть. Ну, привет...

Привезли мы его. Только в комнату зашли — он давай

выступать. Прежде всего полпелся в коридор, на Метростроевскую звонить — это у него, я помню, всегда было, обязательность. Если прийти не может, всегда позвонит, даже податый... Долго они по телефону отношения выясняли. Кто пьянее, да кто умнее, да кто первый пить начал, и кто сильнее виноват... Она трубку бросала, он перезванивал... Еле я его из коридора утащил.

Тут она собралась уходить — вроде где-то рядом живет, на Сретенке, что ли, провожать не надо... Я и остался с ним — дожждаться, пока угомонится, чтобы подвигов не натворил. Только она дверь закрыла, он тут же из-под тахты бутыл достает, и я понимаю, что парень уже дошел до уровня: портвейн вытащил «гранату» начатую. Но отнимать я не стал. Пусть, думаю, кирнет еще да и ляжет наконец. Сколько я с ним могу возиться?

И он — точно: глотка три сделал из горла и отвалился. Только сказать мне успел:

— Ты завтра приходи. Картину посмотришь...

Фу, облился!.. Вот кто мне объяснит: почему их пиво, чем холодней, тем сильней из банки прет, не по-людски? А?

Короче, не пришел я к нему назавтра. Некогда было. Хотя с вечера убедился: не выдумал он про картину. Целая стена у него освобождена, и вдоль нее — огромный подрамник, простынями закрыт. Но я и заглядывать не стал. Почему? Собой, муило, занят был, ясно? Я тогда счастливый был, собой занимался. Отъездом, музыкой... Очень это счастливые люди, кто собой занят, понял? Счастливые идиоты...

В общем, через месяца четыре — как раз я тогда, после очередного отказа, письмо Лёке написал, ждал реакции, — утром, часов в десять звонок. Я кинулся, думал, инспектор мой звонит, товарищ Жидоедов, светлой души человек. А это Коля Смирнов, мазила.

— Приезжай, — говорит, — ко мне. Сейчас приезжай.

Я его голос даже не сразу узнал. Трезвый.

— Приезжай, — говорит, — тебе это самому будет интересно.

И я поехал. Даже не думая, интересно, не интересно —

сразу в троллейбус, и погнался. Самому как-то вдруг захотелось его видеть. Главное — его видеть захотелось, не столько узнать, чего он там мне показать хочет. Про картину я, честно сказать, забыл...

Приехал. В коммуналке пусто, коридор темный. Он сам дверь открыл, в одних трусах, тощий, на груди крест — я и не знал, что он верующий, да тогда многие о Боге вспоминать начали... Да. Ну, пошли в комнату, я тоже до трусов разделся сразу, лето было жуткое, горело все, по Красной площади дым полз... Сели, он пива налил из здоровой банки — с утра, значит, смотался, у него там рядом пивная была, под шашлычной. Совершенно трезвый, как стекло, и видно, что и вчера не пил. Шедевр его у стены все так же, простынями закрыт. И он даже не собирается вроде его показывать, а начинает делиться своими сердцестрадательными печальями.

— Извини, — говорит, — я знаю, что у тебя своих неприятностей хватает. Но мне поговорить последнее время не с кем. Мужики не понимают. Чего, удивляются, ты маешься? Ну, есть у тебя баба, в живописи понимает, не посторонняя, и кирнуть с нею можно, и с квартирой, обеспеченная; есть у тебя подруга, хорошая, милая девка, на шею не лезет, скандалов не устраивает... Ну, и люби ты их потихоньку, тем более — проблемы с хатой нет, и радуйся жизни. А я не могу, ты понимаешь? Раньше мог, а теперь — все. Точно... И Наталью бросить не могу, она с каждым днем сдает, старая стала, глаза большие, пустые... А ведь мы с нею восемь лет, она все видит, и работать по-настоящему учила, и кормила. Большим художником меня считает... И с Ленкой — это я впервые имя той, с глазами, услышал — не могу расстаться. И не хочу, понимаешь?! Это, может, в последний раз Бог дал. Упущу — до смерти самой жалеть буду... Ты, наверное, думаешь, просто нашел дурак лысый красивую ссыкушку, и мозги она ему затрала? Ты ведь представить не можешь, что я уже и глаз ее почти не замечаю. Просто она... ну... ну, представь, вот вроде нас с тобой. Все то же самое любит и понимает, представляешь? Хотя ведь не художница, и джаз-то слушать недавно научилась... Знаешь, она на пятнадцать лет младше нас, а мне

иногда кажется, что я ее и в «Молодежном» встречал, и на Маяковке вечерами, в шестьдесят первом... Вот. Что делать? Не знаю... Херово мне, так херово — сил нет. Говорить противно, а скажу: я ведь с Натальей уж и от постели нормальной отвык. Лежит, городит что-то, вся в слова выпшла. А пьяная — так и заснет... А с Ленкой потом стыдно... Ну? Думаешь, чокнулся?

Рассказывал он это, курил «шпику» одну за другой, аж в мундштуке свистело... А я его не понимал тогда. Ох, и глуп же я тогда был — страшно подумать! Сказали б мне: вот, женись немедля на этом помеле, и проживешь с ним всю жизнь, зато уедешь через неделю, потому что у помела паспорт итальянский и связи в конторе глубокого бурения — женился бы! Ей-Богу... Хотя к тому времени уже был холостяк непоколебимый, стойкий, как партизан, как хрен на рассвете. Принцип даже имел: два раза с одной поспать — все равно что два раза один шашлык прожевать. Вот был урод-то, а?

Не понимал я его. И он, конечно, это чувствовал, а поговорить-то про болезни хочется... Я молчу, лицо приличное делаю, курим, пиво допиваем. Он спохватился.

— А у тебя-то как? — спрашивает. — Я слышал, в глухом отказе, и на Пушкинской уже ходил, и в приемной сидел, и в пресс-конференциях участвовал? Без толку?

— Да, — говорю. — Могу гордиться собой. Скромный лабух, музыку толстых всю жизнь играю, а нужен оказался стране — во, до укачки! Оркестру драному не нужен, понял, а народу в целом — необходим. Не можем разойтись, не дают они мне развода. Хорошо хоть алименты уже не требуют, отменили, а то мне, знаешь, сколько пришлось бы заплатить за диплом мой строительный, остро необходимый в условиях ихней безработицы? Шесть с лишним кусков... В общем, ситуация вроде твоей: люблю одну, живу с другой.

Он усмехнулся. Все-таки юмор он всегда сек.

— Ничего, — говорит, — скоро у тебя все решится. Это я тебе могу обещать...

Я тоже засмеялся.

— Спасибо, — говорю, — товарищ генерал, от лица всех

советских евреев... А берете вы башлями, либо вам моя квартира подходит?

Опять посмеялись. Потом он встал и начал простыни с картины снимать. И, стоя худой спиной, говорит — я тогда и внимания не обратил, а после все вспомнил, до единого слова.

— Вообще, — говорит, а сам пыктит: жарко, а ему придется на стремянку лазить, картина-то до потолка, — вообще-то я уже многие проблемы этой работой решил. Твои решил, еще кое-кого... С Натальей вот только никак не разберусь и с собой...

Как будто бредит. Я и не слушал его, а потом все вспоминал, вспоминал... Я на картину, уже открытую, смотрел...

Слушайте, мужики, я так не доскажу. Кто у нас самый молодой? Давай, давай... К тайландцу, это вон, прямо раунд эе корнер...

На, я файфом вложусь... Да не бери ты смирновки этой вонючей, возьми ты нашей, «лимонной»! И мать ее, что дорожке! На еще... на... Беги.

Эй, брось телек! Сдался он тебе... Ну, и хрена ль тебе в их ласт ньюс? Видеть не могу... Дом горит, земля трясется, кот на курице несется — вот и все шоу. Вроде, кроме ужасов, нету в мире ничего. Идиоты... Ну звук приглуши. Пластиночку лучше поставь. Во-он, вон лежит. Бэйси, «Фор эе фэст тайм»... Как в Москве посидим. Здесь ведь у них и джаза-то нету...

О-о! Кто пришел, что принес?! М-м, кайф!.. Мэйд ин юэсэса... Умеем, если захотим... Ну... О-о... Другое дело.

Теперь можно рассказать о картине. Сними, сними, как раз сайд кончился. Ну-ка, еще по капле... Хорош.

Картина... Сколько же это прошло? Пятнадцать?.. Да, ровно пятнадцать лет, представляете, ребята?! А я ее как тогда увидел, так и до сих пор помню. Всю. Огромная же — метров пять на три, ну, на два с половиной, а я помню каждый мазочек, каждый сантиметр.

Главное там было — фон. Небо. Вы этого цвета не знаете, не москвичи. Снизу, от крыш, начинается голубое с золо-

том. И дымок такой... золотой... А чем выше, тем больше сиреневого, и розового, и серого, светло-серого, все светлей и светлей, и уже совсем белое, просто белое, и облачко одно плывет, белое на белом, тянется из Черемушек, никак не доплывет... И, понимаешь, главное — это ведь видно как будто сквозь толстое стекло, немного мутноватое, вроде отсвечивает, вроде блики на нем... Игрушки такие в Ялте когда-то продавали, шар стеклянный, а в нем пейзаж, так вот, словно через этот шар смотришь. Да. В августе такое бывает небо в Москве, в апреле золота больше, дымка этого, пыльцы золотой, а в августе золото повыцветет и остается только над домами, а дальше сиреневое, розовое, серое...

Вот небо у него две трети и занимало. И даже если бы он больше ничего не написал, и так все было бы ясно. Гений он был, Колька Смирнов, я вам точно говорю, мужики. Я из лабухов наших двух гениев знал, и вот его еще... С гением все сразу ясно: посмотрел, послушал — гений! Можешь отдыхать, этому не научишься, хоть задавись. Он, может, и инструментом владеет хуже, чем ты, а гений... Вот Колька и был гений. Я на его небо смотрел — и сразу все понял. И любовь его понял, и понял, как его жизнь достала, и Москву его понял — все.

А под небом была улица. Странная улица. Дома на ней стояли тесно, будто согнал он их в толпу, сдвинул, притиснул так, что некоторые даже вмялись, въехали один в другой. Странная улица... Был тут кусок Пушкинской площади, с молочной на месте бывшей пивной, с аптекой и шашлычной «Эльбрус». Было кино «Смена», что на Грузинах, у Тишинки. Была Маяковка, с «Современником», заслоняющим вход в «Пекин». И деревяшка какая-то бревенчатая была, откуда-то с Тверских-Ямских. И комок художественный, знаменитый, с Арбата. Ресторан был занюханый, с Таганки, «Кама», и кафе миусское, «Ритм» — рядом. И первые хрущевские пятиэтажки, с балконами на хилых столбиках. И солянские одноэтажные косые хибары. И сквер за «Художественным». И, вдруг, углом — большой, барский, плиткой выложенный дом, а на углу, над номером, крупная надпись «Метростроевс-

кая», а под нею окно, Натальи его окно... И еще много всего было.

И всюду, по всей этой улице стояли люди. Так стояли, будто кто-то крикнул, и выскочили они из домов на крик, и встали, прислушиваясь — не позовут ли еще. Кучками стояли и по одному, по двое-трое... Все знакомые. И раньше всех увидел я себя — стоял я кое с кем из музыкантов возле «Ритма», стояли мы в наших кепочках, усатые и бородатые, с футлярами и чехлами... И Игорек там был, и Леша, и Толька, и Сережа... И я. Там вроде и разглядеть было невозможно, где кто и есть ли сходство, — фигур было много и даже на таком холсте получились они некрупными, — а всех я тогда узнал. У него было не ошибиться. Леня там еще был и Костя, стояли они боком и держали вдвоем здоровый ящик — вибрафон, видно, куда-то везли... А рядом, у «Камы» пусто было, только один человек стоял — невысокий такой, в курточке короткой, как пацан. Один-одинешенек, а кругом — толпа... У «Современника» тоже, как обычно, народищу жутко, и не узнаешь-то, не разглядишь толком. Вроде парень знакомый, писатель, что ли, я его по «Синей птице» знал, вроде еще один знакомый в лицо — режиссер, еще кто-то... А у «Художественного», в сквере, вокруг фонтана, девочки какие-то, тоже, кажется, свои, и в «Ветерке» алкаши известные сошлись, а возле пятиэтажки бабки сидят, и возле деревяшки тоже, а из «Смены» народ вывалил с «Искателей приключений», а у арбатского комка Илюша, фарца старая, крутится, а на Пушкинской моя подруга стоит, была одна, да сплыла, и вот стоит перед молочной, ждет... А за окном на Метростроевской вроде Натальино лицо — а вроде и не видно за стеклом...

Едут мимо них немногие машины — троллейбус тупорылый, «москвичок» старый, деревянный фургончик, «чайка» с хромированными бамперами, «фольксваген» горбатый... Грустно так едут, редко...

И смотрит весь народ в одну сторону — туда, где выгибается, поднимается улица вверх, к правому не записанному еще углу картины, к очень небольшому, пустому пока месту — там чего-то угольком прорисовано, вроде человека бородатого, лы-

сого. Вроде стоит этот человек на той же улице и смотрит на все это, повернувшись к моделям своим... А что за человек — точно не поймешь по наброску...

И надо всем, над картиной, над городом этим горестным, над уходящими этими людьми и домами, над Колькой моим, решившимся тогда себя вписать в погибель, над временем, что течет по холсту, переливаясь золотым, и сиреневым, и розовым, и серым небом, течет, покрывая людей и дома, разводя их прочь друг от друга, убивая вовсе или унося в загробное, за-предельное, лишая жизни и любви, — и надо всем, в левом углу, пронизывая и дома, и небо, уходит вверх, обрываясь краем холста, высотка. Стоят каменные идолы на карнизах, узкими щелями чернеют окна, высятся трехэтажные башни по углам, и сходится все к шпилью, к безумию заоблачному.

Он ту, на Восстания, выбрал. Знакомый у него там жил.

Такая это была картина, ребята, что сели мы с ним рядом и, смешно сказать, заплакали. Сидим, голые, потные, трезвые, возле пустой банки с выдохшимся пивом и плачем молча. Кончалась, мужики, тогда наша жизнь, я-то не знал, что кончалась, а он понял, и меня в свою картину загнал. И сидели мы, и плакали, а о чем плакали — кто его знает. И жизнь-то была не самая веселая, а прошла, и сидели мы в маросейской, пустой и тихой, коммуналке и плакали вдвоем.

Налейте мне, ребята. Чего-то никак меня не берет.

Вот, собственно, и вся история. Вам, не москвичам, поясню: ничего этого не осталось. «Смену» снесли, «Современник» тоже, «Ритм» закрыли, и «Каму», и «Эльбрус»... И даже Метростроевскую они назад переименовали, долбоносы!

А мы все поумирали. Кто до смерти, а кто не совсем. Как я. Хороший был парень Колька Смирнов — вписал меня, а мне через недельку и звоночек: явиться и чтобы через десять дней вашего духу не было...

Налей, налей еще. За Кольку хочу...

Почему — за упокой?! Кто тебе сказал, что он помер?! Я его картину больше не видел. Может, он уголек-то свой стер, да на свое место Лёку, к примеру, вмазал?.. Ничего было бы, очень по делу...

А Наталья, кстати, вроде жива. И, представляете, тоже свалила! В Германию, что ли... Как она там, киряло бедное, — не знаю...

Нет, мужики, и про Кольку я больше ничего не знаю. Провожать он меня не пришел, писать я ему не писал — у него без моих писем хватало лажи. Послал один раз через третьи руки «ливайс», любил он эту фирму. Давно, из Бостона еще... Вроде передали, вроде жил он там же, на Маросейке. Парень этот, который ездил, потом рассказывал, что был у Кольки в комнате. Вроде все там так же... Рассказывал: мол, гайэнт ворк андер уайт шит... гигантская, значит, картина, под белой тряпкой. Я спрашиваю — не показывал тебе? Это ж грэйт пэйнчур, говорю, великая живопись, понял... Нет, говорит, не показал. Но давно это было, лет десять тому уже.

Такие дела. Ну-ка, еще по одной, на коду...

Эй, гляди, мужики, чего они показывают! Это ж Москва! Неужели опять кто-то помер? Смотри, смотри, солдаты! Садовая пустая, мужики!!! Это ж Садовая, это ж... Это ж Восстания, мужики... Звук, звук сделай... Ничего не понимаю... Что это слово-то значит? Что? Осадка?.. Какая еще осадка? Фундамента?.. Ну-ка, погоди, послушаем... Икспложен... Взрывают! Взрывают, мужики...

Вот. Вот и все. Картина, мать ее в мать... Колька. Мазила ты, мученик... Господи тебя прости и помилуй. Все. Наливай, мужики, наливай. Да вырубь ты звук к матери! Джаз ставь! Миллера давай, Миллера!.. Сейчас мы, под свинг-то, и похоронимся... За упокой, за упокой, за упокой... За Кольку Смирнова, убийцу нашего, за великую его любовь... Где это написано, а, мужики? «Крепка, как смерть, любовь»... За любовь, мужики...

Он не допил и упал, и они уложили его и ушли, позабыв выключить всё. И под сладкий, сладостный миллеровский звук, под «Ин зе муд», клонился, клонился на экране, и рассыпался, падая на пустую выпуклую площадь, венки и шпиль, и оседали, косо изламываясь, перерезая трещинами ребра и выступы, башни по углам, и вниз головами, прижав к груди книги и отбойные молотки, винтовки и теннисные ракетки, серпы и микро-

скопы, бросались отчаявшиеся каменные люди, и вертикальный разлом пересекал высокий гранитный подъезд, и разваливалась нерушимая жизнь, и оседала на пустую площадь и чахлый сквер чудовищной грудой битого камня, заваливая площадь, ломая деревья, выворачивая светофоры и скрывая сиреневое, и розовое, и серое небо багровой, черной, сизой пылью. И, когда пыль осела, пошли, поперли бульдозеры, огромные красные машины с ковшами и черпаками, самосвалы с кургузыми кузовами — и все это взрывалось, и оседало, и шло в беззвучии, полчаса, час, под заевший джаз, а он спал, тяжело захлебываясь, закинув голову, и не видел хмурых солдат, стоявших в оцеплении, и убитых, горьких лиц за солдатами, среди которых мелькнуло безумное, бородатое, с седой бахромой вокруг плечи, и рядом еще одно — никакое вроде бы, только синие прожекторные столбы скрестились над пространством, засыпанным прахом.

Но он был пьян, и спал, и не помнил, откуда эти слова: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением».

Он спал и еще был жив.

1987

РАССКАЗЫ

НАМ НЕ ПРОЖИТЬ ЗИМЫ

В Челябинске автобус прыгал по ледяным наростам, вдруг освещался изнутри фарами встречных, дуло в поясницу. В вестибюле гостиницы стояли какие-то ребята в коротких куртках и огромных меховых шапках, угрюмо смотрели, как рабочие втаскивают аппаратуру. Сергей сначала принял их за поклонников, но оказалось, что местные фарцовщики, один подошел и предложил продать «всю фирму, что на тебе, за полторы штуки, здесь больше никто не даст». Сергей молча обогнул его, в лифте закрыл глаза, закружилась голова, стало познабливать — не хватало еще в этой дыре простудиться, под самый конец довольно противного и даже не слишком выгодного чёса по Уралу.

Номер в облицованной гранитом, сталинской добротности гостинице оказался на удивление приличным. В окне маячил памятник с издевательски вытянутой вперед и вверх рукой, было сумрачно, а в комнате — тепло, хорошая, чуть ли не финская гостиничная мебель, все электрическое включалось, вода всякая текла исправно... Он принял горячий душ, протерся английским одеколоном — Ирка откуда-то притащила перед самым отъездом, знает его слабости, — натянул любимый спортивный трикотаж, сунул босые ноги в чистые кроссовки, используемые в поездках как комнатные туфли, волосы собирать в узел не стал, чтобы лучше просохли, глянул в зеркало. Платиновые пряди ближе к корням темнели, пора бы подкраситься. Но все равно — чистая скандинавская девица, даже щетина не мешает! Неплохо для трид-

цати четырех, хотя, конечно, нос мог бы быть и поскромнее...

По гостиничным коридорам шлепали командированные с кипятильниками и кефиром, снизу, из ресторана, бубнила бас-гитара и кто-то верещал. Сергей с омерзением узнал свой же позапрошлогодний шлягер. На нем, собственно, и выплыл, и сделал всю игру, фирменный его знак, с которого — без пения, только мощная заставка на «Ямахе» — и сегодня начинается концерт. Надо менять заставку, подумал Сергей, эта уже не вяжется с новой программой, сразу придает ей понтырский, неискренний тон. В ресторане загрохотало и стихло, стал слышен смех, крики какие-то.

Группа собралась в самом большом номере, в двухкомнатном люксе, который, как обычно, заняли Геночка и Игорь. Игорь сидел в кресле у телефона, названивал куда-то по своим директорским делам, хозяйственный Геночка уже прекрасно накрыл стол — и салфеточка чистая, и коньячок, и бутербродики нарезал элегантнейшие из какого-то подножного корма, какого-то сырка плавленого, каких-то огурцов маринованных буфетных. «Что, не видишь, стакан сейчас упадет?» — грубо сказал Игорь, прикрыв трубку. «Вижу, милый, я все вижу, у меня не упадет», — кротко ответил Геночка, и Сергея опять, как всегда, передернуло от этой грубости и кротости, к этому семейному быту он привыкнуть не мог никак, хотя работали вместе уже больше года. Наверное, стоило бы избавиться от этих известных всем филармониям «голубых гитар», но Игорь — гениальный директор, он увеличил цену Сергея втрое, а лучшую соло-гитару, чем Геночка, вообще найти нельзя. Уж если сам Леша Макаров, при его-то возможностях выбора, возил эту пару в своем «Поп-Олимпе» пять лет и даже отмазывал их от каких-то очередных неприятностей...

Остальные ребята молча покуривали в ожидании кира и ужина, приткнувшись кто на подоконнике, кто на кровати, кто на диванной подушке, сброшенной на пол. Угрюмовато глядели — устали все за эту поездку дико, в межобластных «яках» сдавливало колени, на полу в аэропортах чавкала грязь, в артистических сновали гигантские тараканы, а залы были

полупустые, сонные, два ряда местных фанатиков с понтом рвались к сцене, менты их равнодушно отталкивали и время от времени, в перерывах между песнями, в матюгальник объявляли, что «администрация предупреждает, танцевать в зале нельзя, нарушители будут удаляться». После концертов смотрели из автобуса, в пятиэтажках горели все окна, народ лип к телевизорам в надежде, что скажут точную дату появления колбасы без талонов, но говорили всякую муть про никому не нужную свободу, а народ все равно ждал, и отвлечь его от этого ожидания никакой рок не мог — даже основанный на национальном мелосе. В Свердловске дико поругались Валерка и Женья, Сергей едва не остался сразу и без барабанщика, и без второго клавишника. Поругались без причины, от тоски, но страшно, едва не подрались: Валерка стоял на своем, он был уверен, что три комплекта новеньких палок у него увела какая-то девка, которую Женья привел в номер. Это была явная чушь, девка скорей увела бы кожаную куртку или плеер, валявшийся на столе, а палки Валерка просто забыл где-то за сценой, но он стоял на своем. Мирили их долго, кончилось большой пьянкой в аэропортовском ресторане, официантка едва не вызвала милицию за «внос и распитие».

Теперь все сидели по углам, вяло курили, ждали, пока Геночка закончит свою икебану. За окном и тут маячил все тот же, с рукой, выл ветер, а в комнате было еще жарче, чем в номере Сергея, и уже сильно накурено, дым плавал над торшером и настольной лампой — свет был включен весь, и из походного Игорева «шарпа» постанывала Аретта Франклин, любимая его Ареточка, Игорь начинал работать еще с джазменами и с тех пор любил соул.

Он положил трубку и подошел к Сергею. «Слушай, Серега, — сказал он вполголоса, по обыкновению оглядываясь по сторонам, будто опасаясь шпионов, директор есть директор, — тут в гостинице питерские живут, камерный состав. Они по лекторию приехали в дэка тракторный. С ними сейчас Лена Панарина играет, знаешь ее?» «Знаю, конечно, — Сергей попытался поймать взгляд Игоря, но это, как всегда, не удалось. — Классная пианистка, я ее в Гнесинке как-то слушал.

Ну, и чего?» «Да понимаешь, — Игорь все так же бормотал чуть слышно, — мы тут с ней пересеклись в вестибюле, она меня еще по Росконцерту помнит... Говорит, что твоя поклонница, зашиб ты ее душу своим голосишкой, мечтает познакомиться... Я думаю, позвать, может?» «Зови, — Сергей пожал плечами, — все лучше, чем на ваши рожи смотреть...»

Тут Геночка пригласил к столу, Сергей сразу налил себе полстакана, чтобы прогреться — простуда все же маячила где-то поблизости, хотя и отступила после душа и в тепле, — а потом уже не пить. Дрянной азербайджанский коньяк проскреб по горлу, но свое дело сделал: снизу в грудь пошло тепло, голова стала легкой, в носу подсохло. Сергей отвлекся, заговорили о новой электронике, которую сдавали «Иноземцы», полный комплект «Ямахи», и недорого, за сорок штук можно было бы взять... Но тут открылась дверь, и все заткнулись. Лауреат международных конкурсов в Варшаве, Париже и Вене Елена Панарина явилась во всей славе своей — в экзотике черных кудрей, тускло мерцающих цыганских глаз, лилового шелка на маленькой, зато круглейшей заднице и золотого шелка на огромном, зато дивно отлитом бюсте. Все это так не вязалось с «ливайсами», «адидасами» и прямыми прядями сидящих в комнате, что почувствовал даже Игорь, маячивший позади гостьи — смущенно хихикнул: «Вот, ребята, кого я привел...» Но гостья справилась быстрее всех — Сергей потом привык к этому ее умению *справляться со всем*, от гриппа и домочадцев до дамочек в иностранном отделе концертного объединения. «Можно с вами выпить, ребята?» — И жестом опытного человека откуда-то из-за спины на стол бутылку прекрасного, любимого молдавского. И Сергею: «Ну, вот и сбылась мечта. Любимый певец, звезда... Теперь могу всем говорить, что знакома...»

Часа через два расчехлили маленькое электропиано, и Лена, осторожно примериваясь, села за него и сыграла нечто пенистое, неуловимое, все время переползающее через край, и умоляюще глянула на Сергея, и начала его коронный «Петербургский романс», но без всякого ритмического подстегивания, классически. Сергей подошел поближе и вступил, и она к

концу подпела, и ребята тихонько, а из соседнего номера сначала стучали, но потом перестали, поняв, видимо, что больше никогда не услышат бесплатно Сергея Кольцова с таким аккомпанементом. «...А зимняя любовь сведет морозом губы, охрипнет наш романс, зачахнет наш роман...» Лена пела, как всякий профессиональный музыкант, точно, но невыразительно, и именно в сочетании с задыхающимся хрипом Сергея в этом был какой-то дополнительный кайф, который все почувствовали. «...Покрыт имперский град чухонскими снегами, застывшие дымы, умолкшие дома, огни в окне горят нестертыми слезами... Нам не прожить зимы, нам не сойти с ума...»

Лена взяла аккорд, как бы собираясь на большой проигрыш, — и бросила, закурила. И Валерка шепнул Сергею: «Похоже, готова... Вот такой-то бюст на родине героя... А?»

А Сергей вдруг скис, протрезвел, испугался, понял, что его уже несет, что уже начинается это не раз испытанное и трижды проклятое и им самим, и, конечно, Ирккой то самое его состояние — впадение в любовь, лихорадка, оживление, жизнь, за которой, так же неминуемо, как головная боль за коньяком, следуют ужас, скандал и муки. Уже было все это, тогда Ирка ждала Сашку, ходила вся в пятнах, с обтянувшимися скулами, как бурятка, а Людке было три года, она болела отитом, жутко мучилась, ее было невыносимо жалко. И все же чуть не ушел, собственно, уже ушел, уже почти обжил ту квартирку с лакированным паркетом и вещами на строго закрепленных местах. Что с ним там было бы — страшно представить... Господь уберег, и Ирка вытащила, можно сказать, с того света. Сейчас бы закатывал огурцы на зиму, машину бы вылизывал и искал бы кабак повыгодней и поближе к дому — шесть штуки на полторы в месяц и ловить кайф...

Между тем Лена встала, очень мило попрощалась с уже захмелевшей и говорившей кто о музыке, кто о бабках компанией, Игоря, начинающего клевать носом — устает и самый неутомимый директор, — поцеловала в щеку и прикрыла за собой дверь со словами: «Надо подремать немного, а то завтра работяг напугаю...» Когда она ушла, засобирались и все, был уже третий час ночи. Сергей встал, деланно-лениво потя-

нулся, сказал: «Ну, кочуваем до завтра?..» — но к двери шагнул предательски резко, даже суетливо. Впрочем, это уже было безразлично.

Лена стояла на лестничной площадке, сигарета в ее руке дымилась, но она забывала подносить ее ко рту.

— Откуда ты знала, что я пойду здесь, а не поеду на лифте? — спросил он.

— А ты откуда знал, что я стою здесь, а не ушла давно в номер? — ответила она.

Это были их последние слова за ночь, потом они уже только бесконечно повторяли имена друг друга. По полу, куда они стащили гостиничный матрас, потому что кровать была узка, шатка и шумна, одновременно шло тепло от батарей и ледяные струи из каких-то щелей, и Сергей сразу захлопал носом, но потом и это прошло, и осталось только время, отмечаемое быстро светлеющей серостью за окном и бесконечно сменяющимися движениями, сочетаниями, и пот тек и высыхал на его спине, и ее слюна обжигала, словно кипящая, и маленькие, по-детски короткие и широкие ступни упирались в его плечи, а он все прятал лицо, задыхаясь, глубоко вдавливаясь, до грудинной кости, так что мир по сторонам весь был тонкой, голубоватой, кругло натянутой кожей, а он сползал, давился волосами, и губы жгло, и болела, будто надорванная, перепонка под языком. Он склонялся над нею, чувствуя, как искажается его лицо, и она широко открывала глаза и смеялась тихо, как смеются от счастья дети.

Она не знала, видимо, ни усталости, ни насыщения.

В Москве все стало ужасно, тяжело, надрывно, однажды он остановился перед светофором — и заплакал, положив голову на руль, как пьяный или больной. Тут же кинулся к нему гаишник, но тут же и узнал, как не узнать известный всей стране хвост, и серьгу, и узкие темные очки... Сергей вышел из машины, извинился, старательно дыхнув в сторону парня, чтобы тот убедился в трезвости и не думал, что сделал снисхождение звезде, сказал, что жутко устал, и дал автограф. До дому его довез гаишник, Сергей лежал на заднем сиденье, делал вид, что спит, слезы ползли из-под очков к вискам.

Всего дважды удалось им найти стены в этом всех и вся ненавидящем городе. В мастерской у приятеля Сергея, который и сам после развода в ней жил, но тут уехал на пару дней сдавать эскизы в питерское издательство, да один раз у нее дома, когда членкорр ее рванул на денек в Берлин с какой-то специальной лекцией. Всего дважды они погружались в эту свободу, в это абсолютное избавление, и он всякий раз снова удивлялся ее равной уникальности во всем. Она была одинаково недосыгаема в понимании Шопена, в приготовлении еды, в умении одеваться — как никто не одевался в его кругу, все эти оборки, шали, гигантские серьги, но ведь красиво! куда там кожаным штанам... — в способности преодолеть любую болезнь, в своей удивительной биографии от молдавской деревни до варшавского лауреатства и представления бельгийской королеве, от мужа агронома до мужа почти действительного академика, от двух пар трусиков, на смену сохнувших на батарее в консерваторской общаге, до небрежно брошенных рядом с кроватью парижских, нью-йоркских, лондонских тряпок, прямо поверх тут же валяющейся лисьей шубы — некогда, некогда...

И так же недосыгаема она была в постели, потому что не существовало человека более свободного и при том стремящегося к свободе каждую минуту. Однажды, склонившись, сначала едва касаясь, а потом тяжело укладывая себя на его груди, притираясь кожей, сказала, придвинув свой рот к его рту вплотную: «Будущего нет, понимаешь? Не у нас, а вообще... Есть только настоящее — и оно сразу прошлое... Мы свободны, понимаешь? Мы свободны...» Сергей задохнулся от этих слов, он чувствовал то же самое, но боялся, боялся, боялся...

А обычно они встречались в каком-нибудь кооперативном кафе, благо расплодилось, днем, в пустом полутемном зале, радуясь, что уют у нас по-прежнему представляют как нехватку освещения. Все это было ужасно сложно, Ирка старалась не разговаривать, отводила глаза, дети опять болели, но он был очень занят, доделывал новую программу, целыми днями сидел в студии, записывался и действительно был очень занят, а

Ирка безропотно, по собственной инициативе, одна тащила и Сашкино воспаление легких, и Людкины некончающиеся беды с ушами, и не разговаривала, и отводила глаза.

Будто знала, что среди дня он исхитрится, оставляет ребят в студии — «Давайте, давайте, надо легкость наработать, а то пыхтите... не рояль несете, радоваться надо на сцене, а не трудиться... Я в объединение...» — и исчезает. В машине прятал хвост под ворот свитера, снимал известные любой старушке с телевизором очки, даже серьгу вынимал, глубоко натягивал вязаную шапку. Машину ставил за квартал — быстро шел к очередному «Гриль-бару» или какому-нибудь «Московскому трактиру», надеясь, что по одежде сойдет за обычного мелкого жулика, шашлычника с рынка или наперсточника.

Она приезжала на такси, в каком-нибудь старом пальто, без украшений, с убранными под берет кудрями. Но и старые ее пальто были слишком заметны, а его узнавали иногда и без очков, особенно девчонки и немолодые буфетчицы, плялись, а они садились, стараясь забиться в угол, он много заказывал, чтобы расположить официантку, вытаскивал припасенную бутылку виски — выпивку в кооперативах все еще не подавали, но на принесенное смотрели благосклонно. Они все время держались за руки, еда остывала, они держались за руки, задыхаясь, почти теряя сознание, каждый заводил себя и другого, он ощущал приближение катастрофы, огласки, бесперспективность, тупик и много пил, а она только жаждала «исхитриться и увидеться, завтра, да?» и говорила «мы двое мошенников, мы авантюристы, южане, ты ведь такой же ростовский хлопец, мы что-нибудь придумаем, я цыганка, я что-нибудь всегда выдумую...»

Потом он вел машину пьяный, пробираясь маленькими улицами, подальше от трасс, вез ее на Ленинский, стояли в каком-нибудь дворе, мертво сцепившись в поцелуе, он возвращался к себе на Масловку уже трезвый, сидел на кухне, слушал радио. В Восточной Европе люди шалели от счастья, депутаты бубнили о неразрешимых проблемах, в ночной передаче крутили его новый диск и сообщали, что в годовом хит-параде молодежи он с «Романсом» на первом месте...

Все понимал, к его удивлению, только Игорь. Однажды даже прямо сказал: «Ишь, Серега, как тебя скрутило». — И у самого лицо сделалось убитое, скорбное, совсем не директорское. Видно, нахлебался и он со своей любовью.

Как-то в машине она стала сползать с сиденья, притягивая его к себе, разворачивая, расстегивая, он почувствовал ее губы — и действительно чуть не лишился сознания, но в это время сзади засигналили, он перегородил выезд из переулка, и, перегнувшись, он стал поворачивать ключ, заводиться, чтобы отъехать, но она, будто в припадке, не замечала ничего.

И снова они сидели в каком-то баре, было часов двенадцать, для декабря — утро. В углу мигал экран телевизора, бармен с округлым тоскливым лицом что-то считал, положив калькулятор на стойку и заглядывая в записную книжку, над ним сверкали пустые фирменные бутылки и пачки от сигарет, в колонках рыдал и вздыхал Розенбаум, в зале было совершенно пусто, только за столиком в другом углу сидели еще двое парней — в почти одинаковых рисунчатых свитерах, толстых твидовых брюках и в мокасинах-лодочках. Они пили коньяк и о чем-то беседовали, мирно посмеиваясь, но однажды, когда Розенбаум передохнул, Сергей вдруг явственно слышал: «Ну, постучал я его немного об пол мозгами, смотрю, он поплыл, ну, я его по яйцам на прощанье...» — Сергей помертвел, стало тошно, но певец снова застонал, Ленка взяла руку крепче и, как уже бывало и раньше, незаметно сунула под свой свитер, и все забылось, ушло...

Когда дверь открылась, Сергей как раз подносил ко рту стакан, на дне которого еще было примерно на палец виски, — Лена только что вернулась из недельной поездки в Италию на фортепианный фестиваль и завалила его подарками, майками «Лакост», поясами, кассетами и виски, конечно, литровая бутыллица «Чивас Ригал»... Дверь открылась, но Сергей успел сделать глоток, прежде чем увидел, что там, в дверях.

В дверях стояли двое точно таких же, как те, что сидели в баре, только поверх свитеров на них были еще короткие джинсовые куртки на белом искусственном меху, а в руках у

одного «калашников» — и Сергей увидел сразу все: и вытертый местами добела ствол, и желтый рожок, и сильно ободранный приклад, и странную манеру хозяина автомата держать оружие будто на смотру в строю, перед грудью, стволом вбок, а не на цель — у другого же обрез какой-то охотничьей, видимо, штуки, с узким прикладом, напоминающий дуэльный пистолет, и держал он его в полуопущенной руке, будто собирался сейчас спросить тенором: «Куда, куда, куда вы...»

— Суки! — негромко крикнул тот, что был с автоматом, и тут Сергей тихо поставил стакан на стол, и стал поворачиваться к Лене, и успел заметить, что она уже чуть-чуть приподнялась над стулом, как бы привстала навстречу вошедшим, глаза ее обратились к двери, выражение их было жесткое и спокойное, какое делалось всегда, стоило ей отвернуться от Сергея, а рот приоткрылся, как за мгновение до начала речи, и то, что она приподнялась, было удобно для Сергея.

— Суки! — повторил убийца. — Здорово, суки... — И он чуть развернулся вбок всем телом, и короткая, выстрелов в шесть, очередь разнесла воздух маленького помещения в пыль. Пустые бутылки от джинов и вермутов полетели осколками вверх, к потолку, и в стороны, по круглому и не успевшему изменить тоскливое выражение лицу бармена хлынула широкой и плоской лентой кровь, он постоял и упал вперед, на стойку, калькулятор свалился и скользнул к ногам Сергея. Тут же второй приподнял свое дуэльное оружие, и жуткий грохот заглушил, перебил дыхание, остановил время, один из тех двоих, за столиком, встал во весь рост, вскинул руки, полетел спиной в стену, ударился о нее, как тяжеленный камень, и остался сидеть на полу, привалившись к деревянной панели.

Сергей лежал на кафеле, подмяв голову Лены, прижав ее животом и пытаясь согнуть, втащить ее ноги под стол, за скатерть, ноги дергались, и каблуки сапог ездили по плиткам пола. Второй в свитере стоял за своим столом на коленях, держа пистолет в двух руках, как в тире, уперев локти в столешницу, и стрелял, старательно целясь, и промахивался раз за разом, пока наконец тот, что с автоматом, не повернулся к нему лицом и не подставил это довольно красивое полноватое

лицо со светлыми усами под пулю. Пуля вошла в его правую щеку рядом с носом, он закинул голову назад, как делают некоторые, глотая таблетку, и успел нажать спуск, и очередь, на этот раз очень длинная, прошла веером, пока он еще дальше закидывался и падал навзничь, сквозь все настольные лампы, стены и зазвеневшую керамику на стенах, и где-то замкнуло провода, и во тьме посыпались искры, и тут же запахло дымом, и удивительно быстро, мгновенно, показался огонь, запылала скатерть на пустом столе, в этом огне стояла вазочка с тремя гвоздиками, пламя поднялось столбом, и Сергей увидел того, с обрезом, лежащего на полу лицом вниз, а тот, что стрелял из-за стола, сидел на нем верхом и тянул его левой рукой за волосы на затылке, выламывая голову назад все сильнее, а правой шлепая по полу рядом с собой и не находя оружия. Вот, так и не найдя пистолет, он берет валяющуюся на полу стеклянную пепельницу, кладет, аккуратно примерившись по месту, и изо всех сил придавливает лицо убиваемого к этой пепельнице, и проворно встает, и топчет затылок каблуком. Пламя от догорающей скатерти вскидывается еще выше, цветы в вазочке горят, потрескивая, Сергей ползет за стойку, стараясь тащить Лену под собой, не приоткрывая. Ему кажется, что она уже мертва. В кухне нет никого, дверь на улицу открыта, и сквозь нее Сергей видит кусок грязного дворового снега и груды картонных коробок от калифорнийских лимонов.

Сразу после клиники Лена уехала куда-то на юг, а уже месяцев через пять Сергей увидел ее афишу у консерватории — Лист, Шопен, Сибелиус... Он к этому времени уже съездил в Швецию с днями культуры и подписал там контракт на диск. Голос вернулся почти полностью, спал нормально, Ирка очень жалела и любила, как ей Бог дал.

В августе они встретились — он обедал в Доме композиторов, вышел из ресторана и увидел ее, спускающуюся со второго этажа в сопровождении какого-то седого, в солидном костюме, в некрасивых очках. Сергей растерялся, но она окликнула: «Сереженька, привет! Это мой муж, знакомьтесь... Володя, вот, пожалуйста, мой любимый певец, единственный на-

стоящий на нашей эстраде, я все собираюсь с ним программу сделать... Представляешь, поп-группа — и классическое фортепиано?!»

Ни единого седого волоса не было в ее жгучих кудрях, качались в ушах огромные серьги, лиловый шелк обтягивал и блестел. Осенью она собиралась в большое турне по Штатам.

Говорила легко, глядя куда угодно, только не на Сергея, и лишь раз взглянула прямо и быстро, и он понял — тоже все помнит, и не выбить этого никакой стрельбой.

Вечером он сидел на кухне и слушал радио. В хит-параде его «Романс» отодвинулся на четвертое место, в остальном больших новостей не было. В Европе все ликовали, депутаты все делились огорчениями. Сергей в сотый раз вспомнил Челябинск, теплый и холодный воздух, обдувавший потную спину, вспомнил, как она сползала в машине, а он перегибался и пытался включить зажигание... Он набрал ее номер, дождался, пока подошел муж, и повесил трубку.

1989

RUE DARU ПРИНИМАЕТ ВСЕХ

Присаживайтесь, господа, еще часа полтора-два у нас есть, пока народ пойдет. Вот картонку подложите, да и садитесь, здесь не сыро. Могу предложить винца, пакетик картонный, они, уроды, и вино из картонок пьют, никак не привыкну, но на вкус ничего, да и подешевле...

Да, вы, наверное, недавно здесь, я вас что-то не видал, да и вам, по-моему, манера речи моя еще непривычна? Объясню: намеренно стилизуюсь, да-с. Все, что после того, как приличная речь в нашей стране выродилась, считаю недействительным, как бы вовсе не существовавшим, и говорить на волапюке проклятого века не желаю. Тем более что находимся с вами там, где и до нас достойные русские люди сживали, в подобных же обстоятельствах пребывая, а благородных слов и обычаев не теряли. Так что, если не совсем понятен мой рассказ будет или затруднителен для слушания, прошу переспрашивать, не наша с вами вина, что от образованного разговора отучены.

Итак, расскажу о том, как именно я точку на своей тамошней жизни поставил и что этому предшествовало. Если чей-то слух подробностями оскорбил — заранее испрашиваю прощения, но жизнь есть жизнь.

Для вас, новичок, представляюсь: Корзунов Владимир Ильич, бывший заместитель начальника главка, Харьковского государственного университета выпускник, магистр инженерии, а по-ихнему — кандидат технических наук, бывший член капээсэс, женат тоже был неоднократно, сын вполне зрелого мужского возраста где-то там, увы, обретается. Всего лишь, как принято говорить, ан-

кетные данные, но, ежели вы нашу доисторическую жизнь знаете, остальное можете сами прекраснейшим образом представить.

Ну-с, и пребывал я в полнейшем благополучии до самого последнего времени. Перемены достопамятные на моем положении, хотя и чиновник я был, не то что не отозвались, а даже благоприятствовали. Поскольку папаша мой, Илья, Царствие ему Небесное, меня Вовкой назвал, взгляды и биография его вам понятны. А потому меня, как сына честного большевика и невинной жертвы, стали еще больше поддерживать и продвигать, и как раз я замом, как они выражались, тогда и стал. Да еще жалованье нам повысили, да премии какие-то пошли, хозрасчетные, что ли, Господи прости... Словом, принял и я участие в том пиру во время чумы, в котором, почитай, все мы свою долю испили. Там стреляют, тут бунтуют, а я — знай, что ни вечер, в каком-нибудь вертепе получастном жизнь жгу. А то еще возьму да на конец недели и в Питер завьюсь — в Ригу-то или Ревель уже невозможно было. И все, что тому сопутствует, — коньячок, икорка, дамочка славная откуда ни возьмись тут же...

Жена уж и рукой махнула — спивается опора, что поделаешь. Только и надеялась на крепкое мое здоровье, от папаши доставшееся, которое ему в Потьме не искоренили. Да еще мечтала о стажировке, которая предполагалась для меня в Германии: на год и с семьей. А сын уж отдельно жил.

И вот тут-то в питерском курьерском, в памятной многим «Красной стреле» мы с ней и познакомились, в купе двухместном свел нас нечистый. Моих лет, умна дьявольски, остроумна, образованна, самостоятельна — шутка ли, на киностудии главный редактор! Красавицей не назову, носик российский, скуластая, а ухватки и сияние как раз такие, какие только у красавиц бывают, понимаете меня, господа? Знакомое это явление — ну, ровно ничего нет в женщине особенного, а идет от нее это сияние — и все, красавица безусловная, встречали таких? Вот то-то и оно...

Первую половину ночи мы с ней в тамбуре проговорили, курили, жизнь, как водится в наших поездах, друг другу рассказывали. Курила она нещадно, как все дамы, — они уж как начнут, так меры не знают. А она-то о мере вообще понятия не имела.

Что во второй половине ночи и выяснилось окончательно.

Хотя еще и не в той степени, что потом... Словом, начался у нас роман со всех сторон сразу. Говорить могли часами, и все было о чем, смотреть мне на нее было и счастливо, и болезненно до того, что впору и сдохнуть тут же, а в постели и вовсе последний раскудок теряли.

Среди порядочных людей не принято, а все же кое-что расскажу. Вы ее все равно не узнаете, да и я не увижу — так отчето же декамерончиком товарищей по ожиданию не побаловать? Так вот, прежде всего меня ее готовность изумляла. Я еще и опомниться не успею, а она уже того... справилась. И раз, и другой, и пятый... Выгнется вся, руками за головой в спинку кровати вцепится и визжит эдак тихонько: «И-и-и-и...» А потом глаза откроет, улыбнется и — «Привет, говорит, я здесь...» А через десять минут — снова... Ну, и меня, конечно, вдохновляла, да так, что я будто в четырнадцатилетнего превратился, будто во мне запас еще нетронутый был. И не то чтобы акробатикой там какой-нибудь ограничивалась, хотя и этим владела так, что я только глаза открывал — что там индусы с их наставлениями, им такого и не снилось за тысячи лет. Но она этому значения не придавала. У нее сила вся и тайна вся была — рот.

Ежели там в пакете осталось еще — передайте, пожалуйста... М-м, так... Благодарю.

Однажды под утро ступни мои стала лизать. О, Господи, прости!.. Я в крик закричал — все, готов... Вот так. А то похлопнет пальцы — и к груди моей прижмет, пардон, к соскам. Я сознание теряю... Нет, не могу больше, не расскажешь такого.

Простите великодушно, не стоило и начинать... Ну, да что же теперь поделаешь, я к концу ночи часто это вспоминаю, а уж если подопью немного — обязательно. Тоска... Грех, конечно, поблизости храма, ну да Господь простит, не убийство ведь, а самое человеческое дело, праотцев грех — Любовь...

Очень быстро, месяца за два, дошли мы с ней до полного безумия. Конечно, способствовали этому бесприютность, нравственность наша общественная, большевистское пуританство. Деваться некуда, ключики у близкого знакомого выпросить на пару часов — счастье, а потом еще невыносимее болит... Словом, наказал нас Вседержитель, помучились мы. То в трактире каком-нибудь мер-

зейшем сидим, вокруг твари какие-то крутятся, крик, смрад, грязь, то в подземке куда-то едем, то наконец пристанище найдем — ужас, снежная пустыня на окраине Первопрестольной, да и не на окраине даже, а в советской новостроенной слободе, в пролетарском раю — дома, как кроличьи клетки одна на другую поставленные, и более ничего. Вот, дескать, размножайтесь под благосклонным покровительством государства. А мы — противозаконно...

А что вокруг в это время творилось — вы не хуже меня знаете. Колонии бунтуют, черная сотня очкастых ловит, на улицах солдаты... А мы — представьте, господа, так и было — не замечаем себе ничего, и только носимся, как грешные духи, по всему безумному городу в поисках места для отчаянной нашей жажды.

Чтобы соединиться — такой и речи не заходило. У меня с женой отношения были довольно тяжелые, мучительные, там рвать было невозможно — об этом особый разговор, до другого раза отложим — у нее же еще хуже. Раз и навсегда мне сказала: «Я его не брошу. Дочь его любит, да и самого... бросать нельзя. Все».

И вот так оно шло.

В Питер один раз еще съездить удалось. Как вспомню я эту ночь, купе это огненное, узкие эти постели, постоянное это полузасыпание, оцепенение... Ужас, господа, ужас, никому не пожелаю! Судьба настигла нас и терзала, и сводила с нами счеты, а за что — Бог весть... Видать, проштрафились когда-то. И то сказать — за мной грехи водились, да и за ней, видно, тоже, говорила, что есть ей в чем перед мужем себя виноватой чувствовать. И наш роман к этому хоть и добавил, но немного.

А однажды, когда сидели мы с нею в каком-то похабнейшем месте, среди бандитов и шлюх, расплодившихся тогда, словно тараканы в жаркое лето, сидели и изнывали от желания, невозможности, касались друг друга, только еще тяжелее становилось, тянулись, маялись — перегибались через стол, шептались, целовались тайком, руки друг другу гладили — вдруг сказала она внятно и трезво — хотя и выпили мы тогда уже немало дрянного коньяку, подававшегося в ту страшную осень повсюду, — сказала твердо и беспощадно: «Нам осталось — до твоего отъезда. Ты — ап-

текарь, все взвешиваешь, все экономишь... Когда будешь тра-
тить?»

Тут я и зашелся, засуетился, чего-то стал придумывать, ре-
шать — и все без толку. Она-то понимала, что ничего не решишь,
а я еще метался. И добился-таки своего — уехали мы с нею на
два дня в Суздаль, в отель: чего это стоило с их паспортным ре-
жимом, с их полицейским присмотром за каждым — не вам рас-
сказывать. Приехали... Да. Снег лежит синий, храмы, дурачье
приезжее на них глазает — одним словом, декорация к жестоко-
му романсу. Поселились. Там отдельные такие домишки стояли,
вершина их комфорта. Заперлись. Сдирает она с себя одежду —
а одевалась она, я вам доложу, изумительно красиво, всегда что-то
такое металлическое, блестящее, стальное, а снимет — там розовая
кожа, волосы рыжеватые и влажная вся... Пардон, не могу удер-
жаться от деталей, да и нетрезв уже. Ну-с, разделись, я, понятное
дело, задышал со всхлипом и отчаянием — такая в ней несклад-
ность была особая, что невозможно видеть. Кисти и ступни дет-
ские, а бедра тяжелые, грудь как у девчонки, словно и не кормила, а
плечи крутые, предплечья мощные... А-а, не расскажешь... И да-
вай языком своим дьявольским орудовать. Без конца. У меня все
чувства пропали, одно осталось — осязал я ее. Вина у нас хоро-
шего с собой была бутылка, где-то я случайно купил, итальянско-
го — так она меня этим вином запивала...

А потом заснул я — прямо на ней. И проснулся утром.
И увидел ее — уже в стальной ее броне. На лице грим, в руках
сумка. Собирайся, говорит, пора.

И уехали мы из рая.

По дороге таксист все на нас в зеркальце посматривал, по-
мню. А потом, когда я ее перед подъездом высадил, он развернул-
ся, притормозил, достал бутылку все того же отвратительного ко-
ньяку, которым вся страна спасалась, и стакан мне налил. Прими,
говорит, мужик, двести грамм, а то ты совсем плохой стал. И да-
же денег брать не хотел, как в мелодраме, но потом взял все ж.

Вот и вся история. После все пошло-покатилось. Уехал я на
стажировку, жену взял, тут и бухнуло, взорвалось. Я было туда, ее
спасать, да уж никак невозможно. Не проедешь. И куда она там
со своим горбуном делась — не знаю. Разве я вам не сказал?

Муж-то ее горбун был, как там у них получилось, не знаю, но горбун, убогий. Вот она его и не бросала — нехорошо, мол, грех убогого-то бросить... Какой-то он был не то сценарист, не то режиссер, я не сильно тогда разбирался, да и не интересовался. Талантливый, говорили, и человек вроде порядочный, да мне-то что?..

Теперь же видите этой грустной повести финал. Жена на голландской ферме с рассадой возится. У нее от века такая мечта была — о земле, зелени, откуда в ней это крестьянское взялось — ума не приложу... Иногда в гостях у нее бываю, но не часто, чтобы не докучать. А большею частью здесь, на рю Дарю, с вами, глубокоуважаемые, в ожидании милости Божией и людской... Капля еще есть? Благодарствуйте...

Мерси, месье, мерси... Мерси, мадам. Благодарю, господа, за помощь, благодарю, господа... Мерси, мадам... Что? Какой Володенька?! Меня зовут Петр Григорьевич, мадам... Мерси, месье, простите, что заставил вас нагнуться, дай и вам Господь избавления от страданий ваших... Нет, мадам, вы ошиблись, я советую вам следовать за вашим мужем, ему с его изъяном непросто в толпе.

...В следующую ночь он снова сидел у ограды собора Александра Невского и рассказывал свою историю желающим скоротать время нищим. Вина на этот раз не было — даже из картонного пакета. Но кто-то из знакомых прихожан оставил ему упаковку — шесть банок пива. Он расходовал это богатство экономно, но до рассвета не хватило, и он снова с грустью вспоминал тот стакан коньяку, что налил ему когда-то московский таксист.

1990—1992

ДЕВУШКА С КНИГОЙ, ЮНОША С ГЛОБУСОМ, ЗВЕЗДЫ, КОЛОСЬЯ И ФЛАГИ

Когда семнадцать лет тому назад она поселилась в этой квартире, все уже было старое, но приличное. Мебель — тяжелая, с закругленными краями, мощная — была кое-где поцарапана, но стояла прочно, надежно, кровать все сносила без единого звука, маленькие ключи ловко поворачивались в окованных бронзой скважинах, граненые стекла сверкали в дверцах книжных шкафов и буфетов, на креслах — обивка из толстой шершавой ткани в золотисто-коричневых цветах и листьях была чуть засалена, но нигде не порвана... С одного щелчка срабатывали выключатели, и люстры с подвесками, вспыхивающими лилово-зеленым огнем, и резные плафоны ярко освещали обои — тоже золотисто-коричневые, в медальонах между полосами — и отражались в потемневшем паркете. В первое утро, оставшись одна, она босиком вышла в гостиную, увидела пыль, танцующую в луче, прорвавшемся сквозь шторы, прошлепала к гигантскому полированному ящику приемника «Мир», стоявшему на угловой тумбочке, нажала желтоватую клавишу — и ласковый, масляный голос забормотал, будто народный артист стоял тут же, за шторой: «Я л-любуюсь вами по нотчам...» Одесса и тут пыталась настигнуть ее, но в таком количестве она родного города уже не боялась...

Ничего нового не появилось с тех пор в квартире — только в прошлом году по его настоянию в спальне, потеснив с подзеркальника синие хрустали туалетных наборов и прочую ерунду, встал небольшой, серовато-серебристо-черный, матовый, напоминающий какое-то оружие «шарп» с видиком. Да на кухне — двухкассетничек... Да десять лет тому назад, к ее

горю, пришлось расстаться с бордово-кремовым ЗИМом, и с тех пор менялись уже третьи «жигули», к которым не было ни времени, ни желания привыкать — жестянки и жестянки...

А жильё дряхло, обои отвисали клочьями, замки заедали и проваливались, выключатели отрывались от стен, падала плитка в ванной, и понемногу бились стекла в кухонном буфете, и он уже напоминал руины — разбомбленный город...

Володя в этот год не вылезал из инспекций каких-то дальневосточных округов, прилетал чудовищно грязный и измочаленный, полевой китель с поблекшими звездами вешал не дальше прихожей, под рубашкой стал носить десантную, как он сказал, тельняшку. Долго ужинал на кухне, пил коньяк — шофер вносил коробку, — заставлял выпить и ее, рассказывал что-то про солдат, убийства, муки, при этом криво улыбался и несколько раз сказал невнятно-страшные слова: «Ничего, они еще этим умоются...» Сильно поседел и — когда утром снова надевал рубашку с погонами, пристегивал галстук, поправлял перед зеркалом вычищенный ею за ночь китель и высокую фуражку — становился неотлично похож на свекра, яростно глядящего с портрета в кабинете: такой же груболицый, прямоносый, с глубокими складками, соединяющими крылья носа с углами прямого, безгубого рта.

Она решила затеять ремонт. Ничего не менять, только реставрировать — дворянское это гнездо, на которое Володя плевать хотел, презрительно называл его «папашиной хазой», она любила с первого дня, радовалась его солидности, безвкусице, величавости, непохожести на все, в чем жила до Москвы, и на все, в чем сейчас жили люди. Кто-то из девочек в библиотеке порекомендовал прекрасного мастера, дал телефончик, она позвонила, ей пообещали «осмотреть фронт работ» через неделю — ровно через неделю, когда она только пришла со службы и рассовывала в холодильнике продукты, в дверь позвонили.

Она ждала пожилого мужичка, мастера-золотые руки из плохого кино, седенького, сухонького, с деревянным ящиком, из которого торчит складной аршин и молоток. По телефону отвечал немолодой женский голос, она думала — жена...

Вошел парень, в джинсах, джинсовой же рубаше, через плечо — роскошная кожаная сумка, хорошо промьгтые, едва ли не подвитые волосы гривой, от густой, русой, тоже вьющейся бороды пахнет как в холле «Интуриста»... Ей стало неловко — на улице стояла вязкая июльская жара, синтетическое ее рабочее платьишко пахло, как ей показалось, потом, а от рук несло бензином — чертова машина застряла под светофором, и, если бы не гаишник, она бы там до сих пор стояла... «Юра», — парень представился, было протянул руку, она замешкалась, он руку убрал, но тут и она спохватилась, он снова неловко протянул ладонь — и нечаянно дотронулся до ее влажного от жары запястья... Потом ей казалось, что тогда уже все стало ясно, что сразу и она, и он почувствовали то самое головокружение, обмирание, от которого не было избавленья, которому не было конца, прервать которое удавалось только на полчаса-час, когда уже не оставалось сил, а после оно возвращалось удвоенным... И она даже говорила, что тогда же, сразу, поплыла, но он усмехался, щурил глаза: «Просто жарко было, не выдумывай, генеральша, ты что же — на плотника-столяра на раз западешь?» А сам уже темнел, хмурился, лицо начинало дергаться, жить отдельной жизнью, и через мгновение он уже был снова готов, вцепляясь в нее, нависал...

Работать он начал назавтра и работал так, что сразу стало понятно — мастер не здешних класса и добросовестности. Но и цену назначил такую — она только моргнула и быстро стала прикидывать, как уломать Володьку, вовсе к быту равнодушного, а к деньгам скуповатого и пересчитывающего все на японскую электронику, к которой питал нежную любовь, как к высшему, на его взгляд, проявлению человеческого гения. Юра передвигался по квартире незаметно, шума работой почти не производил, только дрель выла, обедал поздно — когда она приходила из библиотеки. Сам же являлся утром точно к ее уходу и сразу начинал — приносил с собой уже готовые детали, какие-то точно обрезанные планки, бронзовые ручки, подобранные на неведомых свалках, куски тонкой фанеры, называемой почему-то смешным гоголевским словом «шпон»... Обедали вместе, ели гигантский салат — эмалированный тазик по-

мидоров и огурцов, радовались, что оба предпочитают постное масло сметане.

Он был родом из Ростова, потом банальнейшая шутка насчет Ростова-папы и Одессы-мамы применительно к их отношениям стала чем-то вроде пароля. «Это папа, — говорил он, и она прижималась к трубке, ноги сразу слабели, становилось мокро, душно, — а это мама?» Они ни о чем не договаривались, но уже к концу первой недели он спросил: «А глава семейства где же? В отпуске?» «В командировке, — она ответила безразлично-любезным тоном, совершенно неестественным и, почувствовав эту неестественность, продолжила еще более фальшиво-безразлично, — завтра должен быть...» «Значит, до понедельника у меня простой, — сказал Юра. Лицо его стало темнеть, потом она узнала, как он выглядит в ревности. — Ведь, насколько я понимаю, в понедельник товарищу генералу снова в дорогу?»

На десятый день, перед его уходом, они поболтали и выпили, он сказал, что есть повод, и вытащил из сумки фляжку с чем-то остро пахучим, похвастался: «Лучший в мире виски...» Потом, стоя уже в прихожей, чтобы закрыть за ним дверь, она вспомнила и попросила его ввинтить лампочку в ванной, в бра над зеркалом, света от потолочного плафона ей было мало. Он положил сумку, пошел в ванную, она подала ему новую лампочку, взяла перегоревшую, он повернулся к ней, обнял — и застыли: она, держа на отлете пыльную почерневшую лампочку, и он, все сильнее, все глубже вжимая ее в себя...

Он утверждал, что сразу все про нее понял, и тайна, которую она все эти годы скрывала от мужа, стала ему доступна с первого раза. «Глаза прозрачные, — говорил он задыхаясь, — прозрачные... тебя сквозь них видно... всю... как сейчас...» Она стеснялась этого с детства, едва ли не с десяти лет своих, неутолимой жажды и воображения, непобедимых никакой усталостью, никакой Володиной мощью, даже в его еще юные лейтенантские годы, когда мог он не спать всю ночь, когда мышцы дергались под каждым миллиметром белой, безволосой кожи и еще надеялся он завести сына, очередного вояку... Она старательно скрывала от мужа и от немногих за эти годы, уди-

вительно немногих для такой, как она, любовников, эту свою пагубу, стыд, неукротимость, порок — но Юра понял сразу и принял, и она заговорила, застонала, и все стало можно... Они вместе шли в ванную, вместе возвращались, вцепившись руками друг в друга, руками, перекрещенными, как в детстве на катке, когда катались парами, и идти до кровати было неудобно, но они не отпускали, не отнимали рук, и его пальцы терзали, рвали ее, и ее рот раскрывался все шире, и жара чудовищного июля расплавляла их, и он смеялся: «Ты это от жары или от меня?..» Вдруг он на мгновение засыпал, перевернувшись на спину, она клала голову на его грудь, густо заросшую темными кудрями, утыкалась носом, втягивала запах. Жара входила внастежь открытое широкое окно, бензин с набережной стлался над кроватью.

Ремонт уже был закончен. Володя поморщился, хотя она еще и уменьшила сумму на четыре сотни, но пошел в кабинет, выгащил откуда-то очередную батину книжку на предъявителя, дал... будучи человеком объективным, признал, что работа — высший класс, прикинул, где теперь можно будет поставить хорошую стереосистему и улетел куда-то — не то в Анголу, не то на Кубу, не то, может, и в Афганистан... Ей стало стыдно — ведь опасно же, он летит на войну, но поделаться с собой ничего не могла, отвлеклась и сразу же забыла, куда именно...

Теперь Юра приходил раз в два-три дня. Стал грустен, рассказывал все подробнее о своей жизни. О работе в институте, о том, что для программиста-системника высочайшей квалификации, как он, тут дела настоящего нет, что мать боится соседей, которые уже не раз предлагали убраться в свой Израиль, что разрешение, говорят, должно быть вот-вот, и тянуть нельзя, потому что дверь может захлопнуться... И однажды, когда на часок оба утомились, лежали голые поверх мягкой, мокрой простыни, сказал: «Слушай... а если бы ты ушла от своего... главнокомандующего... ведь нас бы не выпустили, да? Из-за него...»

Она изумилась настолько, что даже высохла сразу. Ей ничего похожего в голову не приходило. Она наслаждалась этим июлем, жарой, мокрыми простынями, собой, им — и не думала

ни об уходе, ни, уж конечно, об отъезде, хотя уже давно знала о его обстоятельствах.

После этого он стал говорить о возможности соединиться и, конкретнее, вместе уехать, все чаще. Она молчала, иногда вздыхала, даже начинала плакать, но в душе понять его не могла никак — ну, что ему еще надо? Все прекрасно... А уедет, в конце концов — будет, конечно, грустно, тяжело, даже ужасно, но ведь останется что вспомнить, разве плохо? Ее удивляла его положительность, все более частые разговоры о браке, жизни вместе, даже о детях — о, Господи, ну, какие еще дети? Знал бы он...

Володя стал ездить в командировки реже, с Гоголевского бульвара возвращался хмурый, ел молча, ложился, смотрел всякую муть по видуку — бегал какой-то полуголый, со вздутыми бицепсами, стрелял непрерывно... Потом муж засыпал, во сне тяжело храпел, бормотал... С Юрой встречаться стало совсем трудно, он получил разрешение, бегал оформлять всякие бумажки, а вечером было просто невозможно, да и днем Володя мог вернуться в любую минуту. Однажды удалось — начались какие-то большие учения, о которых писали в газетах. Юра пришел с утра, она отпросилась со службы, набрала кучу книг для работы будто бы... Юра принес кассету, она уже давно просила, никогда не видела, а попросить Володю, — хотя была уверена, что он сам где-то смотрел — с его прямым ртом и блекло-золотыми звездами, словно приросшими к плечам, было невозможно. Пошли в спальню, включили видик. На экране забарахтались, красно-мясное, мутное, чудовищно увеличенное, полезло с экрана ее давнее безумие, ее бедствие, болезнь... Она старалась не всматриваться, и все же замечала все, покрывалась холодным потом, почти теряла сознание, и уже извивалась сама, тащила к себе его, открывала рот, словно засыпающая рыба, и одной рукой прижимала его все крепче, а другой не оставляла себя в покое, но от этого заходила еще сильнее, круче, болезненней.

Входная дверь открылась. В ту же секунду она уже знала, что делать. Вся Юркину одежду — одним броском в окно... Сумки с ним сегодня не было, так... Еще носки, хорошо...

Теперь иди, иди, да не бойся же, смотри, здесь крыша в полу-метре, давай, все, пока, привет. Володичка, не могу, сил моих нет больше от этой жары, лежу, ну, устал? Иди, раздевайся, полежи немного, потом я тебя кормить буду...

Он стоял на раскаленной крыше, переминаясь, словно на пляже в середине дня. Никто его не мог здесь увидеть — он прижался к простенку, крыша этого крыла была обширна, а по краю ее стояли, словно защищая его от всего мира каменной шеренгой, юноши и девушки с книгами и глобусами, с теннисными ракетками и винтовками, с отбойными молотками и скрипками, а между юношей и девушкой обязательно были колосья, и звезды, и каменные стяги, и снова колосья. Небо над ними было светлое-светлое, почти без синевы, словно насквозь прожигало синеву страшным солнцем, и она расплзалась, как синтетика под утюгом, сползла к самому горизонту.

Он заглянул в окно. На кровати лежала его женщина — голая, мокрая от пота, выступившего еще под ним, розовые и рыжевато-желтые колечки коротких волос просвечивали над глубокой складкой, притягивающей солнце. Рядом с ней лежал генерал в полной боевой форме, в портупее, в сапогах, и пыльные звезды сверкали на его погонах зеленоватым золотом.

— Я улетаю, — сказал Юра. — Если хочешь, летим вместе, я могу тебя взять.

Женщина повернулась на бок, молча перелезла через генерала, причем груди ее проползли точно по его немногочисленным — мирный генерал — планкам, слезла с кровати и пошла к окну.

— Ладно, — сказала она, — уговорил, сионист. Летим... Только, чур, всю дорогу целуемся.

— Идет, — сказал он.

— Стойте, — сказал генерал. — Вы будете сбиты при попытке пересечения государственной границы! Я, конечно, могу позвонить Коле Афанасьеву из управления пэвэо, все же кадетами вместе учились, но при одном условии, как только обживетесь, пришлете мне еще двухкассетничек какой-никакой. Хоть «Санию», только ватт на двадцать пять, ладно? Иначе — стреляю...

Он, не вставая, расстегнул кобуру и вытащил «макарова». Но было уже поздно...

Они летели над городом, обнявшись. Пули маломощного пистолетика прошли далеко, не причинив им никакого вреда. Жара стояла страшная, и они еще раз порадовались, что не успели одеться. Они вцепились друг в друга, руки их были скрещены, ее крепкий кулачок сжимался все сильнее, его пальцы втягивало еще глубже...

— А у Шагала все евреи летают, — сказал он.

— И невесты, — сказала она.

— Правда, не с высоты, — сказал он, и оба расхохотались.

От жары в тот день у многих горожан звенело в ушах. Они поднимали глаза к светлому небу и с надеждой смотрели на два небольших облачка. Но облака были слишком светлы для дождевых.

1990

ТУСОВЩИЦА И ПОНТЯРЩИК

Запах плацкартного вагона был особенно невыносим в противоестественном сочетании с холодом. Они лежали на верхней полке по ходу, и ледяные струи от окна шли над их головами, как автоматные очереди, и когда она или он на мгновение приподнимались, эти дуновения потустороннего создавали ощущение чьей-то осмысленной войны против них, еще живых и, видимо, тем мешающих распространиться вагонной вони, законному холоду и безнадежности на весь мир.

Им не помешало бы ничто — ни довольно все-таки яркий полусвет от притушенных потолочных плафонов, в котором, конечно, все было бы видно, ни непрерывно мотающиеся по проходу пьяные и просто какие-то придурочные в кирзовых сапогах поверх джинсов, в трикотажных тренировочных, в тельняшках, ни сидящая с ногами на нижнем боковом диване в скрипящем поролоном розовом стеганом халате, непрестанно читающая журнал «Смена» — ничто и никто. Но холод, проклятый вонючий холод, омерзительная холодная вонь парализовали и его, и ее, хотя оба не хотели в этом признаваться и делали вид, что едва сдерживаются. Но холод уже давно сбил, обессилил его желание, и он дрожал не от страсти, и ее груди напряглись и соски распрямлялись совсем не от желания — оба просто отчаянно продрогли.

Он лежал с краю, на правом боку, вытянув и закинув правую руку на подушку и закрывая от чертова сквозняка ее голову — она была склонна к быстрым простудам, у нее было слабое горло, трахен. Левую руку он сунул глубоко под ее сви-

тер и какую-то майку, рука согревалась, и согревалась ее грудь, и эта рука и грудь начинали как бы отдельные отношения между собой, что-то у них там затевалось, какие-то игры, какое-то взаимное перетекание жизни сквозь сухую и жесткую кожу ладони и влажную тонкую кожу груди — левая рука мужчины на правой груди женщины, все нормально. Но тут он улавливал приближение стрелки, на которой вагон должно было здорово тряхнуть, он быстро научился чувствовать приближение этого момента и лихорадочно высвобождал левую руку, вцеплялся ею в крючок над полкой, маленький хромированный крючок для полотенца — чтобы не свалиться обоим. И снова только холод владел ими.

Она лежала у стенки, на левом боку, лицом к нему, спиной прижавшись к стенке, между этой уже совсем невыносимо ледяной стеной и своими лопатками она проложила одеяло, но оно почему-то съезжало, и прикосновение к пластику даже сквозь свитер наполняло ее отчаянием. Руки она держала на его груди, сунув их под свитер и рубашку, она держала их так все время, но пальцы все никак не согревались, она перебирала волосы на его груди и чувствовала, что он при этом не испытывает ничего, кроме озноба от ее пальцев.

Потом проводница потушила свет, и вагон заснул — храп, бормотание, ночная тяжелая работа десятков нездоровых носоглоток, легких, желудков во тьме напоминали об окружающих людях, жизни, но это уже было совсем другое дело, и спустя минут сорок им стало казаться, что холод отступил — да они и вправду наконец согрелись, лежа в свитерах, носках, джинсах под одеялом и его курткой, брошенной на ноги. Они даже задремали оба — сразу и очень ненадолго, минут на пятнадцать, но проснулись с ощущением долгого общего сна, почти супружества.

Без звука, дыханием, они продолжали свой нескончаемый шепот, они рассказывали друг другу жизнь, он вспоминал конец восьмидесятых, трудно представимый уют какой-никакой, а все же квартиры, почти счастливый покой, еду, выпивку, скучноватых друзей, нечто семейное... Собственно, жизни тогда не было, а было ощущение доживания. Но оставалась идиотская вера,

что все же, черт его знает когда, но случится нечто — общий поворот, удача, эмиграция, и тогда понадобятся силы, умение, способности... А может, и этого не было, а только теперь так казалось, было же спокойное ожидание следующего дня, следующей недели, будущего года, мелкие планы на какую-нибудь поездку, или заработок, или даже просто покупку, наконец — выпивку с друзьями... И предполагалось, что так — уже до самого конца.

А она перебивала и рассказывала, как она выходила из одной муки и немедленно ввергалась в следующую, и так без конца — бил первый муж, бил второй, дети болели и едва не умирали, не на что было купить сапоги, зимой ходила в туфлях и брюках, чтобы незаметно, но все время одолевала, и побеждала, и мужчины липли, а она одолевала все. Каждое его воспоминание вызывало в ней резонансное, но гораздо более мощное, как эхо в горах во сто крат превосходит кашель, обычный кашель одинокого человека, зачем-то идущего по усыпанному каменными осколками дну ущелья. Она и была, как горы и море, намного больше соразмерного нормальному человеку масштаба во всем — в чувствах, в горестях и счастье, ее было невозможно приспособить к обычной жизни, чувство меры вообще было ей неизвестно. Она и сама это сознавала и говорила об этом без гордости, но и без сожаления.

Вагон проспал первый сон, и ночная жизнь этой движущейся казармы вступила в новую стадию. Кто-то в другом конце встал, было слышно, как долго топтался между полками, видимо, в поисках обуви, потом пошел в уборную, цепляясь плечами за торчащие со вторых полок ноги. Вернулся, улегся. В соседнем с ними отсеке послышался явный мужской шепот, хриплый женский, возня, заскрипела полка. Он сообразил, что иначе и не могло быть, почти половина вагона занята Тусовкой, и ребята ночь пропускать, конечно, не станут только из-за того, что нет отдельных спален. Полка скрипела, стонала женщина, хрипел мужчина — потом встали оба, она рванулась в уборную, хлопнула дверь, он закурил в тамбуре, и дым пополз в вагонную тьму.

Вот и Тусовка, подумал он, только двое нашлось таких рез-

вых, да мы еще... Вот вам и Тусовка, подумал он — кишка тонка, а еще хвалятся... Совсем уже было не холодно, он закинул куртку на третью полку, но неудобно, конечно, было ужасно. Даже чтобы расстегнуться, пришлось выделывать нечто акробатическое, с опорой на одну руку. А о ней и говорить не приходилось — это было почти невозможно, джинсы окольцовывали, словно кандалы.

И все-таки они справились и с этим. А вагон спал, на нижних полках мирно храпели восемнадцати-, двадцати-, от силы двадцатипятилетние, парами, по трое и четверо, поддатые, поплывшие, заторчавшие, тащущиеся — и совершенно безразличные друг к другу, ребята храпели, девочки сопели, постанывали... Их было почти полвагона — и только двое нашлось среди них живых, подумал он. Двое — и еще мы.

Она задохнулась, и совсем плотно сдвинула ноги, сжала их, так что он уже не мог пошевелинуться, да это уже и не требовалось, она задыхалась все сильнее, он уже совсем выключился, и только опасался, как бы не выйти раньше, чем она этого захочет, но и этого можно было не опасаться, потому что она сжимала ноги все сильнее, и задыхалась, и сама двигалась едва ощутимо, так что не скрипнула полка, и все глубже проникала языком в его рот, прикасаясь к небу, к деснам, сталкиваясь с его языком.

Потом они остались лежать, как лежали — только он старался не расслабить руки, чтобы не придавить ее всюю тяжестью. И заснули, кажется, прямо так.

И лишь во сне он улегся сбоку, снова закинув руку на подушку, чтобы защитить ее от ветра.

Утром поезд стоял. Окна их вагона были в метре от сплошной серой стены, больше не было видно ничего. Тусовка собиралась на выход. Остальные в вагоне тихонько забились по полкам и ждали, когда наконец можно будет передохнуть от этой исчезающей угрозы. А Тусовка выходила в проход — джинсы, куртки, сапоги, цепи, кольца, волосы — Тусовка.

Они вдвоем тоже стали у выхода — тоже в джинсах, куртках, сапогах, его волосы можно было даже принять за крашенные, потому что седина была желтоватой, ее морщины, если

присмотреться, были не глубже и не обильней, чем у других подруг — закалка была иная, и до сих пор не ломалась она от всего, от чего двадцатилетние ломались за ночь.

— Что, понтыра, притомился? — спросил один парень, протискиваясь мимо него, без злобы, даже почти без издевки, почти добродушно. — На покой пора, дедушка...

Он было огрызнулся, было попытался ответить чем-то подобным, как бы ироническим, но она остановила:

— Ну, чего ты? Правильно все... Тусовщица и понтырщик. Идем...

На вокзальной площади их уже ждали. Увидав людей с автоматами, щитами, дубинками, в прозрачных забралах, Тусовка было рванулась назад, на перрон, но и дорогу туда уже перегородили люди в форме, в бронжилетах, с длинными палками в руках. В ту же минуту из всех репродукторов площади загрел мел невероятной громкости и напора марш — они уже знали этот марш, его всегда включали на полную мощность при выполнении Акции. Они слышали его впервые еще два года назад, только начав это свое бесконечное путешествие сквозь кровь и свою все время рифмующуюся с кровью любовь. Акция еще только была объявлена, еще многие не верили в серьезность намерений власти, еще ходили слухи и в самой Тусовке, что это только так — попутают, чтобы отлучить от рока, и от джинсов, и травки... Ведь не может быть, чтобы всех под корень, говорила Тусовка, ведь кто же рожать-то будет в полный рост, если всех до тридцати под Аксию пустят? Но марш уже гремел...

На площади было кончено минут через двадцать — ведь Тусовки приехало немного, человек восемнадцать. Прапора переходили от одного лежащего к другому, присматривались, и, если еще требовалось — один конец дубинки прижимался сапогом к асфальту, толстая резиновая палка ложилась на горло распростертого, и другим сапогом — на другой конец дубинки... И тихий не то скрип, не то треск раздавался над площадью. Прапора переговаривались между собой.

Они вышли с площади и наконец спрятали паспорта. Корочки, в которых они их хранили, были затасканные, обтрепан-

шиеся, но сами документы — как новенькие, и все даты видны, и все три фотографии на месте...

Они едва дотерпели до какого-то подъезда. Дом по дневному времени был совершенно пуст, все, конечно, были на работе. Его снова стала бить дрожь — подъездная сырость пробирала. Он привычно полез заочневшими руками под ее свитер, прижал.

И, закидываясь, светясь прозрачными тонкими волосами против какого-то случайного лучика, проникшего сквозь серое стекло над дверью подъезда, она зашептала — ничего не выйдет у них, я старая тусовщица, а ты понтыришь, и мы живы, и ничего, ничего, ничего у них не выйдет, мы живы, живы, живы!

Ее рот приоткрылся, и он увидел, как блестит слюна в желобке между плотно, все еще плотно друг к другу стоящими передними зубами.

1990

РУССКИЕ НЕ ПРИДУТ

Когда Европейский парламент решил полностью закрыть восточные границы, катастрофа стала неизбежна. Беспорядки, а затем и эпидемии, возникшие в приграничных лагерях советских эмигрантов, стали началом конца...

«Русская катастрофа и гибель Европы».
Сборник исторических трудов.

Токио. 2091 год.

К утру в палатке становилось так холодно, что в спальном мешке оставаться было невыносимо. Он, выползая, переживал самое страшное — ледяной воздух сжимал поясницу — и одевался старательно, не спеша, аккуратно заправляя рубашку под пояс, туго шнуруя ботинки, застегивая тщательно все пуговицы и молнии. Потом выходил, оставив полог открытым, чтобы за день палатка проветрилась и прогрелась изнутри дневным воздухом.

Он выкарабкался из ложины. Лес был гол и насквозь доступен взгляду. Между деревьями тлели горки мусора, обгорелые куски газет, шевелясь, медленно двигались под ветром от одной сгоревшей свалки к другой. Однажды из-под кучи обугленного барахла он достал совсем не пострадавшую красную книжечку паспорта и оставил себе. С того времени он превратился в Киселева Игоря Михайловича, родившегося в Москве тридцать девять лет назад, там же, в городском ОВИРе и получившего этот документ, дающий право покинуть страну.

Он выходил к большой поляне, к лагерю.

Здесь только-только начиналась вялая, полусонная жизнь, сегодня — позже обычного. На ствол обломившегося старого ясеня помощник старосты прикалывал кнопки — их язычки упрямо подгибались — очередные объявления. «Седьмого ноября 1992 года состоится общелагерный митинг в честь годовщины Великой (проклятого) Октябрьской (ноябрьского) социалистической (антихристовой) революции (переворота).

Коммунисты — с 10.00 до 10.30. Монархисты — с 10.30 до 11.00. Кадеты — с 11.00 до 12.00. Социал-демократы и анархисты — с 12.00 до ...» Было очевидно, что и помощник, и сам староста сочувствуют конституционным демократам, впрочем, это было понятно и без объявления: к телогрейке второго из лагерных лидеров была приколата розетка цветов русского флага с едва узнаваемым портретом Милюкова в середине. «Всем, не имеющим чехо-словацкой, венгерской и других промежуточных виз, сдать по 1500 новых рублей на приобретение анкет». Еще неделю назад за эти анкеты брали всего по 500... «Заседание лагерной выездной комиссии в среду, в 17.00, в палатке лагсовета. Повестка дня: 1) утверждение очереди на Францию (11 виз) и Скандинавию (Швеция — 3 визы, Дания — 3 визы, Норвегия — 7 виз); 2) персональное дело Шустермана М. С. о переделке израильской визы в германскую; 3) перспективный план работы по выявлению лиц еврейской национальности среди фольксдойчей (с участием Израиля)». Помощник старосты выронил кнопку и неумело, но зло выматерился.

По лагерю бродили растрепанные женщины в пальто, из-под которых у многих выглядывали полы халатов: несмотря на категорический запрет лагсовета, прямо в палатках жгли туристские примусы и ночью раздевались... В октябре уже было два пожара, сгорел мальчишка.

У трейлера «International Food's Actions» очередь уже завивалась кольцом. Сегодня, по случаю субботы, в ней были почти исключительно мужчины — так повелось с тех пор, как в одну из сентябрьских суббот выдали по банке пива. Чуть в стороне стояла пучеглазая каракатица ооновского вертолета, возле нее топтался патруль, трое тяжеловищих бельгийцев, их голубые береты были подсунуты под погоны, куртки расстегнуты, и все равно им было жарко — похоже, что хорошо хватили, спасаясь от ноябрьской сырости, еще до завтрака. Бельгийцы с вялым безразличием смотрели, как с другой стороны трейлера, у кабины, выстраивалась вторая, короткая очередь: весь лагсовет (кроме самого старосты, ему принесут в палатку), несколько известных в лагере деловых ребят, человека три из

группы самообороны, в пятнистой униформе из разгромленных армейских складов и с трехцветными повязками на руках... Водитель трейлера, огромного роста француз, в одной майке, из коротких рукавов которой выдавались окорока ожиревших бицепсов, уже раздавал здесь большие картонные коробки, дружески хлопая лагерное начальство по плечам.

В большой очереди народ стоял молча. Начал мелко моросить дождь, лица намокли, по щекам текло, но этих людей нельзя было принять за плачущих: они смотрели с таким угрюмым спокойствием, будто были отделены от жизни стеклом, сквозь которое видели и это утро, и дождь, и очередь, будто не участие, а наблюдение связывало их с кошмаром...

На противоположном конце поляны он разыскал маленькую палатку, откинул полог, заглянул. В сырой, затхлои мгле тут же зашевелились, засуетились, и, едва не столкнувшись с ним лбом, из палатки вылез мужчина. Это был низкорослый, большоголовый человек с широкой грудью, длинными руками и очень маленькими ступнями — он стоял, чуть переминаясь, дорогие кроссовки почти детского размера будто жили какой-то отдельной жизнью. Видимо, он вообще нервничал — то пригладивал и без того гладкие, плоские волосы, прилипшие к черепу, то прочищал мизинцем ухо. От этой суеты бросались в глаза не его мощь, грудь гиганта, руки гориллы, а уродство, непропорциональность почти карлика.

— Ну что, сегодня мы пойдем, пойдем? — большоголовый повторял по одному слову из каждой фразы дважды, эта манера как-то сочеталась с гигантским перстнем и множеством золотых зубов. — Уже пойдем или нет? Я отдал вам эти двести зеленых, отдал? Так что мы ждем, что? Я не хочу быть последним, уже весь Борислав там, один я здесь, что такое...

Надоело, подумал он. Надоели эти несчастные местечковые евреи, высокомерные питерские пьянчуги-интеллигенты, бесстыжие московские дамочки, спасающие мужа и детей под каждым кустом, надоели бешеные челябинские и кемеровские пацаны, жаждущие дорваться до джинсов и двухкассетников, — все надоело...

— В половине первого к ручью, — сказал он негромко и не очень внятно, но большеголовый уже молчал, уже слушал, буквально раскрыв рот, и не пропускал ни слова, можно было не повторять. — К тому месту, где стоит сожженный «жигуль». Оттуда пойдем. Понятно все? Вторые две сотни отдадите там. О выходе — никому, кроме тех, кто идет, это, надеюсь, ясно?

Не дожидаясь ответа, он повернулся и пошел в лес. Он знал, что большеголовый обязательно придет сам, приведет своих и никому больше не скажет — еще никто не подвел.

...Пулемет гремел, этот ужасный, гулкий звук, казалось, был не машинным, чужеродным здесь, а исходил из самого естества голого ноябрьского леса, из черных на фоне черного неба облетевших деревьев — будто железные ветки стучали под ветром друг о друга. Когда наконец стало тихо и отзвенело в ушах, он вылез из уже чуть осыпавшегося окопчика (вырыл его здесь еще в июле) и пошел, глядя только прямо перед собой, на уровне роста, отмечая стволы, рассеченные очередями до сияющей в темноте белизны древесного мяса. Главное, нельзя было смотреть на землю, к этому привыкнуть не смог. Каждый раз становилось нехорошо, однажды чуть сам не упал, увидев девчонку... В этот раз все-таки увидел большеголового: привалившись к нетолстому дубку — пятки кроссовок, поехав, сгребли валики земли и жухлых листьев, уперлись — убитый стоял...

Молча он вытащил из кармана уже приготовленную сотню и протянул старшему из мальчишек. Небрежно, не считая, тот сунул деньги в нарукавный карман военной куртки, презрительно скривился.

— Хреновый ты проводник, понял? Сегодня метров на пять левой вывел, а мы тут упираться должны за столы... Смотри, промажем — тебе хуже будет. Можешь вместе с жидочками залечь... Короче, за эту работу с тебя еще полтинник, понял? Штраф...

Пацан ухмыльнулся, и он подумал, что, если сейчас не поставить сопляков на место, в следующий раз могут действитель-

но пристрелить — эти выродки способны ради двух сотен сию минуту пренебречь будущими тысячами.

Тот, что говорил, продолжал усмехаться. Подростковые прыщи у него уже сошли, но лицо осталось изрытым, сизым. Ленточка с буквами РВПС — «Российская вольная пограничная стража» — была пришита над нагрудным карманом криво, неровными крупными стежками. Фонарь, большой американский полицейский фонарь держал один из двоих, стоявших по бокам командира, автоматы они уже закинули за спину... Мигнув, отлетел в сторону фонарь, и лишь желтая трава осветилась теперь вокруг того места. Ручной пулемет командира рванулся стволом вверх, очередь полоснула в небо, но мальчишка уже отпустил оружие, падая, сгибаясь, зажимая обеими ладонями пах... Свет фонаря ударил в глаза окаменевшим в ужасе пацанам, он крикнул: «Руки! Руки вверх, ну...» — и, не дожидаясь, пока руки вознесутся строго вверх в луче света, ударил длинной очередью... Командир еще шевелился, под клубящимся светом фонаря темная кровь толчками, все больше и больше, заливала куртку. Едва удерживая одной рукой пулемет, он приподнял ствол, выключил фонарь, чтобы не видеть, и дал очень короткую — выстрела в три — очередь.

Потом он возвратился в палатку. Можно было поспать часов до двух.

Сумрачный тек день, мелкий дождь шумел непрерывно, рядом с палаткой мок принесенный от какой-то недогоревшей свалки обрывок старой газеты с крупным заголовком: «Ночные выстрелы в лагере у границы». Бульдозеры шли сразу за головным танком, замыкала колонну бэмпэ. Въехав в ложину, танк остановился, из открытого люка вылез до пояса парень в чудовищно грязном комбинезоне и глубоком шлеме. «Эй, — заорал он, — вылезай из палатки, а?» Тут же из кабины бэмпэ высунулся офицер, его защитная полевая шапка была косо сдвинута, козырьком на ухо. «Халилов, — окликнул он, — чего орешь? Видишь, нет никого... Действуй! Темнеет уже, скребена мать, мы с лагерем разобраться не успеем...»

Люк захлопнулся, моторы заскрипели отчаянной, и следом

за танком по молчавшей одинокой палатке прошли оба бульдозера.

Лагерь уже задыхался в суете. Люди уходили в лес, кто-то еще пытался свернуть палатку, кто-то тащил узлы... Первой в лес ушла одна пара, их почти никто не знал в лагере, они появились недавно и незаметно, не участвовали в лагерной жизни и сейчас снялись первыми. Когда танк ворвался на поляну, они уже были далеко. Они шли строго на запад, мужчина поддерживал женщину, помогая перелезть через поваленные деревья. Заночевали в пустом каменном сарае, каменный пол в нем был чисто выметен. Вдали чуть темнели силуэты Европы — двухэтажные домики, игла ратуши и более высокая — собора. Ночью, не просыпаясь, женщина заплакала, мужчина почувствовал ее слезы на своей щеке и зарыдал сам, трясаясь, скрипя зубами, зажимая рот, изо всех сил стараясь не завывать в голос.

1990

ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ

В углу были навалены кучей бронежилеты, он сразу облюбовал это место и пристроился там, как только взлетели. Ложе получилось жестковатое, но все равно удобное для полета. В этом треклятом сарае ничего придумать было нельзя. Он положил автомат рядом на пол, развязал шнурки ботинок, расстегнул новенький бушлат, одолженный вояками, и тут же начал дремать. И как всегда в последнее время, когда в газетах замелькало название Города, в дремоту немедленно явилось воспоминание, возобновился бесконечный просмотр этого старого фильма, жестокой мелодрамы, оставившей на его жизни шрам, какой бывает от черепных ранений, — глубокий, уродливый... Такая вмятина осталась на лбу одного парня из пятого отдела после Ашхабада — вышел из госпиталя через три месяца и сразу уволился, но все успели его увидеть, рассмотреть глубокую вмятину над правой бровью, уходящую под волосы как бы пробором, и выслушать рассказ о поднимающемся прямо в глаза стволе обреза. Теперешнее воспоминание было не болезненно, а скорее приятно — так же, наверное, как трогать, растирать, почесывать старый шрам...

В семьдесят четвертом его перевели наконец в Город, заметило начальство старательного парня из самой паршивой среди районных прокуратур. Дали комнату в общежитии, набитой ментовской молодежью, донашивающей по вечерам в качестве шлафроков армейские ватники и тельняшки: холод был в двухэтажной развалюхе — части старых торговых рядов — адский; выделили двухметровый кабинетик, ровно половину кото-

рого занимал могучий сейф столетнего возраста с бронзовыми вензелями и колонками; зарплата повысилась на тридцатку, почувствовал себя обеспеченным человеком; появились новые знакомые среди областной юридической элиты — адвокаты, прокуроры, начальники райотдела и отделов областного управления милиции; наконец, и просто областное начальство среднего и чуть выше среднего ранга стало замечать и время от времени то на пару дней актива в лесном профилактории прихватывать, то просто на отдых в конце недели — попариться, передохнуть за рюмкой после трудов праведных.

Познакомились с нею как раз на таком двухдневном отдыхе. Приехала с мужем, первым в городе адвокатом, пятидесятилетним, седовласым, как положено по профессии, красавцем в роскошном джинсовом костюме — мог себе позволить среди номенклатурных тренировочных, — облежавшем его, как сюртук. Они сидели за соседним столом с прокурором и председателем облпрофсофа, прокурор и познакомил начинающую журналистку городской вечерки и ее прославленного мужа с подающим надежды следователем прокуратуры — глядишь, может, вам, Мариночка, какую-нибудь информацию подбросит сенсационную, жулья много развелось, а вы с Германом Михайловичем посоветуетесь...

Поговорили, разошлись, встретились снова случайно недели через три — на комсомольской конференции. Вечером, как принято, пьянка началась безумная, со всеми комсомольскими утехами. Он слонялся из комнаты в комнату пансионата машиностроителей, традиционно предоставленного комсомолу для подобных развлечений, с кем-то выпивал, с кем-то добавлял... В одну из комнат вломился не совсем кстати: увидел посреди помещения знакомую из политотдела управления, из формы на ней был только беретик с кокардой, а вокруг суетилось человека три активистов районного уровня — вовсе налегке. Впрочем, никто не смутился. Он побрел на улицу. Стояла первая, уже пыльная неделя апреля, свежубранные дорожки территории светились под голубыми фонарями, скульптуры и скамейки сияли краской, а вдали темной оторочкой светлого неба угрожающе шумел лес — начинался ночной ветер.

Она сидела на перилах крыльца и курила. «А-а, Шерлок Холмс областного размаха, — приветливо сказала банальность, — ну, приготовили сенсацию? Убийство на почве ревности или ограбление стройбанка?»

Роман начался бурно, хотя, собственно, какой это был по началу роман? Так, комсомольское мероприятие, которых в ту же ночь было столько, сколько коек в пансионате... Но их уже через месяц заклинило, ничего легкого не получалось, да и не могло получиться.

Потом, когда все прошло, он проанализировал ситуацию и понял, что самым главным в их отношениях были трудности. Увидеться в городе, даже перезвониться было невозможно — ее знали почти все, его уже многие, а уж ее мужа — просто весь областной центр: и начальство, и простые обыватели. Вальд как раз в это время вел большое дело, судили горхозторг, в зале горсуда было не протолкнуться... Они изощрались в поиске самых невероятных мест свиданий и в конспирации, и от этого сближались все более.

С третьей или четвертой встречи тень Германа Михайловича Вальда, председателя областной коллегии адвокатов, автора двух книг и, вероятно, одного из самых богатых людей в городе, начала витать над ними. Лежали в постели подруги, в квартире в самом дальнем из кварталов новостроек, куда добирались, конечно, порознь, и подруга не знала, для чего и для кого нужен ключ, и вроде даже вообще не знала, что он для чего-то нужен, а просто уехала в Москву на экзаменационную сессию. Конечно, не отвечали на телефон. И, задернув от унылого дневного света шторы, трижды предупредив его начальство, что он должен пройтись по предприятиям, с которых все чаще идут сигналы о хищениях всякой химии — а город жил химией, и отцы области отлично знали, зачем прут препараты с производства, делали здесь все для химической войны, а в малых дозах народ отраву с удовольствием употреблял вместо дефицитного «Солнцедара», — лежа в чужой постели и едва успев удовлетворить первую жажду, они начинали говорить о ее муже.

Муж взял ее из нищеты, присмотрел еще чуть ли не с

пятого класса. Выучил в университете, определил в газету, учил писать заметки, сам прекрасно владея пером. Она его не то чтобы боялась — просто всякое подобие собственной воли теряла не только в его присутствии, но и вспоминая. Он тиранил ее изощренно, не слишком требуя послушания в мелочах, но последовательно уничтожая в ней самолюбие. Научил писать заметки — и называл теперь не иначе как «писька вечерняя»; наряжал, людей знакомил с «моей красавицей» — а вечерами подводил к зеркалу голую, ставил рядом с собой, мощным, высоким, без живота, старым волейболистом, и говорил: «Видишь, все признаки детского рахита налицо...»; парикмахершу для нее вызывал на дом; то из Венгрии с какого-нибудь конгресса, а то и из Западной Германии, в составе прогрессивной общественности, привозил тряпки неисчислимо — и рубля никогда не было в ее кошельке...

Она рассказывала о нем — и возбуждалась необыкновенно, и они спешили, пока стрелка неумолимо ползла к концу рабочего дня и к необходимости ее возвращения в квартиру из четырех комнат на центральном проспекте, с роялем и бронзой, скупленной по всей области. Они спешили, и не могли отлепиться друг от друга, потому что она возбуждалась все более, и он видел, как бешено горят ее глаза, когда она, изгибаясь под ним, переползая все ниже, умудрялась бормотать, когда, казалось бы, и слова выговорить нельзя: «Вот теперь я писка вечерняя... и вот... и вот, вот, вот...» Она изгибалась, поворачивая к нему лицо, упираясь в чужую подушку локтями, и шипела: «Вот так, вот так, это для него, для него...»

Они все время были втроем, и самое страшное было — что это его устраивало. По утрам в своем кабинете-чулане он старался не вспоминать свидание, но если вспоминал, то неизбежно всплывала и картинная седина, огромная важная фигура, и он уже не мог обходиться без этого.

Однажды в самой середине лета, в июльскую липкую жару они умудрились среди дня смыться за город. Давно ей известное место — маленькая затока, как она уверяла, было не известно больше никому в городе. Приехали туда, конечно, врозь — он на электричке, она на автобусе, врозь шли от де-

ревни... Долго лежали на его казенном одеяле, обсыхали от городского противного пота, он поглядывал на нее искоса. Живот выступал чуть-чуть, даже когда она лежала на спине, видимо, это и давало старому подлецу основания называть ее рахитом и ребенком Черной Африки. Грудки слегка распались в стороны, и кожа на сосках сморщилась еще больше обычного от ссыхающегося пота. Солнце пятнами пробивалось сквозь листья дубов, которыми были славны берега этой узкой речонки, ложилось на ее тело, освещая мелкие родинки, волоски, сильно выцветшие по сравнению с темно-русой прической, жилки... «Представляешь, — сказала она вдруг с горькой обидой, — Герман Михайлович говорит, что у меня язык су-конный...» «Какой язык, — не понял он, — ты ж говорила, что уже месяца три, после приступа почечного, он с тобой не...» «Да нет, — раздраженно перебила она, — пишу я, значит, скучно, понимаешь?»

И тут на него что-то наехало, пошли круги перед глазами, как бывает, когда стоишь нагнувшись, а потом выпрямишься, и он кинулся к ней, резко рванул кверху ноги, уперся в них плечами, рыкнул коротко и страшно, и сам не успел почувствовать ничего, и она не успела — насилие было мгновенным и жестоким, и она лежала потом, некрасиво раскинувшись, а он отошел в сторону, быстро и брезгливо вытерся носовым платком, и оделся, закурил...

Через неделю они все и придумали. У Вальда был пистолет, из уважения ему подарил конфискованный браунинг сам начальник областного угрозыска, выписал и разрешение. Она должна была этот браунинг выкрасть и передать ему. Как быть дальше — и с отпечатками пальцев, и с прочим — он знал, недаром по криминалистике был в группе лучшим. Ей оставалось только тихонько впустить его поздно ночью в квартиру...

Что к этому времени они оба сошли с ума, подтверждалось как раз тем, что все детали они продумали чрезвычайно тщательно, а основную проблему даже не обсуждали. Убийство представлялось таким же неизбежным, как если бы оно уже произошло.

Когда она открыла дверь точно в назначенное мгновение и он шагнул в темную прихожую, голова его была пуста, и только одна мысль в ней прокручивалась, как валик арифмометра: «Протереть клавиши, протереть клавиши, протереть клавиши, протереть...» Было решено, что после того, как он выстрелит, прикрыв пистолет подушкой, в висок спящему, она напечатает на семейной пишущей машинке предсмертное письмо самоубийцы. Многие в городе знали, что адвокат ужасно боится рака, обследованиям областных светил, дающим утешительные результаты, не доверяет, а почечный приступ действительно вывел его из равновесия, и она должна была за ужином, кроме обычных оскорблений, выслушивать еще и его прогнозы относительно распутства, в которое она ударится после его смерти на его же деньги. Однажды сказал: «Болей не переживу...» Записка, таким образом, напрашивалась.

Она открыла дверь, он вошел в темноту — и тут же в ее руках зажегся фонарик, совершенно ослепивший его. И он услышал ее шепот: «Если включить свет, он может проснуться... А ты слушай: ничего не будет, понял? Уходи... уходи отсюда... Ты хотел его убить... ты человека можешь убить... за то, что он тебе мешает... ты меня не любишь, не я тебе нужна, ты его ненавидишь, за то что богатый, знаменитый, сильный... иди отсюда... иди!» Фонарик в ее руке задержался, осветил залитое слезами лицо на мгновение, он понял, что у нее истерика, и сразу простил ей обиду, чудовищную, страшную, и подался к ней, чтобы успокоить, забыв на эту секунду, зачем шел в чужую квартиру, забыв все, поглотившее их за последние дни, помня только одно — вот плачет его любимая, ей плохо... Но фонарик в ее руке снова дернулся, скользнул по стенам длинный луч — и он увидел, что в правой руке она держит тот самый браунинг, и ствол направлен на него. «Иди... иди отсюда, — сказала она почти в полный голос, и он отступил не от пистолета, а именно от голоса. — Иди, уходи... дрянь, убийца! Иначе я тебя убью — и все...»

Через два месяца он видел их вдвоем на открытии сезона в музкомедии. Она была в новом платье, темно-синем, с широко отстающим от шеи воротом, ткань отсвечивала стек-

лом — такого здесь еще не видывали. Он был в бархатном костюме, в ботинках на подошве невероятной толщины, «на платформе», как прошелестело по толпе. И даже брюки были расклешены — страх смертельной болезни не мешал ему наслаждаться жизненными возможностями. «Без женщин жить нельзя...» — гремело со сцены.

Он вышел в антракте, оделся, побрел по улице, зачем-то сел в электричку. Глухонемой продавал фотографии. Среди календариков с кошками и омерзительно пухлыми детишками он увидел сердечко, раскрашенное анилином, вспомнил детство — тогда продавались точно такие же — и купил. «Люби меня, как я тебя» было написано вокруг сердечка, а в сердечке, он был в этом уверен, целовалась чета Вальдов: красиво причесанный джентльмен и голубоглазая простушка с пышными темно-русыми волосами.

...Прямо из вертолета их пересадили в военный автобус и повезли куда-то по пустой степной дороге. «Сейчас, значит, приедем на место совершения нападения, — бодренько докладывал встречающий, следователь местной прокуратуры, — там, товарищи, вам уж и карты в руки... Раз уж посылают вас из Москвы, значит, не доверяют нашему брату... Ну, покажите класс...» Вдруг навстречу потянулась колонна: впереди два бэтээра, потом какие-то битые автобусы, грузовики, ободранные легковые, такси, позади танк... В автобусах и в грузовиках сидели не по сезону тепло — в дорогу — одетые люди, вздрагивали наваленные горами узлы и чемоданы. «Кто?» — спросил он без особого интереса, беженцев за последние года два навиделся достаточно. «Немцы, которые еще оставались, — все так же жизнерадостно пояснил абориген. — Народ их сильно невзлюбил, побили кое-кого, в деревнях пожгли... Теперь с военного аэродрома вывозим. Столица всех примет...»

Мимо ехала белая «волга». За рулем сидела женщина с пышной не по возрасту, грубо крашенной морковной хной прической. Голубые глаза ее глядели прямо, жестко, руки лежали на руле спокойно, голову она держала высоко, вызывающе высоко... Рядом на сиденье полулежал толстый, расплыв-

шийся, в растрепанных, редких, желтовато-белых патлах, свисающих на прыгающие щеки, старик. Колонна едва двигалась, и разглядеть пассажиров «волги» было нетрудно.

Он остановил автобус и побежал назад. Колонна стояла — впереди раздавались крики, треснула короткая автоматная очередь. Он подбежал к «волге», перехватил автомат в левую руку и распахнул дверцу. Голубые глаза смотрели на него в упор.

— Зря ты тогда меня послушался, — сказала она. — А теперь скоро всему конец... И всем нам...

— Найдешь меня в Москве, — сказал он негромко, едва переведя дух после короткого бега. — Найдешь, слышишь! Меня там нетрудно найти...

Колонна двинулась, и он снова побежал — назад к автобусу, навстречу медленно едущим машинам с детьми, парализованными старухами, стариками, скалящими от жары и пыли стальные зубы... С одного из грузовиков рухнул чемодан, раскрываясь, и он едва не упал, запутавшись в рваных простынях и полотенцах.

Самое плохое время наступало около пяти утра.

Он просыпался от ощущения, уже ставшего привычным, но каждый раз прежде всего испытывал раздражение даже не от самой боли в правом боку — тупо давило снизу под ребра, — а оттого, что боль и в это утро вернулась. Будто можно ожидать другого... Не надо было глотать и глотать эту соломенно-желтую отраву до самого сна, все бессмысленнее тараща глаза на расплывающийся яркими пятнами экран. Не надо было, перебив наконец сон и, конечно, проголодавшись, тащиться на кухню, отрезать толстый кусок жирной ветчины. Не надо было под чудовишный, еще и кетчупом политый бутерброд дожимать почти до конца только утром купленную очередную фляжку. Не надо было после этого адского ужина закуривать, стряхивая пепел в опустевшую пачку, чтобы не пользоваться уже вымытой пепельницей. Не надо было после сигареты допивать оставшиеся капли, радуясь расплывающемуся из-под груди теплу. Не надо было досматривать до конца всякий вздор после ночных новостей и засыпать в прокуренной комнате, рухнув на спину, сбросив — казалось жарко — одеяло.

Благословенный шедевр техники, таймер, вырубал телевизор, и он спал. Пьяный, тяжело дышащий, обросший к концу суток густой щетиной пятидесятилетний нездоровый мужчина, которого он сам в зеркале узнавал все с большим трудом.

В пять или чуть раньше печень будила его и день начинался.

За окном шел снег, в окне был голубоватый свет, наряд-

ный, как в театре, но он знал, что на асфальте эта красота, как бы ни было холодно, превратится в грязь, мерзость, и, пока сделаешь два шага от подъезда к машине, на манжетах брюк обязательно появятся мелкие желто-серые пятна. Он лежал, глядя в голубое за тюлевой сеткой окно и старался думать о чем-нибудь, что давало шанс задремать еще хотя бы на часок.

Один сюжет срабатывал чаще всего.

Он представлял себе дом на скале. Дом из белого грубого камня, сложенного большими блоками. Такие блоки нарезают специальными пилами, пила визжит, летит тонкая пыль, садится на белый комбинезон камнереза и становится невидимой, шпарит солнце, пот течет с работяги, и пыль, прилипая к потной коже, рисует на смуглом лице морщины и складки... Узкий и высокий белый дом на скале, с полукруглыми, темного дерева воротами в первом этаже, с широкой плоской трубой, поднимающейся вдоль противоположной воротам стены и торчащей из-за крыши. Во втором этаже небольшие квадратные окна закрыты ставнями из наклонных планок. Черепица крыши, зеленовато-желтая, отливает под жестоким солнцем драконьей чешуей. Тихо. Кроме дома, на скале возвышается расплзшаяся на свободе в стороны кривая сосна, а под скалою сияет, слепя, если нечаянно глянешь, ровное пустое море.

Купоросно-зеленое у отмели, почти черное между береговых камней, а вдали — где еще утром был вклеен в горизонт вырезанный из картона силуэт небольшого танкера, незаметно к середине дня исчезнувшего, — вдали просто белое и сверкающее, как жемчуг.

И такое же белое небо.

Медленно распаивает он ворота, с усилием тянет за толстые ржавые кольца сначала одну створку, потом другую. Внутри, в первом этаже, с каменным, огромными плитами выложенным полом, гараж. Красный кабриолет с белым верхом из потрескавшейся кожи, с белыми кожаными сиденьями стоит здесь, наверное, с того года, когда он был выпущен, но все так же поблескивают в полутьме хрустальные фары в мед-

ной оправе, высокая, домиком, решетка радиатора, крылатая фигура на его пробке и частые спицы колес. Пахнет металлом, маслом, кожей, каменной пылью.

Протиснувшись между машиной и немного пачкающей, оставляющей на руке белые тонкие царапины, стеной, он проходит в дальний угол. Здесь, рядом со сложенным в небольшую горку искрящимся антрацитом, поднимается к потолку винтовая лестница: стальной тонкий столб, вокруг которого закручиваются узкие, стертые, скользкие стальные ступеньки. Он встает на первую из этих звенящих металлических полосок, прошитых частыми, складывающимися в растительный узор дырками, кладет ладонь на тонкую горячую стальную же полоску перил, закидывает голову.

Над ним потолок — огромные клетки растрескавшихся черных дубовых балок, поддерживающих широкие, такие же черные доски. Кое-где между досками есть тончайшие щели, сквозь них, да еще сквозь выпавший в одном месте сучок сверху пробивается свет. Скользя левой рукой по гладкому телу стального столба, а правой по таким же, полированного металла перилам, он переступает, поворачивается, наклоняется, чтобы уместиться в витке лестницы, переступает, поворачивается — и вот уже поднимает над головой руку, упирается ладонью в тяжелый люк, поднимает его, делая шаг на следующую ступень, и, сначала до пояса, а потом и весь, оказывается наверху.

Второй этаж — это одна огромная комната. Люк открылся рядом с большим камином, даже не камином, а простым очагом, гигантский зев которого почти такой же, как ворота гаража внизу. Очаг пуст, черен, пол перед ним обит железным листом, сбоку, в железной стойке, орудиями пыток торчат кочерга и щипцы, в глубине, над тонким слоем старой золы, можно заметить решетку для мяса. Напротив очага стоят два кресла, ковровая их обивка вытерта, а с подлокотников свисает рваной бахромой, между креслами уместился низкий китайский столик из черного лака с перламутром, а у подножья кресел лежит старая, в плешинах шкура бурого

медведя без головы и когтей, обшитая по краю темно-красным сафьяном.

За креслами, в глубине, стоит несообразно большой даже для этой комнаты стол — необъятной ширины и четырехметровой длины толстенная почти черная доска на четырех резных колоннах. У торцов стола стоят два стула с высокими прямыми спинками и кожаными сиденьями, окаймленными частой строчкой медных гвоздей.

А за столом, у дальней стены, уже почти не видные в затененном ставнями пространстве, — бюро со множеством ящичков, закрытых складными пластинчатыми шторами, узкий тяжелый табурет перед ним и, дальше вдоль той же стены, буфет с толстыми фасеточными стеклами в свинцовых переплетах, закрывающими его боковые шкафчики, с полувыдвинутой столовой доской, на которой нагромождены медные сковороды с обгоревшими деревянными ручками, фаянсовые вазы на высоких ножках, зеленые кривоватые бутылки и темно-красные, вспыхивающие от случайного света кубки с глубокой резьбой.

От этой дальней стены, над бюро и буфетом, простираясь над всем пространством комнаты до стола, нависают деревянные антресоли. Ведет туда лестница, тоже, как и из гаража, винтовая, но из светлого дерева. Антресоли огорожены такой же светлой деревянной балюстрадой, со столбиками-бутылочками. В глубине антресолей можно увидеть низкий диван со множеством цветных подушек.

Опираются антресоли на уходящие в стены толстые балки — такие же растрескавшиеся, как и в первом этаже. Балки эти перекрещиваются над всею комнатой, на них лежат крашенные белым доски потолка, с одной из балок над столом свешивается кованая люстра красной меди.

На стенах — между золотыми толстыми занавесками, закрывающими изнутри окна, так что только тени от пластинчатых ставен немного пробиваются — висят большой крест, зимний городской пейзаж и винтовка.

Больше в комнате ничего нет...

А, еще несколько стопок книг на полу возле бюро...

Он уже спал и видел сон — всегда один и тот же, между шестью и семью, перед окончательным утренним пробуждением.

Дом этот особенно хорош тем, что, если закрыть ворота гаража, он превращается в крепость, полностью отделенную от внешней жизни.

Например, можно взехать по узкому, извилистому, потрескавшемуся и уже проросшему травой асфальту на скалу, ревя мощным мотором, сверкая под вечным солнцем фарами, и спицами, и крылатым человеком на радиаторе, вогнать машину в открытые вовремя ворота гаража, выпрыгнуть, потащить, задыхаясь, створки ворот на себя, заложить изнутри в пазы и скобы тяжелый засов, взбежать по лестнице, пригибаясь, поворачиваясь и скользя по металлу ладонями, сорвать со стены винтовку, рвануть от себя скобу, загоняя одновременно патрон из подствольного магазина в ствол, стать у стены между окон, осторожно отвести в сторону золотистую занавеску и глянуть в щель между стальными пластинами ставня.

Разбитая дорога пуста. Справа, от моря, поднимается сияние, слева падает прозрачная тень от сосны. Постепенно приближается звук, и вот на дороге появляется черный, жарко блестящий под солнцем лаковой плоской крышей автомобиль, высокая, тяжело дышащая колымага.

Тогда остается только повернуть одну, специально приспособленную планку ставня вокруг ее оси, чтобы увеличилась щель, чуть-чуть, чтобы не сверкнул на солнце, выдвинуть в эту щель ствол — и ждать.

Собственно, ради этого и нужен дом.

Женщина же будет сидеть на стуле с высокой спинкой у дальнего от окна торца стола, а кошка будет медленно идти по столу от нее к стрелку, и спрыгнет со стола, и потрется об ноги, выгибаясь и даже привставая, отрывая передние лапы от пола, чтобы показать, как ей хорошо в тепле и с ее людьми. Полосы солнца из щелей ставня — одна шире других — лягут через всю комнату, контрастнее станут светлые и темные пятна на кошачьем переливающимся теле, и женские волосы сверкнут латуной зеленью.

Этим впечатлением можно будет удовлетвориться и уж не оглядываться.

Он просыпался затем около семи. Как всегда, наиболее отвратительным было бритье. Кофе без сахара сильно горчиал даже из самой лучшей кофеварки, а сладкий он не пил — после вечернего питья сладкое было невыносимо. Стоило подняться, как печень отступала, аллохол принимал скорее для порядка. Сыр царапался — настолько был сух, но надо было все же что-нибудь съесть до первой сигареты, это он старался соблюдать.

Приятные минуты наступали, когда повязывал галстук, это было безусловным развлечением. Обязательный темный костюм был особенно хорош потому, что позволял любые варианты: клетка, косая полоска, горох, цветок, загогулины «турецких огурцов»... Красное, зеленое, лиловое, желтое... Черное пальто приходилось чистить перед самым выходом — оно собирало нитки и пушинки со всего дома.

Шофер здоровался слишком фамильярно, но с этим уж нельзя было ничего поделать, это изменится лет через десять. Охранник сидел, как положено, на переднем сиденье, вполоборота к окну, был виден его полупрофиль, сильно скошенный подбородок над воротом кожаной, стоящей колом куртки.

К служебному подъезду приходилось пробираться особенно осторожно: к обычной грязи здесь добавлялся строительный мусор, все никак не кончался ремонт. Вокруг громоздились циклопические морские контейнеры и ящики из-под оборудования и мебели. Охранники в дверях на «здравствуйте» отвечали вежливо, но с именем-отчеством, однажды он сказал помощнику, что предпочел бы «господин президент», но натолкнулся на такой отчаянно непонимающий взгляд, что продолжать не стал.

Он никогда не пользовался лифтом и шел на свой последний этаж, автоматически отмечая грязные следы на ковре парадной мраморной лестницы, засыхающее в кадке лимонное деревце на площадке и слишком оживленные голоса, доносящиеся из-за стеклянной стены на этаже компьютерщиков.

Потом он сел за стол.

И день продолжался.

Так было всегда, и сегодня тоже.

До обеда он успевал позвонить ей хотя бы раз.

Он позвонил ей и сегодня — часов в одиннадцать. Не ответила. Он попытался вспомнить, не собиралась ли она куда-нибудь выйти, но не вспомнил. В двенадцать началось совещание с управляющими, собранными из всех филиалов. В четверть второго он вспомнил, что так и не дозвонился и, не переставая орать на идиота из Заречного отделения, ткнул в кнопку — номер был в телефонной памяти. Она не ответила.

В два он сказал, что едет на деловой обед, и спустился со своей верхотуры лифтом. В кабине испуганные девочки из отдела главного экономиста поздоровались хором и замолчали, глядя перед собой. Он отпустил шофера, сел, пристегнул ремень, повернул ключ. Охранник плюхнулся на сиденье рядом, дожевывая незаконченный обед. «Не надо, — сказал он, — не спешите. Идите, допейте свой кофе, я поеду один...» Недоверчиво косясь, парень открыл дверцу. «Только оставьте мне, — закончил он, — эту... эту вашу штуку...» Охранник был дисциплинирован и знал порядок, но слишком дорожил своим местом — нигде не получил бы столько. Кроме того, он знал, что у шефа разрешение тоже есть. Поэтому колебался недолго, открыл перчаточный ящик, неизменно называемый им «бардачок», и, мгновенно выдернув из-под мышки, сунул туда свой пистолет.

Он не без труда развернулся и поехал довольно медленно. Выхав из переуллка на проспект, он включил телефон и снова набрал тот же номер — молчание.

В тот момент, когда клал трубку, он увидел ее. Она шла по тротуару в сторону дома. Самое главное, что он успел заметить, — как она смотрела на того человека: точно так же, как на него, поднимая голову, чтобы глаза прямо в глаза.

Он перестроился в крайний левый ряд, так что вряд ли она могла его заметить, когда он их обогнал. Он даже не очень спешил, все равно приедет минут за двадцать до них.

Это была моя ошибка, думал он, что я никогда не приезжал в обед. В конце концов, в этом нет ничего невозможного — иногда отменить, перенести какую-нибудь встречу и приехать около часу. Это я виноват, думал он, что не приучил к приезду без звонка. Надо будет поставить машину в соседнем дворе, где гастроном, думал он.

Ворота были уже распахнуты. Он выпрыгнул из машины, заложил засов. Солнце падало сквозь ставни. Он оглянулся — полосы солнца легли через всю комнату, волосы сверкнули латунной зеленью, кошка прошла по столу и, перебиваясь, прыгнула возле него.

«Видишь, — сказал он, — как пригодился этот дом? Здесь можно отсидеться, как в крепости, пока остается хоть один патрон...»

Белый узкий и высокий дом стоял на скале. Я просыпаюсь около пяти и думаю: ну, зачем она смотрела на него точно так же? Болит печень, и сделать ничего нельзя.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ СРЕДНИХ ЛЕТ

Я привыкла отмечать именно этот день очень широко — это был наш единственный семейный праздник, главное, чем Новый год, чем все государственные выходные, чем годовщина свадьбы и даже чем день рождения дочери. Я уж не говорю о дне рождения Жени, который он и вспоминать не любит, только раз собрал своих стариков, и двоюродных, и крестных, сидели долго, его дядька разговорился с моим отцом, он еще был жив, они долго вспоминали что-то о войне, где-то они там были поблизости, оба выпили по лишней рюмке, и старухи их едва растащили. Было это совсем недавно, года четыре назад.

Все так изменилось. Боже, как все изменилось.

Накануне в театре кое-кто подходил поздравлять, и даже с подарками, но я категорически отказывалась, мол, нельзя раньше, плохая примета, обещала поставить выпивку на следующий день, после спектакля, тогда и отметим.

Странно, мне кажется, что у меня нет настоящих врагов. Вероятно, кого-то я раздражаю, кто-то завидует приглашениям сниматься, хотя чего теперь стоят эти приглашения. А уж на театре моим делам и вовсе завидовать нечего, одно название, что звезда, а ведь уже два года толком не работаю. Кто-то из девок завидует и романам моим, хотя, опять же, видят, как именно из-за этих самых любовей день ото дня старею, морщины проступают, под глазами чернота и поддаю все круче, будь он проклят, этот джин с тоником, не было его в прежние времена, или был, но денег на него не было, и все шло нормально, в пределах обычных пьянок после премьер, ужинов в вэтэо, чёсов по Тюменской области, когда благодарные зрители советского кино несли и несли водку, молдав-

ский коньяк, шампанское отечественного изготовления, а я остав- ляла недопитый стакан, а уж если напивалась, то раз в месяц, как все наши театральные страдалницы, но этот чертов джин на каж- дом углу подкосил бедную девочку.

В общем, я отговорилаcь ото всех и села к телефону в дирек- торском кабинете, слава Богу, по стажу и положению доступ туда у меня беспрепятственный. Я села, накрутила номер и стала ждать ответа, слушала длинные, истошные гудки и одновременно, косо склонившись с кресла, поправляла почему-то съехавшие и перекрутившиеся колготки — а не надо было льститься на де- шевку на Кипре, вот и оказались не по размеру. Наконец он отве- тил. Привет, сказала я, милый, это я, поздравляй меня скорей. Так ведь рано, сказал он тупо, нельзя же заранее? Нельзя, согласилась я, но я очень хотела тебе позвонить, а другого повода нет. А, ска- зал он еще более тупо, это приятно, ну, какие у тебя новости?

По-настоящему мы познакомились дня за четыре до этого, хотя и раньше встречались довольно часто: он работал еще в стар- ром Управлении культуры и постоянно заходил на репетиции и читки, сидел на спектаклях всегда в третьем ряду с левого краю, потом шел за кулисы, здоровался, пожимая руки, как бы смущался, смотрел мимо и все время острил... Вдруг пришел ни с того ни с сего в выходной день, хотя все были в театре, на собрании акци- онеров. В свитерочке, в куртке — совсем другой. Пришел, до- ждался перерыва, к которому мы все уже окончательно очумели, а у меня еще и голова разболелась, отыскал, повел в буфет, взял кофе, уговорил выпить по рюмке коньяку, вдруг положил руку на плечо, заглянул в глаза — словом, вел себя абсолютно каноничес- ки, ухаживал.

И исчез. Я даже потеряла на несколько минут лицо, побежа- ла к нашему выходу, стала описывать Мирре Самойловне его сви- тер — не выходил ли? Да ушел Игорь Михайлович, спокойно сказала Мирра, зачем вы мне его одежду описываете, разве я его не запомнила за семь лет, ушел уже минут десять назад.

На следующий день встретил после спектакля — стоял у края тротуара напротив выхода, с чайной розой на гигантском стебле, не обращая внимания на оглядывающихся актеров, шагнул навстречу. Пошли пешком, долго стояли на мосту, поцеловались.

Почему-то потянуло к вам зайти, сказал он, я тут женился недавно, и захотелось с вами поговорить.

У меня зазвенело в ушах. Броситься на него, бить, кусать лицо, царапать, визжать, упасть на землю, дергаться в судорогах...

Потом, в этот, уже накануне дня рождения, вечер, когда я позвонила ему и назвала милым, и мы поехали в мастерскую нашего Бори, у которого, святой души, я без всякого стеснения попросила ключ, и там я вытащила из пыльного, хорошо, увы, знакомого ларя простыню и подушку и с ужасом поняла, что это те же самые простыня и наволочка, они остались с последнего нашего приезда с Витей, разве станет Боря менять белье так часто, и залилась сначала краской, но он ничего не заметил, а потом испытала страшное, неопишное удовольствие именно от этого — от простыни, на которой и Витенька мой проклятый дергался, и перед этим еще один, и Юра на следующий день — от жуткого этого, сладостного вранья, мерзости, распада, от того, что иду вразнос, что гадже быть невозможно, что на одной и той же простыне.

Он был очень хорош собой, этот Игорь, немного уже отяжелевший, но еще крепкий, видно, что в молодости спортивный мужик, с сильно волосатой грудью, заросшей крестом, с жирноватыми наплывами по бокам поверх тугих трусов, но и это не портило его, а он хрипел, и наваливался, и рвал сверху мои ноги, так что под коленками натягивалось и ломило, и доставал до конца до самого, и сползал, присасывался, внедрялся языком, пальцами, снова восходил надо мной и опрокидывался на спину, а я сидела, закинувшись, сзади ужасно дуло от неплотно закрытого окна, вдруг я оказывалась лицом в подушке, поясница прогибалась глубоко, и я представляла, как сбоку выгляжу, и, наконец, просто лежали рядом, я классически положила голову ему на плечо, он курил — в общем, как в паршивом фильме.

Тут-то он и стал рассказывать о жене. Понимаешь, так получилось, мы много лет жили с нею, но замуж она идти не хотела ни за что, все посмеивалась над моей работой, не нравилась ей та моя деятельность, да кому она нравилась. А тут говорит: ну, женой простого нового русского я могу стать. Ты же не знаешь, наверное, я теперь рекламой занимаюсь, агентство маленькое с ребятами сделали, ребята тоже из нашего управления... Что я мог ей ска-

зать? И вдруг понял, что давно уже не ее хочу, а тебя, понимаешь?

Я заплакала. Мы, конечно, еще и выпили до того, да и перетрахались, нервы напряжены, ну, и началась у меня истерика. Он растерялся, идиот, как будто можно, лежа на бабе, ей спокойно общаться, что вчера женился, а она только улыбаться будет. И ведь абсолютно он мне не нужен, ну, просто красивый мужик и в постели хорош, но совершенно чужой, а все равно обидно, никак не могу остановиться, реву уже в голос, причитаю что-то вроде «как ты мог, как ты мог» или еще какую-то такую же пошлятину, он, чтобы успокоить, мне еще рюмочку, еще, а я только сильнее, опухла уже. Но при этом сама замечаю, что руки мои делают свое дело, и он уже, хотя и устал, снова почти готов, а я не отстаю, и про себя думаю, какая же я мерзость, слезы текут, икак уже, а все терзаю его, и он наконец завелся, зарычал, вцепился зубами в сосок — и лежу я вся мокрая и сверху, и снизу, и липкая, и кожу уже стягивает на животе от выплеснувшейся его любви, откуда в нем столько накопилось-то при молодой жене и почти целой ночи со мной... А жена его, оказывается, вечером в Нижний улетела — тоже какая-то не то актриска, не то певица, нашего блядского занятия девушка.

Утром, по серому отвратительному рассвету, на котором каждая морщина видна, каждый прыщик сияет, вышли мы с ним из Бориной мастерской и попрощались. Такой вот подарок я себе сделала к сорокалетию: убедилась, что все чувства на месте, и наоралась, и наплакалась, как молодая.

И пошлепала я одна домой, не спеша, благо недалеко. До Женькиного питерского поезда еще оставался час, да пока он с вокзала доберется — вполне можно пройтись по свежему воздуху. Шла я по моей любимой Поварской, мимо старого Дома кино, перешла Садовую, по переулкам. И удивлялась, что после такой ночи усталой себя не чувствую, и не болит ничего, даже голова, а ведь не спали ни минуты. Значит, еще могу. Только легкость какая-то излишняя, и в ушах немного звенит, даже приятно. Навстречу люди идут, кто на службу спешит, кто по магазинам, а я иду себе, свободная, одета неплохо, немного бледная, конечно, но кто ж утром не бледный? Да еще допол-

нительно приятно, что нет-нет, а кто-нибудь и оглянется, то ли просто мужики на красивую бабу, то ли актрису любимую узнают. Нет, мать, говорю я себе, всё не так уж плохо, в конце концов, что тебе нужно, на театре еще все наладится, всё в моих руках, как только захочу начать работать, получу что угодно, в кино пока не забыли, народ узнает, мужики вокруг не переводятся, на жизнь в основном хватает, со здоровьем тоже терпимо, в последнее время даже цирк наладился, не залетаю давно, тьфу-тьфу — можно жить, подруга, можно.

Тут я подхожу к своему дому и вижу, что у подъезда вылезает из такси мой Евгений Семеныч, здравствуйте. А у меня в руках ни сумки, чтобы, допустим, из магазина возвращаться после неудачной экспедиции за кефиром, ничего. И морда недвусмысленно довольная, так что только слепой не увидит, как любимая жена провела ночь накануне своего драгоценного дня рождения, на который обожающий муж специально приехал, бросив свою не доделанную еще выставку в северной столице, добыв билет на ранний поезд. Черт. Что же делать-то, думаю я, и с радостным визгом бросаюсь к нему, обнимаю, даже сумку пытаюсь перехватить, заботливая такая, и нечто до того несуразное несу, что у самой уши вянут, а я, Женечка, по ларькам прошлась, посмотрела, что к вечеру из выпивки взять, в театре нашим поставить, а сумку даже не брала, я ж все равно столько не допру, сейчас позавтракаем, умоешься и сходим вместе, ладно? Ладно, говорит несчастный мой Женечка, целует, конечно, но — может, от совести моей нечистой мне кажется, — смотрит в сторону, смущается. Но это уже не страшно, думаю я, главное, врать быстро и сразу, и стоять на своем, и дойти до квартиры, до постели главным образом, а там он свою недоверчивость забудет.

Так, конечно, и вышло. Он стал распаковывать сумку, а я пока проскочила в спальню и прямо чуть не завопила от радости: это ж надо такое счастье, что я вчера утром постель так и не прибрала, так что получается, как будто я с нее только что встала, спеша по важным хозяйственным делам, а что морда зеленая и под глазами мешки, так это от грустного одиночества без мужа, который уже неделю сидит в Питере со своей дурацкой выставкой, всё выгружает да расставляет своих идолов, а томящуюся жену бросил в

полном одиночестве, при том, что и дочка, увы, уже второй месяц совершенствует язык в лондонской школе, вот беда.

Женя тем временем приходит в спальню, глядит, естественно, с интересом на кровать и протягивает мне подарок. Как и следовало ожидать, из антиквариата, в этом-то он понимает, потому всегда и дарит цапки, а не тряпки или духи. А любимые мои «Мажи нуар», я себе сама, считается, покупаю, с халтурки какой-нибудь. Кольцо на этот раз он где-то добыл потрясающее, сразу видно, что старой работы, но в отличном состоянии, огромная бирюза и такая простая оправка — закачаешься.

Ну, и полезли мы, понятное дело, сразу в койку, какой там завтрак, какое умывание, он только успел одежду содрать.

Вот тут я уже серьезно чуть не попалась. Настолько я от него как-то отвыкла за последнее время, настолько отделилась, что совершенно забыла старомодность его шестидесятническую, пури-танство, и только он ко мне повалился, как я автоматическим движением нырнула вниз, прильнула, обхватила, втянула, языком обвела — и вспомнила. Боже мой, он же меня сейчас убьет, шлюху! А что теперь делать? Не бросать же, не извиняться же — ой, прости, я все перепутала, это стандартное начало не для тебя... Но и на этот раз вроде повезло, он даже как-то умилился, и я поняла: считает, что баба дала себе волю, сильно соскучившись. Ну и понемногу, потихоньку исправилась, улеглась смиренно, ножки вытянула, глазки закрыла — а он, как всегда, от послушной этой позы, от девичества, неопытности как бы, озверел, заскрипел зубами так, что того гляди посыплется дорогая металлокерамика, но звука не издал, не крикнул, считая это мужчины недостойным, только забило его, будто током, да в очередной раз затрещала, выламываемая его все еще мощными руками каменотеса, спинка кровати.

Лучше б орал, чем вот так сдерживаться. После инфаркта все же.

И что удивительно: лежу я себе тихонько, зажмурившись, думаю, конечно, о нехорошем — ну, что, если сейчас ему сказать, как я ночь провела, да дополнить тем, как другие проводила здесь же, на многострадальном этом румынском ложе, когда не было в Москве доброго Бори с ключиком и когда не боялась неожиданного возвращения дорогого мужа, да вспомнить еще кое-что из

дневных часов, кресла, столы, затоптанные ковры с брошенными на них плащами, шубами, пиджаками, да сравнить с его бесхитростностью хотя бы Витенькин беспредел, или, к примеру, как мы Игоря Михайловича женитьбу отметили — что бы, интересно, было? И думаю, конечно же, что удивительно грязная я все же шлюха и что рано или поздно вылезет все или хотя бы кое-что, и тогда только с моста, с любимого моего старого метромоста, если туда еще можно забраться, в ноябрьскую воду, уже берушную поверх черноты матовым стеклышком льда, плохо только, что потом всплывешь безобразная, вздутая и полуразвалившаяся. Между тем, размышляя о таких приятных вещах, я чувствую, что дело-то идет своим чередом: намокаю, намокаю, теку, растекаюсь, совсем вся вытекаю, и вот... вместе... вместе... вместе.

Другие из кожи вон лезут, а вместе — только с ним, с моим старичком торопливым и неумелым. С любимым, что ли?

Господи, думаю я, ну, что же это за жизнь такая, почему все начинается с простого и легкого счастья, с легко заливаемой жажды, но не успеешь оглянуться, как ты уже увязла и он увяз, отношения, бессмысленная и неутолимая тяга, и чем чаще встречи, тем все глубже проникаем друг в друга, и еще чаще необходимость, как наркотик, как выпивка, и еще тяжелее, а назад уже не повернешь, правильно сказал Витюша мой, глядя однажды задумчиво на вечный центр его притяжения ко мне: вот в школе у нас были такие чернильницы-непроливайки, один раз нальешь туда чернил и уж не выльешь, сколько ни переворачивай, вот и отсюда мне уже не вырваться. Я вспомнила эти белые фарфоровые чернильницы с голубыми цветочками по бокам, которые таскала в школу старшая моя сестра, и засмеялась — а я, знаешь, одну такую чернильницу просто разбила, раскокала, все и вылилось, со стола, представляешь, на Иркин парадный белый фартук, атласный.

Бред.

Теперь мы идем с Женей за припасами к вечеру, потому что в театре наверняка уже собрались отмечать, тем более что дата у меня круглая, значит, набьются все и уже подарки приготовлены, или даже большой общий подарок, а может, вспомнят традицию, устроят капустник, поэтому хорошо, что я сегодня не занята на сцене, можно будет прийти к концу антракта и все накрыть в на-

шем буфете, а со своей выпивкой получится не так и дорого. Женья, спрашиваю я, как ты думаешь, кроме водки, надо что-нибудь брать? Воды возьмешь в буфете, говорит рассудительный Женья, и все, а водки надо взять пару литровых «смирновской» для начала, а дальше и наш «кристалл» пойдет, и так все нажрутся. День разошелся, холодно, но удивительно для осени московской сухо, и настроение могло бы прекрасное быть, как утром, когда возвращалась домой, но почему-то до того погано на душе, что сил нет, а Женья загружает из окошка ларька бутылки в сумку на колесах, предусмотрительно им прихваченную, я смотрю на него и совсем уже не люблю этого сильно немолодого, довольно нескладного, хотя вполне прилично одетого и рослого мужика, но что-то в нем не так, вот и воротник плаща завернулся, ну почему ты никогда в зеркало не посмотришь, прежде чем на улицу выйти?

Странно. Мы с ним живем восемнадцать лет, родили и вырастили дочь, дважды доходило до согласованного развода, не считая более мелких неприятностей, а все же живем, и доживем, видно, до смерти чьей-нибудь — долго, счастливо и в один день, как же! — и всегда измены мои, так мне, по крайней мере, казалось, были чисто постельными, так уж я, тварь, устроена, а дружба, мне казалось, наша не страдала, а вот в последнее-то время все оказалось наоборот... Прикипаю то к одному, то к другому, кажется, не отдерешь, жить не могу, и в койке бешусь, но возвращаюсь к нему и за минуту кончаю без всяких хитростей, а оденемся — и чужие люди, говорить не о чем, раздражает его нелепость, простоватость, некрасота, отсутствие позы, лоска, светскости, скуповатость. Хотя с деньгами сейчас, конечно, так себе, и еще этот Танькин Лондон... Да, все, идем домой, ни о чем я не думаю, отстань.

Такое зло, такое бешенство на меня напало, просто ужас. Металась по дому, собирала сумки на вечер, швыряла все, что под руку попадало, куда придется, и при этом, если уж честно, была довольна собой, потому что собиралась толково, швыряла так, что все ложилось точно на место, двигалась ловко. Жива актриса, жива притворщица и кривляка, жива. Волосенки подкрасила, будь они неладны, за неделю сантиметра два седины вылезло. Пока сохнут, масочку на рожу. Взяла миску с кипятком, пилки, пошла в спаль-

ню — люблю сесть в кровати, ноги под одеяло сунуть, а руки в порядок приводить не спеша.

Но как увидела эту проклятую постель, затылком моим про-
давленную подушку, одеяло, почти сброшенное на пол его ногами,
одежду навалом, вперемешку носки его с моими лифчиком и труса-
ми, а тут и сам Женечка является в халате и предлагает, мой за-
ботливый, кофейку сварить, пока я красоту завершаю — ну, за-
шлась я от проклятой своей злобы. Нет, спасибо, я кофе сейчас не
хочу. Нет, спасибо. Я сама потом сварю, спасибо. Подлейшим
своим тоном, с как бы скрываемым, а на самом деле демонстриру-
емым раздражением, почти ненавистью. Женька мой несчастный
так и вылетел из комнаты, кофемолкой на кухне загрохотал и од-
новременно телевизор там включил — обиделся.

А я тем временем набрала номер, послушала раздраженное
«Говорите! Да говорите же!» и до того, как он должен был
рявкнуть «Ну, перезвоните, вас не слышно!» и бросить трубку,
быстро сказала: «Подъезжай к нашему углу ровно через
час» — и бросила трубку сама. Конечно, был риск, но раз он
повторял «говорите, говорите», значит, ситуацию контролировал и
видел, что жена параллельно не слушает. А у меня на кухне
все телевизор орет.

Тут длинный звонок — Танька из Лондона, помнит. Мамоч-
ка, хэппи бёрсдэй ту ю, я тебя люблю, скучаю ужасно, ты не пред-
ставляешь, какие они зануды, ребята только о футболе и мотоцик-
лах, а девочки вообще амебы, особенно в воскресенье тоска, в
последнее ездили в Брайтон, оттуда даже, говорят, Францию вид-
но, целую, мамочка, с днем рождения...

Боже, Танюра.

Будет как я.

Ужас.

«Проводить тебя?» — Женя вышел в прихожую уже окон-
чательно разобиженный, и жалко мне его стало ужасно, специаль-
но человек ехал любимую жену поздравить, а жена, шалава, наха-
мила да и отвалила. Но жалеть уже было некогда. «За мной из
театра машина придет, шофер донести поможет, — ответила я
самым ледяным тоном, чтобы даже и не подумал до угла тащить-
ся, но все же в щечку чмокнула, как сто лет заведено, и добавила

чуть мягче: — А я отвезу сумки и через пару часов вернусь, будем собираться». Он только вздохнул чуть заметно.

В лесочке каком-то дохлом, уже просвечивающем насквозь, остановились мы.

Слава Богу, дождь пошел, никто в такую погоду с трассы съезжать не будет, в машину заглядывать. Но все равно, в маленьком его «бээмвэ» особенно не развернешься, свитер стянуть — и то проблема, руки не подынешь.

И что же нам, несчастным, осталось?

Пальцы наши, бесстыжие наши пальцы.

Жилистая его лапа с обгрызенными до мяса ногтями, жадная, хватающая, винтом закручивающаяся, протискаивающаяся, рвущая.

И быстрая моя, алчно скрючивающаяся, как птичья, глядящая, сжимающая, скользящая, только что наманикюренная, да где уж тот маникюр.

Рты еще нам остались, непрестанно бормочущие такое, что и думать нельзя, и успевающие втягивать, всасывать, вдыхать, делиться слюной, и опять говорить.

Девочка, девочка любимая, сучка, сучка, проклятая сучка, ты Женю сегодня тем же встретила, тем же, да, а кому еще ты делала так, и так, так, делай так, кому еще, говори, девочка, солнышко мое, маленькая моя, о, не могу больше.

Витя, Витечка, родной, не могу, я тебе здесь залью все, уже залила, милый, хочешь убить, ну, убей, ударь, ударь же, пожалуйста, проклятый, ненавижу, ненавижу, мальчик, маленький мой, не плачь же.

Через полтора часа он высадил меня у театра, занес сумки, поздоровался с Миррой, заметно выделявшей его из всех и при этом явно недолюбливавшей, мне кивнул — да и рванул, сразу выбираясь в левый ряд, на поворот — к себе, в студию свою знаменитую, брехать на всю страну. «Здравствуйте! С вами следующие два часа буду я, ваш Виктор... Оставайтесь с нами...»

А предыдущие, предыдущие два часа с кем вы были, сладко-голосый, но, увы, уже плешивый, Виктор? И с кем вы были предыдущие два года, и пять, и десять лет, с кем, где носил вас черт, любимый всеми десятиклассницами и еще одной полоумной бабой, обожаемый комментатор, диск-жокей, ведущий, властитель ушей и

дум, чтоб ты сдох, где же ты был, когда я выходила замуж, и трахалась по всем углам, и уж было собралась уйти от мужа к одному, как позже выяснилось, гаду, но не ушла, Женя сидел в кресле, закрыв глаза, и молча плакал, слезы текли из-под век по щетине, по дряблой коже, он плакал, и я осталась, а уж ведь было ушла, но ты-то где был, на кой черт ты где-то шатался, спал с какими-то чужими бабами, женился на какой-то идиотине, на прислуге, на быдле, пацана дебильного, дауна с ней родил, на всю жизнь теперь крест твой, зачем, любимый, ведь все же ясно, никого ни роднее, ни ближе, мы же одно, один человек, почему ж мы живем врозь, сами терзаемся, других терзаем, почему не с тобой я каждую ночь, а с кем попало, почему на кого попало выплескивается моя немереная любовь, а не на тебя одного, кому она положена Богом, почему, любимый, почему, почему, почему.

Я полезла в карман и вытащила бумажку, которую он мне сунул еще в машине — вместе с очередным флаконом «Мажи», на большее у него фантазии не хватало, да и деньги, я давно уже заметила, слишком большие он на меня тратить не любил.

Там были стихи. Иногда он писал мне стихи и дарил эти бумажки, а я прятала их в конверт, а конверт этот, с некоторыми фотографиями и этими самыми бумажками, держала в старой сумке на антресолях.

Господи, хоть бы мне помереть, что ли!

Эти стихи начинались так: «Вот и минуло лето. И Яблочный Спас посулил, что нам все отольется...»

Я как заревела, так и в метро домой ехала ревмя ревя, уткнулась в угол, только сопли ловила да слезы из-под темных очков утирала.

«...Что ж, подходит к концу наш последний сезон, моя рыжая осень...»

Я плакала и заметила, что кое-кто узнал плачущую актрису.

И это, в общем, неплохо, потому что новая сплетня о личной трагедии не помешает.

Плохо то, что я его действительно очень сильно люблю.

Я-то знаю, что люблю. Это он может сомневаться, к Женьке ревновать, это трахальщики мои могут усмехаться, принимая на свой счет нежное мое бормотание, это подруги могут судить, какая,

мол, любовь у этой шлюхи, не дает, только если не просят, а то и сама предложит.

Это пусть другие сомневаются, а я знаю точно.

И когда все уже были в сиську, когда Васенька наш уже появился в моем платье из «Сестер», да так прошелся с кружевным зонтиком, в шляпе, так задницей вильнул, что все полегли, да еще монолог мой прочел немного переделанный, но так похоже и по голосу, и по характеру, что и Женька многотерпеливый поморщился, когда уже добирали из последних бутылок, а кто поденежней, на буфетный коньяк перешел, когда дым повис такой, что глаза заслезились, когда кое за кем из актерок уже мужья и хахали приехали, одних увели, другие засобирались — так мне опять паскудно стало! Хотя вечер-то получился симпатичный, вроде все меня любят, а что мне еще надо. Но почему я сижу здесь? Почему сейчас поеду отсюда вон с тем, седым, бородастым, нахмурившимся, кто он мне? Супруг он мне, Евгений Семенович Панин, скульптор средней руки, а человек золотой, дай ему Бог здоровья, доброй душе, терпит блядовитую актриску, а я его видеть не могу, не могу, ну, что мне делать? Почему же не бросаю я все, не высказываю из этого вонючего, не постороннего мне, конечно, но ведь до смерти же надоевшего храма искусства, чтоб он сгорел, не хватаю первую попавшуюся машину, не называю адрес, который уж и после смерти не забуду, не лечу туда, не забираю этого старого, да все хорохорящегося дурака, козла плешивого, не падаю в ноги ему, не клянусь быть верной и покорной женой, рабыней вечной, не уезжаем мы с ним, почему-у?!

А потому, отвечаю я себе, наливая тем временем еще немного водочки с самого дна последней бутылки, что где же мне еще сидеть, как не в этом доме, если настоящий свой опоганила? Да и этот, впрочем, тоже. И с кем же мне отсюда уехать, как не с несчастным моим? Кому еще нужна надолго-то. И зачем мне мчаться по трижды проклятому адресу, если там жена — ответственный квартирьер, сын нездоровый, да и сам трусоват, хоть и сердцеед, покоритель и супермен, гонщик и рискач, и не нужна ему покорная жена, а верная тем более не нужна, ему бы в машине, в подъезде, на полу, на чужой кровати, пока муж за хлебом, пока жена в бассейн, с рассказами, с подробностями, с нама-

тыванием кишок на руку, на локоть, как веревку бельевую моя бабка мотала!

Тут подруга Оля тихонько подгрехала, как дела, а сам-то поздравил, ну, и что, успели, а он что, а ты, не расстраивайся, мать, разлюбишь, значит, живая, тебе любая позавидует, в сороковник так выглядеть и переживать, а может, еще устроится все, а?

Не могу больше.

Я вылезла из-за стола, заметив, что меня весьма ощутимо мотнуло — перебрала-таки и сегодня, хоть без джина обошлось, но я свое и водкой взяла. Надо бы завязать, пока не истончали икры, пока морда не оползла, пока не описываюсь пьяная — ох, повидала я в таком виде подруг. Надо завязывать, да разве с этими козлами завяжешь.

Выбравшись из буфета, побрела по пустому коридору к сортиру.

Брела-брела да как-то добрела до открытой, как всегда, двери. Знако-омая дверь.

«Заходи», — сказал он.

«А я думала, вы ушли, Матвей Григорьевич», — сказала я.

«Я тебя здесь ждал», — сказал он.

«А я в туалет, Матвей Григорьевич», — сказала я, проходя мимо главрежеского кабинета.

На самом краю стола...

Майку, кажется, его подложив, чтоб сукно не испортить.

Сукно спину трет, лампа настольная в глаза светит...

Все равно...

Немного все же на сукно попадало...

Он здорово это умел — отпереть потом дверь без щелчка...

«Ты знаешь, я сейчас тебя провожу», — сказал Женя, отводя глаза, как утром, — и на вокзал. Вернусь в Питер сегодня. Там еще не готово ничего, дел много». «Так спешишь, — искренне огорчилась я. — А билет?» Он молча махнул рукой: мол, не проблема.

Я сидела на постели, на так и не застеленной моей постели. Женька все не уходил, все тянул чего-то. Опоздаешь, сказала я, только проездишь зря. Он промолчал, поставил сумку у двери, взглянул в спальню. Ну, я поехал, сказал он. Счастливо, милый, ска-

зала я, проводила его к дверям, поцеловала нежно, приобняла. Он протиснулся в дверь с сумкой, пошел к лифту. Я захлопнула, прислушалась. Лифт загудел. Я вернулась в спальню, набрала номер. Говорите, да говорите же, закричал он в молчащую трубку. Скажи, что у тебя ночной эфир, что заболел кто-нибудь и надо подменить, сказала я, скажи что угодно и приезжай, он уехал. Эфир, ты что, с ума сошла, да она включит приемник и все накроется, сказал он. А где она сейчас, что ты такой смелый, спросила я. В ванной, сказал он, сейчас выйдет. Что хочешь придумай, сказала я, но приезжай. У тебя, Колька, совсем крыша поехала, сказал он, и я прямо увидела, как она выходит из ванной, голова в полотенце, в ночной рубаше, смотрит на врущего в телефон мужика с отвратительной своей высокомерной усмешкой, которую выработала бедная парикмахерша в ответ на хамство актерское, ты совсем, Колька, двинулся, сказал он, куда ж мы на ночь-то поедem, мы ж в твою клепаную Тулу только к утру доберемcя, вареные будем, какая получится встреча со слушателями, охренел ты совсем, я молчала и наслаждалась, вот что такое для актера радиошкола, до чего ж убедителен перед микрофоном, а сколько платят, спросил он, чего сто — тысяч или зеленых, ну ладно, черт с тобой, бабки приличные, встречаемcя на том углу, где я тебя подобрал, когда мы во Владимир ездили, давай через час, пойду Ленку уговаривать.

Когда мы во Владимир ездили. Когда во Владимире я от него залетела, потом валялась после чистки, а он позвонил пьяный и жаловался на свои неприятности, на Ленку, на настроение, а у меня уже все полотенца в кровище и все хлещет.

Мимо церкви, в которой уже полгода не была, и зайти страшно. И чем дальше — тем стыднее и страшнее.

Мимо маленького сквера в проходном дворе, где позапрошлой весной похоронил Женька нашего Кинга, единственного моего за всю жизнь друга, из-за которого я ни разу не заплакала. Пока не отнялись у него на четырнадцатом году задние лапы, не лег он, перегородив всю прихожую, не задышал тяжело, раздувая исхудавшие, с проступающими ребрами бока — тогда-то за все его доброе отревела.

Мимо квартала, где жили мои до смерти отца. Потом мать съехала с теткой в Измайлове, и бываю я там теперь хорошо

если раз в месяц, и выдерживаю с моей мамочкой когда час, а когда и полчаса, не больше.

Мимо всей моей прошлой жизни.

Мимо жизни.

На угол, где он почему-то решил встретиться. Как будто не мог сразу ко мне приехать. Боится, что Женька не уехал и вернется.

На угол, где встречаемся, может, в сотый, а может, в тысячный раз.

На угол, где уже дважды прощались навсегда.

Боже мой, за что же мне это наказание?

Неужто так и будет вечно, так и нести мне мимо жизни на угол, влипая из одной истории в другую, трахаться, как последней бляди, любить, как тринадцатилетней девочке, врать всем и во всем признаваться, играть и играть в одной и той же пьесе, все одну и ту же роль, да и пьеска-то так себе, не очень, а слезы все текут и текут, железы актерские тренированные, и по-настоящему вдруг сжимается сердце, потому что не спектакль важен, а на сцену выход.

Что же, что же это тащит меня среди ночи, когда уже, дай Бог, ушел последний ленинградский, под мелким непрекращающимся дождем, на чертов этот угол, освещенный пакостным бордельным светом ларьков, под мигающий сломанный светофор? Мигает, мигает желтый, пора разлучаться. Пора разлучаться, нам не восемнадцать, нам не двадцать восемь, а все еще просим... Глупости. Он не писал таких стихов, мне показалось.

Женечка, любимый, единственный мой, моя живая собака, прости.

Надо было любить одного, и жить с одним, и это должен был быть один и тот же человек, от которого все терпеть, и быть верной, и не видеть ни глупости, ни уродства, и любить запах, не уставать и угождать, и не ждать воздаяния, и во веки веков, пока не разлучит нас... Не вышло.

Женечка, я возвращаюсь. Ты только не нервничай, береги сердечко, бедная моя собаченька. Я сейчас вернусь к телефону, позвоню твоим питерским друзьям, и утром, когда, бледный и небритый, ты придешь с поезда к ним пить кофе, они расскажут тебе,

что твоя жена, шалавка твоя бедная, звонила ночью и сказала, что решила любить тебя до смерти.

Я люблю тебя до смерти, Женечка.

Но только до смерти, не дальше. А дальше — извини.

Вот он несется, он обязательно проедет мигающий красный.

И тут я и появлюсь на мостовой.

Он не затормозит, не успеет.

Любимый, не тормози. Не тормози резко, любимый, потому что твоя идиотка вышла вдруг проводить и, пока возился ты с аккумулятором, всадила-таки кухонный нож в левое переднее, она ведь не понимает ни черта, она думала так вернуть тебя, и если ты затормозишь резко, тут-то все и случится, понимаешь.

Не тормози.

Потом все равно перевернешься.

Вот и встретимся.

Вот все и устроится.

Боже, как прекрасно это было бы!

Витюшенька, любимый.

Женечка, единственный.

*ДАЛЕКО
ЭТА ОРША*

Основное человеческое занятие — воспоминание.

Все то время, что не поглощены какой-нибудь конкретной умственной работой (написанием заявки на расходные материалы, слушанием анекдота, семейным выяснением отношений или чтением телепрограммы), мы вспоминаем. Молодость, прошлое лето, этот самый день в девяносто первом году, то, как двадцать лет назад посмотрела одна знакомая, уже давно живущая на Лонг Айленде, странный цвет неба сегодня на рассвете и важное дело, которое не записал в ежедневник...

Физический же труд — поездка в метро, борьба с севшим аккумулятором и встреча с продуктом «Довгань» — вообще от воспоминаний не отвлекает, а иногда даже способствует сосредоточению. И вот ты уже уезжаешь, уезжаешь туда, где жизнь прекрасна и логична, потому что известно, чем она кончилась, — в прошлое, которое кончилось текущим мгновением и, следовательно, кончилось неплохо, поскольку в текущем мгновении ты жив и вспоминаешь прекрасное прошлое... Настоящее гораздо хуже, потому что, чем кончится оно, неизвестно, а хуже всего будущее, потому что, чем оно кончается, известно точно: как говорит писатель (ему виднее) и врач (ему еще виднее) Юлий Крелин: летальный исход стопроцентен. Это грустно. Прошлое же внушает надежду, потому что оно не кончается, а вполне плавно переходит в окружающую действительность и длится, длится, длится.

Собственно, прошлое и есть жизнь, а жизнь есть прошлое, и

пусть мне покажут того, кто сумеет это оспорить. В момент написания этой фразы она стала моим (а в момент прочтения — и вашим) прошлым, и так все — вдох, выдох, взгляд, движение, мысль. Собственно, прошлое отличает живое от неживого: у камня нет прошедшего времени. Хотя... Как мне известно благодаря непригодившемуся (нет, все же пригодившемуся!) естественно-научному образованию, в материалах накапливается усталость. Это их воспоминания.

Любовь к жизни есть любовь к прошлому.

И вся скапливающаяся в течение жизни ненависть есть тоже воспоминания. Не в смысле даже счета обид (злопамятство — вещь дурная и бесплодная), а в смысле уроков, которые мы, конечно, не извлекаем, но тщимся ведь извлечь, все прикидываем, как бы оно уберечься от уже совершенного, но, понятное дело, не уберігаемся, ложится новый слой воспоминаний, и так все время. Мы либо просто любим прошлое, либо любим ненависть к прошлому, потому что она уже тоже прошла, и прошли мучения от нее, а воспоминания о прошедших и кончившихся мучениях — что может быть лучше?

Между тем и сейчас, дописывая фразу, я зацепился за что-то боковым зрением или на мгновение рассеявшимся вниманием — и пошло: жаркий южный город, трамвай, идущий от вокзала на приморскую окраину, странный трамвай, единственный такой в стране, открытый, с деревянными перильцами на деревянных же балясинах вместо стен, я схожу с поезда, пересекаю пыльную площадь, с чешским кожаным красноватым — о, роскошным! — чемоданом в руке, в китайских светлых полотняных брюках, в голубой рубашке на двух пуговичках, сажусь в этот удивительный трамвай... Почему я это вспомнил сейчас — девятнадцать лет, Одесса, будущее счастье и несчастье? Кто знает. Прошлое подбрасывает себя, не спрашивая разрешения.

Вот, собственно, и все объяснения наших вкусов, взглядов, предпочтений, убеждений, конфликтов — воспоминания. Как было бы просто без них!

Увы, не получается.

* * *

Очень грустно, что из поля зрения исчезли тихие трагедии.

Медленно тлеющий алкоголизм, тихое допивание до второго

или пятого инсульта... Вялотекущее расставание, развод, пять лет вместе (с теми же драками), но уже неофициально, наконец разъезд и немедленная повторная женитьба. Я знал человека, женатого на своей второй жене трижды, а была еще и третья... Слаботочная ревность, растянутый на десятилетия адюльтер, измены любовников с третьими лицами, огонь страсти, в который подливалось масла пол-Москвы... Мелководное честолюбие, получение за три года до пенсии вожделенной должности зама и инфаркты у потерявших в связи с этим надежду... Многолетнее перемещение с первого (последнего) этажа кооператива на третий (пятый) с ожиданием (желанием) смерти впереди стоящего в очереди...

Задавленные страсти, погашенные желания, сумрак душевных тайников. В Москву, в Москву — за пропиской, апельсинами, карьерой, вареной колбасой. Мы отдохнем — и лучше всего в Доме творчества, и, вернувшись, в Нижнем Тагиле будем рассказывать о «Васе и Алле, которые каждый день на пляже от меня вот так...» Дом с мезонином, дама с собачкой, мецане, враги, дядя Ваня, тетя Муся и племянник Эдуард — где вы все?

Кончился драмтеатр им. Чехова, кругом опера им. Мефистофеля — дым, стрельба, картонные пальмы, полчаса умиравший в верхнем регистре тенор и стр-р-расти.

Переход к латиноамериканскому образу жизни — смена жанра.

* * *

Когда я родился, война катилась к Сталинградскому сражению. Сталин умер, когда мне было уже девять с половиной лет, так что моя попытка попасть на его похороны, отправившись в соседнее с нашим военным городком село, — я ее еще опишу подробно, — свидетельствует о замедленном умственном развитии. Я все прекрасно помню. Впрочем, отдельные картинки я помню со времени гораздо более раннего: например, хорошо помню комнату в офицерском бараке в Орше, в которой мы жили сразу после войны, пока отца не послали в Москву на переподготовку (об этом тоже напишу особо).

Итак, я помню (да простит мне тень гения этот плагиат):

запуск первого спутника, как я мчался, приподнимаясь от усилий над седлом велосипеда, навстречу родителям, возвращавшимся

с рынка, и орал — запустили! запустили! и как усмехнулся отец — вот уж для кого это была не новость...

полет Гагарина тоже — мы с другом как раз прогуливали лекцию по истории КПСС, прогуливали не просто так, а чтобы не нажить себе лишних неприятностей, потому что этот доцент нас вычислил точно и каждая лишняя встреча с ним могла кончиться плохо, а на экзамене как-нибудь обойдется... ну, да что сейчас думать, когда до сессии еще почти два месяца... и тут заработали все динамики-громкоговорители на столбах, «колокольчики», крашенные серебрянкой, совершенно незаметные в обычное время...

Хрущева сняли — так и сказала соседка, но я уже знал об этом, не помню откуда, и в ответ только поздоровался с нею, возвращаясь домой довольно рано утром после весьма бурной ночи, начавшейся в молодежном кафе, где собиралась джазовая общественность нашего города, и закончившейся на каком-то пыльном пустыре Чечелевки, не лучшего района... впрочем, об этом уже все написал в повести «Кафе “Юность”»...

Солженицына выдворили, я шел на работу обычным маршрутом, с Богдана Хмельницкого на Герцена, и на Дзержинке примелькавшийся топтун у «председательского» (андроповского) входа вдруг — честное слово! — подмигнул мне и внятно сказал: «Нашего-то выпихнули...» Нашего!..

Амина убили, Брежнев умер, Черненко под руки несут, Горбачев говорит, метро сразу до двутривенного дорожает, водки нет, перед Моссоветом митинг за Ельцина, по телевизору балет...

Я все это помню. Помню, как в семидесятые в очередном идейном споре отец сказал: «На твоё поколение не досталось войны — ну и хорошо, и радуйтесь, но судить вы можете не обо всем». Теперь уже навалом досталось войн, но опять, правда, не моему поколению в основном — мы успели выйти в тираж. Пожалуй, мы и те, кто сразу за нами, с разницей лет до десяти, действительно единственные в этом веке, кого не убивали организованно. Тем не менее сделать с собой ничего не можем, мысли разъезжаются, и судить беремся именно обо всем. Извиняющийся нас при этом резон: мы не во многом участвовали, даже почти ни в чем — большая часть поколения, но многое видели. Мы прожили такое время, когда можно было наблюдать, не ввязываясь.

Нам повезло. Мы посетили сей мир в его минуты весьма роковые, но как-то так вышло, что именно посетили, как бы не коренные этого мира жители, а туристы. Мы осмотрели достопримечательности, присутствовали при некоторых событиях — но все это как бы из окна автобуса. Такое поколение — родившиеся в конце войны или сразу после нее, прожившие большую часть взрослой жизни в застое, то есть в покое.

Но вот автобус уже потихоньку сворачивает с маршрута, экскурсия идет к концу. В любом случае — было интересно. «Дорогие москвичи и гости столицы! Мы посетим торговый центр «Москва», смотровую площадку на Лен... то есть Воробьевых горах и, в заключение, Ваганьковское кладбище...»

* * *

Собственно, с этого надо было начинать.

Да, отдельные картинки, чуть расплывчатые по краям, остались примерно с трех лет. Но, не буду врать, именно эту не помню — много раз рассказывала мать, впечатление, что какие-то тени маячат и во мне самом, хотя, наверное, обманываюсь.

Довоевавший до Кенигсберга отец мой, командир железнодорожной роты, был отправлен в Маньчжурию, а когда и там закончилось, переведен на послевоенную службу в Оршу, в Белоруссию, откуда уж — в Москву, в академию Дзержинского, для переквалификации из военных железнодорожников в ракетчики... Но это было потом. А пока мы — мать, бабушка и я — должны были из Новосибирска, где семья была в эвакуации, ехать в эту самую Оршу, воссоединяться с главой.

До новосибирского вокзала (с тех пор в городе, где родился, я не бывал) шли пешком. В белой кроличьей шубе из американских посылок, в белых же валенках-чесанках с базара, с бязевым мешком, в котором нес собственный горшок (очень ответственно, не выпуская его ни на минуту из рук), я проделал этот путь метров в восемьсот частично собственными, еще кривыми от голодного рахита ногами, частично на руках старшего двоюродного брата, провожавшего первую возвращавшуюся из эвакуации часть семьи. Заканчивался сорок шестой год...

Почему-то я очень ясно все это вижу: деревянный сибирский тротуар, семейную процессию с тюками и фибровыми чемоданами

в полосатых холщовых чехлах, к которым бельевой веревкой привязаны подушки и одеяла, моего брата, юного итальянистого красавца, и себя, судя по фотографии, удивительно похожего на канонический детский портрет Ленина, со светлыми кудрями и недетски серьезным взглядом... Раньше, когда малышей возили в метро по утрам в ясли и садики, часто встречался с такими взглядами: едет эдакое нечто, еще не разговаривающее, на руках, смотрит назад через плечо матери или отца — а глаза взрослые, серьезные... Куда теперь делась эта утренние дети? Не рожают их или в метро не возят? Бог знает.

Так мы добрались до вокзала, где шипели, выпуская неожиданно холодный пар, локомотивы; где жутко пахло сероводородом от сгоревшего в котлах угля; где тяжело пробегал железнодорожный милиционер с малиновым шнуром вокруг стоячего воротника, в черной шапке-кубанке с малиновым же крестом на суконном верхе, придерживавший колотившую на бегу по сапогам шапку; где шла удивительная, никогда не виданная трехлетним человеком жизнь.

И, тяжело вздохнув, присев на тюк, я сказал: «Далеко эта Орша!»

С тех пор просвистела жизнь. Я шел, тащил пожитки (куда тяжелее того эмалированного сокровища), меня уже никто не нес на руках, ноги бывали сбиты в кровь (те высоковатые чесанки резали под коленями, но терпимо), и светлые кудри растворились в небе, опять, черт возьми, сближая с вождем — уже лысиной... Снова и снова я, очумевший от усталости, принимал новосибирский вокзал за Оршу, промежуточный финиш за окончательный, просто конец за полный. Потом продолжалась бесконечная дорога, за окном мелькали столбы с фарфоровыми чашечками изоляторов и серыми разошедшимися брусьями подкосов-подпорок, провода плавно провисали и вновь взлетали... И опять на пересадке или просто длинной стоянке я тяжело вздыхал, думая, что уже добрался — далеко эта Орша! — но это снова была не Орша, до которой еще шагать и шагать, ехать и ехать.

* * *

Не надо изменять жизнь к лучшему, вы не Philips.

Помните старую остроту: новая жизнь с понедельника уже к

среде становится хуже старой? Ужас в том, что, как и любая хорошая шутка, эта содержит не долю правды, а только правду, причем почти всю. История человеческих заблуждений знает романтические высоты — вечный двигатель, эликсир молодости, средство от облысения и дружбу между мужчиной и женщиной. Стремление улучшить жизнь, причем всю и немедленно, не входит в этот перечень по той причине, что этому заболеванию подвержены все, а что свойственно каждому, то не отклонение, а норма. Любой из нас — вирусоноситель, но в ослабленном организме и при неблагоприятных условиях зараза начинает развиваться.

Пример номер один, медицинский. Мой друг N. бросил пить. В течение первой недели страдали только окружающие, которым он, изловив по дороге (многие спешили по важным делам), рассказывал, что совершенно не мучается, не испытывает никакой тяги выпить и желает человечеству того же. К концу второй недели, однако, картина осложнилась: идеалист продолжал делиться наблюдениями над организмом, но они приобрели грустную окраску. Почему-то опухли у него суставы, в чем каждый мог убедиться. Наладился сон, но пропал аппетит (в дальнейшем — наоборот). Через месяц врачи — у которых в течение предшествующей жизни N. не бывал — махнули на пациента рукой, еще раз доказав, что медицина пока не наука, а искусство. На сорок седьмой день N. развязал рывком, в результате чего споткнулся на лестнице и едва не вывихнул запястье. Опухли суставов прошли только через полгода, общественная активность восстановилась не полностью и по сей день.

Пример номер два, исторический. Великая Октябрьская социалистическая революция произошла 25 октября (7 ноября) 1917 года. Я пишу эти строки 4 января (22 декабря) 1996 (5) года. Необходимости развивать мысль не вижу.

Пример номер три, психологический. Один человек любил и был любим. Ну, и спрашивается, какого ему еще было надо? Нет, он решил все наладить. Он разошелся с одной, обидел другую, порвал с друзьями и уехал в город Новодомнинск на постоянное место жительства, чтобы найти там полное и окончательное счастье в абсолютном единении с возлюбленной. Она-то уже верну-

лась, только плачет часто, он же подумывает о фиктивном браке с целью получения новодомнинской прописки.

Итак, не будем желать друг другу никакого нового счастья. Счастье может быть только продолжением старого.

* * *

Вдрагивая от готовности, как зубрила, мы тянем руку и просительно заглядываем жизни в глаза.

Как хочется, чтобы нас поощрили за отличные знания и примерное поведение. Чтобы вызвали, внимательно выслушали, убедились, что мы все выгучили и поняли, как велено в хрестоматии. Чтобы потом долго хвалили, вписали пятерку в журнал и дневник и поставили в пример лентяям.

Мы жаждем, чтобы наш праведный труд был вознагражден палатами каменными, чтоб добрая слава бежала, а дурная лежала, чтобы умным везло, трезвых Бог берег, а простота считалась гораздо лучше воровства. Мы хотим справедливости вопреки вековой народной мудрости.

О, как обидно! Пашешь, как карла, притом и от природы неглуп, и плохого ничего никому не сделал, а денег нету, в семье беспорядок, и сосед, закончивший евроремонт в своей квартире, бросает бычки перед твоей дверью. В профессиональной сфере известен только знакомым, да и те, кажется, посмеиваются за спиной. Опять денег нету. Ты к ней весь с душой и потрохами, ни на кого даже не смотришь, ну, тот один раз не считается, и она не знает, но тем не менее как-то недостаточно радостно выглядит и на шею бросается не издали. Ну, и денег нету, конечно.

За что? Неужели правильно было написано не в «Родной речи» насчет «как птица для полета», а на предплечье у одного мужика? Неужели действительно нет в жизни счастья?

Грустно.

Конечно, это еще не повод верить тому мордатому, обещающему это счастье немедленно наладить, как только новых буржуев погоним. Конечно, все хороши, и верить тем, кто сулит немедленную справедливость, нет никаких оснований. Еще можно напрячься и вспомнить, что при полностью развитой справедливости тоже не везло и добродетели не вознаграждались.

Но справедливости хочется. Хочется, чтобы хорошие люди

объединились, вор сидел в тюрьме, любовь побеждала смерть, добро торжествовало и в финале выходило кланяться. Хочется, чтобы вас ценили по достоинству и любили не в зависимости от своевольной души любящего, а в соответствии с вашими заслугами.

Не будет этого. Не хотелось бы вас огорчать — но не будет этого на земле. Я даже не уверен, что есть покой и воля.

А есть только такая жизнь, какая есть.

За это ей спасибо.

* * *

Во всяком личном деле последняя запись так и называется — действующая. С такого-то по наст. время.

Настоящим временем, следовательно, считается текущий момент. А все остальное — прошлое совершённое и несовершённое и любое будущее — считается временем ненастоящим. И то правда: ведь времена эти существуют только в нас, в воспоминаниях и надеждах, в любви и страхе, а вне нас существует только самое настоящее, неподдельное время — сейчас.

И вот оно-то, кажется, истекает и уже почти истекло. Целый год я понемногу писал это... допустим, введение в мемуары. А теперь сообразил, что, подобно многим введениям, оно может остаться без основной части и, тем более, без эпилога. Было такое в давно забытом моем естественно-научном образовании: изучение многих дисциплин ограничивалось введением, причем этого хватало на семестр, а то и два, а само «Введение» представляло собой том толщиной и весом в кирпич.

Но во всяком уважающем себя и читателей введении должны быть сформулированы основные законы предлагаемой теории, иначе зачем оно? Между тем я успел сформулировать только один, напомним его, — первый закон К.: никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже; но никогда не бывает настолько плохо, чтобы не было лучше, чем могло быть. Пример: вы ввинчиваете штопор в пробку, пробка крошится, и оставшуюся половину приходится проталкивать в бутылку карандашом. Но ведь мог сломаться и штопор... Допустим, так и произошло. Но ведь он мог остаться не в пробке, а в вашей ладони... И так далее.

Предлагаемая методология изучения, описания и осмысления

настоящего времени (в определенном выше смысле) позволяет сформулировать еще два закона К. Вместе с первым они займут достойное место между тремя законами механики и тремя источниками и составными частями марксизма. Итак.

Второй закон К.: жизнь гораздо лучше, чем мы все заслуживаем; но гораздо хуже, чем заслуживает каждый из нас в отдельности. Пример: один человек не в состоянии начать и вести войну, для этого ему необходим хотя бы еще один; но если сложить желания всех людей и если бы они осуществились, третья мировая атомная уже давно бы закончилась победой вирусов.

Третий закон К.: жизнь и ее законы не могут быть описаны словами; но другого способа описания не существует. Пример: третий закон К. представляет собой лучшее доказательство собственной справедливости.

...Впрочем, все это вздор. За окном идет мокрый снег, переходящий в грибной дождь, сияет жаркое рассветное солнце на фоне сиреневого заката, легкая весенняя пыль ложится на желтые листья, ранние пятидесятые заканчиваются поздними восьмидесятыми — длится настоящее время, самое настоящее из всех времен, время «сейчас». В котором плывет пятилетний пацаненок, подростково грустный, юношески наглый, усталый и солидный, по шестому десятку, с рваным школьным портфелем, в котором последняя рукопись — успеть бы... Но уходит время, превращается в настоящее, а расставаться так не хочется, и цепляемся за него, вспоминаем и вспоминаем.

Не надо. Долгие проводы — лишние слезы. Наступает, уже почти наступило другое «сейчас». И в нем тоже захочется задержаться.

Счастливо.

* * *

Да, очень хочется, чтобы все было хорошо.

Но не получается.

Самые удобные, необходимые, привычные вещи ломаются или рвутся. Только привык — раз — и нету. Черт его знает, что такое. Вот и сейчас: Пост, а черта помянул. И ведь не хотел, а вырвалось как-то...

Успокойтесь, ребята, — все хорошо никогда не будет, и с

этим надо жить. Надо пыхтеть, мучиться, стараться, делать для самого себя вид, что усилия обязательно увенчаются успехом, изумляться неудачам, считать себя обделенным, проклинать горькую и несправедливую свою судьбу, призывать Божьи кары на головы недоброжелателей и врагов, кощунственно подумывать о собственноручном прекращении своих мучений...

Надо страдать.

Потом, отстрадавши до полной пустоты и легкости, с опухшей от бессонницы и бесслезных рыданий рожей, надо — а куда деваться-то? — выйти на улицу.

Там, на улице, надо обнаружить грязные останки зимы, прозрачное до самых высших сфер небо и желтые катышки мимозы, осыпавшиеся на рукав твоего плаща, которым нечаянно кого-то задел.

Там надо встать в глубочайшую лужу у края тротуара — и поделом, потому что транспортный поток пешеходу следует переждать, не сходя на мостовую.

На улице необходимо почувствовать сквозняк, летящий за огромным джипом, величиной с грузовик, за темными стеклами которого вырисовываются хорошо обтянутые гладкой кожей молодые лица, холодные и совершенно лишённые мысли, как у античных статуй.

На улице надо обнаружить много нового — беременных, они всегда после зимы в жутком количестве; антинациональные — прежде всего по форме, но и по содержанию тоже — вывески, которых сильно прибавилось; милиционеров в ватных серых костюмах с облезлыми автоматами; лезущих в душу продавцов голландских роз...

Надо жить.

Все хорошо никогда не будет. Что же теперь — календарь отменить?

* * *

Этого дома уже нет — он горел несколько раз и наконец был снесен, исчез вместе со своим залитым водой подвалом, с черным ходом в бывший двор, давно разгороженный и изрытый какими-то подземными гаражами или убежищами; с крутыми до самого пятого этажа лестницами и дверями квартир в клокастой

дерматиновой обивке; с квартирой, первой квартирой, которую я совсем хорошо помню...

Дядя возвращался, держа в одной руке свой профессорский портфель с ремнями и дарственной надписью на металлическом ромбике, а в другой, на отлете — мороженый торт в прогнувшейся картонной коробке, перевязанной бумажным шпагатом.

Мы там жили: дядя Миша, тетя Мирра, двоюродная моя сестра Инка, бабушка Рая, мой папа, проходивший, как уже было сказано, переподготовку в Академии имени Дзержинского, моя мама и я. В четвертой комнате жил сосед, большей частью она была запрета. На чердаке, куда с нашей последней площадки вела стертая железная лестница, жила баба — пьяница и бродяга. Она уже тогда могла бы поджечь этот дом, как сделали впоследствии, через сорок пять лет, ее коллеги бомжи, но однажды пришли милиционеры в синих толстых шинелях, с большими косыми кобурами наганов на ремнях, и бабу забрали.

Ночью дядя писал учебник по отоплению и вентиляции, сидя в кожаном кресле. Это кресло отец привез среди немногих своих трофеев с фронта, каким образом и зачем — не представляю. Оно было тяжелое, дубовое, обитое по краям сиденья и круглой спинки гвоздиками с узорчатыми медными шляпками. Некоторые из этих гвоздиков легко вынимались пальцами, но потом я вставлял их на место. Днем, когда в дядин кабинет можно было заходить, я сидел в этом кресле лицом к круглой спинке и рулил. А ночью я лежал с мамой на матрасе между пианино и большим столом и видел из-под двери свет: дядя писал про отопление и вентиляцию.

Может быть, даже если бы он и не работал так много, чтобы кормить семью, он все равно не спал бы тогда по ночам. В доме жили и другие преподаватели его института, среди них оказалось много космополитов, и на некоторых дверях уже появились бумажки со слабыми лиловыми оттисками; эти бумажки приклеивались на дверь и косяк, и дверь больше не открывалась.

Квартира, как я уже сказал, была на пятом, последнем этаже, и, если летом лечь животом на подоконник раскрытого окна (что мне запрещалось, да я и сам побаивался высоты, а тетя так делала, ожидая поздно возвращавшуюся сестру, которая окончила с золо-

той медалью школу и гуляла с друзьями), глубоко внизу в переулке можно было увидеть крышу остановившегося у подъезда «опель-капитана».

Теперь родня моя живет на Рублевском. От котлована, в котором на месте сгоревшего их дома роется турецкая фирма, ровно час езды. Кресло тоже исчезло. Больше половины населения той квартиры умерло. Однажды, двадцать третьего февраля, колонна, двигаясь от Белорусской, застряла возле переулка, и дед со Сталиным на кривоватой палке воспользовался передышкой, чтобы сунуть в рот таблетку. Я представил себе, как он сидел за рулем «опеля», и у меня опять закружилась голова от высоты. Вся жизнь прошла, это ж надо...

* * *

Меня не отпускает привязчивая, как суставная боль, грусть.

Вероятно, все это происходило и сто лет назад, и двести, но, — возможно, по общей человеческой склонности считать себя и свои обстоятельства уникальными — мне кажется, что раньше процесс вымирания вещей шел медленнее. Вероятно, все же я прав: хотя бы потому, что никогда раньше технологии не менялись так быстро, как в последние пятьдесят лет, да и вообще жизнь в этом столетии перетряхивалась настолько повсеместно и так полно — не то что отдельные предметы, целые куски цивилизации проваливались, исчезали в разломах социальной почвы.

Все это связано с запахом скипидара, который откуда-то долетел до меня, когда я проходил по Маяковке, которая, конечно, уже не Маяковка, а Триумфальная, что же до того, каков именно запах скипидара, я пояснить не смогу абсолютному большинству читателей (то есть тем, кто моложе меня). Потому что исчезли из обихода вещи, которые пахли скипидаром, и что вам даст, если я скажу, что запах скипидара наполнял москательную на 2-й Тверской-Ямской; что скипидаром пах рабочий «спинжак» из бумажной темно-серой в белую полоску, плотной, но всегда мятой «чертовой кожи» (молескин), в котором ходил сосед; что скипидаром пахли ледериновые переплеты шикарных книг, с наклеенными на отдельные листы цветными картинками, переложенными папиросной бумагой — «Мороз Красный Нос», «Кондрат Булавин» и «Казачки»; что скипидаром, наконец, пах крой на сапоги, который

отец ежегодно получал и приносил домой завернутым в толстую коричневую бумагу, перевязанную бумажным же крученым шпагатом.

Идея заключалась в том, что советский офицер должен был этот пакет нести в гарнизонную сапожную мастерскую, где военный сапожник сшил бы ему по точной мерке сапоги (в московском, парадном гарнизоне — с голенищами «бутылочками» и «утиными», квадратными носами), на желтой проскипидаренной (!) кожаной подошве, обитой по краю двумя рядами деревянных гвоздиков, с врезанными в каблук (со скосом наружу) стальными широкими подковами на утопленных шурупах — чтобы затем советский офицер прошел в этих хромовых (если полковник и выше — шевровых) сапогах гусиным прусским шагом во время парадного построения мимо гарнизонной же фанерно-дощатой, обтянутой, конечно, слегка просвечивающим красным ситцем, трибуны, выворачивая голову направо, задирая подбородок, а рука при этом у козырька чуть вздрагивает в такт строевому шагу, в такт мощным ударам пропитанных скипидаром подошв.

Вот.

Может, и сейчас выдают офицерам крой — завернутые в толстую коричневую бумагу грубо, приблизительно вырезанные куски хрома и лайки для подкладки, и толстые желтые листы подошв?.. Вряд ли.

А отец однажды заказал из этого кроя сапоги мне, десятилетнему, а в другой раз — матери, причем для нее сапожник перекрасил хром в красноватый. Грязь в тех краях, куда мы переехали из Москвы, была страшнейшая, без сапог было невозможно.

Куда-то делось все. Сократился, стянулся, сжался шагреневый крой жизни, исчезают предметы, люди, предметы, люди... Долетел откуда-то в районе Маяковки запах скипидара — и развеялся.

* * *

Сначала туда поехал отец. Он готовил первый пуск, его фамилия есть в коротком списке на постаменте ракеты 8А11 (по сути дела — вывезенная из Пеенемюнде Фау-2), установленной в память об этой победе советского народа в степи, среди площадок первого ракетного полигона Капустин Яр.

Потом он забрал нас — мать, бабушку и меня.

Мы жили в подвале под деревянной хатой. Точнее, в цокольном, если можно так выразиться, этаже, с земляным полом и потолком, о который отец, сдирая через голову пыльную и потную гимнастерку, обязательно ударялся руками — особенно если после недельной работы на площадке возвращался с ясными последствиями немерено отпускавшегося для нужд оборонной мощи спирта.

До нас хозяева держали в этом помещении овец, курдючных, у которых вместо хвоста как бы мешок, наполненный жиром. Я видел, как хозяин поймал такую овцу (или барана?), но резать ее не стал, а только распорол старым, истончившимся от точки немецким штыком этот самый курдюк, откуда в вовремя подставленный таз упал куском желтый жир. Овца заорала и рванула в ближнюю степь (но не навсегда, вскоре вернулась, а через месяц заживший курдюк был снова полон!), а хозяева начали на этом жире жарить картошку, отчего находиться в хате стало невозможно.

Через полгода мы переехали к другим хозяевам, где сняли уже полдома, что казалось роскошью нам и всем друзьям отца. Были это, в основном, еще не успевшие после войны жениться совсем молодые, как я теперь понимаю, ребята, и они по любому поводу шли в наш семейный дом. Компания была весьма специфическая: со всей армии собирали офицеров с приличным техническим образованием, и это был главный критерий отбора, так что здесь были и Илья Моисеевич, и Александр Соломонович, и даже Борис Григорьевич, записанный в удостоверении личности как Борух... Все донашивали ту форму, в которой их перевели в новые войска: связистскую, железнодорожную, а Борух даже кавалерийскую — со шпорами!

Я их, естественно, называл дядя Боря, дядя Саша и дядя Илюша.

Они приходили с водкой, консервами чатка и печень трески, с крымским полусладким для матери и с огромным кульком «мишек» для меня и бабушки. Мать ставила на стол литровую банку браконьерской черной икры, потом ели арбуз. Собственно, икра, баранина, помидоры и арбузы были почти единственной местной едой, все остальное получали в пайках, а за мукой перед Первым

мая и Седьмым ноября офицерские жены становились у военторга с ночи. В сельпо ее просто не было. Из муки пекли торты в жаровне под названием «чудо» — торты получались по ее форме, бубликом...

После арбуза танцевали в пыльном дворе под «фон дер Пшика» все по очереди с матерью, но иногда привлекалась и толстая хозяйская дочь по имени Тоська, которую дядя Саша, московский интеллигент, называл, конечно, Тоска. Танцевали в бриджах с высокими корсажами, босиком и в нижних рубашках «гейша» — потом надевали сапоги, кители и возвращались в свои вагончики, приспособленные под офицерские казармы.

Теперь я старше их вдвое. Остановить процесс нельзя. В этом-то и вся прелесть.

* * *

Ты царь, живи один.

Никто не хочет быть царем.

Что творцы не хотят — это как раз понятно. Так они проявляют независимость от классических рекомендаций, артистическую свою самостоятельность. Ишь ты, не оспоривать глупца! А если он не прав? Вы, Александр Сергеич, тоже скажете: клевету, мол, равнодушно... В суд надо за клевету! Не разборку же с перестрелкой в пригородной зоне устраивать... Ну, Бог с ними, с художниками! Но почему все же никто не желает в цари?

Скучно царю. И страшно. Живешь, значит, один. Утром кофейку сварил, яичницу заделал из трех яиц, даже, допустим, с голландской ветчиной, а дальше что? Хорошо, начинаешь перебирать духовные сокровища. На Пасху к храму ходил — раз. Челночной торговлей не занимаешься и челноков не грабишь — два. Кроме духовных, из сокровищ имеешь только телевизор «шиваки», 17 дюймов экран — бескорыстен, три. Маловато. Нечего больше делать перед этим заветным сундуком, в сыроватом, как и любое нежилое помещение, душевном подвале. Скорей на волю! К близким и коллегам, обижающим особенно радостно. К землякам, не уступающим дорогу никогда. К соотечественникам, делающим политические ошибки. К тому же все время дождь, тополинный пух можно принять за снег.

Зато — жизнь. Какой, к дьяволу, царь?! Не хочу. Я хочу

продираться через подземный переход, толкаться, проклинать людей, судьбу, свой характер и неправильное устройство мира.

Собственно, только так и бываешь счастлив.

* * *

Пришел хороший знакомый, сказал, что главная наука не суворовская наука побеждать, а бабушкина наука терпеть поражение.

То есть он ее не назвал бабушкиной, это уже я добавил: ведь старушки обычно так советуют: «Терпи, милый, Господь терпел и нам велел...» Хотя сами, между прочим, бывают весьма нетерпеливы и даже нетерпимы в очередях и других общественных местах, но это уже другой разговор...

Очень точный русский оборот речи: «потерпеть поражение». По-английски ему в каком-то смысле, мне кажется, соответствует: «победитель не получает ничего». Хотя, конечно, чувствуется большая разница в психологии. Их интересует все преодолевший энергичный human being — что за приз его ждет? Вековая мудрость повешенных пиратов и прозевавших свою жилу золотоискателей подсказывает — шиш с маслом. Тут есть определенная лексическая гордыня: все-таки победитель! Хотя, увы, жизнь тебя обдурила, но ты дошел, добился, достиг, и пусть из лотка течет чистая водичка, а на дне только простой песок, но вот оно, Эльдorado вокруг, унылые камни и поваленный ветрами подлесок — ты победитель, и пусть теперь перекидывают через рею пеньковый конец с петлей.

А терпеть поражение надо сразу, лучше всего не вступая в сражение с жизнью. Так легче. Если мир захочет поиздеваться над тобой особенно изощренно, он может сам подбросить, вынести на пеностом, грязно-желтом, в клочьях, гребне волны. Ты успеешь увидеть очень яркое небо в узком просвете между клубящихся чернотой туч, но тебя тут же перевернет, швырнет мордой о колючую воду — все, сеанс окончен, будь здоров и не кашляй... Потерпи поражение, потерпи, милый. Дело не в том, умеешь ты или не умеешь выныривать — авось вынырнешь, если не расслабился наверху, не принял победу как должное, а падение как несправедливость.

Несправедлив, незаслужен только выигрыш. Всякая потеря — по заслугам нашим.

Желательно, чтобы в это время кто-то сказал тебе: «Да и Бог с нею, с победой. Что нам, разве так плохо? Я и не люблю победительных, пошлые какие-то, самодовольные... Иди сюда...»

Но даже если и не скажет — надо терпеть.

Какие, однако, странные мысли приходят накануне весны, когда воздух заметно светлеет.

* * *

Солнышко светит ясное! Здравствуй, страна прекрасная! Юные нахимовцы тебе шлют привет! В мире нет другой родины такой...

Приемник «Москвич» из розовой и коричневой пластмассы надрывался уже вовсю. Из кухни пахло горящим маслом, и сквозь хор доносилось тяжелое гудение. Там бабушка, ведя вечную войну с керогазом, жарила картошку тонкими круглыми ломтиками, как я любил. Дверь на лестничную площадку была открыта; отец, стоя в тапочках, синих бриджах с высоким корсажем и голубой зимней нижней рубаше, чистил на лестнице сапоги, по очереди надевая каждый на левую руку, а в правой меняя гуталиновую слипшуюся щетку на длинноволосую расчистную. С вечера на кухне он чистил асидолом пуговицы, собрав их в фибровую дощечку с прорезью, и перед самым сном мать подбрила ему шею, потому что сегодня построение и может быть проверяющий из штаба.

Я постоял в двери. Стоять босыми ногами было холодно, зато очень хорошо пахло кремом, который в круглой банке немного сохся и отошел от ее краев, так что отцу приходилось его отковыривать, и на это было интересно смотреть.

Из соседней квартиры вышла Тамара Михайловна, я застеснялся своей фланелевой пижамы и отступил в прихожую.

— Ну, Абрам, — сказала Тамара Михайловна, — сегодня у нас собрание, в госпитале. А у вас было уже?

— Было, — ответил отец, снял сапог с руки и закрыл крем.

— Ты выступал?

Отец собрал щетки и взял сапоги за петельки.

— Ну, правильно, — сказала соседка, — когда ваши травили людей, так ничего. А теперь вы молчите, как так и надо.

Отец вошел в прихожую, задев меня сапогами, отчего на пи-

жаме осталась черная полоска, и захлопнул за собой дверь. Из-под притолоки и косяков зашуршала штукатурка.

А я пошел в ванную, старательно намочил под краном зубную щетку, лицо и руки, вытерся быстро вафельным полотенцем и долго смотрелся в круглое отцово зеркало для бритья. Насчет нахимовского мечтать, конечно, было глупо, но в суворовское, в Саратов, уехали уже двое из класса.

Потом врачей выпустили, и Тамара Михайловна приходила извиняться.

А когда шел двадцать второй съезд, мы с отцом по ночам жутко спорили. Он тогда считал, что без культа проиграли бы войну.

* * *

Жизнь длинная, но проходит быстро. Поэтому все помнится: было давно, но не очень.

Например, я помню, как ходил на похороны Сталина. Помню тяжелую глину, налипавшую на мои маленькие — женские — резиновые сапоги пластами и в конце концов приклеившую меня к глубокой колее, по которой я надеялся добраться до цели. Я вышел рано, хорошо одевшись — в помянутых материнских резиновых сапогах, — мои кожаные промокали, в цигейковой черной шубе с надставленными рукавами, в шапке с черным кожаным верхом и завязанными назад ушами... Направлялся я в центр села, рядом с которым построен был наш военный городок.

С двух- и одноподъездными розовыми и желтыми домами... С залитым водой котлованом на месте будущего Дома офицеров... С пыльными зеленоватыми акациями и даже — ей-Богу! — масличными мелкими деревьями, высаженными по генеральному плану озеленения и приказу командующего полигоном... С асфальтовой площадью перед штабом, на которой примерно через месяц, едва подсохнет, начнутся велосипедные кружения в сумерках...

Но все торжества случались в селе. Седьмого ноября, первого мая, двадцать третьего февраля и двадцать первого декабря в частях и подразделениях полигона бывали только торжественные построения личного состава. А в селе, перед бывшей церковью, сбивали из досок и обтягивали свежавыкрашенным ситцем трибу-

ну, и шла колонна человек в сто, и обязательно сбоку плясал дурачок Гриша в полушубке на голое синеватое тело и фуражке с красным околышем без звезды.

Видимо, для девяти с половиной лет я был действительно глуховат, потому и решил, что Сталина будут хоронить там же. То есть, самого Иосифа Виссарионовича к нам, в Капъяр (разговорное название села Астраханской области Капустин Яр, центра полигона, кодовый адрес «Москва 400»), может, и не привезут, но торжества будут.

...Короче, прилипнув окончательно к глине, я молча плакал. Проезжавший мимо на «виллисе» отцов сослуживец вырвал меня за шиворот из сапог, потом вытянул и сапоги и привез домой, где уже убивались не только по вождю, но и по сыну.

Так я не принял участие в похоронах Сталина.

Примерно так же Бог уберег меня от вступления в партию, союз писателей и т. п. Где-то застревал по дороге.

Давно это было! Как раз сорок три года назад. Незаметно прошли.

* * *

Поверьте мне — так бывает.

Еще открываешь дверь, не попадая ключом, еще весь в мыле к концу дня, когда возвращаешься из города с этой вечной войны, а дома разрывается, гремит телефон.

Жизнь меняется. Это вы? Да, это я. А, очень приятно... Оказывается, что абсолютно безнадежное начинание, уже полузабытое, принесло непредсказуемую, нерасчетную удачу, что всем нужен, что уже все знают имя и даже отчество, и картинка действительности понемногу теряет резкость...

Потом к этому привыкаешь. Удача оборачивается не только деньгами, а и новыми знакомыми, прекрасными встречами, окончательно меняющими жизнь, — и вдруг обнаруживаешь себя в совершенно ином мире, и ты иной, а проблемы вовсе не исчезли, их даже не стало меньше, просто они другие. И уже снова ждешь какого-то звонка, который все взорвет, переключит...

Не искушайте судьбу. Если телефон еще не звонил, верьте, что он зазвонит и новости будут хорошие. Верьте, верьте! И дано будет каждому по вере...

Со мной самим это бывало. В том числе и один раз — не во сне.

Но когда телефон уже прозвонил, и жизнь наладилась, и сбылось, не искушайте судьбу сетованиями на скуку и жаждой перемен. Второй звонок никогда не бывает столь же чудесным, как первый. Радуйтесь первому благосклонному взгляду Фортуны, сохранив в себе на всю жизнь ощущение этого теплого взгляда.

* * *

В детстве я жутко боялся высоты. Да и сейчас не могу сказать, что испытываю удовольствие от, допустим, взгляда в окно с какого-нибудь двадцатого этажа — благо не часто и представляется такая возможность. Не лазил ни на Эйфелеву башню, ни на Эмпайр стэйт, а будучи в «Седьмом небе», в Останкино, старался родную столицу не обзирать. На взлете не смотрю на косо утпавающие рощи и приаэродромовские пустыри и даже, если сосед не возражает, опускаю шторку на иллюминатор. Терплю, но не люблю.

Моим кошмаром была труба котельной с идущей снаружи лестницей из стальных скоб. Несколько раз мне снилось, что я каким-то образом оказался на самом верху этой проклятой трубы, рядом с иглой громоотвода, и теперь надо спускаться. Пугая мать, я просыпался с воплем.

У подножия этой трубы, между двумя рядами кирпичных сараев — каждый сарай был закреплен за двумя квартирами окружавших двор офицерских домов, — среди высоких зарослей никогда и нигде мне потом не встречавшейся травы под названием «веники» мы играли в «Великого воина Албании Скандербега». Так называлось кино. Мы рубились вырезанными из досок мечами по выпиленным из фанеры щитам. Мое снаряжение после некоторого канючения сделал отец, а поскольку он имел склонность столярничать, меч был хорошо обструган и обшкурен, с гардой из консервной крышки, щит с округленными углами и крепко прибитой изнутри петлей для руки из кожаного обрезка, оставшегося от шитья парадных отцовых сапог. Толстая многослойная фанера для щита была добыта из упаковки от какого-то прибора, привезенной отцом с площадки, поэтому с изнанки щит был окрашен в темно-зеленый, «защитный» цвет.

И вот мы рубимся за освобождение любимой Албании от иноземного ига. Стоит июньская пыльная и пустая жара середины дня, во дворе никого, кроме нас. Отцы на службе, точнее, учитывая их род войск, на работе: готовят небось к очередному испытательному пуску очередное «изделие»; матери ушли на базар, разумно расположенный строго между проходной нашего военного городка и прилегающим селом... И над двором, над нашим сражением высится труба. Потные, с наливающимися на плечах синяками от мечей, проскочивших мимо щитов, мы садимся на приступки сараев — отдыхать и решать, кто победил. У Вадьки, кроме синяка на правой руке, еще багровая полоса через лоб, быстро вспухающая в длинную шишку. Судя по всему, это я ему засветил, но, поскольку в горячке боя факт зафиксирован не был, он претензию не предъявляет, на войне как на войне.

А труба проклятая торчит, слегка кренясь на меня, уходит в быстро выцветающее от жары небо, и от взгляда на металлические скобы, карабкающиеся по кирпичному боку трубы — начиная метров с трех от земли и до самого верху, до неба — во мне, в великом войне Албании, возникает нечто вроде тошноты, только не в животе, а в душе.

Все-таки теперь я не так боюсь высоты. Летаю, и даже довольно много, несколько раз поднимался по разным канатным дорогам в мотающихся вагончиках, могу, с небольшим усилием, и вниз взглянуть. Но душевная, та самая тошнота возникает часто. Иногда просто сидишь один — вдруг накатит. И самые дурные мысли о будущем возникают, будто тень той кирпичной трубы.

* * *

В санатории отцу вместо формы дали белые полотняные штаны, такую же куртку и панаму из рубчатой ткани «пике», из которой до революции шили жилеты к фракам. Про пикейные жилеты я прочитал позже, а что они полагались к фракам и визиткам — еще позже.

А мы с матерью сняли комнату у сестры-хозяйки.

Иногда днем, в мертвый час, отец приходил к нам, нарушая санаторный режим. Тогда и мне разрешалось не спать, а гулять. Я надевал черные кожаные тапочки на белой лосевой подошве, обвязывал вокруг щиколоток длинные шнурки, туго заправлял в

черные сатиновые трусы голубую майку, немного великоватую, со сваливающимися с плечей бретельками, прикрывал остриженную на лето голову угловатой тубетейкой, брал у отца складной немецкий ножик с узким лезвием и серебристой, как рыба, металлической ручкой — и выходил в душеное послеобеденное пекло.

Совершенно один я шел в бамбуковую рощу. Зачем в Сочи, позади военного санатория, посадили бамбук? А кто ж его знает... Мичуринский план, план посадок, генплан здравницы?.. На руках и голенях оставались быстро вспухающие белые линии от острых листьев, но я непреклонно пробирался вглубь. Там, подалее от взгляда поварахи, тянущей домой остатки обеденных санаторных припасов, или солдатака из садово-ремонтного обслуживающего взвода, тянущегося за поварихой, я браконьерствовал.

Срезать этот плановый бамбук строжайше запрещалось. Одного местного из барачной шантрапы поймал комендант, толстый капитан в пропотелом белом кителе, да на месте тонким побегом и отделал. Тем не менее все, включая и отдыхающих офицеров, бамбук на удилица резали и разъезжались по гарнизонам с грушами в дощатых ящиках и фашинами бамбука.

Я никогда рыбу не ловил, а когда видел у себя на Ахтубе, как вытаскивали крючок из сомовьей губы, тяжело подавлял тошноту. Однако бамбук, конечно, резал...

Когда я вернулся, мать и отец лежали в постели. Точнее, отец сидел, привалившись к прутьям спинки, укрытый до пояса простыней, и курил, а мать лежала, глядя в потолок, и из ее широко открытых глаз текли к слипшимся на висках кудряшкам слезы.

Из черного, в двух местах продранного динамика говорил Левитан: «...агент британской разведки... разоблачен партией... еще в годы работы в Закавказье...» Я не совсем разобрал.

«Опять начнется, — сказала мать, не замечая меня, — опять разоблачили...» «Не начнется, а кончится, — сказал отец. — Выйди, сыночка, мы оденемся». И наша семья в день ареста Берии начала собираться в ресторан «Украина», куда отец нас водил в те дни, когда приходил в мертвый час.

А уж много позже оказалось, что Лаврентий Павлович затевал нечто вроде перестройки.

Труднее всего из горьких жизненных реалий осознается и принимается нами неизбежность дисгармонии. Противоречия между людьми объективны, конфликты интересов неизбежны и вечны, всеобщая любовь недостижима в мире сем, а попытки ее достижения на Земле увеличивали ненависть, и рифмовалась с нею, как заведено, лишь кровь.

Я никак не мог примириться с тем, что учительница истории меня терпеть не могла. Учился я всегда хорошо, хотя из всех способностей обладал лишь двумя: фотографической памятью на любой практически текст и сообразительностью, умением «быстро схватывать». Это сочетание работало до поры, с ним я получил в школе медаль и отлично закончил университет — дальше его оказалось мало, для работы потребовалось нечто более специфическое, так что инженером я стал отвратительным, но не о том сейчас речь... Во всяком случае, школьную историю, с государством Урарту, развитием мануфактур и республикой в кольце фронтов я заучивал с одного чтения не хуже всего прочего: экономической и политической географии, неорганической и органической химии, английских модальных глаголов, правила буравчика (почему-то вызывавшего в классе смех) и, уж конечно, способа восстановления перпендикуляра к данной прямой с помощью циркуля. Как, впрочем, и только что вышедших после перерыва «Двенадцати стульев».

Но учительница за Урарту поставила мне тройку без объяснения причин, в мануфактурах поймала на извращении Энгельса, кажется, в сторону объективного идеализма (хотя перевернуть цитату я физически не мог, запоминая учебники просто страницами, едва ли не вместе с номерами), а когда я рассказывал о сжимающемся огненном кольце, вдруг прервала и, со словами «Хватит ухмыляться!», вообще влепила пару. Хотя, видит Бог, не ухмылялся я и вообще был еще почти вполне правоверным советским школьником, пионером и комсомольцем — ну, если не считать узких брюк и набриолиненного кока, да и то в меру и только на вечера, на которые она не ходила.

В общем, едва я вытянул историю — и то, вероятно, директор настоял, чтобы историчка не портила аттестат медалисту.

Позже я много раз сталкивался с такой необъяснимой неприязнью и даже ненавистью со стороны разных мужчин и женщин. Однокурсница, причем из нашей компании, которой я не сделал ничего плохого, даже не уживал; доцент, ведший матанализ, мне вполне симпатичный; сослуживица, даже не скрывавшая какого-то почти физического отвращения; приятель, считающий возможным по праву дружбы говорить в глаза гадости...

Близкие люди, утешая, склонны были объяснять все примитивно материалистически: ревность, зависть, карьерное соперничество... Меня эти объяснения почему-то раздражали. Что-то я чувствовал в них не то, какую-то неполноту, даже фальшь. Только в последние годы, когда додумывать многое до конца стало необходимо, — уже на потом не отложишь, все меньше остается этого «потом», — какие-то более или менее основательные объяснения начал я различать в тумане, окутывающем отношения с людьми. И, как ни странно, объяснения эти оказались близки к тем, примитивным. Но как-то... метафизически, что ли. Не реальному успеху завидует человек, не к конкретной сопернице ревнует женщина, не в деньгах счастье и не в наличии их у другого — несчастье.

Просто тесновато людям в мире, и отпихивают они друг друга, чтобы попасть под высший Взгляд. И есть такие, что никак не могут под этим Взглядом оказаться вместе. Может, дело в разной знаковой системе, как у кошки с собакой: одна машет хвостом из любви, другая из раздражения.

...А учительница истории однажды не выдержала и прямо в лицо мне, пацану, прошептала раздельно, тяжело дыша: «Ну, ты еще хлебнешь... умник, выскочка... вспомнишь меня...» И ведь права была: и хлебнул, и вспомнил вот.

* * *

Беда не в том, что мы все эгоисты, а в том, что не желаем с этим считаться.

То есть каждый из нас полагает вполне естественным действовать в своих интересах, но жутко обижается, когда так же действуют и другие. Представляется правильным такой порядок вещей, при котором население будет добровольно и единодушно трудиться на благо меня. Недобрые и даже непорядочные люди,

не желающие включаться в это общечеловеческое движение, изумляют: неужто им непонятны моя приоритетная ценность и справедливость соответствующего ей мироустройства?

Оказывается — непонятны.

Мы расстраиваемся, просыпаемся среди ночи, долго плямимся в темноту, прислушиваясь к беспорядочному стуку сердца и другим проявлениям деятельности организма. Наша единственная жизнь проходит, счастье не достигнуто, хотя до него ну буквально шаг. Но этим шагом надо переступить через небольшой барьер: надежды и привычки близких, амбиции и планы коллег, обычаи и представления круга. Бессердечные люди не спешат поступиться своими интересами, не горят желанием тихо пожертвовать собой ради вашего счастья. А оно между тем, как было сказано, так близко, так возможно...

Обидно.

Выходит, что платить придется самому, а не хочется, просто сил нет, как не хочется. Причем больше всего не хочется платить ту цену, которая назначена: перешагнуть, и с этого момента уже не чувствовать себя добрее, благороднее и достойнее тех, через кого перешагнул.

Один мой знакомый жутко возмущался, когда начальник делал ему замечания за безделье. Этот козел, говорил мой знакомый, не находит деликатности не заметить, что я пришел на час позже. А того этот козел не знает, продолжал поклонник деликатности, что я вообще сейчас в дауне психологическом. Сотрудники слушали про козла, некоторые сочувствовали страдальцу-обличителю, но некоторые, заметим к чести народного здравомыслия, начальнику.

Придется признать: каждый из нас норовит укрыться теплее, стягивая одеяло с соседа. С этим надо жить. И быть готовым к тому, что сосед, едва вы задремлете, изменит ситуацию на обратную. Конфликт интересов вечен.

Единственное, чего не следует делать, — убивать всех этих противных эгоистов. И тогда постепенно нравы улучшатся настолько, что кто-то кому-то что-то уступит.

* * *

Меня на все лето поселили у тетки, а мать с отцом — тоже на все лето — уехали в санаторий. Отцу дали после госпиталя

длинный отпуск. Диагноз в его медицинской книжке был закрыт: последние страницы сшиты скрепкой, под которую засунута бумажка с надписью: «только для ведущего врача». Перед отъездом родителей я исхитрился, разогнул, снял и снова надел скрепку вместе с бумажкой, незаметно, и прочел-таки жуткий врачебный почерк: «...выраженные симптоматические проявления... возможен результат облучения... изменения в формуле... показано восстановительное лечение...»

У отца, тогда еще майора, была лучевая болезнь. Он лечился, остался в армии, генерала не получил, — еще не хватало Советской Армии генерала Абрама Кабакова, — ушел в отставку и умер после того лета через тридцать два года. От болезни крови.

А я в те каникулы прочел всего Джека Лондона, почти всего Бальзака, перечитал Жюль Верна. У тетки была огромная библиотека, все подписные, которые ей устраивали знакомые в книжном. Тетка работала в бухгалтерии огромного секретного завода, вокруг которого и построили этот довольно большой подмосковный город. Строили всё, конечно, эки, и был здесь поначалу просто лагерь, и там-то и работали и тетка, и дядька — юрисконсулт.

Может, поэтому, когда умер Сталин, они не рыдали, а накрыли стол и рискованно громко веселились.

А в то лето, после знаменитого съезда, они обсуждали закрытое письмо о культе и играли по ночам с друзьями в преферанс. А я, до одури начитавшись днем, в жару, в полутемной от штор комнате, к вечеру, пока не пришли гости, заводил шикарную радиолу «Рига» — хорошо жила моя подмосковная родня, устроено — и под пластинку Эдди Рознера, под «Тиха вода», под Поля Робсона, под сохранившиеся довоенные фокстроты кривлялся, нацепив поверх ковбойки дядькин галстук, осваивал танец по «кродильским» карикатурам...

Чудесное было лето. Тогда я не понимал, чем, кроме свежего ледерина переплетов, пахнут все новые и новые подписные классики; чем — эти пластинки; сияющая темно-голубым лаком и хромом «волга», купленная соседом; даже левкой в палисаднике. Теперь я знаю: все тогда, в пятьдесят шестом, летом, едва уловимо пахло свободой.

А осенью мы уже жили дома. Отец, страшно похудевший, в висящем кителе, ездил на службу, товарищи заходили за ним, и все вместе они шли к мотовозу, уезжали на пусковую площадку. Я разворачивал «Комсомольскую правду». Под заголовком «Зверства реакции» был фоторепортаж: повешенный вниз головой работник венгерской госбезопасности, трупы на тротуарах, дым, танки, танки. Я, чувствуя сладковатую тошноту, смотрел на страшные фотографии и запоминал странные имена: кардинал Миндсенти, Имре Надь, Фаркаш...

На улице было слякотно, и в школьной раздевалке пахло осенью — сырой одеждой.

* * *

В пятьдесят седьмом году в Москве был фестиваль — Всемирный фестиваль молодежи и студентов. А в пятьдесят девятом — американская выставка, Национальная выставка США. Два эти события раз и навсегда покончили с собственной гордостью советских людей, и после них перестройка-то и стала необратимой.

Во все время фестиваля, врать не буду, я в Москве не был. Вместе с родителями я находился на Рижском взморье, в Юрмале. На улице, разделявшей, кажется, поселки Дзинтари и Лиелупе, был коктейль-холл. Туда мы и пошли с моим новым приятелем, студентом, ни мало ни много, физтеха, мастером спорта по велосипеду и большим пижоном — носителем английского в мелкую клетку пиджака с двумя разрезами и маленьким карманом справа над талией. Дружбой такой я был обязан постоянной и долгой игре в пинг-понг в спортзале родного Дома офицеров, благодаря чему у курортного стола я, четырнадцатилетний, не выпуская из пятнадцати, раз за разом обыгрывал двадцатилетнего спортсмена. Чем и заслужил уважение и приглашение в коктейль-холл, что был на той, светлой памяти, улице, напротив деревянного концертного зала и прямо рядом с рестораном «Лидо».

В коктейль-холле я взял коньяку с шампанским, уже известного мне (понаслышке) знаменитого коктейля «Огни Москвы», называвшегося здесь как-то иноязычно, по-европейски. А приятель мой (Дима... или Витя?..) взял «Шампань-коблер», что оказалось тем же самым. Потом мы закурили по болгарской сигаре-

те «дерби» с золотым обрезом и, повернувшись на высоких табуретках от стойки к большим окнам, стали наблюдать за гуляющими по разделительной улице.

И одним из первых гуляющих, оказавшихся в нашем поле зрения, стал актер Михаил Козаков. Он шел, точь-в-точь из «Убийства на улице Данте», в невиданных штанах (в джинсах, как выяснилось позже), в косыночке на шее под распахнутым воротом черной рубахи (или красной? не помню), чуть вздрагивая икрами в узких штанинах при каждом шаге. «Мне обещали техасы достать», — сказал, глядя на него, Витя (или Дима). Я переживал молча.

Потом, спустя каких-нибудь тридцать пять лет, Миша Козаков был однажды у меня в гостях, подарил пластинку с чтением Бродского и еще читал в живую, мы долго и много выпивали, чтение было потрясающим. Я вспомнил Юрмалу, Миша сказал, что козынку на шее никогда не носил, мы поспорили...

А на американской выставке наливали пепси-колу, которую еще не выбрало никакое поколение. Папа мой, по поводу посещения такого сомнительного места одетый в гражданку (коричневые брюки юбочной ширины, шелковая трикотажная тенниска с длинными углами воротника, сандалии), отозвался о пепси так: «Сапогом пахнет». Я и по сей день с этим согласен.

Еще запомнил с той выставки перламутрово-синий (красный?) «шевроле-корвет». Знаменитый «американский домик» впечатления не произвел — что мне тогда был дом...

Вот кончается век. Тот Дима (или все же Витя?), надеюсь, жив. Где-нибудь в Принстоне. Козаков из Израиля, как известно, вернулся. Папа умер. Я здесь.

Это, собственно, и есть итоги. А что Юрмала за границей, а Америка рядом, и жизнь моя совсем не та, которая должна была бы быть, — так это детали. Главное — продолжение пока следует.

* * *

Мир за твоей спиной совершенно иной, чем ты видишь, и его не поймаешь, как быстро ни оглядывайся, — ей-Богу, я это знал еще задолго до того, как прочитал блистательный роман Фаулза «The Magus», который весь, собственно, об этом.

В шестом классе, когда завязались первые любви — и моя первая тоже, оказавшаяся надолго, так надолго, что молодая женщина, теперь иногда навещающая меня, не кто иная, как прямая наследница этой любви, моя дочь — так вот, в шестом же классе закрутились и первые интриги. Что-то такое слышалось за спиной, шорохи какие-то, шептания, тени мелькали: она не любит, а просто «испытывает»... я не люблю, просто «проспорил, что поцелую»... ее нет дома, пошла гулять, видели за старой школой... она дома, «уроки учит», а опять видели в беседке возле Дома офицеров... Пришли ее подруги, ждут на скамейке. «Иди к строительской проходной, пойдем в степь гулять». «Кто пойдет?» «Сам знаешь». Пошел — за спиной хихиканье, шепот. Обернулся — девочек нет, как не было...

И вот уже черт его знает, сколько прожил, а отличать от настоящего оазиса мираж так и не научился. Не могу понять, когда и какие люди говорят правду, когда сознательно врут, когда, как формулируется в суде, «добросовестно заблуждаются». Мир двоится, расслаивается, изображение все время не в фокусе. Недоброжелатели и друзья меняются местами, стоит отвернуться — неразличимы. Любовь вдруг смотрит с ледяной усмешкой, но это замечаешь только в зеркале, когда она выглядывает из-за плеча — Господи, да это же и не любовь вовсе! Жадность обычная это! Обернулся — нет, все на месте. Любовь... Странно.

Призрачность мира, его мерцание усиливаются от речи. Я верю почти всему, что мне говорят, — но только пока говорят. Вот голос затих, исчезло в воздухе последнее слово, я как бы отвернулся от сказанного — и тут же сомнения и даже полное неверие выплывают откуда-то, вытесняют наивность, я уже твердо убежден, что все было полнейшей ложью, это вполне очевидно, надо было быть полным дураком... И так далее. Тем более что теперь в поле моего слуха совершенно противоположные утверждения. Но и эти речи смолкнут, и их лживость станет бесспорной.

Все ползет, течет, как низкое облако. Отдельные люди, а особенно их отношения ко мне и мои к ним, дрожат, ежесекундно меняют форму и цвет, как облако же. Окружающее туманно и расплывчато, как этот текст. Ни в чем нельзя быть уверенным до

конца, то ли тебя используют, то ли ты используешь, все чего-то ищут — как пелось в одном хите начала девяностых.

Я с этим смирился, я люблю действительность (или не люблю ее) не за то, какая она есть на самом деле, а за то, какой она мне кажется. Я не хочу знать полную и окончательную правду о мире и людях. «Кажется» — это дивное состояние. В некоторых русских диалектах «кажется» — то же самое, что «нравится». «Она мне кажется» — прекрасно!

И жизнь мне кажется.

А что есть на самом деле — не узнаешь, как ни вертись и ни заглядывай себе за плечо.

* * *

В степи уже все сгорело, кроме серо-шинельной полыни. Под брезентом дежурного ГАЗ-67 металась мелкая синяя стрекоза — вероятно, тоже дежурная. Возвращение майора Кабакова с семьей из отпуска завершалось.

На мне были: остроносые красновато-коричневые туфли «Цебо»; зеленоватые брюки с манжетом 5 см и шириной внизу 17 см, сшитые в ателье на прибалтийской улице Юрас; голубая, в крупную кремовую клетку штапельная рубашка навывпуск, с двумя пуговчиками у воротника, выкройку которой мать добыла незадолго до отпуска и едва успела дострочить; серый грубошерстный пиджак, с торчащими из ткани жесткими рыжеватыми волосками, с широкими, мягко сползающими с моих собственных плечами — ГДР, Лейпциг, фольксверке «Вильгельм Пик».

К десяти утра в конце августа в тех краях не бывает меньше сорока. В тени, естественно.

Мой вид почти полностью соответствовал моему идеалу. Несколькo огорчало только то, что баночка бриолина, втертая в поездном туалете в прическу, в значительной степени стекла на шею, поэтому на висках и над ушами волосы, черт бы их взял, снова встали дыбом, а надо лбом начали распадаться в стороны, разрушая стройность созданного в вагонной тряске пирамидального сооружения.

И как только мы въехали на асфальт после проходной, я достал из футляра расческу пестровато-коричневой, под черепаху, пластмассы, с зубцами с одной стороны более, а с другой — ме-

нее частыми, и на ощупь восстановил разрушенное, после чего старательно вытер бриолин с ладоней и вернул платок матери.

Конечно, настоящую красоту — чтобы одна прядь из кока немного свешивалась на лоб, как у Пресли, — воссоздать без зеркала не удалось, но в блестящей внешней форме я вез еще и значительное внутреннее содержание, на которое очень рассчитывал.

Там были: выигрыш в пинг-понг у первозрядника (ну, третье-); посещение юрмальского коктейль-холла (правда); недельная остановка в Москве, совпавшая с концом фестиваля, так что я собственными ушами слышал и глазами видел «Джаз Римских Адвокатов», а рядом стоял негр в пионерском галстуке, и мы вместе с ним подпевали «Уэн дэ сэйнтс» (такое не выдумаешь); наконец, я вез во внутреннем кармане болгарские сигареты «джебел» и подаренные негром спички в удивительной плоской пачке с британским флагом.

Внеся вместе с отцом чемоданы и решительно отвергнув материны «колонка уже греется, возьми мыло, слышишь», я немедленно отправился к цели. Я миновал площадь перед Домом офицеров, старую школу и военторг, свернул направо и мимо комендатуры строителей вышел к краю городка.

Во дворе, на лавке возле своего подъезда, сидела моя будущая первая жена. Она читала третий том Джека Лондона, ела тыквенные семечки и не смотрела в ту сторону, откуда я должен был появиться. Волосы на каникулах она, конечно, носила распущенными. Сарафан с широкими лямками, светло-желтый, открывал загоревшие за лето на шестнадцатой станции Большого Фонтана плечи.

Она сказала, что жир на волосах очень противно и что я бы еще пальто надел.

Я думаю, что все бесконечные женские горести, обиды и беды, безнадежность, вся женская жизнь — расплата за то, какие они бывают в четырнадцать лет.

Жестокая расплата. Но каково же и мне было тогда!..

* * *

Известные любому подростку, независимо от пола, муки, связанные с существованием в виде гадкого утенка, в моем случае были многократно усилены особенностями времени. Собственно,

не только в моем. Большая часть поколения, миновавшего пубертатный (кто не знает — в словарь, в словарь!) период непосредственно после XX съезда, мучилась не только ломкой голоса и обилием акме (туда же, туда же), но и невозможностью одеться так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые... И т. д.

Предшественники наши, уже взрослые тогда, ныне шестидесятники (то есть, и по сей день взрослые, взрослее не бывает), были в лучшем положении: фарцовщики подкидывали, родители привозили (характерно: у многих шестидесятников, заметных, по крайней мере, были родители, которые могли привозить); портные московские и вильнюсские продвинутые копировали американские пиджаки и брюки один к одному... Мы же, поколение «Моего младшего брата» («Звездный билет»), да еще и провинциальные, были в положении вполне отчаянном.

Тем не менее в очередной раз меня обсуждали на комсомольском собрании восьмого «А» класса именно за «нескромное поведение», что означало:

уже описанные ботинки (точнее, «полботинки») «Цебо», изготовленные в еще глубоко и навеки братской Чехословакии на заводах (бывших) Бати вполне на мировом уровне: носы острые, кожа цвета красного дерева — и сейчас бы надеть не стыдно;

сильно суженные (17 см внизу) темно-синие брюки из форменной диагонали, положенной старшим офицерам на бриджи (изъята у отца);

обычная клетчатая рубашка из военторга, называемая «ковбойкой» (с пристегнутыми уголками воротника, то есть, опять же, хоть сейчас носи под названием button down), расстегнутая до пупа, в стиле только что тогда погибшего Джеймса Дина, которого, конечно, никогда в кино не видели, но открытки доходили;

кок, воздвигнутый с помощью прибалтийского бриолина из плоской круглой жестяной коробочки (вроде тех, в которых впоследствии появилась «звездочка»)

— вот и все. В этом и была нескромность. Ох, и вклеила мне завуч при поддержке наиболее старательных девочек!

Как, зачем это все было? Понять уже невозможно. Государственные мужи щеголяют алыми пиджаками, деловые, серьезные

люди считают костюм Versace профессиональной необходимостью — за что же мы боролись?

Я смотрю в зеркало. Вижу пожилого дядьку в сильно потертых любимых вельветовых портках и обвислом пиджаке с заплатками на локтях. Вот, собственно, и все, что оказалось нужно. Значит, не стоило воевать против советской власти в виде завуча и комсомольской организации? Не знаю, не знаю...

Принято не слишком распространяться об этом, — что носишь и что носил, как причесываешься, — особенно среди мужиков. Между тем достаточно минимальной наблюдательности и внимательности, чтобы понять, какое большое место всяческая чепуха такого рода занимает в жизни и в мыслях вполне солидных людей! Мы живем при первом главе государства с безукоризненным пробором и способном надеть даже смокинг, если надо для вхождения в Большую восьмерку. Наши оппозиционеры пахнут Chanel Egoist и одеваются от Boss. И наших пацанов не отличишь уже от любых других.

А начинали-то мы, мы!

Так вот: у меня чтобы все было как положено — костюмчик чтобы сидел, галстук в тон... А подушечек не надо — орденов мы, слава Богу, не заслужили.

* * *

После четвертого класса еще несколько счастливиц уехали в суворовское: сын начальника штаба, сын зама по тылу, сын начальника спецчасти...

А после седьмого-восьмого их начали оттуда вышибать, и они возвращались доучиваться. Крепко курившие, хорошо знавшие разницу между шартрезом и ликером кофейным, и еще много чего знавшие и умевшие. К примеру, не только положенный вальс, но и таинственный рок-н-ролл, не только хорошо поставленный английский, но и блатные песни. Вероятно, за все это (кроме вальса и английского) их и вышибли — они не распространялись. Сын же начальника штаба вернулся с приобретениями и вовсе ошеломляющими: в узких гимнастических брюках с застроченной «стрелкой», натянутых штрипками, как струна, и в клетчатом (!) пиджаке, столь широком вверху, что он сползал даже с его плеч разрядника «по всему». Зимой он ходил без шапки, смущая население гарнизона сверкающим пробором.

Он-то и научил меня, — не «стилю», как можно было бы ожидать, не «бути-бути», как тогда любой не падекатр обозначала завуч, а этим самым песням.

Только брал свой перламутрово-синий аккордеон Weltmeister (еще одно его сокровище), и мы шли в дальнюю беседку, на самом краю сквера за Домом офицеров. Вокруг и следом бежали меньшие пацаны. У меня был приличный слух и абсолютная память на тексты, я подхватывал со второго куплета. Эшелон за вагоном вагон, с мерным стуком по рельсовой стали. Спецэтапом идет эшелон с Украины в таежные дали... Прочитав, знающий сослуживец меня исправил: «с Красной Пресни», то есть из знаменитой пересыльной тюрьмы. Я помню тот Ванинский порт и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, в холодные душные трюмы...

Аккордеон сладко рыдал. Пацаны мели. Мы надрывались. Неожиданно Только переходил на ироническое. Я с детства был испорченный ребенок, на папу и на маму не похож, я женщин обожал еще с пеленок — эх, Жора! Подержи мой макинтош...

Тут кто-нибудь из малышни, незаметно приблизившись, не в лад тыкал в какую-нибудь кнопку басов и получал слегка по затылку спортивной Толькиной рукой или элементарный поджопник от меня.

И наслаждение продолжалось. В сумерках вспыхивал высокими окнами Дом офицеров; народ начинал подтягиваться к фильму «Разбитые мечты» (в оригинале «Любовники полуночи») с неопишуемым Жаном Марэ — фальшивомонетчиком; из сквера плыл в беседку немного пыльный запах акации, которой — помните? — по личному указанию начальника полигона был засажен весь наш городок. Иногда нас гнал из беседки патруль, но вполне доброжелательно.

Почему мне так нравились эти песни? Я уж порядочно читался, обожал «Май жестокий с белыми ночами, вечный стук в ворота: выходи», изучил «Как делать стихи» и, таки сделав два стихотворения, послал их в «Юность», откуда поэт Олег Дмитриев мне посоветовал больше читать Пушкина и Есенина... Но песни почему-то нравились. Это теперь я помню их неточно, — впрочем, и Блока тоже, а Маяковского и вовсе не вспоминаю, — а тогда...

Потом Толька пошел в школу рабочей молодежи, где и добирался до аттестата вместе со старшинами-сверхсрочниками, а наш класс повезли на уборку помидоров. По дороге туда и обратно, в кузове, я пел эти песни, класс был очень доволен и заучивал слова. По возвращении одна девочка выступила на комсомольском собрании и сказала, что Кабаков поет песни про заключенных. На собрании присутствовала завуч.

Тут-то меня в первый раз чуть не исключили из комсомола.

Интересно, что в кузове девочка тоже пела и заучивала слова. Тогда я подумал, все дело в том, что она сидит за одной партией с той, которая... ну, в желтом сарафане, я уж о ней писал, очень красивая.

Я был психолог. А жизнь не знал совсем — много позже выяснилось, что у девочки дядя сидел.

* * *

В Дом офицеров привезли фильм «Колдунья». Никто ничего точно про этот фильм не знал, на афише, изготовленной штатным Домом офицеров художником-ефрейтором, было только наискось, как всегда, написанное название и «В гл. рол. Мария Влади и Роберт Оссейн». Именно Мария и Роберт.

Тем не менее в воздухе нечто носилось, и очередь на шестичасовой сеанс выстроилась небывалая, и уже занимали на восьмичасовой. Ситуация усугублялась тем еще, что дело происходило в первых числах ноября, и вместо обычной недели фильм был объявлен только на два дня, а потом, конечно, «Ленин в Октябре».

Поэтому я твердо стоял в очереди и трясся от ноябрьского ветра. Еще вчера было тепло и даже жарко, а сегодня с утра задуло, понесло из степи холодную серую пыль и будет теперь ее нести, пока после Нового года не ляжет наконец снег, и тогда будет его нести до марта, когда растает и развезет... А пока я стоял под проклятым ветром, очередь под ним по-братски сжималась, но ветер проникал, втирался между нами, влезал нахально, мол, я занимал, но отошел...

Не помню, почему я шел в кино один. Возможно, ее дома не пустили. Или мы поссорились, что бывало нередко, потому что она безошибочно находила уязвимые места. Вот и сейчас она, навер-

ное, нашла бы, что сказать, поскольку, обманув бдительность мамы и бабушки, я пошел в кино без пальто, старого и тесноватого, зато в новой шикарной куртке и с шарфом. Теперь у меня зуб на зуб не попадал.

А после кино ветер, кажется, утих. Или мне так показалось. Во всяком случае, я не чувствовал ничего. Я шел домой и, благо стемнело, ревел.

Для предыдущего поколения, к тому времени уже закаленного жизнью, шестнадцатилетняя русско-французская красавица в обтягивавшем, как чулок, рваном платье, стала прежде всего физическим идеалом, этим и запомнилась им «Колдунья». И одного из них, достигшего-таки идеала, через много лет видел я садящимся в машину возле «Современника» на Маяковке — к друзьям, видно, заезжал, а в машине угадывалась уже начавшая полнеть блондинка, и все пялились, оглядывались, и я сам едва не налетел на колонну возле зала Чайковского, все оглядываясь, пока они не рванули с места под желтый...

Я же шел и ревел, как не ревел уже класса с пятого (а в шестом я быстро вырос, и длинные руки избавили меня от многих обид). Подписка на Куприна еще не вышла, и повесть «Олеся» и не читал, да и не в нем было дело. Просто лодка плыла по холодной северной воде, милая девочка, чуть меня старше, стояла в лодке, обтянутая рваным платьем, черная толпа готовилась побить ее камнями, и уже было поздно. Я шел по темному приволжскому военному городку, чувствуя все будущие камни, и те, что пролетят мимо, и те, что достанут, чувствуя холодную воду, по которой еще плыть и плыть в одиночестве.

Ночью, конечно, у меня поднялась температура, утром пришел друг семьи Арон Маркович Кац, военный доктор в узких серебряных погонах — у военных врачей были тогда такие особые погоны, делавшие нашего друга, с его острым профилем, удивительно похожим на немецких офицеров в исполнении советских артистов. Доктор выслушал меня холодным стетоскопом и отправил в госпиталь с двухсторонним воспалением легких.

В школе, когда я вернулся через месяц, шла борьба. Девочки решительно отказались от кос и пытались ходить с распущенными по плечам волосами. Завуч за прическу «под колдунью» грозила

снизить по поведению. Мы быстро выросли, колотились лбами об окружающую жизнь, одиночество на какое-то время переставало быть главным переживанием.

* * *

Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне, и ветви каштанов, парижских каштанов, в окно заглянули ко мне.

Возможно, в окно Бернеса заглядывали парижские каштаны, это позже, после какого-то — впрочем, вполне бытового скандала — он, кажется, стал невыездным. А в окно нашего девятого класса заглядывало только не остывшее к середине сентября степное солнце и освещало битву титанов.

Дрались Вовка и Генка, два доползших до старших классов наших переростка, здоровые, давно уже брившиеся мужики. Мощный блондин-ариец Генка, третий по росту в нашей баскетбольной команде (после Игоря и меня), первый во всех остальных видах спорта; и приземистый, тяжелоногий Вовка, с круглым, в черных точках лицом, с черным сальным чубом, навсегда плоско прилипшим ко лбу, носивший в кармане куртки-москвички финку с разноцветной ручкой. Социально-психологический конфликт был налицо во всем диапазоне, начиная от фамилий (они, возможно, живы, поэтому изменю, сохранив характер): Грушевский и Сарайкин.

Дрались они на большой перемене после физики, и драка была такая, что, если бы тогда было видео, любой Ван Дамм и Рассел побледнели бы. Рассыпался в щепки учительский стул, сдвинулись, съехались в сплошную кучу ряды неподъемных парт, рухнула подвешенная к стене, исцарапанная мелом классная доска из толстого коричневого линолеума. В дверь класса всунулся маленький, похожий на Будду из казахского могильника, директор школы Герман Михайлович и исчез — пошел вызывать из коммандатуры нашего не имевшего милиции военного городка патруль, и правильно сделал.

Девочки без крика вылетели в коридор.

Это была дуэль. Причиной ее, как многие, увы, знали, стала новая учительница физики, заменившая прежнюю, заболевшую. Новую звали — не путаю? — Нелей Владимировной, она закончила педагогический в Астрахани, у нее были очень полные, «рояльные» икры и короткие, туго завитые венчиком темные во-

лосы. Карие, оттенка темной вишни глаза ее были всегда широко раскрыты и смотрели прямо. Выражение их уловить было невозможно, они просто очень блстели. У Генки роман с ней начался прямо с первого сентября. А на этой большой перемене Вовка подошел к окну, пощурился на солнце и сказал, ни к кому не обращаясь: «Нелька с литером идет, литер Нелечку...» «Литер» — значило «лейтенант», приговорка была стандартная, только имя Сарайкин вставил от себя.

Тут же и началось.

Некоторые — девочки — поспешили к окнам, чтобы увидеть описанное собственными глазами. Увидели они действительно девушку с дождавшимся ее офицером? Или негодяй Вовка просто завидовал Генке и провоцировал драку? Неизвестно. Впоследствии, через полгода, которые она уже проработала в другой школе, не в городке, а в ближнем селе, Неля вышла замуж, не за лейтенанта, а за командированного из харьковского «ящика» прибориста-наладчика и уехала. Но независимо от их правдивости, подлые слова достигли цели.

И теперь Вовка был зажат в угол, покосившаяся политическая карта мира краем закрывала его уже сильно разбитое лицо, рейка, утяжелявшая нижний край карты, мешала ее откинуть, а Генка не останавливался, молотил, как по груше, светлая пена ползла из уголков его тонкогубого, крепко сжатого рта.

Но Сарайкин все же вывернулся из-под карты и кинулся к своей «москвичке», валявшейся в другом углу, и как-то успел, пока Грушевский разворачивался всем своим спортивным торсом и разбитыми кулаками, и вытащил из кармана, и встал, широко расставив короткие ноги, и низко опустил лезвие. Он уже знал, как это делается.

Тут у Игоря в руках оказалась указка, бывший, думаю, кий из бильярдной Дома офицеров, как-то перекочевавший. А в руках у меня не было ничего. Но мы с Игорем были в классе самые высокие (Сарайкин поправлял: «длинные») — и деваться было некуда.

Игорь достал-таки толстым концом палки его по руке, нож звякнул, на том все и кончилось. Как уж я успел до этого подвернуться — не знаю. Но правый рукав моей рубашки оказался разрезанным от манжета и до локтя.

А рубашка между тем только перед началом учебного года была перекрашена из белой, выданной отцу под парадный мундир, в коричневую. И в сочетании с коричневыми, добытыми в военторге брюками образовывала знаменитый эстрадный костюм вышеупомянутого певца (вот и закольцовочка!) — что и требовалось. Мама всегда шла навстречу моим пижонским устремлениям.

И тогда я больше всего переживал из-за рубашки. Это уж потом, став наблюдателем и участником многих служебных романов, я оценил тот накал и, главное, чистоту страстей, которые пылали в нашем девятом классе, под неостывшим степным сентябрьским солнцем.

Боже, как Тебе удалось посеять любовь среди людей?

А Вовка перешел в вечернюю.

* * *

Все сюжеты — по крайней мере, лучшие, классические — закольцованы. Онегин, я тогда моложе и лучше, кажется, была. Штирлиц спит, через десять минут он проснется. Ты этого хотел, Жорж Данден. Мэри, где шипы, там и розы.

Сочинители по мере сил следуют за жизнью. Она всегда ведет счет и предьявляет его рано или поздно, иногда — уже на выходе, как в супермаркете: неоплаченное звенит, вы краснеете, объясняете кассирише, что задумались, а она, брезгливо глядя поверх вашей головы, проводит размагничивающим аппаратом по коду на этикетке и раскладывает по ячейкам кассы вапши суетливо извлеченные купюры. За все надо платить.

Если бы в конце пятидесятых такое понятие существовало, она считалась бы секс-символом нашего класса. Не была ни особенно хороша, ни даже просто милοвидна, скорее некрасива: ярко выраженные восточные черты, включая нос, излишество волос и веса. Училась плохо, что могло быть даже и привлекательно, но в ее случае отворачивало: причина заключалась не в благородной лени, а в явной туповатости. Никакие материальные преимущества — что среди подростков важно, это народ весьма меркантильный, мы это забываем, взрослея, и романтизируем детство и молодость — так вот, ни магнитофона «ягуза» или хотя бы «спалис», ни нейлоновых блузок и босоножек на пробке у нее не водилось.

Тем не менее была предметом страсти не только нашего, де-

вятого, но и обоих десятых классов, не говоря уж о младших. Теперь, конечно, понимаю, что объяснялось это тем же, чем практически всегда объясняется такое влечение: страсть была взаимной. Мужчины (именно мужчин, а не мальчишек видела она во круг, и на школьном дворе, и на танцплощадке в парке за Домом офицеров, и в четырнадцати-, и в тридцатилетних одинаково) были уже тогда главным, если не единственным ее интересом. Распознать это было нетрудно хотя бы по сиянию, возникавшему в ее темно-карих, с положенной по происхождению томной поволокой глазах, как только глаза эти обращались на любое существо иного пола. Я уже давно и твердо убежден — в этом и есть секрет всех, включая самых великих, звезд обоего пола, от Мерилин Монро и Алена Делона до районных и дворовых чемпионш и чемпионов любви. Желание, особенно массовое, — всегда ответ.

Но тогда я еще плохо разбирался в сияниях, а красоту оценивал чисто геометрически. Так что явление оставалось для меня полностью загадочным и, забегая вперед, скажу, что вообще с этого рода феноменом я начал разбираться, мягко говоря, поздноват, чем многое в своей биографии теперь и объясняю. Тоже был туповат, даром что отличник. А по жизни, как говорят теперь политики и эстрадные певцы, двоечник.

Но не обо мне речь.

Прошли годы (титры или закадровый голос). Раздался телефонный звонок. Видела тебя по телевизору, сказала она, сразу угадала, даже еще фамилию не сказали. Вот узнала номер, полдня до самолета, у тебя время есть?

Из двух часов полтора она говорила о детях, которые давно в Америке, внуках, которые забывают русский, и о том, что она им везет. Полчаса рассказывала, от чего повышается сахар, об артрите и удивительном человеке, который справляется с тем и другим с помощью космических полей, только к нему запись у них в Саратове за год.

О муже или чем-нибудь подобном не упоминалось.

Глаза осветились дважды: когда процитировала какие-то вполне глупые слова младшего внука и когда рассказывала о связи космической энергии, которой владеет саратовский целитель (в миру — завхоз техникума), с закупоркой сосудов.

А помнишь, перебил я, был твой день рождения, и мы там все, и Витька, и Игорь, все ребята, чуть не перегрызли друг друга из-за тебя? Помнишь? Ну, в девятом классе...

Она, кажется, даже не расслышала. Старший внук связался с хулиганами, у них там плохой район. Зять прошел все тесты, и его берет на фирму. Артрит сейчас дает жить, но вообще это ужас.

Возможно, кощунственно подумал я, лучше расплатиться горстью таблеток, как Мерилин, чем так. Впрочем, плату назначаем не мы.

* * *

Чувство, не находя выхода, убивает себя.

В моем подъезде, среди бутылок и тряпок, оставленных бомжами, поселился пес. Это дворовая овчарка с очень грустным выражением лица. Лежа на первой площадке, пес внимательно смотрит в глаза каждому проходящему. Многие выносят еду на бумаге. Пес вежливо ест, но без охоты. Его не интересует материальное. Он ждет собаку моих соседей, в которую влюблен. Иногда он поднимается по лестнице и топчется у ее дверей, оставляя мокрые треугольные следы. Собака соседей, такая же беспородная, но очень милая, похожая на колли, подходит к двери изнутри. Во всех квартирах этажа слышно собачье дыхание и тихий стук когтей по полу.

Когда его дама с хозяином выходит на прогулку, для пса наступает время счастья. Открывается заветная дверь, он встает и прислушивается. Точно — она! Лифт поехал... Пес бежит к выходу из подъезда и просачивается на улицу. Там он занимает удобное для наблюдения место у ближней помойки.

Выйдя из подъезда, хозяин возлюбленной отстегивает поводок, но в сторону пса смотрит неодобрительно. Его совершенно не радует перспектива пристраивания щенков. Пес притворяется — он сосредоточенно разрывает гору вокруг помойки, будто что-то там потерял. Собака тоже притворяется — будто ей необходимо именно за эту помойку.

Они встречаются.

— Ко мне, — сердито кричит хозяин, — быстро ко мне!

Вероятно, ей так же грустно, как и псу. Но что поделаешь... Ему хорошо: говорят, до того как влюбился, он сторожил стройку в

соседнем дворе. Работа, независимое положение... А у нее есть хозяин, и собачье ее естество берет свое: она бежит на окрик, возвращается. Она не может без хозяина.

В конце концов ее перестали спускать с поводка. Пес лежал у подъезда еще пару дней, покрутился у помойки... И исчез.

Вчера, проходя мимо стройки, я его видел. Он носился вблизи своего рабочего места с какой-то, похожей на эрделя. Выражение лица было грустное, как всегда.

Я еще раз убедился, что нельзя бесконечно испытывать терпение любящего, подумал о взаимоотношениях нашего народа и власти, расстроился и закурил.

* * *

Итак, ковыляя по ледяным выбоинам... по сплошному горбтому льду... обходя въехавшие на тротуар грязные грузовики с незаглушенными двигателями, от которых идет ядовитый свинцовый дым... посреди рабочего дня, в толпе женщин в шубах и бродяг в тряпье... идут двое.

Оба неприметны, тот тип внешности, о котором говорят «отвернулся и забыл». Некрупная, довольно складная женщина, то, что называется «все на месте», но заметить это почти невозможно — до того скромно, спрятано. Вроде бы, как и все (Москва — образцовый город шуб), в шубке, но, возможно, и в пальто, вроде бы шатенка, хотя скорее брюнетка, но крашенная в блондинку, кажется, в ботинках, или, может, это сапоги такие. Носик ровный.

И он тоже: куртка, шапка вязаная черная, чемоданчик. В общем, лет сорока. Глаза карие, но, не исключено, это просто освещение, а на самом деле они серые.

Короче говоря, люди как люди.

Если пойти за ними следом, довольно скоро поймешь, что идут они просто так, без специальной цели. Идут себе и идут, преодолевая уличное безобразие, зимние препятствия, не быстро, но и не задерживаясь и, кажется, почти не разговаривая между собой.

Они идут, держась за руки. Если следовать за ними достаточно близко и сосредоточить взгляд, будешь видеть только это: небольшая женская ладонь, вложенная в большую мужскую. Руки

без перчаток. Мужчина несет снятую перчатку, зажав ее вместе с ручкой чемодана, женщина, видимо, спрятала в сумку.

Идут, держась за руки. И, если присмотреться еще внимательней, можно заметить, что ее пальцы чуть шевелятся в мужской руке, а большой палец, живущий свободно, неохваченный, слегка поглаживает тыльную сторону мужской ладони, вот эту самую перемычку между его большим и указательным.

Да, так можно идти, подумаете вы через некоторое время. Вот когда так, создавая ощущение, будто ты держишь маленькую птицу, в твоей ладони шевелится небольшая женская ладонь, и палец женский поглаживает перемычку между твоими большим и указательным, идти можно. Черт с ними, с выбоинами и льдом, плевать на выборы и курс. Надо же, совершенно такие же люди, как мы...

Но им повезло.

* * *

Любовь всегда несчастная. Счастливой может быть семья, дружба, целая жизнь. Но любовь — состояние болезненное, какое уж тут счастье... Преодолевая заложенный нашей животной природой эгоизм; иногда пересиливая инстинкт самосохранения; противоестественным образом предпочитая себе самим иное существо, — мы погружаемся в это безумие, безумие в строгом смысле слова. Ум подсказывает: очнись! Присмотрись повнимательнее, ничего там нет, кроме собственной твоей лихорадки, галлюцинаций, жажды увидеть. Не делай глупостей, не ныряй вниз головой на мелком месте, хрустнут шейные позвонки и всплывешь, сломанный, вниз лицом — нет, не хотим слушать рассудка. А он продолжает бубнить: угомонись, вспомни, что кончается все, кончится и это, а назад не отыграешь, все будет порушено, а на руинах построенный замок окажется раскрашенной под камень фанерной будкой, и легкий ветерок времени поколышет его раз-другой, да и завалит, — нет, прем, словно слепые.

Так любят, когда действительно любят. Так любят женщину или мужчину, ребенка, родину, идею и свои воспоминания молодости. За такую любовь идут на все и всем жертвуют — в том числе и самим объектом любви. Возлюбленного изводят ревностью и желают ему одного — либо со мной, либо в гроб. Ребенка балуют, ненавидят его друзей и жену, и превращают его в кисель.

За родину бьются, пока не превращают ее в изрытую воронками пустыню. За идею и ее неизменность борются, пока она не умирает сама собой. Молодость пытаются вернуть любыми средствами, а добиваются, ценой инфаркта, только одного — становятся посмешищем.

Это всем известно.

Поэтому мудрые отказываются от любви. Любовь есть желание соединиться, преодолеть свою частичность и, слившись с любимыми, стать целым. Но, как всякое желание, оно не исполнимо до конца. А неисполненное желание есть несчастье.

И постигший жизнь отказывается от желаний. И от любви, конечно, в том числе. Некоторые позволяют себе любить только ближнего вообще и Бога — тоже вообще. Но и тут полное соединение весьма трудно и, скорее всего, недостижимо, так что и от этого желания надо отказаться. Надо отказаться от щемящего, причиняющего боль стремления к счастью.

Тогда-то оно и наступает, полное счастье. В его честь оркестр играет марш Шопена, а немногочисленные друзья плачут от умиления: счастье наконец достигнуто наиболее достойным из них.

...Хочется оставаться несчастным как можно дольше.

* * *

Как-то странно нас создал Творец: нам желанно все то, что греховно. И рожденных под звездами Овна тянет, тянет ужасный Стрелец...

В кафе «Театральное» они сидели за соседним столиком. Первые наши байкеры, советские ангелы ада, оставившие у входа свои «явы», «паннонии» и «уралы» ради сиреневого симферопольского портвейна и рубленых бифштексов с жареным луком. Кстати, вполне в те времена доброкачественных, но и недешевых — рубль тридцать, если не рубль пятьдесят... Я ужинал со стипендии в элегантном одиночестве — сто армянского «старлея» (три звездочки), огурцы-помидоры, упомянутый бифштекс, центровое место... Они рассчитались на минуту раньше и вышли, я следом.

Мизансцена такая: угол дома; предводитель мотоциклистов, в клеенчатой, как бы кожаной куртке — вполоборота ко мне; его дама — единственная в компании — тоже вполоборота, но дру-

гим профилем; малый держит свою возлюбленную за горло и лупит затылком о вышеотмеченный угол.

Я, совершенно не учтя еще троих angels of Hell, вполне способных раскатать меня в пергамент, кладу руку на клеенчатое плечо, отдираю рыцаря от дамы, разворачиваю к себе в фас и говорю — мол, ты чего, мужик, ты че... И получаю, естественно, с правой с оттягом, точно в левый угол подбородка (до сих пор костная мозоль прощупывается) и, главное, прикусываю, язык! Больно чудовищно! Имея уже соответствующий опыт и озверев от боли, притягиваю поближе оппонента за псевдокожаные грудки, резко поднимаю согнутую в колене ногу — и попадаю точно в цель, в соответствии с рекомендациями «Гавриилиады». Малый закатывает глаза и валится на землю. Тут же появляется старшина и, лениво заломив мне руку, ведет в «червонец» (десятое отделение милиции, как раз в центре города моей юности). Позади везут за рога свой транспорт друзья побежденного, идет его дама, уже поправившая прическу и вполне вроде целая, а милицейский «газон» с бесчувственным телом объезжает дальней дорогой, но прибывает все равно раньше нас.

Так что когда со мною беседует дежурный лейтенант, тело уже лежит на жесткой деревянной скамье, которые в отечественных казенных домах с гоголевских времен, и тяжело дышит, не открывая глаз и пуская мелкие пузыри слюны. Друзья его сидят в коридоре, и я знаю, что они дождутся моего выхода...

— Вылетишь из университета, — говорит лейтенант, переписывая данные из моего студенческого, — служить пойдешь, жизнь узнаешь... Гнищенко! Слышь, Гнищенко, у пострадавшего данные возьми...

Старшина отечески склоняется над телом, но тут тело, на свое несчастье и к моему спасению, приходит в себя. Что-то привычное пробуждается в нем, оно смотрит на милиционера с естественной ненавистью и говорит неожиданно внятно:

— Мусор! — И пытается плюнуть в официальное при исполнении лицо.

Меня после этого, понятное дело, отпустили, уничтожив протокол. Мотоциклиста оставили для выяснения отношений с влас-

тью. Дружков его тоже заодно придержали. «А то они тебя до-станут», — сказал лейтенант.

Как несправедлива все же жизнь. И как из этих несправедливостей складывается одна большая, Его, справедливость, которая нам-то, конечно, кажется несправедливостью...

* * *

Великий пролетарский писатель Максим Горький всем лучшим в себе был обязан книгам. Он был, следовательно, им обязан: босячеством; неприемом в Академию (история вроде «Метропо-ля» — одного не приняли, двое вышли); своевременной «Мате-рью»; свинцовыми мерзостями русской жизни; островом Капри; действительно великим романом о Самгине; домом Рябушинского у Никитских ворот; сказкой, в которой *любов побеждает смерть*; слезливостью; чахоткой; Марией Андреевой (вместе со всей странной историей Саввы Морозова); речью на съезде писате-лей; поездкой на Беломорканал; любовью (бесплодной) к Бабелю и легендой о врачах-отравителях.

Кроме того, видимо, книгам он был обязан и заметкой о джа-зе под названием «Музыка толстых».

Всем лучшим в себе я обязан джазу:

олимпиадой искусств, проводившейся Астраханским облоно в пятьдесят девятом году, на которой инструментальный ансамбль (бас-балалайка, поскольку контрабаса не нашли, малый барабан из военного оркестра, аккордеон *Weltmeister 3/4*, семиструнная гита-ра) под моим руководством исполнил в джазовой аранжировке «Песню о Ленинграде» (солировал я, голос только что сломался), за что была вручена грамота, а на обратном пути, в общем вагоне до станции Капустин Яр, выпита всем коллективом бутылка ли-кера «Кофейный»

...пластинкой «*In memoriam Glen Miller*», в белом конверте, окончательно и навеки сделавшей меня подверженным джазу, как бывают люди подвержены простуде; я слушал и слушал эту плас-тинку у единственного в Днепропетровске (известного, по крайней мере, мне) владельца стереорадиолы «Симфония», на столе лежа-ли открытки с портретами гениев — Пэт Бун, Бинг Кросби, Ка-унт Бэйси, Пегги Ли, Стэн Кентон — все подряд, хозяин был се-рьезный собиратель, а я все слушал и слушал, хотя диск был уже

слегка запыленный, а впереди была сессия и можно было слететь со стипендии

...возвращением с фестиваля в Донецке, когда мы устроили джем-сейшн в нашем купе, и великий басист (очень болен сейчас, увы) играл на коробке спичек, а первоклассный тенор вместо саксофона совершенно по-школьному обернул бумагой расческу

...и еще фестивалем в Горьком, было это двадцать восемь лет назад, там я познакомился со многими, с кем дружу до сих пор

...я был просто очень большим любителем этой музыки, джаз-фэном, посетителем «Синей птицы», «Аэлиты», «Печоры» и днепропетровского кафе «Мрія», обязательным гостем, переезжающим с одного провинциального джаз-фестиваля (их много тогда разрешили в шестидесятые) на другой, автором восторженных заметок в комсомольской печати об этих же фестивалях и кафе

...и всем лучшим в себе я таки стал обязан джазу: многими друзьями; девушками; устройством на работу (через этих же девушек и друзей); знакомством и даже дружбой с любимым автором; несколькими собственными рассказами, повестями и фрагментами из романов, в которых участвует джаз

...а также одним довольно прохладным рассветом после ночного джема, когда небо постепенно становилось все более и более светло-сиреневым, меня познабливало с недосыпу, но жизнь была настолько прекрасной, что я чуть не заплакал

...и, таким образом, всем достигнутым — если оно достигнуто.

При чем здесь толстые? Понятия не имею. Просто музыка, странным образом совпавшая со мной (как и со многими), вполне ей посторонним. Просто музыка, под которую прошла почти вся и, даст Бог, пройдет оставшаяся моя жизнь.

* * *

Все начиналось в кафе «Чипполино» возле круга пятого трамвая, то есть у самого шинного завода.

Кафе было на втором этаже и днем работало как столовая, а на первом была кулинария. Вечером же над этим двухэтажным типовым домом — известнейший по всей стране проект «предприятие общественного питания с магазином полуфабрикатов» — загоралась неоновая розово-зеленая надпись «Чип о ино». Второе «п» и «л» перегорели в день открытия. Под

этой надписью собирались любители джаза, высаживавшиеся из каждого подходившего трамвая. Среди любителей был, конечно, и я.

Раз в месяц в кафе проводил вечера молодежный джаз-клуб при горкоме комсомола. Дружинники отсекали не имевших приглашения и следили, чтобы уже прошедшие не передавали свои приглашения оставшимся на улице. Толпу прорезали музыканты с футлярами, и за каждым из них тянулся шлейф из трех-четырех поклонников и друзей, которых они проводили. Дружинники возражали, но после недолгих споров соглашались — не больше чем на двух. В половине же восьмого они надавливали на толпу и, высвободив дверь, просто закрывали ее, надев изнутри на ручки большую стальную скобу — тем самым покончив с надеждами оставшихся снаружи.

Что с ними стало в тот вечер, я не знаю — я уже был внутри.

Мы сидели за голубыми пластиковыми — очень, очень современными столами и слушали пока записи Дэйва Брубeka, звук был выведен с магнитофона «маг-8» на две колонки, созданные известным в городе умельцем из материалов, украденных на п/я 201. Только черный дерматин, которым он оклеил колонки снаружи, был куплен в хозмаге на Короленковской. Пока мы слушали Брубeka, музыканты готовились: барабанщик возился со своей установкой, чуть передвигал, примериваясь, педаль, саксофонист мудрил над мундштуком, пианист снимал со старенького пианино передние панели, чтобы звук был сильнее...

Я помню имена всех этих ребят, их лица; я помню голубые столы, железный серый ящик магнитофона; я чувствую жир бриолина на своих волосах и скользкое прикосновение к шее воротника нейлоновой грузинской водолазки; я слышу Брубeka; я слышу тему, с которой примерно через полчаса начинают музыканты... Прошла целая жизнь, давно взрослыми и даже не очень молодыми стали те, кого еще и на свете-то не было, когда в кафе «Чипполино» я слушал джаз, а наутро ехал в университет, хотя стоило бы, конечно, после бурной ночи не ходить, тем более, что только лекции, три пары, спокойно можно было не ходить, но после лекций объявлено было комсомольское собрание потока о стихах

Есенина-Вольпина, книге Эренбурга «Люди, годы, жизнь» и других явлениях, которые следовало осудить. Гуманитарные факультеты уже осудили единодушно, и теперь очередь дошла до нас — до мехмата, физфака и физтеха.

Собрание мы с приятелем сорвали. Была куча неприятностей, едва не вылетели из университета. Джаз-клуб вскоре прикрыли, потом открыли снова, снова прикрыли — и в конце концов разрешили даже джазовые фестивали.

Я, наверное, никогда не пойму людей, мечтающих вернуть молодость или, хотя бы, ту жизнь, которая была тогда. Если вернешь — о чем будешь так грустно и счастливо вспоминать?

* * *

Соединение русского языка с народным умом дает потрясающий результат. Например: «Дуракам закон не писан».

Обратите внимание — это надо понимать не в том смысле, что для очень глупых людей сделаны исключения в законодательстве, а в том, что они сами их для себя делают. И сами придумали анекдот о привилегиях, помните? Разрешается переходить на красный свет, стоять под стрелой, заплывать за буйки...

Похоже, что мы все не очень умны.

Замечаю в себе почти уверенность, что на меня не распространяются многие физические и ряд исторических законов. То же самое замечаю во многих соотечественниках. Европейцы же и американцы производят впечатление твердо знающих, что каждый подпадает под общее правило. Вероятно, поэтому они верят в кредит, ждут зеленого на переходах и предохраняются от вируса иммунодефицита человека.

Отечественной натуре все это равно противно. Другие не успеют, а я проскочу...

Глубокая и искренняя вера, что закон всемирного тяготения придуман из вредности и его можно обойти, если исхитриться. Все умрут, но я-то вряд ли...

Ожидание счастья просто так, вечной любви вопреки дурным зубам и мерзкому характеру, таланта, который невозможно пропить. Всем несдобровать, но я же меру знаю...

Нездоровый образ жизни, содержание вредных компонентов в воздухе, всего в три раза превышающее норму, предупредитель-

ный выстрел в голову и контрольный в случайного прохожего — это все происходит с другими. Да, открываю дверь, ничего не спрашивая, но ведь жив до сих пор...

Любая попытка сохранить нашу собственность, наше здоровье и нашу жизнь воспринимается как самое жестокое ограничение свободы. Лагерь, цензуру и введение танков мы еще можем вынести. Но замечание гаишника за превышение скорости на гололеде! Да пусть сам подышит, а я и не такой ездил...

Поскольку же народ мы коллективистский (по родной терминологии соборный), то сложение веры в исключительность каждого с ревнивым желанием одинаковости всех порождает убежденность в нераспространении мировых правил на нашу зону неустойчивого земледелия. У нас особый путь! На красный, под стрелу и за буйки.

Нам не писан закон.

Ну-с, как угодно, господа. Пошли на красный.

* * *

Удивительные истории неравномерно распределяются по временам года.

В январе они вполне возможны — некоторая мистика двух новогодий (одна из многих русских мистик). Потом идет длинный плавный спад — до начала лета, когда безумие жизни разыгрывается, как шторм при ясном небе. Однажды видел такое в Адлере: сияло солнце, душное безветрие влажным горячим полотенцем — как после парикмахерского бритья — окутывало лицо, а по морю ходили жуткие горы, бешеная пена грязными клочьями летела, и огромный обломок бревна тоже летел к испуганному берегу... Дальше опять успокоение — вплоть до августа-сентября, а потом снова подъем, и в октябре, как и положено в диапазоне месяца вокруг дня рождения, со мной происходит все. Как известно, тяжелые болезни и даже окончательное избавление от них очень часто приходится на месяц вокруг даты рождения — еще одна мистика, не только причем русская. А там снова к Новому году...

Впрочем, все это вздор, поскольку правила такого рода чисто индивидуальные и распространяются строго на одного.

А начал я об этом к тому, что именно в конце мая шестьдесят

третьего года я сдавал последний экзамен весенней сессии — теория функций комплексного переменного, ТФКП. Совершенно чудовищный предмет, на экзамен разрешалось легально приходить с учебником толщиной в полтора кирпича, и вместе с доцентом мы пытались по ходу дела что-нибудь понять... Ситуация осложнялась тем, что я мог получать либо повышенную стипендию (при всех пятерках в сессии), либо никакой: для получения обычной стипендии требовалось представить справку, что в семье приходится меньше тридцати рублей на человека в месяц, а у меня приходилось (при военном папе) больше; для повышенной же справки не требовалось. Между тем с первого раза эту клятвую тээфкапэ я сдал на четверку, что лишало меня стипендии за все летние месяцы, то есть: двадцать пять на три — семидесяти пяти рублей. Я уговорил Володю (самого молодого доцента нашего мехмата) принять пересдачу...

И сдал, надо сказать без скромности, на настоящую пятерку. Поскольку в ходе ответа вдруг понял то, о чем говорил.

Сдавши, вышел из корпуса и почувствовал — устал все-таки — неодолимую тягу присесть на широкие ступеньки этого нашего корпуса номер три, где в основном учились химики и биологи, но в очумении сессий сдавали экзамены и мы, и даже добросердечные шатенки с романо-германского, что, по окончании очередного экзамена, создавало дополнительные удобства...

Итак, я присел на ступеньку.

Жарко, пробиваясь сквозь уже нагретые кроны каштанов (дело было на Украине, не в Украине, прошу заметить, а именно на), светило солнце, и ступенька, выщербленная, даже полуразвалившаяся, была теплой. По асфальту ползли колеблющиеся тени листьев. Не оглянувшись, сбежала по ступенькам, чуть вибрируя, филологическая подруга по прозвищу White Horse (по имени продававшегося по семь восемьдесят никому не известного виски, а также в связи с цветом волос и общими размерами). Стало совсем жарко, и я потерял сознание.

В бессознательном состоянии я увидел все, что должно было произойти и произошло потом: бульвар Сен-Жермен, поблизости от которого мое французское издательство, президента на бэтээре с трехцветным флагом, прелестную, горько плачущую женщину, и

себя, тоже плачущего, но из-за сиротства, и дергающийся ствол крупнокалиберного, и обложки, и милые, нежные лица, и взгляд — неопиcуемый...

Это было единственное настоящее сверхъестественное событие в моей жизни. Оно объяснялось температурой под сорок два — мы всем курсом сдавали кровь на донорском пункте, шприц был грязный, я заразился болезнью Боткина (инфекционный гепатит). Полгода не пил!..

И все сбылось.

Так что неудачи реформ — это, отчасти, по моей вине.

* * *

Трагедия в том, что все расходуется, неразменного пятака нет, и кончается, кончается, сходит на нет единственный твой визит к живым.

Прелесть начала полностью поглощается горечью и отчаянием эпилога. Влюбленность стремительно летит к раздражению, раздражение — к усталости, это нельзя остановить. Идиотское желание — мгновение, зараза, остановись, ты же так прекрасно, тормозни, застынь, полюбуйся на себя в зеркало — вылилось в фотографию и стоп-кадр. Жизнь катит дальше, варикозные вены ломают кайф телесной близости, друзья уходят в отдельную жизнь, обещающую продление счастья, бесконечный пролог, но неумолимые законы композиции не велят тянуть вступление больше, чем на пять процентов общего объема. Умная и глубокая вводная лекция продолжается рутинной подробной информацией, делается скучно и пыльно. Сияющая весна мгновенно переходит в липкую жару, в мусор лета.

Боже, ну почему же все так скоротечно?! Вчера, вчера еще мама велела надеть брюки «гольф» с застегивающимися под коленным манжетами, шелковую тенниску и сидеть тихо, ждать, пока соберутся все, чтобы идти в гости, где, вероятно... Впрочем, что ж вспоминать... Прошло сорок пять лет, не навспоминаешься уже.

Да и зачем так далеко? Вот пять лет назад... нет, уже шесть... лихорадочно брился, чувствуя, что сейчас перестарюсь и вместо красоты будет лишним порезом больше; с сомнением рассматривал рубашку — сложенная в сумке, она не расправлялась, но, может, складки на груди уйдут под пиджак: шел, легкий, слегка в ис-

терике, туда, где начиналась новая жизнь как заслуженный итог старой, где ждали, чтобы сказать приятное; и делал даже перед самим собой вид, что так и надо, что жить хорошо уже привык... Или год назад — светило солнце, по луку бродили удивительно милые люди и, если присмотреться, прищурившись против света, можно было найти обращенное только к тебе сияние...

Впрочем, что это донимаю я вас, любимый мой читатель и любимая моя читательница, собственными и вполне для вас невнятными воспоминаниями? У вас и свои есть такие же. Счастье, испарившееся, как лужа после короткого дождя, перешедшего в душный и влажный зной. Любовь, отпавшая, как корочка с царапины.

Мы никак не можем примириться, что прелесть пейзажа только в его сезонности, и молодая зелень хороша только тем, что она загустеет, подсохнет, покроется июльской гарью, зажелтеет и, пожухшая, уйдет в ноябрьскую грязь. Что молодость хороша исчезновением, и самая тонкая, прозрачно-розовая кожа привлекательна быстрым увяданием, маячащей очень близко сеточкой мелких морщин.

Не останавливайся, мгновение, не надо. Сменяйся новым, таким же конечным, улетай, чтобы оставить сожаление. Грусть прекрасна, это муаровая подкладка счастья. Был такой классический американский фильм, режиссер Билли Уайлдер — «Лучшие годы нашей жизни». Я бы обязательно, если б умел, снял бы что-нибудь под вечным продолжением этого названия: «Прошли».

* * *

Горестный процесс взросления заканчивается у всех в разном возрасте, но одинаково: «Родные и близкие, подходите прощаться...»

Вплоть до этого даже самые серьезные люди не могут считаться окончательно взрослыми — достаточно посмотреть трезво на многие человеческие занятия, чтобы это понять. Лысые и седые мальчики и девочки ведут бесконечные игры. Признайтесь себе: ведь и сегодня взрослыми вам кажутся другие, а вы только притворяетесь, становитесь на цыпочки, чтобы не выгнали с вечернего сеанса, чтобы просочиться в толпе мимо объявления «до шестнадцати»...

Но процесс все же идет. Медленно и почти незаметно нечто стекленеет внутри, где-то в области сердца, там, где находится душа. Возникает какая-то дополнительная твердая и гладкая оболочка, по которой все скользит и скатывается, скользит и скатывается. Быстрее и быстрее. К полной взрослости.

Свободный день раньше длился не меньше месяца, между яростно солнечным утром и темно-лиловым вечером умещалась жизнь — с знакомствами, иллюзиями и разочарованиями, заботами и отдыхом, драмами и их развязками. Вечером начиналась еще одна жизнь, не менее длинная и совершенно другая. Между зимой и летом проходила вечность, это были разные эпохи. На ялтинском или сухумском пляже современники и очевидцы иногда припоминали какую-нибудь гололедно-слякотную историю из минувшей зимы, их слушали недоверчиво, как мемуаристов. Цветение сирени и выезд курса на картошку не имели конца. Внутри каждой вечеринки развивались многие сюжеты, с кульминациями и завершениями — не говоря уж о том, что одна только подготовка к вечеринке была равна пятилетке с напряженным трудом, выходом из графика и, в конце концов, все же с перевыполнением плана.

И все задевало, царапало, проникало вглубь. Солнце прожигало насквозь, дождь и снег шли сквозь кожу, как сквозь незаконченную крышу, только что прочитанная книга содержала окончательную мудрость, а девочка, оставшаяся ждать другого трамвая, была так хороша, что следовало день за днем после этого, неделю, месяц, выходить в то же время, топтаться на остановке, пропуская свой пятый и надеясь, что вот сейчас она прибежит к ее тринадцатому, и дожждаться... Все продирало по живому.

Потом зажило, заросло, мелкие шрамы огрубели, и внутрь уже ничто не проникает. Некоторые, отчаявшись, испытывают прочность нажитой брони пульей, но это уже зря: если больше ничего не берет, то незачем трудиться, процесс и так уже закончен.

Лучше попробовать по-другому. Например, найти в сиреневой охалке пятерочку и медленно, бессмысленно глядя перед собой, съесть ее. Пока вы будете жевать, время остановится. От резкого торможения его колеса прыснут искрами, а потом закрутятся назад, медленно, быстрее, еще быстрее... Твердая заслонка души с

едва слышным звоном распахнется... Жизнь прорвется в вас, заполнит целиком, как бывало...

Сирень-5 — качество, проверенное временем. Целый лепесток бесплатно.

* * *

Однажды уже написал: жизнь длинная, а проходит быстро, теперь сформулирую наоборот: жизнь короткая, а тянется долго. И это тоже справедливо, и этому тоже есть масса подтверждений.

Самые очевидные из них — опять же изменения в материальном мире, которые укладываются в одну, даже еще не совсем завершенную биографию. Например, мою.

Когда я пришел на преддипломную практику в ракетное кабэ, основным техническим орудием инженера была счетная машинка «рейнметалл». В зале нашего отдела стоял непрерывный грохот их носящихся взад-вперед кареток, но некоторые консерваторы, мой начальник сектора к примеру, еще предпочитали логарифмические линейки, торчащие из нагрудных карманов. Линейки были в основном гэдээровского производства... Электронно-вычислительная машина М-20 занимала несколько объединенных комнат, дело с ней имели специалисты, обычные же конструкторы программирование осваивали опасливо и с трудом. Колоды перфокарт — с мелкими прямоугольными дырочками и срезанными углами — на просвет (так определяли асы правильность набивки программ) были похожи на светящиеся ночными окнами кварталы пятиэтажек...

Тут бы надо вспомнить нынешнего знакомого, пятилетнего мальчика, еще плохо выговаривающего «л», но управляющегося с семейным «макинтошем» лучше отца, некогда кандидата физматнаук, а нынче небольшого банковского служащего, — но что об этом говорить...

Где те «рейнметаллы» и перфокарты? Этот мальчик никогда их не увидит, и я никогда их не увижу — молодость свою...

Да Бог с ними. А где «москвичи» с деревянными кузовами-фургончиками для развозки мороженого?.. Где само то мороженое в картонных стаканчиках с воткнутой закругленной щепкой?.. Где жестяные подстаканники с выдавленными высотками и собачьими профилями?.. Брючные черные пуговицы и подтяжки для носков?.. Янтарные мундштуки и фетровые заготовки-колпаки

для дамских шляп?.. Керогазы с бьющимся в сломяном окошке розовым пламенем и приемники «Звезда» из красной пластмассы под перламутр, с динамиками, скрытыми за узорчатой рогожкой?.. Кожимитовые подметки и книги — я их уж вспоминал — с вынесенными на отдельные листы цветными иллюстрациями под папиросной бумагой?.. Калоши с рваной сзади от вбивания ботинок красной байковой подкладкой и цветные сеточки, прикрывавшие колеса велосипедов?.. Ткани «метро», «ударник», ратин, креп-жоржет, креп-сатин?.. Оркестры в фойе кинотеатров?.. Дачный волейбол через сетку, на мягкой старой сосновой хвое и отправление поезда под «все гляжу, все гляжу я в окошко вагонное, наглядеться никак не могу»?.. А обувь, сшитая на заказ?.. Впрочем, обо всем этом можно писать отдельно.

Среда меняется все быстрее, окружение исчезает все бесследнее. Возможно, поэтому все сильнее ностальгия. Бешеный век летит к концу, разбрасывая вещи и обычаи. Мы ежедневно просыпаемся среди незнакомых предметов.

Я хотел бы проголосовать за возрождение мирным путем манеры пожилых мужчин ходить с тростью. Но такого голосования не предвидится. А раз так — пусть все идет как идет. Не оглядываясь. Вперед! Деваться-то некуда.

* * *

В кузове мы сидели спиной вперед, на уложенных от борта к борту досках.

Собственно, это было не обязательно, и если существовало «Наставление по перевозке личного состава на специально оборудованных досками грузовых автомобилях» (может, и существовало) — то ничего в нем не говорилось о расположении военнослужащих лицом к движению или наоборот.

Мы сидели наоборот. Потому что сзади был поднят брезентовый полог, и оттуда, вместе с удушающей пылью, поступало то, что приходилось считать воздухом. Я служил в Саратовской области, местные жители говорили: «За то, что мы здесь живем, положена медаль, а если еще и работаем — орден».

Впрочем, речь не об этом.

Речь о выбираемом многими путешественниками расположении: спиной к движению.

То есть, лицом в прошлое.

Я снова и снова задаю себе вопрос — а возможно ли иное? Можно ли двигаться в будущее, обратясь к нему фасадом (или, если угодно, того же корня, фэйсом)? Справедливы ли упреки, которые так часто слышит старшее, всякими обидными кличками награждаемое поколение — мол, живете, повернув голову... И ведь действительно, так и живем. Одни по прошлому тоскуют и жаждут вернуть; другие проклинают его и неустанно с ним воюют — но и те, и другие живут с минувшим. О, какой ужас! Это так несовременно, это обречено, «прошедшему совершённому» нет места в прекрасном новом мире, в виртуальной реальности, в упаковавшей мир паутине Интернета. В *past perfect*, наверное, ничего не записывается на CD-ROM...

Ну, и черт с ним. Лучше жить в прошлом, чем умереть в будущем. Живое обращено в прошлое, в котором оно находит себе подтверждение и опору, и только умерев, немедленно попадаем в будущее, которое, наступив, уже не кончается никогда. Будущее — это и есть виртуальная реальность, тени и миражи, удаляющиеся по мере приближения, пока сам не станешь одним из них. Прошлое — это плоть, пристальное разглядывание которой лишь и дает уверенность в собственной материальности и безусловности окружающего.

Точнее, окружавшего.

И приходится ехать задом наперед, глотая пыль и видя только выкатывающуюся из-под колес времени, уже состоявшуюся, неизменную колею, застывшую в изломах весенней грязи.

Вот эта запись тоже — прошлое: повтор...

Впрочем, ефрейтор-водитель и комвзвода рядом с ним, в кабине, вынуждены были смотреть вперед, в мерцавшую и дрожавшую, знойную степную перспективу. Кому-то приходится встречать будущее лицом. Тяжелая должность.

* * *

Почему-то очень обидно пользоваться взаимной нелюбовью.

Не любя советскую власть, мы очень обижались на то, что и она нас не любит. Не выпускает, например, за границу, давая укорот нашим желаниям через выездные комиссии райкомов. Проницательные персональные пенсионеры немедленно обнаруживали классовое чутье — а мы-то их считали старыми дураками!

Это мы были молодыми.

Но о власти позже.

Сразу после учебки меня сделали командиром отделения. Сыграли роль, видимо, дивные успехи в строевой (пригодился многолетний опыт твиста и рок-н-ролла), стрелковой (папа учил) и физической (здоровый был) подготовке, а также то, что идеально заправлял койку (любовь к прекрасному). Уже через три дня и все отделение мое, включая бойца Витьку Яковенко, горе старшины, идеально заправляло койки, с нечеловеческой силой затягивая простыни под матрацы и ровняя подушки по длинной суровой нитке, выкраденной у каптера; и ходить стали много лучше, и тот же проклятый Витька наконец научился выполнять команду «Круго... ом... марш!» на правой ноге, а не на левой, спотыкаясь об нее же и валя весь строй; и были определенные успехи у военнослужащих в сборке и разборке АК-47...

Тем не менее из командиров отделения меня поперли.

И справедливо.

Впоследствии, когда речь шла уже не об армейской, а о нормальной и, как казалось, на всю жизнь карьере, отец (чего-то мы с ним немного выпивали на кухне, кажется, за 25-летие Победы) сказал: «Ты никогда не продвинешься. С юмором начальники не бывают...»

Он был прав. Причем разрушение общественного строя только затуманило картину, но не изменило ее. Универсальные правила действуют независимо от господствующей формы собственности и политического устройства. Способности к строевому шагу (складыванию слов, анализу социальной психологии и т. д.) в лучшем случае — при почти полной отмене пятого пункта, партийности и морального облика — позволяют достичь положения военспеца, но не командира. Вероятно, это и хорошо. У них, у командиров, свои неприятности, своя бессонница, свой счет к жизни и свой путь к предынфарктному состоянию. А у нас, у бестолковых, свои утешения. Как писал Хармс, хорошие люди не умеют поставить себя на твердую ногу (по памяти).

...Рядовой Яковенко, ко мне! И рядовой Яковенко, отрабатывая строевой шаг, взбивал тонкую приволжскую пыль болтающейся вокруг икр кирзой. Командиром отделения стал парень из До-

нецка, рыхлый и тяжелый, ходивший несколько косо и с трудом устанавливавший звездочку пилотки над правой бровью. Но он был серьезным малым и до армии успел поработать мастером в шахтном управлении. А я проводил вместо него строевые занятия и следил за заправкой коек.

Впрочем, от кухонных нарядов, как сержант, был свободен.

* * *

Население жаждет идеала.

При этом никто не хочет лично достичь идеала или хотя бы приблизиться к нему. То есть, может быть, хочет, но сделать для этого хоть что-нибудь даже не пытается — все равно не выйдет. Да и так мы ведь неплохи, правда?

Нет, мы жаждем идеала, как награды, которая должна найти героя. Мы хотим честной и заботливой власти, которая нас любит за то, что мы есть; мы мечтаем о доброжелательных друзьях, сплетничая о них; мы ищем любящих, нежных и беззаветных, потому что они-то ведь не знают, что мы их обманываем и все пытаемся выгадать, — они же этого не знают, почему же им нас не полюбить?

Очень давно, когда она еще была, и даже не собиралась кончаться, я — как уже сообщил — очень не любил советскую власть. Просто не любил за все, хотя лично мне она не сделала ничего особенно плохого. Никто в семье не был репрессирован (и даже на фронте не погиб, хотя воевали), что удивительно: семейство было вполне законопослушное, но не совсем пролетарское, да еще и космополитическое по пятому пункту. Ну, шпыняли меня по линии комсомола за суженные мамой штаны и поднятый воротник рубахи, но уже в шестидесятых и джаз слушал без серьезных последствий, и в КВН играл, и все прочие развлечения ИТР имел за необременительный труд (отсутствие такового) во вред отечественному ракетостроению (без умысла, а по лени и неспособности). А в семидесятые — ранние восьмидесятые и вовсе стал ездить по соцлагерю, и, уверяю вас, раннее похмельное утро на улице Ваца в столице социалистической Венгрии по тогдашним впечатлениям совершенно не уступало нынешней, черт его знает какой по счету, прогулке... ну, не знаю, по Елисейским, допустим, полям.

И при этом я ее, родную, терпеть не мог. Думал про нее всякие гадости и иногда даже и говорил в круту друзей — тоже, кстати, без последствий. Но очень удивлялся, — и об этом тоже сказано уже, — что и она меня не любит — карьеру пресекает, на Елисейские, черт возьми, поля не пускает и не сильно печатает (всякие про нее ехидные гадости). Удивлялся, пока не понял раз и навсегда — это есть одно из главных знаний: старое, задолго до меня сформулированное, не знающее исключений правило. Любовь должна быть взаимной. И при этом вполне искренней.

Мы с властью были в расчете.

Понял, наконец.

Но и сейчас, сильно немолодой уже человек, время от времени понятие забываю, отвлекаюсь как-то. И замечаю, что многие, многие вокруг не желают понять, принять и смириться. Выставляют жизни претензии. Жизнь кругом в долгу перед нами. Это раньше была лживая песня, что «перед Родиной вечно в долгу» — на самом деле все должны нам. Вот и гений сказал — мол, полюбите нас черненькими... Тем более, если мы по черненькому удачно прощались таким непроницаемо белым, чистый бленд-а-мед...

Почему же проклятая эта жизнь догадывается, что мы с нею не вполне искренни, почему же друзья нам завидуют, не зная, что мы завидуем им, почему любимые предают, не зная, что мы предатели? Ну, почему же?!

Вопрос, избобличающий в нас урожденных и укрепившихся непоколебимых атеистов. Даже если мы испытываем дискомфорт, называемый «муками совести», недоумение остается — ведь они же не знают...

Они-то не знают. Он знает.

Дописавши и дико расстроившись — а уж будущему читателю каково? — утешу нас обоих собственным способом. Без всякой видимой связи с предыдущим. Итак, первый закон К.: никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже; но никогда не бывает настолько плохо, чтобы оно не было лучше, чем могло бы быть.

* * *

Поздно вечером, когда в переходе было уже пусто и только каталась под теплым ветром из метро пустая банка от пива «медведь», ко мне подошел человек в рваном женском пальто. Лицо

его было грязное и плоское, как вагонная подушка без наволочки. «Дай закурить, господин», — сказал жизнерадостный бродяга. Оставаясь с наветренной стороны, я выгасил из пачки и протянул ему сигарету, которую он взял, не снимая толстой перчатки, как ковбой с рекламы «мальборо».

Форма его благодарности оказалась неожиданной.

«Без разницы», — вот что он сказал, и пошел себе по переходу прочь, не оглядываясь, и скрылся за поворотом.

А я стоял, тоже закурив, медля входить в метро, и думал над его словами. Какой его опыт, итоги каких раздумий отлились в эту изумительную по краткости и универсальности формулу? Я вспомнил его предшественника, выразившего, собственно, ту же мысль, но пространнее.

«...Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа!.. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его — скорби, и его труды — беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это — суета!.. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это — суета и томление духа!..»

Я, конечно, не мог так точно вспомнить там, в переходе, Книгу Екклесиаста, или Проповедника, но что-то такое брезжило. «Без разницы», — сказал бомж, и я был с ним совершенно согласен. Без разницы, кто кому дал сигарету, — я ему или он мне, и даже если бы у нас обоих не нашлось курева, можно было бы перебиться. Без разницы — в драном женском пальто или в длинном плаще от «Хьюго Босс», без разницы. Он дошел своим умом до того, что мы вычитываем, а потом забываем.

Так я докурил и пошел было в метро. Грустный, потому что, как известно, во многой мудрости много печали. Но тут в переход с гиканьем ввалилась толпа молодых людей в широких штанах, длинных колпаках, с кожаными рюкзаками. Они пронесли мимо меня, странные и привлекательные, — и вся мудрость, оставленная мне оборванцем и другими мудрецами, вылетела из моей головы. Я понял, что опять ничто не окончательно, что общей мудрости нет и не будет... И пошел домой в прекрасном настроении.

Жизнь, примерно года с пятидесятого, становится все более малогабаритной.

Связано это не только с появлением тогда же одноименных квартир, про которые неблагодарный вообще, а особенно к любым реформаторам народ, переселяемый Никитой Сергеевичем из (ныне живо и даже в чем-то подло романтизируемых) коммуналок в отдельные, создал огромное количество шуток. Одна из первых, почти забытая: малогабаритный горшок — ручкой внутрь. Одна из уцелевших в течение тридцати с лишним лет: «хрущобы» как название пятиэтажек, ликвидировавших en masse коммунальное жилье и, таким образом, заложивших основу нынешнего торжества индивидуализма...

Так вот, не о том речь. И не только о нашей, спаси и сохрани, стране. Нет — везде, в самых устоявшихся обществах происходит одно и то же: рост, как они говорят, качества жизни сопровождается неуклонным сокращением ее пространства. Мир все больше и больше склонен делить все на всех, бдительный всемирный Швондер следит, чтобы профессор Преображенский добровольно уплотнялся в пользу гражданина Шарикова (метафора устаревшая, в словарях будет обозначаться «перестр.» — перестроечная).

Если при Сталине бывали отдельные квартиры, то стометровые — теперь это возможно только для людей, у которых денег больше, чем у всего Политбюро, вместе взятого. А в тех квартирах, смешно сказать, жила профессура... Машина величиною с ЗИМ невозможна вообще. Мощнее — пожалуйста, электроника, конечно, но — короче... Института домработницы нельзя представить. Костюмы по мерке не шьют даже те, кто мог бы. Руководители партии (любой) и правительства не ухаживают за балеринами, ни черта не понимают в хороших винах и табаках. Жизнь делается все более комфортабельной, облегченной, возможно, даже занимательной, но стесненной. Все открывается и закрывается само, но маленькое.

Очень изменились бедные. Раньше они жили в огромных бараках сотнями. Теперь, каждый в отдельности, они стоят в переходах. Сильно уменьшилась площадь интеллигентности. Раньше

диссертации писались на кухнях. Теперь товар из Турции сортируется по всей квартире, включая кухню, для диссертации просто физически нет места. Как, впрочем, и вообще больше нет места в жизни подвигу.

Повторюсь: это не наша особенность, не наш третий путь. Во всем мире (цивилизованном) народ стал жить скромнее и уверен, что скромность украшает. Политическая корректность в ее бытовых проявлениях сводит жилплощадь к санитарной норме, а к излишествам относит все, что превышает тысячу калорий.

Казалось бы, меня это должно устраивать. Я издавна пишу рассказы, прочитываемые одним взглядом, повести величиной с заметку и микроскопические романы, равные одной приличной главе. Я не люблю простор и быстро наполняю его всякой рухлядью — мебельной, тряпочной, словесной. Мне давно один неглупый человек сказал, что у меня во всем — в сочинительстве, в любви, в жизни вообще — короткое дыхание, я не стайер.

Да если добавить к этому, что я никогда не жил просторно, а так, по слухам...

Но почему же так тянет туда — к ЗИМам и «кадиллакам эльдорадо» с вагон длиной, в высоты и немереные усадьбы, в пятистенки на семью сам-пятнадцатый, в трактир с четвертью за пятиалтынный и в «Националь» с орли за пятнадцать шестьдесят, почему так очаровательны тяжелые твидовые американские пальто лендлизских времен и гигантские приемники «Мир» времен сосуществования двух систем?

Ах, не в одной возрастной ностальгии дело... Вероятно, есть сообразные человеку размеры вещей, их нельзя уменьшать безнаказанно для психики.

Вот и воспоминания: раньше писали люди по пятнадцать томов одного избранного да пару книг мемуаров. А теперь вот один автор изготовил пару-другую романов, с пяток повестей, ну, рассказыки... И уже почти заканчивает этим вот почти сочинением свои малагабаритные почти мемуары.

Ручкой внутрь.

* * *

Я удивительно туп в шахматах. Один мой партнер объяснил это так: играю сам с собой, противника не учитываю вовсе. Сам

предпочитаю щадящее толкование — естественный эгоцентризм сочинителя...

Впрочем, все это не имело никакого значения в шестьдесят восьмом году. Я сидел себе в своем отделе ракетного кабэ и считал по чудовищно устаревшей методике динамическую прочность рам приборного отсека. Как сейчас помню, это называлось «метод начальных параметров» — а больше не помню ничего... То есть помню:

пыльный свет из больших окон гигантской комнаты отдела, в которой сидело человек сорок;

быструю установку в начале и не менее быстрое убирание в конце обеденного перерыва стола для пинг-понга в проходе между рабочими столами;

огромное количество блицев, разыгрывавшихся в то же время по всему отделу, причем многие играли в шахматы, дожидаясь своей очереди в пинг-понг — и наоборот;

щелчки пластмассового шарика, время от времени сплющивавшегося от мощного драйва Игоря, начальника сектора, занимавшегося головными частями, и щелчки быстро переключающихся шахматных часов;

торопливое поедание яйца под майонезом в подвальной столовой, пока очередь играть не дошла...

Итак, я был чудовищно туп в шахматах. Сидевший наискосок от меня, через проход, малый, напротив, был международным мастером. То есть настолько международным, что его даже посылали, несмотря на первую форму допуска, на международные соревнования. В промежутке между ними он учил меня играть. Но бесполезно. Поняв мою невменяемость, он попытался использовать мою хорошую память — под его руководством я заучивал партии наизусть. Но и из этого ничего не вышло: как только дело доходило до практического применения теории, я все забывал, подставлялся, зевал и, обуреваемый жаждой съесть ладью, остекленело пёр на мат. Учитель считал, что я над ним издеваюсь, и после очередного идиотского хода начинал гоняться за мною с доской.

...Но в том иколе он был в Праге. В Праге, где было потрясающе. Ян Дрда, изумительный прозаик, в запой читанный в ранние шестидесятые, говорил нечто несусветное по как раз в

это время прорвавшегося «Голосу»; Зикмунд и Ганзелка, великие белые охотники славянского мира, хемингуэи на «татраплане», выступали вдруг вполне осмысленно; в джаз-клубе на Вацлавском намесче играли штатники, специально приехавшие поддержать социализм с человеческим лицом... А мой безуспешный шахматный наставник играл там в чемпионате — помню, что с Пахманом.

Потом туда пошли танки, по «Голосу» говорили о погибшем студенте, нечто непонятное происходило с Дубечком... Наш шахматист вернулся на второй день событий. Мы пили популярное тогда в среде инженеров-ракетчиков вино «біле мідне». Мокрые голубого пластика столы в забегаловке липли. Я читал «2000 слов». Синяя машинопись на папиросной бумаге, бесстрашно введенная вернувшимся мастером, резала сердце.

Я окончательно попрощался со всеми идейными иллюзиями в том августе. А в шахматы играть так и не научился.

* * *

Во времена моей молодости превыше всего ценилось чувство юмора. Ирония была основой отношения к жизни, пафос считался неприличным, и, если все же одолевал, его старательно прятали под суровой молчаливостью или, в крайнем случае, под простыми словами. Над поколением витали ильф-петровский смешок (с постоянным цитированием), хемингуэевское перебрасывание парой слов, горестная ремарковская усмешка. Физики шутили, лирики образовывались из физиков, менявших квалификацию на кавээновских курсах и в академии шестнадцатой полосы «Литгазеты». Музыканты и поэты получали большую часть физико-техническое образование, некоторые — врачебное. Может, поэтому к гуманитарной деятельности, к которой они, впрочем, неустанно стремились и в которой при первой же возможности профессионализировались, относились эти остроумные люди с сокрушительной иронией. Как, кстати, и ко всему остальному.

Теперь есть сильный соблазн объяснять это диссидентством, толковать как форму сопротивления или хотя бы ухода. Думаю, что это натяжка. Я сам оттуда, прошел этим многих славных путем — какое там было диссидентство, знаю. Среднекухонное, а может, и меньше: делали иронисты благополучную комсомольскую,

а кто поспособней — научную или художественную карьеру за милую душу.

Нет, не инакомыслие это было, а вольнодумство в самом строгом смысле слова. Думали — вольно, не связывая себя никакими правилами, традициями и рамками. Во всяком случае, старались этих рамок не замечать, благо по необразованности и из-за общего фона, пространство мышления величиной примерно с кабину лифта представлялось необозримым, границы отодвигались за горизонт...

Осмеянию не подвергался лишь интеллект; любознательность удостаивалась одобрения; читали, слушали и смотрели все, что удавалось — это были абсолютные ценности. Ученый мальчик, поглядывающий с любовной иронией на свою золотую железку (так и повесть назвал популярнейший автор), а на все остальное с иронией издевательской, был типическим героем тех типических обстоятельств.

К этому очень шел свитер.

Страннейшим образом, через много лет, установилась связь между теми, сильно сдавшими — вплоть до впадения в пафос — насмешниками и героями новейшего времени, тотальными пересмешниками и пародистами, разрушителями канонов, добывающими только из разрушенного материал для своихстроек. Странны в этом именно раздражение и даже отвращение, испытываемые прямыми наследниками к тем, кто оставил наследство. Хотя, конечно, ничего странного: ирония, как поглядишь беспристрастно, оказалась вежливым именем цинизма. Пренебрежение границами имеет удачное однословное определение — беспредел.

Ладно, пусть интеллектуальный.

В связи с этим вспоминается одна старая история. Пожилой человек (шестисот с лишним лет) и три его сына, спасшись после жуткого наводнения, поселились на горе. Ну, отец напалхался там на винограднике, выпил хорошо и заснул не одетым в шалашике. Бывает. Тут заходит младший сын... По правилам-то, по-хорошему-то ему бы отвернуться следовало, прикрыть старика, да и уйти тихонько. Но он плевать хотел на правила и границы. Он вышел — уверен, что ироническая усмешка была на его неглупом лице, и действительно ведь смешно: надо же так убраться, в лоску-

ты... Он вышел и рассказал все братьям. Но они не разделили его отношения, у них не было чувства юмора, но были правила... Ну, и так далее.

Все помнят, как звали того парня. Вероятно, он был первым иронистом и интеллектуалом. Для него не было запретов, он с усмешкой глядел в лицо... то есть... ну, не важно — истине. Непонятно, почему его осудили на тяжелый физический труд. Сейчас он был бы в большом порядке, работал бы в каком-нибудь изысканном издании.

...Прошло много времени. Когда меня пучит от неистребимого чувства юмора, я вполне сознательно бужу не истребленную сентиментальность. Я очень боюсь хамства.

* * *

...А когда его в первый раз пустили в Болгарию, он полюбил советскую власть. Старичок, говорил он, стоя в «Ветерке» (это было там, где теперь генштаб, открытая стоячка за круглым метро «Арбатская», с мгновенно застывающими свиными пашлыками и принесенным с собой элегантно-узким «Белым аистом»), старичок, в конце концов, все не так плохо, они потихоньку дают людям жить, что ты хочешь, конечно, тебя не печатают, но, признай, ты ж не Пастернак? Пастернака он, конечно, не читал, но про «Живаго», естественно, знал и, понятное дело, к месту сообщал, что быть знаменитым некрасиво, и к осени грустно повторял «свеча горела на столе, свеча горела» — с романом, ясно, не связывая...

Свобода — свобода слова, печати, собраний, передвижений, предпринимательства, любви, ненависти, еды, дыхания — делает людей теми, кто они есть на самом деле. Девиз книг для подростков: все, что вы хотели бы знать о сексе, но стеснялись спросить — построен по универсальной схеме. «Жизнь. Все, что вы хотели бы, но не получите». «Смерть. Все, что вы не хотели бы, но получите». «Любовь. Все, что вы хотели бы и, увы, получили». «Свобода. Все, что вы хотели бы и чего теперь можете не стесняться».

Больше всего на свете я любил и даже сейчас люблю свободу, но сейчас уже понимаю, что именно про эту любовь и сказано: она зла.

Я читаю и слышу слова, и меня трясет от желания запретить

свободу этих слов немедленно, а следом ввести и телесные наказания для тех, кому они принадлежат. Я ощущаю свободу печати и прихожу к выводу, что лучшая печать на моей памяти — это некоторое время (один семестр) находившийся в моем распоряжении комсомольский штампик «уплачено». Я наблюдаю собрания и понимаю, что этим лучше бы действительно больше трех не собираться, а троим, молча разлив, тут же расходиться. Свобода передвижений, могу лично подтвердить, искалечила все, причем это не только наших, российских ног дело. Свобода предпринимательства гремит ночными взрывами на Тверской-Ямской, заставляя вспомнить сухой треск «винчестеров» в Техасе или, впоследствии, очереди «томпсонов» в чикагских гаражах. Свобода любви дала: случай на станции Обираловка (г. Железнодорожный), образование в Скандинавии обществ последовательниц фру Коллонтай и название «спидола» для дам, начинающих профессиональную деятельность сразу по прибытии на Киевский или Белорусский вокзал. Со свободой ненависти мы рождались, только теперь нам позволено ее реализовать.

Больше всего на свете я ненавижу свободу, потому что от любви до ненависти рукой подать, но, делая шаг, я тут же, как водится, делаю два назад. Поскольку выбора нет, он кажущийся.

Нет ничего, кроме свободы, и противоположность Свободе не Рабство, а Ничто. Nihil. Мы такие, какие есть, — злые, жестокие, жадные, завистливые, глупые — но мы все равно такие. Свобода позволяет это проявлять, дрянь изливается в жизнь, как гной из прорвавшегося нарыва. Отсутствие свободы загоняет мерзость внутрь, сепсис — и все кончено.

Свобода — это опасно и противно. Так и придется доживать. Как отвечали в Одессе при старых деньгах — «Как вы живете на сто двадцать рублей?» — «Таки плохо! А что вы можете мне предложить?»

Все написанное абсолютно верно. Но то, что я это написал, объясняется исключительно переменой погоды, связанными с этим скачками давления и, соответственно, самочувствием.

* * *

Передали, что умер Брежнев, а мы как раз собирались в ГДР. Такая хорошая подобралась компания! По линии одного журнала,

лучшие сотрудники и авторы-лауреаты, а также примазавшиеся для полноты группы.

Ну, тут передали, что скончался ввиду сердечной недостаточности. Я сидел, дежурил в редакции до ночи, сочувствующий приятель выпивал вместе со мною, а когда под утро вышли, в устье переулочка стоял бронетранспортер и маячили милиционеры. А мы до того устали, что даже пели, не так уж громко, но все-таки. Повяжут, сказал приятель — и точно: спросили документы, но удостоверениями были усмирены и, мягко предупредив, отпустили.

И на следующий день мы и уехали. В купейном вагоне с Белорусского вокзала. А так как группа не делилась на четыре, то в одном купе с двумя из нас ехала еще пара поляков с двумя цветными «Рубинами» в коробках. Поскольку же я всегда выпадаю в осадок, то последышем с поляками разместился именно я. И немедленно пришел в купе, где ехали нежные мои друзья Володя и Дима с женами. И стали мы в этом купе выпивать.

Кто там был? Ну, во-первых, я там был, ваш покорный слуга и надоедливый рассказчик с неуправляемой памятью. Во-вторых, помянутые Володя и Дима с женами, ну, друзья. В-третьих, Игорь с Сашей, Руслан с женой и некая Таня — ах, как все быстро прошло! И еще один подполковник, ответивший на вопрос таможенника — мол, почему так много коньяку с собой везете, товарищ подполковник? — твердо и прямо: «Я человек пьющий, сержант!» И сержант тихо ушел...

Ну-с, так мы и ехали. Пели в нерабочем тамбуре песни на всесоюзно известные слова Игоря; потом Руслан заснул, а проснувшись, ударился лысой головой о металлический откос под столиком в купе; потом играли в шарады... Или в шарады играли потом — не помню...

Прошло время. Володя умер, любимый мой дружок. И Игорь умер. Жены сменились. Руслан стал патриотом. ГДР нету больше. Последний раз был в Германии месяца полтора назад — ничего похожего, вроде бы и не было ничего. Саша, кажется, тоже умер. Один малый уехал. Где Таня, не знаю, увы.

Боже мой, уходит, уходит единственное, невозстановимое мое время! Меняется все, и друзей мертвых уже почти столько же, сколько живых.

А эти, которые хотят повернуть, дойти до той, далеко оставшейся точки, и все сначала... Ничего не получится, ребята. Если бы вернуть Володьку, ярого, кстати, вашего противника... И Игоря, вполне вами оцененного и успешного, но тем не менее симпатичного... И тридцать девять моих лет, и ревниво-гордый взгляд мой на провожавшую тогда в ГДР, а теперь уж, увы... Если б вернуть все это, и я бы, наверное, согласился.

Но не от меня одного зависит. Да ведь и не вернуть!

Назад кино не крутят.

* * *

Когда все уже произошло и началась новая жизнь, другая или вторая, считайте как угодно, а если всерьез — то первая настоящая жизнь, все до этого было дожизнью (забегая вперед, скажу, что и настоящая жизнь тоже кончается, и наступает послези́знь, причем такое разделение на три жизни, как недавно выяснилось, справедливо для многих, мой старый днепропетровский приятель это подтвердил, но об этом позже, позже) — итак, когда началась жизнь, поздно ночью я сидел на вокзале в городе Ганновере (тогда еще Западная Германия).

Ожидался утренний поезд в Мюнхен. Будучи еще крайне неопытным заграничным путешественником, — но все же какой-то опыт уже имея, — я весьма остро переживал само явление пересадки. Надо же, сижу на пересадке, как в каком-нибудь Харькове, но где? В Ганновере! Потрясающе.

Между тем вместе с нами (я был там семейно) на вокзале, совершенно как в Харькове или даже в Челябинске, маялись и другие люди. Некоторые из них, аккуратно застегнувшись до горла на молнию, ночевали в спальнях мешках — в основном, американские интеллигентные подростки и пенсионеры. Другие — сербы, албанцы, поляки и нигерийцы — запросто сидели на расстеленных поверх бетонного пола одеялах, ели йогурт, овощи, пили пиво и местную дешевую водку, играли в карты, дремали, орали на детей. Шла себе ночная вокзальная жизнь, универсальная, как я тогда обнаружил, для всего мира.

Пройдя мимо нее по кассовым залам и подземным переходам, я ступил в глубоко спящий город.

Исправно переключались над пустыми перекрестками свето-

форы; радостно сияли витрины слишком дорогих (потом узнал) привокзальных магазинов, рассчитанных именно на нигерийцев, поляков, албанцев, сербов и меня: тисненные ковбойские сапоги, толстые кожаные куртки и джинсы; за не совсем чистым стеклом какого-то фаст фуд ел котлету с хлебом и робко запивал внесенной тамошней бормотухой пожилой розовощекий алкаш; прошелестел полицейский фольксваген, напомнив о противостоянии двух миров; вдруг вспыхнуло где-то высоко жилое окно, что-то там происходило, ссорились, возможно, или, напротив, ощутили экзотическую потребность увидеть друг друга во всей красе; начало чуть-чуть светлеть небо, предвещая рассвет, и тут же, внезапно, жутко захотелось спать, как всегда бывает перед рассветом после абсолютно бессонной и вроде бы легко преодоленной ночи...

Боже мой, подумал (как сейчас помню) я, Господи! Что же это происходит?! А ведь это моя единственная, первая и последняя, настоящая жизнь происходит. Уходит, светлея, перетекает в утро одна из не худших ее ночей, и ночи этой уже не будет, так что надо запомнить все это, весь этот ночной вкус, сохранить его, как сохраняешь на вкусовых рецепторах воспоминание о классной выпивке или еде... Тут я прослезился.

А на днях навестил меня днепропетровский (вот и закольцовочка!) друг. Говорит: понимаешь, исчезает жадность жить. Вроде бы уже нажился, весь кайф поймал, продолжаешь спокойно, глотаешь, не замечая. Я согласился с ним — правда, для меня этот этап уже пройденный, у меня уже снова счастливая неуверенность в завтрашнем дне, последний мужской переходный возраст.

И вспомнил почему-то именно Ганновер, ощущение протекающей через каждый квадратный сантиметр меня и окружающего мира жизни... Нет, как хотите, неплохо все это придумано (извините, Н. В.), господа, нескучно жить на свете!

* * *

В любом городе, особенно в большом, столичном, полном неукорененных, полупраздных людей, можно встретить такую фигуру.

Поздними сумерками, под отчаянным ноябрьским дождем; в густо забирающем к ночи февральском ветреном промораживании; среди долго синееющих апрельских воздушных; держась по-

далее от медленно остывающих июльских стен, идет человек. День — видно по неустойчивой, ненадежной походке — был длинный, начался рано, и уж надо бы его сворачивать, завершать, спешить разным транспортом к еде, отдыху, вечернему — полуфразами — разговору с близкими... А он идет и идет, пересекает переулки, ждет, теряя темп, у светофоров, опускается, стуча каблуками, в переходы, идет.

Прилично, может, даже хорошо одетый, с приличным, даже неглупым выражением лица.

Иногда это пара. Они переговариваются тихо, не глядя друг на друга, без улыбок.

Взгляд (или взгляды) не опускается ниже вторых этажей, скользит по третьим, седьмым, задерживается на высоких последних.

Итальянские окна в надмагазинных бельэтажах; эркеры с наглухо задернутыми шторами; срезанные, уменьшенные окна надстроек; томные изгибы проемов русского модерна; широкие оконные полукруги загадочных помещений над арками.

Шторы, гардины, пожелтевшие газеты, белые провинциальные задергушки, шикарные жалюзи, ящик кондиционера, почти черная пыль.

Вечер утверждается, стекла загораются светом: прелестным оранжевым и желтым, завлекающим красноватым, отталкивающим белым «дневным», голубым, зеленым.

Человек идет и идет, вступает в спальный район, где дома длинные и плоские, а окна светятся, как прямоугольные пробивки в перфокартах, которыми программировались древние вычислительные машины — помните? И во времена, когда гудели, мигали и выталкивали бумажную ленту с мелкими серыми цифрами те машины, когда я заказывал ночное «машинное время», — человек шел и смотрел на уже построенные тогда длинные и плоские дома, и сравнение с перфокартой было свежим и более оправданным. И теперь, когда ни карт, ни машин, а в «ниссане», сером обмылке, медленно едущем вдоль тротуара, водитель говорит по телефону, прижав его коробочку плечом, — человек идет и смотрит на горящие окна. И пройдут выборы, дожди, переговоры, недомогания, гражданские паникиды, колонны демонстрантов, возрастные явления, века, — а человек будет идти по большому городу в начале

ночи, будет смотреть на окна, за каждым окном — уют, дом, любовь, а он будет идти и смотреть.

Только не надо думать, будто жизнь можно как-то так изменить, что у каждого появится хотя бы одно собственное окно. Глядящий — это порода, его не переделаешь.

Помянем же глядящего на окна и всю грусть его.

* * *

Теперь, когда уже поздно...

когда лысина, щеки висят, как у старого Гинденбурга, профиль которого был на серебряной монете из тех, что собирал, куда они все делись, куда?! — ведь их было много...

когда на шее натягиваются «вожжи», а над ремнем брюк по бокам нависают «уши»...

когда во рту наконец все до единого зубы и не болят...

когда на левой кисти уже появилось первое пятно неизбежной «гречки»...

только теперь начинаю понимать, что не надо было так легко сдаваться.

Не надо было думать, что в писатели принимают только по благу и ни слова правды не печатают.

Не надо было считать, что Джина Лоллобриджида только тень на экране и население мира исчерпывается однокурсниками.

Не надо было верить, что «шаг влево шаг вправо считается побег прыжок на месте провокация вологодский конвой шутить не любит стреляет без предупреждения», — надо было делать шаги в сторону и не бояться результата.

Не надо было катить по накатанному и огорчаться, что эта дорога ведет в тупик; можно, можно было соскочить и пойти в другую сторону.

Те, кто был в состоянии, вызывали и вызывают зависть, но ведь они-то соскочили, выломались, брели, сбивая в кровь ноги, задыхаясь, в липком поту отчаяния — и добрались туда, куда ты хотел попасть, не рискуя и не мучаясь, а так не бывает.

И ведь ничему не научился.

И теперь хочется сдать, махнуть на все рукой — пусть приходят эти, устраивают жизнь как хотят, черт с ними, конец. Хочется плюнуть, согласиться с неудачами, с безнадежностью, с тем, что

ничего хорошего уже не будет. Пусть оно идет, как идет, другого ты и не заслужил, глупости и ошибки непоправимы, расплата неизбежна, и цену назначаешь не ты.

Мне кажется, всем знакомо это состояние души.

Но потом...

когда время пройдет...

когда ты опять сообразишь, что надо было сопротивляться жизни, что уныние — страшный грех...

И опять будет поздно. Что скажешь тогда?

Так что нынешним вечером жизнь не кончается.

* * *

Самая прочная иллюзия — что обо всем можно договориться словами.

Рано или поздно принимаешь несовместимость кошки с собакой. Есть версия (может, я это выдумал[?] или выдумал тот, кто написал, а я прочел[?]), что они не ладят, потому что разные знаковые системы: кошка колотит хвостом из стороны в сторону в раздражении, а собака от любви. Они не понимают друг друга, или, как говорили мои сослуживцы времен юности, безымянные труженики военно-промышленного комплекса, понимают «с точностью до наоборот». И потому враждуют.

С другой стороны — помню, с болгарами, когда еще ездил в Международный дом журналистов под Варной, вполне договаривался. Хотя на предложение выпить они отрицательно мотали головой: «Да, конечно!», а дамы кокетничали: «Нет, что вы!» — согласно кивая... Все-таки дело не в хвосте.

Но договориться нельзя. Это уже понятно. Надо терпеть. Терпеть. И в процессе терпения любить друг друга. Любить не за какие-то особые заслуги в деле мира и прогресса, а просто за факт существования в одном времени и пространстве, за дыхание одним воздухом, за общую белковую природу, за неистребимую тягу к благу (различно понимаемому), за единую Божественную природу. Нам некуда деваться друг от друга. Милая, я согласен: я хуже, чем ты. Но куда же меня-то девать, такого[?] Терпи...

* * *

Есть, конечно, выход: всех этих, противных, — в овраг и из пулеметов... Но не помогает. Пробовали.

Так что не расстраивайтесь — придется ограничиться любовью.

Если человек уступает вам дорогу, это не значит, что вы можете безнаказанно отобрать у него кошелек. Может, он сильный, но воспитанный.

К сожалению, наш биологический вид вообще и население бывшей шестой части земной суши (шестая часть, восьмое чудо, третий Рим) в особенности склонно путать мягкость со слабостью.

Однажды женщина пришла в партком (дело было при парткомах) жаловаться на мужа. Совсем, говорит, обнаглел. Раньше был порядочный, я его пошлю — он извиняется. А тут я ему как-то довольно чистой тряпкой по наружной части лица нечаянно от нервов попала, так он разорался, как все равно правозащитник какой, и дверью грубо хлопнул. Говорит, что ночевал на вокзале, но есть сведения, что руководствуется не нашей моралью.

Ну, вконец разложившемуся впаяли, естественно, без занесения, но потом секретарь ему, когда перекуривали, сказал тихо: мол, вмазал бы ты ей раньше, как положено, и развелся бы год назад, теперь бы уже взыскание сняли. Вон посмотри, какие у нас в хозчасти ходят... И ласковые...

Все это грустно. Обидно, что вековой опыт отлился в чеканную формулу: кто тянет, на того и валят. Однако природу человеческую не переделаешь. И поэтому, подставляя еще даже не левую, а правую щеку, будьте уверены, что огребете по обеим, и обижайтесь только на себя, и, принадлежа к самому терпеливому народу в мире, достойно принимайте награду за терпение.

У меня приятель один был, музыкант. Он в самый разгар существования выездных комиссий как-то просочился на гастроли по Латинской Америке. Бразилия, Аргентина, Перу даже какое-то... Вернулся. Браслет купил. джинсы бархатные клеш. Ну, рассказывай, стали мы приставать, как там, в Венесуэле? Инки, самба? Фавелы? Или фавелы где? Он задумался, закурил, браслетом позвенел... И говорит — что касается Латинской Америки, то я вам так скажу: наш народ самый терпеливый.

Однако мягкость и терпение на самом деле качества очень дурные. И опасные для тех, кто ими пользуется. Немягкие, иду-

щие в дверь первыми — с теми проще. Всегда знаешь, что они своего не упустят и твое прихватят, и хорошо, если, переступая через тебя, достаточно высоко ногу поднимут. И ты готов ко всему. А с мягкими плохо. Терпят, совестятся, уступают, несут крест... Да вдруг дверь-то как хлопнут! Так что вся вешалка на пол...

Истинно говорю вам: будьте взаимно вежливы.

* * *

Примерно половина наших действий бессмысленны, остальные приносят вред нам самим. Как много на свете вещей, которые мне совершенно не нужны (цитата не помню из кого)...

Если хорошенько подумать, то в марте необходимо только вот что: доехать на метро или троллейбусе до ближайшего парка. Совершенно нет нужды перетянуться в электричке, оттаивать свою или чужую дачу, натягивать старые резиновые сапоги, выложенные внутри старыми же газетами, и идти километр до леса — в парке, в обычной городской обуви, проламывающей весеннюю коросточку снега, ничем не хуже. Небо цвета светло-голубой металл, любимого новыми русскими, — видимо, тут дело в исторической памяти, а не в том, что BMW — это качество на всю жизнь; ледяная сырость, проникающая в душу, гася и растворяя в ней пламя, добытое трением по древнему методу «хочешь жить — умей вертеться»; наконец, пустота аллей, протоптанных неутомимыми, но пока редкими пенсионерами, оснащенными транзисторами, из которых — когда поравняешься — слышны рекомендации инвесторам.

Так дойдите до стекляшки-шашлычной, давным-давно, на заре новых времен, превращенной в кооперативный ресторан «Кура» и в этом качестве брошенной. Возьмите там почерневший дощатый ящик из-под помидоров и поставьте его на ребро как раз там, позади заведения, на солнышке, где уже протаяло до земли. Присядьте. Достаньте. Поморщитесь. Закусите.

Если найдете подходящую компанию, еще лучше.

А вы говорите — нет в жизни счастья. Ерунда! Это просто надпись на предплечье.

СТОЯЛИ ТЕМНЫХ ЛИП АЛЛЕИ

(ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ)

Когда в середине шестидесятых вышел девятитомник Бунина и я, темный советский недоросль, обнаружил в седьмом — к сегодняшнему дню уже совершенно развалившемся — томе «Темные аллеи», и прочел к утру, и не поехал в университет со своей улицы Рабочей, одним концом упиравшейся в проходную ракетного завода, где мне предстояло работать, а другим — в роддом, где предстояло родиться моей дочери, и, не поехав в университет, так и остался валяться в постели, как бы больной, и действительно почти заболевший, и открыл том снова, и к вечеру закрыл перечитанным, и пошел в университет, чтобы встретить друзей и отправиться с ними вместе в парк Шевченко пить пиво, и потом с кем-то шел по темной аллее махровой сирени, ведущей к мосту-переходу на Комсомольский остров, и валялся там ночью на быстро остывающем песке пляжа с одной с романо-германского и песок скрипел между нами, а утром, возвращаясь, я вспомнил рассказ «В Париже», о любви и смерти белого генерала-эмигранта, и заплакал — когда все это происходило, понять ничего еще было невозможно.

Почему ему дали Нобелевскую премию? Уж если за что-то ее и было давать, так именно за это... и почему именно об этом писал семидесятилетний старик, уже небогатый и почти безвестный, уже больной и некрасивый? И почему я читал все это сутки подряд и плакал после совсем неплохой, вполне захватывающей ночи на пляже, вспомнив другого старика, выдуманного, умершего до моего рождения в Париже, где мне еще только предстояло побывать?

Теперь, именно теперь многое становится понятным. Теперь

мы живем, окруженные тенями жизни ушедшей, империи рухнувшей, разрушившегося уклада. Мы простились с жизнью, похороненной под этими обломками, и, какой бы ни была дурной та жизнь, а она была — и нету. «Стояли темных лип аллеи...»

И вот уже стало понятно, что обаяние бунинского великого цикла и было именно в этом — жизнь, о которой он рассказывал, рухнула, бесследно исчезла, и любовь исчезла с нею, и потому так горько-сладок рассказ военного доктора, ужинающего в ресторане «Прага», а за окном звенят трамваи по весеннему Арбату, и идет «Пароход “Саратов”», и мрачный господин соблазняет провинциальную даму, и прелестная рыжеволосая со смешным именем Генрих едет навстречу смерти в жарком от любви международном купе...

Блистающие тени исчезнувшей жизни, призраки растворившейся в революционной кислоте любви. Секрет очарования: вся эта любовь уже давно кончилась смертью.

Я оглядываюсь вокруг — куда делась та страна, несчастная, но полная нашими старыми любовями? Нету. И любви все кончились смертями вместе с тем местом, где любилось. Теперь дело за тем, чтобы кто-то из нас получил Нобелевскую, и прожил ее, и состарился в бедности, и написал об этом. О том, как стояли темных лип аллеи.

АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ КАБАКОВ

Кафе «Юность»

Редактор А.С.Захаренко.

Художественный редактор С.А.Виноградова.

Технолог М.С.Белоусова.

Оператор компьютерной верстки А.В.Волков.

П. корректоры В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года.

Подписано в печать 10.06.99. Формат 60 × 90/16. Гарнитура Академическая.

Печать офсетная. Объем 26 печ. л. Тираж 5000 экз. Изд. № 1021. Заказ № 2488.

Издательство «ВАГРИУС». 129090, Москва, ул. Троцкая, 7/1.

Интернет/Home page — <http://www.vagrius.com>

Электронная почта (E-Mail) — vagrius@mail.sitek.ru

По вопросам оптовой покупки книг
«Издательской группы АСТ» обращаться по адресу:

Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Тел.: 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги «Издательской группы АСТ»

можно заказать по адресу:

107140, Москва, а/я 140,

АСТ — «Книги по почте»

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском
предприятии «Первая Образцовая типография»
Государственного комитета Российской Федерации
по печати. 113054, Москва, Валовая, 28

ISBN 5-284-00068-9



9 785264 000683 >